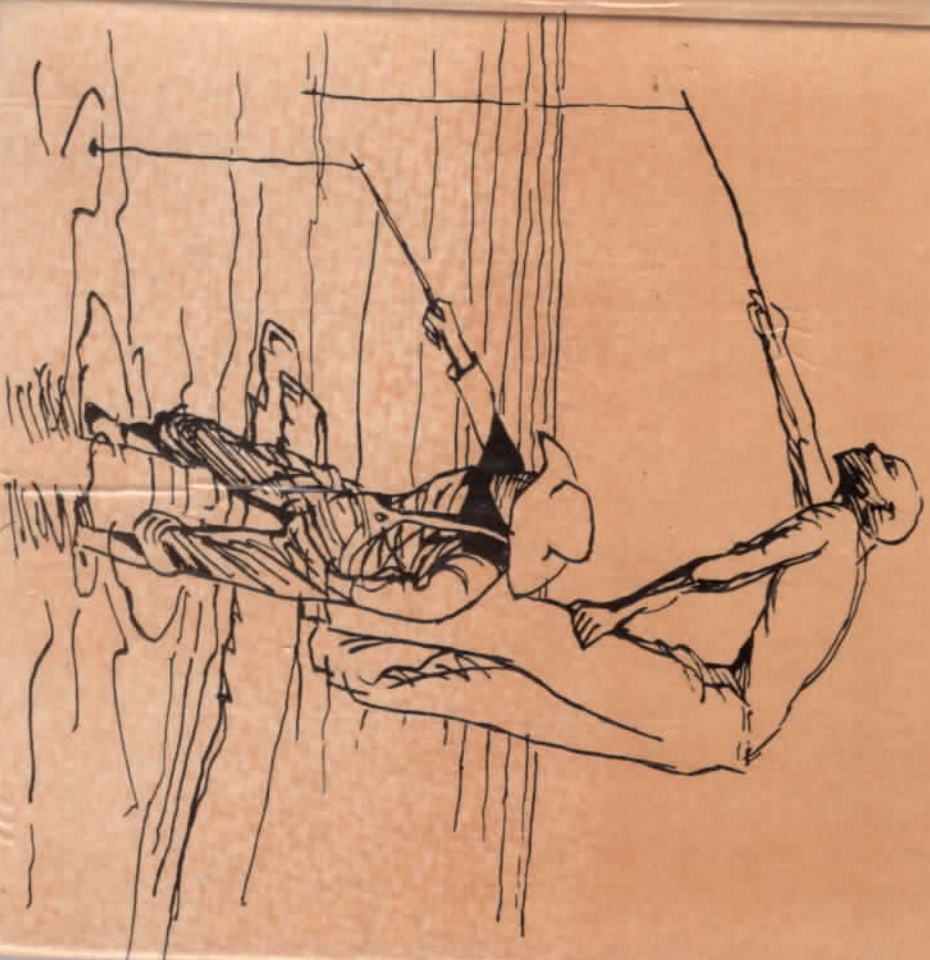


МАРК ТВЕН

Исповедания
Томас Гейера
Исповедания
Гексбергера Руина



226

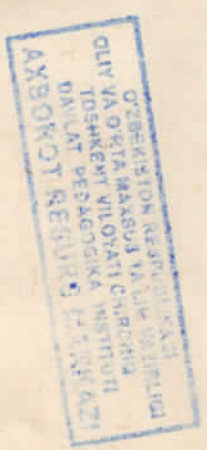
МАРК ТВЕРИ

Струковену.
Том Соура

Струковену
Геккеру Гина

*

1687



МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987

Т. 1
Т. 2
Т. 3
Т. 4
Т. 5
Т. 6
Т. 7
Т. 8
Т. 9
Т. 10
Т. 11
Т. 12
Т. 13
Т. 14
Т. 15
Т. 16
Т. 17
Т. 18
Т. 19
Т. 20
Т. 21
Т. 22
Т. 23
Т. 24
Т. 25
Т. 26
Т. 27
Т. 28
Т. 29
Т. 30
Т. 31
Т. 32
Т. 33
Т. 34
Т. 35
Т. 36
Т. 37
Т. 38
Т. 39
Т. 40
Т. 41
Т. 42
Т. 43
Т. 44
Т. 45
Т. 46
Т. 47
Т. 48
Т. 49
Т. 50
Т. 51
Т. 52
Т. 53
Т. 54
Т. 55
Т. 56
Т. 57
Т. 58
Т. 59
Т. 60
Т. 61
Т. 62
Т. 63
Т. 64
Т. 65
Т. 66
Т. 67
Т. 68
Т. 69
Т. 70
Т. 71
Т. 72
Т. 73
Т. 74
Т. 75
Т. 76
Т. 77
Т. 78
Т. 79
Т. 80
Т. 81
Т. 82
Т. 83
Т. 84
Т. 85
Т. 86
Т. 87
Т. 88
Т. 89
Т. 90
Т. 91
Т. 92
Т. 93
Т. 94
Т. 95
Т. 96
Т. 97
Т. 98
Т. 99
Т. 100

Перевод с английского Н. А. Друзес
Предисловие М. О. Менделеева
Иллюстрации В. Н. Горюва

Т 4703000000—1514
680(02)—87—1514—87

Текст печатается по: Т в е н М. Принадлежит Т ома Сойера.
Принадлежит Г екабери Финни.— М.: Правда, 1980.

МАРК ТВЕН — ПИСАТЕЛЬ-РЕАЛИСТ, МАСТЕР ЮМОРА И САТИРЫ

Можно предположить, что тем, кто возьмет в руки эту книгу, пошедшие в нее сочинения Марка Твена уже давно знакомы. Но тут необходимо сказать: перепитывая даже любимые произведения о Томе Сойере и Гекке Финни, мы почти обязательно обнаружим в них уже известное нечто неожиданное, нечто новое, в как будто бы простом — довольно сложное. Наиболее ценные творения великого американского писателя сплелись и рядом оказываются — каждый раз, когда мы снова обращаемся к ним — более содержательными, нежели они представлялись в прошлом (зачастую — более смещенными, а иногда более трагическими).

Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс, будущий Марк Твен (1835—1910), родился в захолустной американской деревушке. В детстве он каждый день любовался самой большой рекой его родины — Миссисипи. И как бы несомытый этим мощным потоком, он следовал чуждым своим «я» широчайшие просторы Соединенных Штатов Америки — от скромного поселка Ганнибала, где прошло его детство, до шумного Нового Орлеана. Где только не проживала писатель... В уютной долине Невады на севере страны и в южных штатах с их чудесной природой и парящими над бездалью беспредельными порядками, в Нью-Йорке на атлантическом побережье и в Сан-Франциско, расположенном у под Тихого океана. Немало времени провел Твен и в Африке и в Австралии.

Хотя образ жизни Сэмюэла Клеменса чем-то похож на образ жизни его коллег — американских писателей (он прошел типичные для литераторского мира закоулки страны «университета» — тапуть и авторитету был больше, чем у других, насущен событийный, печатанный, многообразный интересами).

Выходец из семьи бедняка, недоучка, но еще в детстве он давил себя зарабатывать на хлеб собственным трудом. Сам в Миссисипи (и не пастухом и уютной каморке, а подмастком). В молодости он участвовал в войне между Севером и рабовладельцами, которая, как он понял потом, задала право дело. Много усилий и довода в мрачных пустынях на западе США. А позднее, уже став Марком Твеном, он на протяжении долгих лет переходил из одной газеты в другую — служил и репортером и зарубежным корреспондентом, но чаще всего фельетонистом.

На одной карикатуре столетней давности, изображающей известных американских «астрологов», читающих с астралы собственных предзнаменения, Марк Твен представлял в костюме шута. Почти все такие «астролы», а заодно и читатели действовали по большей части воспринимали Твена просто как комика, далеко не всегда заставлявшего аудиторию серьезно задуматься над судьбой своих шутков.

Марк Твен начинал свой путь в литературе как мастер анекдотов, нередко бешеного юмора. Из-под пера писателя бесконечной чередой выходили смешные мистификации, пародии, гротескные зарисовки, рассказы, в основе которых были несопоставимые ситуации.

Изображая какой-то городок, залитый светом южного солнца, Твен сказал, что в яркой белизне зданий было нечто веселое, даже «буйно-веселое». Таким буйным весельем были до края наполнены его ранние — и не только ранние — произведения. Щедрая готовность писателя разбрасывать озорные шутки царила и в прозаических произведениях, развешивать их гиридами, делиться улыбками с любым человеком, приносил — и продолжает приносить — огромную радость людям.

Воспринимая лучшие традиции американского народного юмора середины прошлого века, Твен порождает безудержное веселье и натаптывает не только непереносимых превращений, но и менее умеренных преувеличений. Он смешивает сочетанием важного и ничтожного, высокого и низменного, радонда сонных острот в простонародном, нередко грубоватом духе, разбавленном псевдосерьезного, шаржированием, материализацией метафоров, феерическим какабуром.

Вечернее к акцентуированному, но в основе своей почти безбидному юмору, к улыбке скрытой и прерывающейся в хохот, но едва ли ранней, — нажившая особенность раннего демократического творчества Марка Твена.

Юморист, связанный с народом глубокими корнями, выражает ощущение, что в массе своей окружающие его люди обладают высокими человеческими задатками. И душа юмориста полна любовью к людям. Творчеством своим он содействует укреплению душевного здоровья человека, внутреннего его равновесия, его веры в свою жизнеспособность.

Едва ли существует необходимость подробно останавливаться на примерах забавных и беззаботных выдумок, которыми насыщены десятки и сотни сочинений Твена. Сочинения хотя бы на архиве веселую неспешу, возникающую в рассказе «Мои часы» — человек, чья работа начинала сильно отставать, вдруг ощутил себя современным египетским фараоном и захотел «поспешничать» с мушкетерами на заоблачные темы.

Каждый бы, в одном ряду с этим очаровательным, но едва ли табуированным образом «дикого юмора» находится и те многочисленные сообщения, смехотворные абсурдистские, которые печатались в своем издании некий редактор (об авторе повествования в рассказе «Как я редактировал сельскохозяйственную газету»).

Однако вынужденный читать легко обнаружит, что в сочинениях «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» Марк Твен мистифицирует в нем качестве, нежелан в рассказе «Мои часы». Он не просто шутит, не просто глумится душой весельем. В этом рас-

сказе его разухабистый юмор, как будто бы не претендующий ни на что серьезное, оборачивается сатирой.

Сатирические ноты иногда возникали даже в самых ранних рассказах Твена. Но с годами такие краски в произведениях писателя все тускнели. Первая большая книга Твена, принесшая ему известность — «Простак за границей» (1869), — представляла собой сочетание юмора и сатиры. Непосредственно изображаемый на анекдотические ситуации писатель вместе с тем внес в свое произведение немало открытой или глубоко завуалированной иронии, насмешки, направленной против опасных противников — традиционных религиозных воззрений и профессиональных «божьи люди», против феодальных обычаев, существующих за пределами США, и наглого самодовольства столь многих американцев и прежде всего рабовладельцев.

Роман «Позолоченный век» (1874) был написан Твеном в соавторстве с мало похожим на него писателем — Ч. Уорнером. И этим объясняется весьма неровный характер книги. В ней есть главы, не лишённые оттенка сентиментальности, чувствуется призывное для американской литературы тех лет тяготение к «счастливому» концом. Но произведение насыщено также пародиями на модные романы и традиционные портреты, а главное — ядовитыми саркастическими портретами жуликоватых политиков, лживых воров, темных манипуляторов, задающих тон в столице США.

Новаторской и поистине великодушной страницей в творчестве Марка Твена стали его «Приключения Тома Сойера» (1876). В основе повести не комические трюки профессионального весельчака (хотя есть в ней и шутки, вызывающие смех) и даже не обличение затхлого быта американской провинции (хотя в ряде мест книги чувствуется подтрунивание над этим бытом), а нечто почти неслыханное у Твена раньше (да и вообще в литературе США). Вышедшая особенность «Приключений Тома Сойера» состоит в следующем: юмор становится в этом произведении средством реалистического раскрытия психологии человека (прежде всего детей), а одновременно и средством поэтизации жизни.

Американское буржуазное литературоведение не прочь рассмотреть образ Тома Сойера в плане (сколько ни странно это может показаться), близком к вульгарно-социологическому. В ряде книг пытаются выявить черты маленького дельца, он предстает неким рода миниматической «моделью» типичных американских бизнесменов. Разве не мечтает Том разбогатеть? Разве не ищет он выгоды от окрестных заборов? Разве не скучает он в школе, позволяющие заново занять место в воскресном школах?

Но не расхожее мнение мальчишки, конечно, ключ к чарам, которые таит в себе произведение Твена. Обаяние повести, добрым, определенным не только умением автора привлекать читателя описаниями удивительных приключений героя.

Книга о Томе — это рассказ об идеальном счастливице, проникнутой познаний жизни детей на лоне природы. То недоброе и опасное, что встречается на их пути, несет в себе печать усвоенности, характерной для приключенческой литературы, — поэтому оно не пугает по-настоящему. Почти все бесспорно реалистичное, что есть в произведении, связано с твеновским юмором и дает читателю тепло и радость.

С безупречной правдивостью автор воспроизводит внутренний мир юных человеческих существ, которые еще не утратили душевной чистоты и поэтической прелесть. Твен обладал гениальной способностью понимать детей, знал их характер, их психологию.

Совершенно очевидно, что юмор в «Приключениях Тома Сойера» играет иную роль, нежели, скажем, в насыщенных до отказа комической утрировкой и отчасти сатирическом «Рассказе о другом мальчике». Без юмора повесть о Томе звучала бы просто сентиментально и фальшиво. Именно юмор придает фигуре главного героя, а также и некоторым другим персонажам истинность, душевную глубину. В повести воспеваются прекрасная волновая жизнь, а смех, окрашенный лиризмом, задумчивый юмор служат выражением любви к простым и добрым людям.

Твен, разумеется, не был первым американским художником, который заставил юмор служить главной задаче — утверждению ценности людей и прелесть жизни. Но пришедший писателем грегорианский талант юмориста-психолога и юмориста-поэта помог ему создать произведение необычайно большого эстетического значения. Парадоксально, что, сочиняя эту повесть, Твен исходил из недовольства современной американской действительностью. И все же его стремление изобразить, опираться на воспоминания детских лет, мир более счастливый, более радостный, чем тот, который он видел вокруг себя, позволяло писателю создать книгу, в которой юмористическое играет роль *утраченной радости*. В повести ощущается несомненный налет романтизма, но это не лишает ее и реалистической тональности.

В исследованиях о жизни и творчестве Марка Твена, издаваемых в США, проводится ошибочная мысль, что идеальный образ художника почти не менялся на протяжении всей жизни. Эта концепция может показаться на первый взгляд убедительной: писатель прожил всю жизнь в буржуазной Америке и воспринимал многие из бытующих в ней взглядов. Но он был свидетелем немалых социальных сдвигов в родной стране, в это существованием образом сказавшись на его мироощущении.

Детство и ранняя молодость писателя пришлось на десятилетия, непосредственно предшествовавшие Гражданской войне 1861—1865 гг. Твен вырос в краю, где еще в какой-то мере сохранялись патриархальные нравы, царил фермерские порядки и обычаи. На этой основе и возникли те идеализированные картины жизни в долине реки Миссисипи, которых так много в «Приключениях Тома Сойера».

Однако подлинной творческой зрелости Марк Твен достиг уже после войны Севера и Юга, когда буржуазные устремления стали определять образ мыслей и чувства миллиона американцев. В последние годы жизни в детях, опубликованных до сих пор лишь частично, писатель довольно ясно охарактеризовал кардинальные перемены, которые происходили в США во второй половине XIX в.

Выразив убеждение, что в Галинаде поры его детства не думали о деньгах, о богатстве, Твен декларировал, что открытие золота в Калифорнии в середине прошлого столетия и «породило

ту страсть к деньгам, которая стала господствовать сегодня»¹. Когда-то в США, по мысли писателя, существовала только крошечная кучка богачей. Но затем миллионеров стало больше, они объединились и приобрели быстрорастущее влияние. И вот «калорийная» бокал «богатства», а заодно такие капиталисты, как, например, Гулд или Вандербилт, «подождали начало и Америки: они вызвали к жизни жажду богатства... появились» — продолжает Марк Твен, — «стандарт ой, Ставной трест и Карнеги... Морган создал объединения в области стали...»²

Уже в романе «Положенный век» были воспроизведены некоторые черты той новой Америки, которая открывалась перед писателем в последние десятилетия прошлого века. Гораздо больше сказал о ней Марк Твен в своем романе «Приключения Гекльберри Финна», хотя формально действие этой книги разворачивается в первой половине XIX в.

Почти десятилетие ушло у Твена на создание «Приключений Гекльберри Финна» (1885), романа, который, казалось, должен был стать лишь продолжением повести о Томе Сойере. Годы эти были наполнены трудными творческими поисками и мучительными сомнениями, но время не было потеряно зря. Писатель сказал еще одно новое слово в американской литературе. Представление, будто книги о Томе и Гекке — банальны, несправедливо, как бы много общего ни было в этих произведениях.

«Приключения Гекльберри Финна» — произведение многослойное и многогранное. Юмор Твена в этом крупном произведении снова трансформируется. Основное звучание книги, в центре которой стоит Гек — раньше малоизвестный товарищ Тома, — сатирическое.

Именно теперь, с появлением этого романа, критический реализм в американской литературе достиг своего расцвета.

Сатиричен (и одновременно страшен) образ отца Гекка, беглика, воспринявшего многочисленные пороки рабовладельческой, а вместе с тем и буржуазной Америки. Сатиричны образы «кордолай» и «герцога», в неутолимой жадности которых запечатлены определяющие особенности уже набравшего силы капиталистического общества США.

Разумеется, «Приключения Гекльберри Финна» отнюдь не «чисто» сатирическое произведение. Главную роль в книге играют образы людей прекрасной души, образы самого Гекка и его друга — негра Джима. Но если в «Приключениях Тома Сойера» положительные персонажи противопоставлены людским порокам, а отрицательные герои вынуждены иметь дело с недругами, обладающими неоспоримой способностью творить зло, то в «Приключениях Гекльберри Финна» Твен образцом, то черное, хищническое, бесчеловечное, что есть на свете, представлено в романе как вполне реальная сила, мешающая.

¹ Цитируется по книге: Discussions of Mark Twain, Ed. by C. A. Cardwell, Boston, Heath, 1963, p. 99.

² Цитируется по книге: H. N. Smith, M. Twain's Fable of Progress, New Brunswick, N. J., Rutgers University Press, 1964, pp. 93—94.

шающая жить рядом с американцами, приносящая им горе, бед, несчастья.

И все-таки не забудем, что черное дано в противопоставлении светлому. В общем настрое книги есть два начала: лирическое и сатирическое. «Проклятия Гекльберри Финна» — величайшее произведение американской литературы, которое одновременно обличает зло темных сил и воспевают духовную красоту, находящуюся в конкретных и вполне реалистических человеческих образах.

Марк Твен является — вместе с Уитменом — основоположником реалистического направления в литературе США девятнадцатого столетия. Но в романе о Гекке он выступает не только как противник романтизма в американской литературе, но и как писатель, в творчестве которого реализм и романтические тенденции переплетаются, сливаясь в одно целое.

Значение образа Гекки, одного из величайших образов, когда-либо созданных американскими писателями, столь огромно, что Хемингуэй имел полное основание отметить уникальную ценность книги о Гекльберри Финне, сказав, что современная литература США «вышла из одной книги Марка Твена, которая называется «Гекльберри Финн»¹. Реакционное твоеобразие потратило очень много усилий в своих попытках навредить истинный характер этого героя.

В буржуазных исследованиях часто игнорируют реальный смысл того инстинктивного пророческого Гекки перед народной жадной свободой, которое заставляет его стать, несмотря на все сомнения и трудности, единомышленником негра Джима, когда тот пытается разорвать узы рабства. Вот почему некоторые заурядные критики выступают, например, апологетами не очень удачной концовки романа, в которой автор, несправедливо возвращаясь к тенденциям, прославляющим кое-где и «Проклятия Гекльберри Финна», изображает Тома почти беззастенчивым искателем традиционных романтических забав, а Гекка — оруженосцем своего более активного друга, вовсе лишённым самостоятельности.

Некоторые американские буржуазные литературоведы рисуют Гекку человеком, стоящим отнюдь не в требованиях человеческой совести, что якобы единственное его желание — освободиться от всяких этических соображений, вовсе полагать о мучительном рабстве негра. Подобные мудрствования не просто противоречат вполне очевидному содержанию романа. Их задача заключается в том, чтобы «очистить» произведение, приналежащее к числу самых замечательных в истории американской художественной прозы, от загроможденной и немаленькой морально-общественной грязи, в заодно вообще подорвать значение нравственного начала, присущего всякой большой литературе.

Однако, перечитывая «Проклятия Гекльберри Финна», чаще всего с воодушевлением останавливаешься как раз на тех страницах книги, где раскрыта борьба противоречивых тенденций в душе героя: привычного для его окружения провинциального отчуждения к рабству и вообще к насилию над людьми и присущего юношеско-инстинктивного желания бросить вызов несправедливости, существующей в американском обществе.

¹ Хемингуэй Э. Собр. соч. в 4-х томах. Т. 2. «Художественная литература». М., 1968, с. 306.

Борьба эта показана с большой экспрессией и психологической убедительностью, в частности потому, что рассказ о ней окрашен как сатирическим, так и несатирическими эмоциями. Например, Гекк часто показан искренним, вполне неподобающим поведением юных, традиционных для Юга США, возмущенных на расстой. Однако иногда его зависимость от провинциальных антинегрских взглядов изображена в гротескно-типифицированном виде, дабы фальшь их проступка с особенной выпуклостью. Гекк представляет перед читателем как человека, который способен покрывать собой во имя свободы Джима, во имя добра.

Значительные слова Гекки о том, что он скорее отправится в ад (а ведь мальчик вполне может верить в существование преисподней), несклонен предать своего друга негра, — это вызов жестокому закону страны и несправедливому учению церкви. Для миллионов читателей роман «Проклятия Гекльберри Финна» еще долго будет служить не только несравненным образцом реалистического мастерства в создании психологических портретов, но и выдающимся примером произведений, пронизанных духом преданности интересам угнетенных.

Отметим попутно: не следует думать, что усматриваемую проницательность Марка Твена в сфере сатиры — по мере развития его жизненного опыта — скомпенсировала решительная отказ писателя от юмористики, доброй, ласковой, полной тепла. И в книге о Гекке и в более поздних произведениях Твена, в которых еще более резко высмеиваются пороки современного общества, есть немало пассажей, цель которых прежде всего порадовать читателя шуток, веселым какабуром.

Смешные эпизоды зачастую помогают автору усилить обличительный смысл его произведений. Вообще юмор и сатира преобладают в творчестве Твена и в самых различных сочетаниях, главным образом, приобретая — в результате взаимопроникновения — неожиданные качества, перемешиваясь необычайными, поразительными читателя красками.

Со времени создания книги о Гекке и Джиме, вынужденных существовать в мире стужающих интересов и устремлений, у Марка Твена все упорнее назревает ощущение, что установленный в США порядок вещей не только совершенно несправедлив, позорен, но что — уже в силу данного обстоятельства — он не может существовать вечно. В тесной связи с этим у сатирика возник повышенный интерес к судьбам трудящихся (в том числе несмелых рабочих) в современном «цивилизированном» обществе. Возникает типичная для сатиры более суровой, уничижающей, полной юности, дающей сатирическое представление о социальной действительности.

Писатель стал различать такие формы сатирической литературы, которые раньше не ведал или которым уделял мало внимания, это и политический памфлет, насыщенный злой иронией и популяризирующий на основе некоторых конкретных фактов общественно-политической сатиры самые мрачные выводы о современном буржуазном строе в целом. Это и алеторическое повествование, сочетающее сатирический показ социальных уродств с песенно-эпическими пассажами насчет «природы» и возможностей человека как такового. Наконец, из-под пера писателя поднимаются на-

а также явной неспособностью, как ему казалось, народных масс дать отпор силам зла, не мог не глядеть на мир с горестным чувством. А поскольку Твен не обладал видоизмененным представлением о ходе и смысле исторического развития, ему и начинало нередко казаться, будто бы во всем другом повинна сама сущность человека — его убогое «естество», его навязанная духовная слабость и нравственная нищета.

Все это достаточно отчетливо ощущается в «Таинственном незнакомце». Но в этой повести наряду с мизантропическими философскими раздумьями привлекают внимание также и вполне очевидные сатирические обличения реальной сути денег и империалистических войн. Золото, подчеркивает Твен, «блещет позорным румянцем», а завоеватель никогда «не начинал войну с благородной целью».

Зачинаемая захватнических, империалистических войн вымывают у писателя испепеляющую ярость. Вся капиталистическая цивилизация зачастую представляется ему источником несчастий, бед, трагедий для обыкновенного человека, для труженика.

Было время, когда цивилизация XIX в. казалась писателю иной — достойной, благородной. В неопубликованном предисловии Твена к роману «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» есть, например, такие слова: «Если кто-либо склонен осуждать нашу современную цивилизацию, что ж, помещать этому неволь, но непохоже иногда провести сравнение между ней и тем, что делалось на свете раньше, в это должно успокоить и вынуть надежду»¹.

Не случайно, однако, писатель так и не напечатал свое предисловие. Вскоре после издания романа о Янки Марк Твен стал отбрасывать о современной цивилизации весьма скептические. Конечно и должно сказать даже гораздо слабее: буржуазная цивилизация начала выживать у Твена, так любимого техники, явное отращивание. Ибо она, по мнению писателя, поднимает человека, уродует его. С этим-то и сопрягаются те полные крайнего раздражения характеристики, которые он дает теперь «человеческой расе», роду человеческого.

Но действительно ли писатель стал питать ненависть ко всем людям, а также к созданию их рук и мозга? Есть все основания в этом усомниться. Твен Твена в конечном счете обращен не против человека как такового, а против властей жизни в США, превративших страну в центр злодеяний и эксплуатации. Ненависть Твена — это ненависть к капиталистам, эксплуатирующим успехи цивилизации для того, чтоб нести жителям колющих и режущих страданий, американским неграм и беднякам-любого цвета кожи угнетение, тяжелый труд, болезни и смерть.

Среди твенских произведений, написанных в первом десятилетии XX в., есть много памфлетов. Каждый из них был выслан к жизни конкретными — и мрачными — обстоятельствами социальной жизни страны, фактами империалистической политики. Твен бичует американских миссионеров — агентов миссионерства («Человеку, Ходящему по Тьме»), рассказывает о трагической судьбе чернокожих в США («Соединенные Дипломаты Штатов»).

¹ Цитируется по книге: R. B. Salomon, Twain and the Image of History, New Haven, Yale University Press, 1961, p. 103.

ты), с презрительным смехом рисует русского самодержца («Монах царя»), приговаривает к позорному столбу убийцу сотен и тысяч туземцев Африки («Монах короля Леопольда в защиту его владычества в Конго»). В этих и других антиимпериалистических памфлетах возникает бесконечное множество остроумнейших ходов, которые свидетельствуют о неисчерпаемой сатирической изобретательности писателя, о том, что он является в американской литературе достойным продолжателем бессмертных традиций Свифта.

И Твен не только предостерегает анафеме тех или иных политиков, ответственных за захватнические действия империалистических держав, — он зачастую вскрывает первооснову общественного порока, ссадившего возможных зти чудовищные явления.

Остановимся, например, на памфлете «В защиту генерала Фанстопа». Это произведение представляет собою полное неординарное ироническое выпадение обличение изощренного аморалиста реального американского генерала Фанстопа. Но Твен не ограничивается этим. При посредстве серии причудливых и дерзких парадоксальных повторов автор приводит читателя к мыслям, что центральным персонаж произведений не просто монах, а папство от папства вошедших США, живое воплощение коварства и жестокости всей системы империалистических хищников. Поток остроумных и едких сопоставлений позволяет Твену убедить нас: в Америке уже установлена свое господство «фанстопа», то есть широко разветвленная система, в основе которой — низкий обман, плутовское предательство, готовность убивать тех, кому пожмешь руку, кто спасает тебя от голода. «Фанстопа» став в США основой не только подготовки военных кадров, но и «воспитания» молодежи в целом.

Преступления американских империалистов заставили Марка Твена задуматься: куда в конце концов приведет его родина та держава, на которую она вступила на рубеже XIX и XX веков.

Среди сочинений сатирика, созданных им в последние годы жизни и известных нам только в отрывках, есть наброски своего рода фантастических или, вернее, сатирико-фантастических рассказов, в которых дано синтетическое представление о том, что ждет Америку в будущем. Великий сатирик поставил себе задачу предостеречь современников от опасности, к которой может привести дальнейшее усиление в США власти монополий и военщины. Этому посвящены и лучшие произведения современных писателей-фантастов США (название Твена здесь явно ощущается).

Марк Твен угадал (и это было научно-художественным откровением огромного значения), что жаждность империалистов может привести к полному уничтожению всех демократических институтов в США, а превращению страны в своего рода деспотическую монархию. Об этом говорит, например, в незавершенном произведении, получившем название: «Два фрагмента из записочной книги, озаглавленной «Взгляд на историю, или Общий очерк истории». Здесь прямо сказано, что «Великую республику», то есть США, невозможно спасти, поскольку в стране восторжествовала торжествующая дух и каждый стал «патриотом» лишь собственного кармана. В результате правительство окончательно попало в «руки сверхбогачей», а это значит, что хозяином, диктатором Америки в состоянии стать докучный деспот-фантаст.

Струйковича
Юлия Соьера

Твен создаст образ такого недруга простого народа, противоречиво выразителся его воли. Демагог (он когда-то был сатириком и претендует на «демократизм») в конце концов и устанавливает в США монархию. В результате гибнет то, что для писателя служило наиболее очевидным свидетельством превосходства его родины — этой республики — над странами Европы, где еще до сих пор кое-где существуют короли и монархи. Америка, по Твену, становится такой же тиранией, как и любое другое государство мира, где царит феодальный уклад, где сохраняется «старый режим».

Сатирическую окраску этому пронзительно (вернее, сериально) наброском для него — нам еще неизвестно, что именно собирался писатель создать из отдаленных пассажей) придает, в частности, то обстоятельство, что «Запрещенная книга» задумана как повествование, которое несет человек будущего, рассказывающий о прошлом, то есть прежде всего об Америке начала XX в.

И вот читатель унаследует, что все завоевания американской демократии давным-давно утрачены, а в США наступили дни черной реакции.

Многозначительный факт: началом конца демократии в США в изображении писателя становится именно превращение его родины в империалистическую державу.

Итак, бывшие навозини Твена таковы все быстрее, а его сатира приобретает новые размеры, новую мощь. Писатель теперь высмеивает не только отдаленные недостатки и уязвимые стороны буржуазного общества — он дает понять, что развитие капиталистической цивилизации запело американское общество в политический и нравственный тупик.

Разбиты, разрушены все надежды на благополучное развитие американской демократии, на ее поступательное движение, движение вперед. В одной из записных книжек сатирика появляется страшное предположение, что еще до конца XX в. в США будет установлена власть инквизиции и наступит «эпоха тьмы». А это значит, что после успешного развития науки и техники в Америке придет конец. Между тем Европа, добывает писатель, станет республиканской и именно там наука достигнет процветания.

Хотя Твен почти всегда отыгрывался с насмешкой о церковниках, о религиозных догмах, в конце жизни он стал выражать свои атеистические взгляды даже настойчивее прежнего (например, в «Письмах с земли» или в «Путешествии капитана Стормфила в рай»). Для этого были свои причины — в бога писатель все чаще видел теперь символ неправедных порядков.

Твен уже весьма широко известен как бисателевый юморист, который несет в сокровищницу мировой литературы выклад огромной эстетической ценности. Но еще не получив должного признания не менее важный факт: он был также одним из величайших сатириков всего мира. Показывая в сатирически утрированном, нередко гротеском виде реальные уродства капиталистического строя, Марк Твен с замечательной и предельной ясностью давал понять: образ жизни, основой которого является слепое доверие, стяжательство, лживость, лишь будущему, обречен. Необходимы иные дороги, иные цели, иные горизонты.

М. Менделсон

ПРЕДИСЛОВИЕ

Большая часть приключений, о которых рассказано в этой книге, взяты из жизни: одно-два пережиты мною самим, остальные мальчиками, учившимися вместе со мной в школе. Гек Финн списан с натуры, Том Сойер также, но не с одного оригинала — он представляет собой комбинацию черт, взятых у трех мальчиков, которых я знал, и потому принадлежит к смешанному архитектурному сырью.

Дикое суровая, описанные ниже, были распространены среди детей и негров Запада в те времена, то есть тридцать — сорок лет тому назад.

Хотя моя книга предназначена главным образом для развлечения мальчиков и девочек, я надеюсь, что ею не побрезгуют и взрослые мужчины и женщины, ибо в мои планы входило напомнить им, какими были они сами когда-то, что чувствовали, думали, как разговаривали и в какие странные авантюры иногда вовлекались.

Харффорд. 1876

Автор



ЎЗБЕКИСТОН Республикаси
ОЛИ ВА ОЎҚИ МАКСУД ТА ЎЎҚИ
TOSHKENT VILOYATI O'QUVCHILARI
DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI
АХВОРОТ RESURS MARKAZI

ГЛАВА I

— Том!

— Ответа нет.

— Том!

— Ответа нет.

— Удивительно, куда мог деваться этот мальчишка! Том, где ты?

— Ответа нет.

Тетя Полали спустила очки на нос и оглядела комнату поверх очков, затем подняла их на лоб и оглядела комнату из-под очков. Она очень редко, почти никогда не глядела сквозь очки на такую мелочь, как мальчишка; это были парадные очки, ее гордость, приобретенные для красоты, а не для пользы, и что-нибудь разглядеть сквозь них ей было так же трудно, как сквозь пару печеных заслонок. На минуту она растерялась, потом сказала — не очень громко, но так, что мебель в комнате могла ее слышать:

— Ну погоди, дай только до тебя добраться...

Не договорив, она нагнулась и стала тыкать щеткой под кровать, переводя дыхание после каждого тычка. Она не извлекла оттуда ничего, кроме кошки.

— Что за ребенок, в жизни такого не видывала!

Подойдя к открытой настежь двери, она остановилась на пороге и обвела взглядом свой огород — грядки помидоров, заросшие дурманом. Тома не было и здесь. Тогда, возвысив голос, чтобы ее было слышно как можно дальше, она крикнула:

— То-о-ом, где ты?

За ее спиной послышался легкий шорох, и она оглянулась — как раз вовремя, чтобы ухватить за помощника мальчишку, прежде чем он проморгнул в дверь.

— Ну так и есть! Я и позабыла про чулан. Ты что там делаешь?

— Ничего.

— Ничего? Посмотри, в чем у тебя руки. И рот тоже. Это что такое?

— Не знаю, тетя.

— А я знаю. Это варенье — вот что это такое! Сорок раз я тебе говорила: не смей трогать варенье — выдери! Поддай сюда розгу.

Розга засвистела в воздухе, — казалось, беды не минуют.

— Ой, тетя, что это у вас за спиной?!

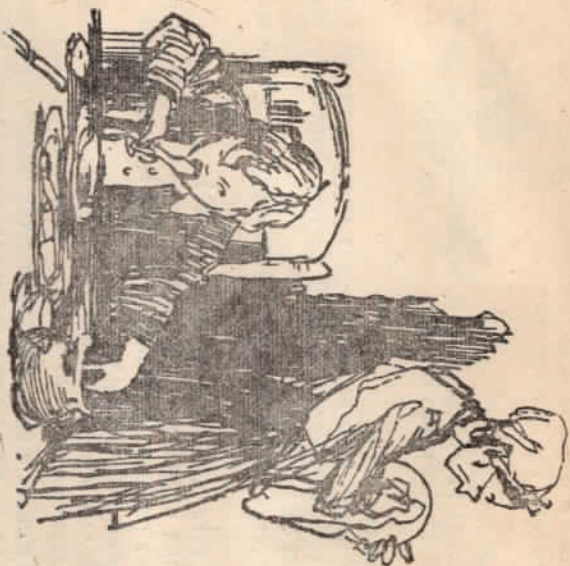
Старушка обернулась, подхватив юбки, чтобы уберечь себя от опасности. Мальчик в один миг перемахнул через высокий забор и был таков.

Тети Полали в первую минуту опешила, а потом довольно рассмеялась:

— Вот и поди с ним! Неужели я так ничему и не научусь? Мало ли он со мной выкидывает фокусов? Пора бы мне, кажется, поумнеть. Но нет хуже дурака, чем старый дурак. Недаром говорится: «Старую собаку не выучишь новым фокусам». Но ведь, господи ты боже мой, он каждый день что-нибудь да придумает, где же тут угадать. И как будто знает, сколько времени можно меня изводить; знает, что стоит ему меня расшевелить или хоть на минуту сбить с толку, у меня уж и руки опускаются, я даже шлепнуть его не могу. Не выползай и своего дола, что греха таить! Ведь сказано в Писании: кто щадит младенца, тот губит его. Ничего хорошего из этого не выйдет, грех один. Он сущий чертенок, знаю, но ведь он, бедняжка, сын моей покойной сестры, у меня как-то духу не хватает наказывать его. Потакать ему — совесть замучит, а накажешь — сердце разрывается. Недаром ведь сказано в Писании: век человеческий краток и полон скорбей; дулаю, что это правда. Нынче он отлынивает от школы; придется мне завтра наказать его — засажу за работу. Мало заставлял мальчишка работать, когда у всех детей праздник, но работать ему всего тажедай, а мне надо исполнить свой долг — иначе я погублю ребенка.

Том не пошел в школу и отлучно провел время. Он





еде успел вернуться домой, чтобы до ужина помочь негритенку Джиму напилить на завтра дров и наколоть щенок для растопки. Во всяком случае, он успел расквасить Джиму о своих похождениях, пока тот съезжал три четверти работы. Младший (или, скорее, сводный) брат Тома, Сид, уже съезжал все, что ему подавалось (он подбирал и носил щепки): это был послушный мальчик, не склонный к шалостям и проказам.

Покуда Том ужинал, при всяком удобном случае таская из сахарницы куски сахара, тети Полаи задавала ему разные каверзные вопросы, очень хитрые и мудреные, — ей хотелось поймать Тома враспах, чтобы он проговорился. Как и многие простодушные люди, она считала себя большим дипломатом, способным на самые тонкие и таинственные уловки, и полагала, что все ее невинные хитрости — чудо изворотливости и лукавства. Она спросила:

- Том, в школе было не очень жарко?
- Нет, тетя.
- А может быть, очень жарко?
- Да, тетя.

— Что ж, неужели тебе не захотелось выкупаться, Том?

У Тома душа ушла в пятки — он почувал опасность. Он недоверчиво посмотрел в лицо тете Полаи, но ничего особенного не увидел и потому сказал:

— Нет, тетя, не очень.

Она протянула руку и, пощупав рубашку Тома, сказала:

— Да, пожадуй, ты насколько не вспотеял. — Ей приятно было думать, что она сумеет проверить, сухая ли у Тома рубашка, так, что никто не понял, к чему она кознит.

Однако Том сразу почувал, куда ветер дует, и предупредил ссажающий ход:

— У нас в школе мальчики обдирали голову из колючки. У меня она и сейчас еще мокрая, поглядите!

Тети Полаи очень огорчилась, что упустила из виду такую важную улику. Но тут же вдохновилась опять.

— Том, ведь тебе не надо было распарывать воротник, чтобы окатить голову, верно? Расстегни куртку! Лидо Тома просияло. Он распахнул куртку — воротник был крепко зашит.

— А ну тебя! Убирайся вон! Я, признаться, думала, что ты сбегнешь с уроков купаться. Так и быть, на этот раз я тебя прощаю. Не так ты плох, как кажешься.

Она и огорчилась, что проницательность обманула ее на этот раз, и обрадовалась, что Том хоть случайно вса себя хорошо.

Тут вмешался Сид:

— Мне показалось, будто вы зашили ему воротник белой ниткой, а теперь у него черная.

— Ну да, я зашивала белой! Том!

Но Том не стал дожидаться продолжения. Выбегая из двери, он крикнул:

— Я это тебе припомню, Сидан!

В укромном месте Том осмотрел две толстые нитки, вышитые в лоскуты его куртки и обмотанные ниткой: и одну нитку была выета белая нитка, в другую — черная.

— Она бы ничего не заметила, если бы не Сид. Вот черт! То она зашивает белой ниткой, то черной. Хотя бы одно что-нибудь, а то никак не угадаешь. Ну и отгадало же и Сид. Будет помнить!

Том не был самым примерным мальчиком в городе, зато очень хорошо знал самого примерного мальчика — и терпеть его не мог.

Через две минуты, и даже меньше, он забыл все свои несчастья. Не потому, что эти несчастья были не так тяжемы и горьки, как несчастья взрослого человека, но потому, что новый, более сильный интерес вытеснил их и изгнал на время из его души. — совершенно так же, как взрослые забывают в волнении свое горе, начиная какое-нибудь новое дело. Такой новинкой была особенная ма-нера свистеть, которую он только что перенял у одного негра, и теперь ему хотелось поупражняться в этом искусстве без помехи.

Это была совсем особенная птичка трель — нечто вроде заливистого щебета; и для того чтобы она получилась, надо было то и дело дотрагиваться до небд языком, — читатель, верно, помнит, как это делается, если бы когда-нибудь мальчишкой. Приложив к деалу старание и терпение, Том скоро приобрел необходимую сноровку и зашатал по улице еще быстрее, — на устах его звучала музыка, а душа преисполнилась благодарности. Он чувствовала себя, как астроном, открывший новую планету, — и, без сомнения, если говорить о сильной, глубокой, ничем не омраченной радости, все преимущества были на стороне мальчика, а не астронома.

Летние вечера таятся долог. Было еще совсем светло. Вдруг Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомый мальчик чуть побольше его самого. Приезжий любого возраста и пола был редкостью в захудалом ма-леньком городишке Сент-Питерсберге. А этот мальчишка был еще и хорошо одет — подумывать только, хорошо одет в будний день! Просто удивительно. На нем были все-сем новая франтовская шляпа и нарядная суконная куртка, застегнутая на все пуговицы, и такие же новые штаны. Он был в башмаках — это в пятницу-то! Даже гал-стук у него имелся — из какой-то пестрой аснты. И во-обще вид у него был столичный, чего Том никак не мог стерпеть. Чем дальше Том смотрел на это блистающее чудо, тем выше он задирал нос перед франтом-чужаком и тем более жадным казался ему его собственный кос-том. Оба мальчика молчали. Если двигался один, то двигался и другой — но только боком, по кругу; они все

время стояли лицом к лицу, не сводя глаз друг с друга. Наконец Том сказал:

— Хочешь, поколочу?

— А ну, попробуй! Где тебе!

— Скажешь, что поколочу, значит, могу.

— А вот и не можешь.

— Могу.

— Не можешь!

— Могу.

— Не можешь!

— Тысячное молчанье. После чего Том начал:

— Как тебя зовут?

— Не твоё дело.

— Захочу, так будет мое.

— Ну так чего ж не дерешься?

— Поговори еще у меня, подучишь.

— И поговори, какой выискался! Да я захочу, так одной левой тебя побью.

— Ну так чего ж не бьешь? Только разговариваешь.

— Будешь дурака валять — и побью.

— Ну да — выдали мы таких.

— Ишь вырядился! Подумаешь, какой важный! Еще и в шапке!

— Возьми да себя, если не нравишься. Попробуй себя — тогда узнаешь.

— Врешь!

— Сам врешь!

— Где уж тебе драться, не посмешь.

— Пошел к черту!

— Поговори еще у меня, я тебе голову кирпичем про-ломлю!

— Как же, так и проломил!

— И проломлю.

— А сам стоишь? Разговаривать только мастер. Че-го же не дерешься? Бойсья, значит?

— Нет, не боюсь.

— Бойсья!

— Нет, не боюсь.

— Бойсья!

— Нет, не боюсь.

— Бойсья!

— Нет, не боюсь.

— Бойсья!

— Нет, не боюсь.

— Бойсья!

— Убирайся отсюда!

— Сам убирайся!

— Не хочу.

— И я не хочу.

Каждый стоял, выставив ногу вперед, как опору, толкаясь из всех сил и с ненавистью глядя на соперника. Однако ни тот, ни другой не мог одолеть. Наконец, разгоряченные борьбой и раскрасневшиеся, они осторожно отступили друг от друга, и Том сказал:

— Ты трус и щенок. Вот скажу моему старшему брату, чтоб он тебе задавал как следует, так он тебя одним мизинцем поборет.

— А мне нападать на твоего старшего брата! У меня тоже есть брат, еще постарше. Возьмет да как перебросит твоего через забор! (Никаких братьев и в помине не было.)

— Все враки.

— Ничего не враки, маю ли что ты скажешь.

Большим пальцем ноги Том провел в пыли черту и сказал:

— Только перешагни эту черту, я тебя так отауплю, что своих не узнаешь. Попробуй только, не обидуешься.

Новый мальчик быстро перешагнул черту и сказал:

— Ну-ка попробуй тронь! *Том*

— Ты не толкайся, а то как дам!

— Ну, подлякну я, как ты мне дашь! Чего же не дерешься?

— Давай два цента, отауплю.

Новый мальчик достал из кармана два больших медяка и насмешливо протянул Тому. Том ударил его по руке, и медяки полетели на землю. В тот же миг оба мальчика покатались в грязь, сцепившись по-кошачьи. Они таскали и рвали друг друга за волосы и за одежду, царапали носы, утонули один другого туманами — и покрыли себя пылью и славой. Скоро неразбериха прояснилась, и сквозь дым сражения стало видно, что Том оседлал нового мальчика и молотил его кулаками.

— Проси пощады! — сказал он.

Мальчик только забарахтался, пытаясь высвободиться. Он плакал больше от злости.

— Проси пощады! — И кулаки заработали снова. В конце концов чужак сдавленным голосом запросил пощады, и Том выпустил его, сказав:

— Это тебе наука. В другой раз гледи, с кем связываешься.

Франт побрел прочь, отрикая пыль с костюмчика, всхлипывая, сопли и обещая задать Тому как следует, «когда поймает его еще раз».

Том посмеялся над ним и направился домой в самом превосходном настроении, но как только Том повернул к нему спину, чужак схватил камень и бросил в него, угодив ему между лопаток, а потом пустился наутек, скача, как антилопа. Том гнался за ним до са-сторожки у калитки, выходящей неприятеля на улицу, но тот только стронял ему рожи из окна, отклоняя вызов. Наконец появилась мамаша неприятеля, обозвала Тома скверным, грубым, невоспитанным мальчишкой и велела ему убираться прочь. И он убрался, предупредив, чтоб ее сынок больше ему не попадался.

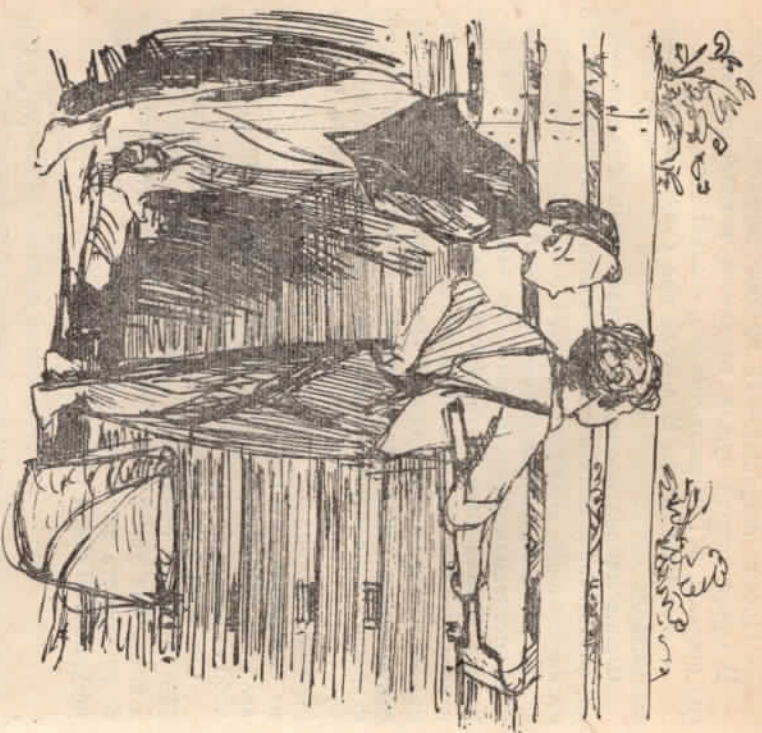
Он вернулся домой очень поздно и, осторожно встав в окно, обнаружил засаду в лице тети Полли; ее решимость заменить ему суботний отдых каторжной работой стала тверже гранита.

ГЛАВА II

Наступило суботнее утро, и все в лютнем мире дышало свежестью, сияло и кипело жизнью. В каждом сердце звучала музыка, а если это сердце было молодо, то песня рвалась с губ. Радость была на каждом лице, и весна — в походе каждого. Беда акция стояла и полным цветом, и ее благоухание разливалось в воздухе.

Карлифская гора, которую видно было отовсюду, извлеклась вся сплошь и казалась издали чудесной, заманчивой страной, полной мира и покоя.

Том появился на тротуаре с ведром известки и длинной кистью в руках. Он оглядел забор, и всякая радость отлетела от него, а дух потонул в глущающей тоске. Тридцать ядов дощатого забора в девять футов вышиной! Жизнь показавшаяся ему пустой, а су-



ществование — тяжким бременем. Взмыхая, он окунул кисть в ведро и провел ею по верхней доске забора, повторил эту операцию, продавая ее снова, сравнил ничтожную выбеленную полосу с необходимыми материком некрашеного забора и усеялся на загородку под деревом в полном унынии. Из калитки вприпрыжку выбежал Джим с жестоким ведром в руке, напевая «Девушки из Буффало». Носить воду из городского колодца раньше казалось Тому скучным делом, но сейчас он посмотрел на это иначе. Он вспомнил, что у колодца всегда собирается общество. Белые и черные мальчишки и девчонки вечно торчали там, дожидаясь своей очереди, отдыхали, менялись игрушками, ссорились, дрались, баюкались. И еще он припомнил, что, хотя колодец был от

них всего шагов за полтораста, Джим никогда не возвращался домой раньше чем через час, да и то приходилось кого-нибудь посылать за ним. Том сказал:

— Слушай, Джим, я схожу за водой, а ты побди тут немножко.

— Не могу, мистер Том. Старая хозяйка всеела мне поскорей сходить за водой и не останавливаться ни с кем по дороге. Она говорила, мистер Том, верно, позовет меня белить забор, так чтоб я шел своей дорогой и не совался не в свое дело, а уж насчет забора она сама позаботится.

— А ты ее не слушай, Джим. Мало ли что она говорит. Давай мне ведро, я в одну минуту сбегаю. Она даже не угадет.

— Ой, боюсь, мистер Том. Старая хозяйка мне за это голову оторвет. Ей-богу, оторвет.

— Она-то? Да она никогда и не дерется. Стукнет по голове наперстком, вот и все,— подумаешь, важность какая! Говорит-то она бог знает что, да ведь от слов ничего не делается, разве сама заплачет. Джим, я тебе шарик подарю! Я тебе подарю белый с мраморными жилами!

Джим начал колебаться.

— Белый мраморный, Джим! Это тебе не пустяки!

— Ой, как здорово бьют! Только уж очень я боюсь старой хозяйки, мистер Том...

— А еще, если хочешь, я тебе покажу свой большой палец.

Джим был всего-навсего человек — такой собакин оказался ему не по силам. Он поставил ведро на землю, взял белый шарик и, весь охваченный любопытством, наклонился над боковым пальцем, покуда Том размазывал бинт. В следующую минуту он уже асета по улице, громыхая ведром и почесывая спину. Том усердно белил забор, а тети Полаи удалялась с театра военных действий с туфлей в руке и торжеством во взоре.

Но энергия Тома хватала ненадолго. Он начал думать о том, как весело рассчитывал провести этот день, и скорбь его умножилась. Скоро другие мальчишки придут из дому в разные интересные места и поднимут Тома на смех за то, что его заставили работать,— одна эта мысль жгла его, как огнем. Он вынул из кармана

все свои сокровища и пронзая им смотр: ломаные иголки, шарики, всякая дрянь. — Может, годится на обмен, но едва ли годится на то, чтобы купить себе хотя бы один час полной свободы. И том опять убрал в карман свои толстые капиталы, оставив всякую мысль о том, чтобы подкупить мальчишек. Но в эту мрачную и безнадежную минуту его вдруг осенило вдохновение. Не боюсь и не менее как настоящее ослепительное вдохновение!

Он взялся за кисть и продолжал не торопясь работать. Скоро из-за угла показались Бен Роджерс — тот самый мальчик, чьих намерений Том боялся больше всего на свете. Походка у Бена была легкая, подпрыгивающая — верное доказательство того, что и на сердце у него легко и от жизни он ждет только самого лучшего. Он жевал яблоко и время от времени издавал протяжный, мелодичный гудок, за которыми следовало: «Динь-дон-дон, динь-дон-дон», — на самых низких нотах, потому что Бен изображал собой пароход. Подойдя поближе, он убавил ход, повернул на середину улицы, накрепился на правый борт и стал не торопясь заворачивать к берегу, старательно и с надеждой важно-стью, потому что изображал «Большую Миссисипи» и имел осадку в девять футов. Он был и пароход, и капитан, и пароходный колокол — все вместе, и потому вообразил, что стоит на капитанском мостике, сам отдавая команду и сам же ее выполнял.

— Стоп, машина! Тинь-динь-динь! — Машина застопорилась, и пароход медленно подошел к тротуару. — Задний ход! — Обе руки опустились и вытянулись по бокам.

— Право руля! Тинь-динь-динь! Чу! Чу-чу-у! Чу! — Правая рука тем временем торжественно описывала круги: она изображала сорокафутовое колесо.

— Лево руля! Тинь-динь-динь! Чу-чу-чу-у! — Левая рука начала описывать круги.

— Стоп, правый борт! Тинь-динь-динь! Стоп, левый борт! Малый ход! Стоп, машина! Самый малый! Тинь-динь-динь! Чу-у-у! Отдай ксилы! Живей! Ну, где же у вас канат, чего копаетесь? Зачаливай за сваю! Так, так, теперь отпусти! Машина стала, сэр! Тинь-динь-динь! Шт-шт-шт! (Это пароход выпускал пары.)

Том по-прежнему белая забор, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился на него и сказал:

— Ага, попался, взял на причал!

Ответа не было. Том рассматривал свой последний мазок глазами художника, потом еще раз осторожно провел кистью по забору и отступил, любясь результатами. Бен подошел и стал рядом с ним. Том протянул сапогу — так ему захотелось яблока, но упорно работая. Бен сказал:

— Что, старик, работать приходить, а?

Том круто обернулся и сказал:

— А, это ты, Бен? Я и не заметил.

— Саушай, я иду купаться. А ты не хочешь? Да нет, ты, конечно, поработаешь? Ну, само собой, работать куда интересней.

Том приставил носом к Бену и спросил:

— Что ты называешь работой?

— А это, по-твоему, не работа, что ли?

Том снова принялся белить и ответил небрежно:

— Что ж, может, работа, а может, и не работа. Я знаю только одно, что Тому Сойеру она по душе.

— Да брось ты, уж будто бы тебе так нравится белить!

Кисть все так же равномерно двигалась по забору. — Нравится? А почему же нет? Небось не каждый день нашему брату достается белить забор.

После этого все дело представлялось в новом свете. Бен перестал жевать яблоко. Том осторожно водил кистью назад и вперед, останавливаясь время от времени, чтобы полюбоваться результатом, добавляя мазок, другой, опять любоваясь результатом, а Бен следил за каждым его движением, проливая все больше и больше интереса к делу. Другой он сказал:

— Саушай, Том, дай мне побелить немножко.

Том задумался и сначала как будто готов был согласиться, а потом вдруг передумал.

— Нет, Бен, все равно ничего не выйдет. Тети Полли прямо трясется над этим забором; понимаешь, он пыхдит на улицу, — если б это была та сторона, что во двор, она бы слова не сказала, да и я тоже. Она прямо трясется над этим забором. Его знаешь как надо бе-

Ант? По-моему, разве один мальчик из тысячи, а то и из двух тысяч сумеет выдержать его как следует.

— Да что ты? Саушай, пусть хоть попробоват, хоть чуть-чуть. Том, я бы тебя пустил, если б ты был на моем месте.

— Бен, я бы с радостью, честное индейское! Да ведь как быть с тетей Полаи? Джиму тоже хотелось покраснеть, а она не позволяла. Сиду хотелось, она и Сиду не позволяла. Видишь, какие дела? Ну-ка, возмешся ты бежать забор, а ядрут что-нибудь...

— Да что ты, Том, я же буду стараться. Ну пусти, я попробую. Саушай, я тебе дам серединку от яблока.

— Ну, ладно... Хотя нет, Бен, лучше не надо. Я боюсь.

— Я все яблоко тебе отдам!

Том выпустил кисть из рук с виду не очень охотно, зато с ликованием в душе. И пока бывший паролод «Большая Миссури» трудился в поте лица на солнцепеке, удалявшийся от дед художник, сидя в тени на бочонке, бодала ногами, жевала яблоко и обдумывала давнейший план избиения мадегасцев. За ними дело не стадо. Мальчики ежeminутно пробегали по улице; они подходили, чтобы пошептать над Томом, — и оставались бежать забор. Когда Бен выдохся, Том продак следующую очередь Биали Финеру за подержанного бумажного змея, а когда тот устал бежать, Джонни Мидлер купил очередь за дохлую крысу с веревочкой, чтобы удобней было вертеть, и т. д. и т. д., час за часом. К середине дня из бедного мальчика, бамзкого к нищете, Том стадо богачом и буквально утопадо в роскоши. Кроме уже перечисленных богатств, у него имелось: двенадцать шариков, саоманная губная гармоника, осколок синего бутылочного стекла, чтобы гадать сквозь него, пустая катушка, каюч, который ничего не отпирал, кусок меда, хрустаальный пробка от графина, оловянный солдатик, парад гооловастиков, шесть хаопушек, односталаый котенок, медная дверная ручка, собачий ошейник без собачки, чепенок от ножа, четыре куска апевсинной корки и старая оконная рама. Том отменно провеа все это время, ничего не дала и веселась, а забор был покрыт известкой в три слоя! Если б у него не кончилась известка, он разорил бы всех мальчишек в городе.

Том подумал, что жить на свете не так уж плохо. Сам того не подозревая, он открыл великий закон, управляющий человеческими действиями, а именно: для того чтобы мальчику или взрослому захотелось чего-нибудь, нужно только одно — чтобы этого было несекто добиться. Если бы Том был великим и мудрым мыслителем, прославет автора этой книги, он сделал бы вывод, что Работа — это то, что человек обязан делать, а Игра — то, чего он делать не обязан. И это помогло бы ему понять, почему делать искусственные цветы или носить воду в решете есть работа, а сбивать кегли или восходить на Монблан — забава. Есть в Англии такие богачи, которые приписки в лесному пору править почтовой каретой, запряженной четверником, потому что это стоит им бешеных денег; а если б они получали за это жадованье, игра прератилась бы в работу и потеряла для них всякий интерес.

Том раздумывал еще некоторое время над той естественной переменной, какая пронзошла в его обстоятельствах, а потом отравившись с донесением в главный штаб.

ГЛАВА III

Том явился к тете Полаи, которая сидела у открытого окна в очень уютной комнате, служившей одновременно спальней, гостиной, столовой и библиотекской. Мягкий асипный воздух, успокаивающая тишина, запах цветов и усаплавляющее гудение пчел оказали свое действие, и она вырвалась над вязаньем, потому что разговаривать ей было не с кем, кроме кошки, да и та спала у нее на коленях. Очки безопасности ради были подняты у нее выше ада. Она думала, что Том давным-давно сбжедал, и удивлялась, что он сам так безбоязненно идет к ней в руки. Он сидел:

— Можно мне теперь пойти поиграть, тетя?

— Как, уже? Сколькo же ты сделала?

— Все, тетя.

— Том, не сочиняй, я этого не люблю.

— Я не сочиняю, тетя, все готово.

Тети Полаи не могла привычки верить на слово. Она



пошла посмотреть сама и бы-
ла бы довольна, если бы са-
ва Тома оказалась правдой
хотя бы на двадцать процен-
тов.

Когда же она увидела, что
выбегает весь забор и не толь-
ко выведен, но и покрыт из-
весткой в два и даже три слоя
и вдобавок на земле проведе-
на белая полоса, то ее удив-
ление перешло вские грани-
цы. Она сказала:

— Ну-ну! Нечего сказать,
работать ты можешь, когда
захочешь, Том. — Но тут же
разбавила комплимент водой: — Жаль только, что это
очень редко с тобой бывает. Ну, ступай играть, да при-
ходи домой вовремя, не то выдеру.

Она была настолько поражена блестящими успехами
Тома, что повела его в чулан, выбрала самое большое яб-
лочно и преподнесла ему с назидательной речью о том, на-
сколько дороже и приятней бывает награда, если она за-
работана честно, без грех, путем добродетельных стара-
ний. И пока она заканчивала свою речь очень кстати
подвернувшимся текстом из Писания, Том успел стаянуть
у нее за спиной приник.

Он вприпрыжку выбежал из комнаты и увидел, что
Сид поднимается по наружной лестнице в пристройку
второго этажа. Комья земли, которых много было под
рукой, замескали в воздухе. Они градом сыпались вок-
руг Сида, и, прежде чем тети Полаи успела опомниться
от удивления и прийти на выручку, пять-шесть комьев
попали в щель, а Том перемахнул через забор и скрыва-
лся. В заборе была калитка, но у него, как и всегда, вре-
мени было в обрез, — до калитки ли тут. Теперь душа
его успокоилась: он отплатил Сиду за то, что тот под-
вел его, обратив внимание тети Полаи на черную нитку.
Том обошел свой квартал стороной и свернул в гряз-
ную минова опасную зону, избегая пленения и каз-
ни, и побежал на городскую площадь, где по предвари-
тельному уговору уже строились в боевом порядке две

армии. Одной из них командовал Том, а другой — его
академичный друг Джо Гарпер. Оба великих полководца
не унывали до того, чтобы сражаться самим, — это
было бы слишком всякой мелюзге, — они сидели вместе
на возвышении и руководили военными действиями, рас-
сывая приказы через адъютантов.

После долгого и жестокого боя армия Тома одержала
большую победу. Подсчитали убитых, обменялись
пленными, уговорились, когда объявят войну и из-за
чего драться в следующий раз, и назначили день реше-
тельного боя: затем обе армии построились походным
порядком и ушли, а Том в одиночестве отпирывался
домой.

Проходя мимо того дома, где жил Джеф Татчер, он
увидел в саду незнакомую девочку — прекрасное голубо-
глазое создание с золотистыми волосами, заплетенными
в две длинные косы, в белом летнем платьице и выши-
тых панталончиках. Только что увенчанный лаврами ге-
рой сдался в плен без единого выстрела. Некая Эми Ло-
уренс мгновенно испарилась из его сердца, не оставив по-
себе даже воспоминания. Он думал, что любит ее без па-
мяти, думал, что будет обожать ее вечно, а оказалось,
что это всего-навсего мимолетное увлечение. Он несколь-
ко месяцев добивался взаимности, она всего неделю то-
му назад призналась ему в любви; только семь коротких
дней он был счастлив и горд, как никто на свете, — и вот
и одно мгновение она исчезла из его сердца, как маа-
никогда гостья, которая побывала недолго и ушла.

Он поклялся новому ангелу издал, пока не уви-
дел, что она его заметила; тогда он притворился, будто
не видит, что она здесь, и начал доматься на разные ла-
ды, как это принято у мальчишек, стараясь ей пона-
вредить и выдать ее восхищение. Довольно долго он вы-
кидывал всякие дурацкие шуточки и дарил, случайно
попав в ее сторону во время какого-то годового обряда
окрестничества фокуса, увидел, что девочка поверну-
лась к нему спиной и направляется к дому. Том подошел
и забор и прислонился к нему в огорчении, надеясь все-
таки, что она побудет в саду еще немножко. Она постоя-
ла минутку на крыльце, потом повернулась к двери. Ко-
гда она переступила порог, Том тяжело вздохнул. Но
тут же просиял: прежде чем исчезнуть, девочка перебро-
сила через забор цветок — анютины глазки. Том подбе-
жал к нему.

ждал к забору и остановился шагах в двух от цветка, потом прикрыл глаза ладонью и стал всматриваться куда-то вдаль, словно увидал в конце улицы что-то очень интересное. Потом подняв с земли соломинку и начал уставлять ее на носу, закинув голову назад; двинувшись ближе и ближе, подошла к цветку и в конце концов наступила на него босой ногой, — гибкие пальцы захватили цветок, и, прыгая на одной ноге, Том скрылся за углом. Но только на минуту, пока засовывал цветок под куртку, поближе к сердцу, — а может быть, и к железу: он был не слишком силен в анатомии и не разбирался в таких вещах.

После этого он вернулся к забору и слонялся около него до самой темноты, ломаясь по-прежнему. Но девочка больше не показывалась, и Том утешал себя мыслью, что она, может быть, подошла в это время к окну и видела его старания. Наконец он очень неохотно побрел домой, совсем замечтавшись.

За ужином он так разошелся, что тетка только удивлялась: «Какой бес веселился в этого ребенка!» Ему довольно влетело за то, что он бросал землей в Сиду, но он и ухом не повед. Он попробовал стащить кусок сахара под самым носом у тетки и получил за это по ржкам. Он сказал:

— Тетя, вы же не бьете Сиду, когда он таскает сахар. — Но Сид никогда не выводит человека из терпения так, как ты. Ты не вылезал бы из сахарницы, если бы я за тобой не следил.

Скоро она ушла на кухню, и Сид, обрадовавшись своей безнаказанности, потащил к себе сахарницу: такую награду было просто невозможно стерпеть. Сахарница выскальзнула из пальцев Сиды, упала и разбилась. Том был в восторге. В таком восторге, что даже придержал язык и смолчал. Он решил, что не скажет ни слова, даже когда войдет тетя Полли, а будет сидеть смиренно, пока она не спросит, кто это сделал. Вот тогда он скажет и полюбуется, как влетит «любимчику», — ничего не может быть приятнее! Он был до того переполнен радостью, что едва сдерживался, когда тетя вошла из кухни и остановилась над осколками, бросая молниеносные взгляды поверх очков. Про себя он думал, затанцует дыхание: «Вот, вот, сию минуту!» И в следующую миг растянулся на

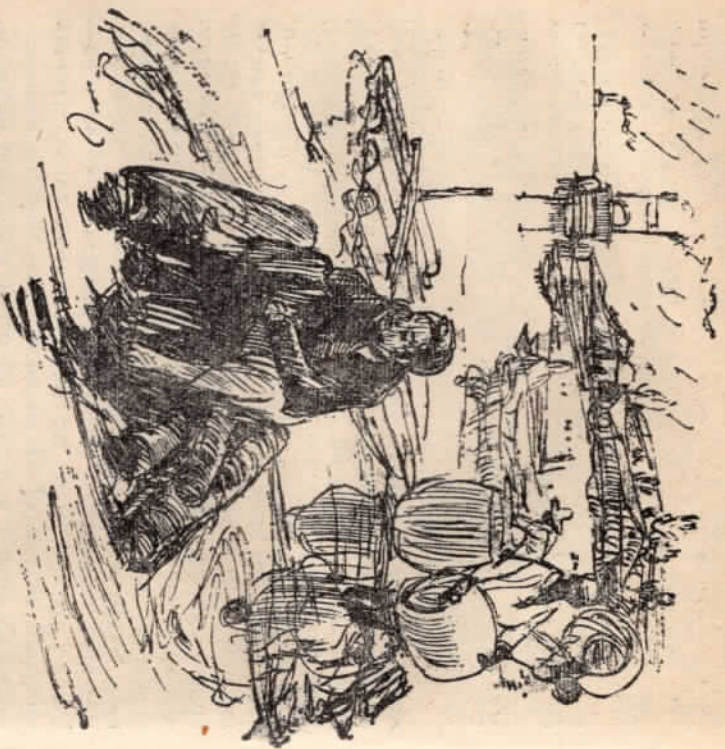
полу! Караящая дамба была уже занесена над ним елою, когда Том возопил.

— Да погодите же, за что вы меня лупите? Это Сид разбил!

Тети Полли замерла от неожиданности, и Том ждал, не покажет ли она его. Но как только дар слова вернулся к ней, она сказала:

— Гм! Ну, я думаю, тебе все же не зря влетело! Уж наверно, ты что-нибудь еще натворил, пока меня тут не было.

Потом совесть упрекнула ее, и ей захотелось сказать что-нибудь ласковое и хорошее; но она рассудила, что это будет понито как признание в том, что она виновата, и дисциплина этого не допускает. И она промолчала и задалась своими делами, хотя на сердце у нее было неспокойно. Том сидел, надувшись, в углу и расправлял свои раны. Он знал, что в душе тетка стоит перед ним на коленях, и мрачно наслаждалась этим сознанием: он не подает и вида, — будто бы ничего не замечает. Он знал, что время от времени она посылает ему тоскующий взгляд, словно слышит, но не ждал ничего замечать. Он воображал, будто лежит при смерти и тети Полли склоняется над ним, вымалывая хоть слово прощения, но он отвернется к стене и умрет, не признав этого слова. Что она почувствует тогда? И он воображал, как его принесут мертвого домой, вытащив из реки: его кудри намокнут, измученное сердце перестало биться. Как она тогда упадет на его бездыханный труп и слышит у нее похвоты рекой, как она будет молить бога, чтоб он вернул ей ее мальчишку, тогда она ни за что больше его не обидит! А он будет лежать бездельный и холодный, ничего не чувствуя, — бедный маленький страдалец, претерпевший все мучения до конца! Он так расчувствовался от всех этих возвышенных мечтаний, что глотал слезы и давил их вниз, ничего не видя, а когда он мигал, слезы текли по щекам и капали с кончика носа. И он так насаждался своими горестями, что не в силах был допустить, чтобы какая-нибудь земная радость или раздражающее несчастье вторглись в его душу; он обернул свою скорбь, как свитыню. И потому, когда в комнату впроруха его сестрица Мари, вся сияя от радости, что возвращается домой после бесконечной недели, проведенной в деревне, он встал и вышел в одну дверь, окру-



женный мраком и грозвыми тучами, в то время как ликование и солнечный свет входили вместе с Мари в другую.

Он бродил далеко от тех улиц, где обычно играли мальчишки, выискивая безлюдные закоулки, которые ответственности бы его настроению. Плот на реке пока-заясь ему подходящим местом, и он усажлся на самом краю, созерцая мрачную пену реки и желая только одного: утонуть сразу и без мучений, не соблюдая та-го-стного порядка, заведенного природой. Тут он вспо-минал про цветок, извлеченный из кармана, помятый и увяд-ший, и это усилило его скорбное блаженство. Он стал ду-мать о том, пожалела ли бы она его, если б знала. Мо-жет, заплакала бы, захотела бы обнять и утешить. А может, отвернувшись бы равнодушно, как и весь хо-лодный свет. Эта картина так растрогала его и довела

его муки до такого приятно-расслабленного состояния, что он мысленно повертывал ее и так и сик, рассматри-вая в разном освещении, пока ему не надоело. Нако-нец он поднялся на ноги со вздохом и скрылся в тем-ноте.

Вечером, около половины десятого, он шел по без-людной улице к тому дому, где жила престарелая незна-комка. Дойдя до него, он постоял с минутой: ни одного звука не уловив его настороженное ухо; свеча бросала тусклый свет на штору в окне второго этажа. Не там ли она присутствует незримо? Он пересек через забор, осторожно перебрался через каушбы с цветами и стал под окном; долго и с волнением глядел на него, задрав голову кверху; потом улегся на землю, растянувшись во весь рост, сложив руки на груди и прижимая к ней бедный, упавший цветок. Так вот он и умрет — один на белом свете, — ни крова над бесприютной головой, ни дружеской, участвовавшей руки, которая утешала бы предсмертный пот с его холодеющего лба, ни любящего лица, которое с жалостью склонилось бы над ним в по-следний час. Наступит радостное утро, а она увидит его бездыханный труп. Но ах! — проронит ли она хоть одну слезинку над его трупом, вздохнет ли хоть один раз о том, что так безвременно погибла молодая жизнь, подожженная жестокой рукой во цвете лет?

Окно открылось, резкий голос прислуги осквернила свещенную тишину, и целый потоп хлынул на распро-стертые останки мученика.

Герой едва не захлебнулся и вскочил на ноги, от-фыркиваясь. В воздухе просветела камешь вместе с не-винитой бранью, зазвенело стекло, разлетаясь вдребез-ги, коротенькая, смутно различимая фигурка перескочи-ла через забор и растаяла в темноте.

Когда Том, уже разделившись, разглядывал при свете свального отарка промокнувшую насквозь одежду, Сид про-бормотал: но если у него и было какое-нибудь желание попрекнуть и намеркнуть, то он передумал и смолчал, заметив по глазам Тома, что это небезопасно.

Том улегся в постель, не считая нужным обрисо-вать себя моантвой, и Сид мысленно отметил это упу-щенное.

ГЛАВА IV

Солнце взошло над безмятежной землей и осияло с высоты мирный городок, словно благословляя его. После завтрака тети Полаи собралась на семейное богослужение; оно началось с молитвы, построенной на солидном фундаменте из библейских цитат, скрепленных жиденьким цементом собственных добавлений; с этой вершины, как с горы Синай, она и возвестила суровую главу Закона Моисеева.

После этого Том, как говорится, препоясал чресла и приступил к зазубриванию стихов из Библии. Сид еще несколько дней назад выучил свой урок. Том прилежно все силы, для того чтобы затвердеть наизусть пять стихов, выбрав их из Наторной проповеди, потому что нигде не нашел стихов короче.

Через полчаса у Тома сложилось довольно смутное представление об уроке, потому что его голова была занята всем, чем угодно, кроме урока, а руки непрерывно двигались, развлекаясь каким-нибудь посторонним делом.

Мари взяла у него книжку, чтобы выслушать урок, и Том начал спотыкаться, кое-как пробираясь сквозь туман:

— Блаженны... Э-э...

— Нищие...

— Да, нищие; блаженны нищие... э-э-э...

— Духом...

— Духом; блаженны нищие духом, ибо их... ибо

они...

— Ибо их...

— Ибо их... Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное. Блаженны плачущие, ибо они... ибо они...

— У...

— Ибо они... э...

— У-те...

— Ибо они у-те... Ну, я не помню, как там давай! Блаженны ибо плачущие, ибо они... ибо плачущие... а давай как? Ей-богу, не знаю! Что же ты не подкажешь, Мари! Как тебе не стыдно меня дразнить?

— Ах, Том, дурачок ты этакий, вовсе я тебя не дразню, и не думаю даже. Просто тебе надо как следует

научить все сначала. Ничего, Том, выучишь как-нибудь, а когда выучишь, я тебе подарю одну очень хорошую вещь. Ну, будь же умницей!

— Ладно! А какую вещь, Мари, ты только скажи?

— Не все ли тебе равно. Раз я сказала, что хорошую, значит, хорошую.

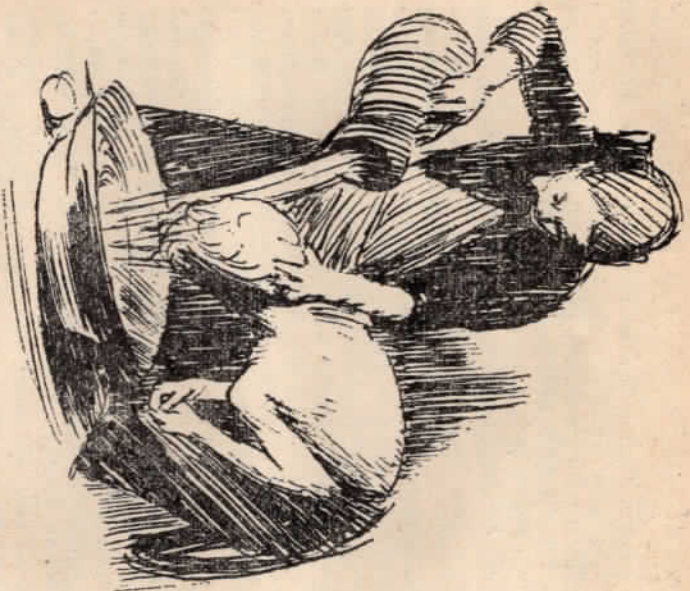
— Ну да уж ты не обманешь. Ладно, я пойду принаду.

Том принялся — и под двойным давлением любви и предостойней награды принялся с таким воодушевлением, что добился блестящих успехов. За это Мари подарила ему новенький перочинный ножик с двумя лезвиями ценой в двенадцать с половиной центов; и нахваливавший на Тома посторг потряс его до основания. Правда, ножик совсем не резал, зато это была не какая-нибудь подделка, а настоящий ножик фирмы Барлоу, в чем и заключалась его непостижимое очарование; хотя откула мальчишки Западных штатов знали, что это грозное оружие можно подделывать и что подделка была бы хуже оригинала, совершенно неизвестно и, надо сказать, навсегда останется тайной. Том ухитрился изрезать этим ножиком буфет и уже подбирался к комоду, как его позвали одеваться в воскресную школу.

Мари дала ему жестяной таз, полный воды, и кусок мыла; он вышел за дверь и поставил таз на скамейку, потом окунул мыло в воду и опить положил его на место; закатал рукава, осторожно вылил воду на землю, потом вошел в кухню и начал усердно тереть лицо полотенцем, висевшим за дверью. Но Мари отняла у него полотенце, сказав:

— Как тебе не стыдно, Том. Умойся как следует. От воды тебе ничего не делается.

Том немножко смутился. В таз опять налили воды; и на этот раз он постоял над ним некоторое время, соображаясь с духом, потом набрал в грудь воздуха и начал умываться. Когда Том после этого вошел на кухню, замурнув глаза и ошупывая отсыкивая полотенце, по его щекам текла мыльная пена, честно свидетельствуя о непосильных трудах. Однако, когда он отнял от лица полотенце, оказалось, что вид у него не совсем удовлетворительный: чистыми были только щеки и подбородок, которые бедали, как маска, а ниже и выше начиналась темная полоса неорощенной почвы, которая захватывала



шею и спереди и сзади. Тогда Мари взялась за него сама, и, выйдя из ее рук, он уже ничем не отделился по цвету кожи от своих баяноликих братьев; мокрые волосы были аккуратно приглажены щеткой, их короткие завитки лежали ровно и красиво. (Том потихоньку стараясь распрямить свои кудри, прилагая много трудов и стараний, чтобы они лежали на голове как прихвоенные; ему казалось, что с кудрями он похож на девчонку, и это очень его огорчало.) Потом Мари достала из шкафа костюм, который вот уже два года Том надевал только по воскресеньям и который назывался «другой костюм», на основании чего мы можем судить о богатстве его гардероба. После того как он оделся сам, Мари привела его в порядок: она застегнула на нем чистенькую курточку до самого подбородка, отвернула книзу широкий воротник и расправила его по плечам, почистила Тома щеткой и надела ему соломенную шляпу с крапинками. Теперь он выглядел очень нарядно и

чувствовал себя очень неловко: новый костюм и чистота стесняли его, чего он терпеть не мог. Он надеялся, что Мари забудет про башмаки, но эта надежда не сбылась: Мари, как полагается, хорошо смазала их салом и принесла ему. Том вышел из терпения и заворчал, что его вечно заставляют делать то, чего ему не хочется. Но Мари ласково уговорила его:

— Пожалуйста, Том, будь умирей.

И Том, ворча, надел башмаки. Мари оделась в одну минуту, и дети втроем отправились в воскресную школу, которую Том ненавидел от всей души, а Сид и Мари любили.

В воскресной школе занималась с девяти до половины одиннадцатого, а потом начиналась проповедь. Двое из детей оставались на проповедь добровольно, а третий тоже оставался — по ниним, более существенным причинам.

На жестких церковных скамьях с высокими спинками могло поместиться человек триста; церковь была маленькая, без всяких украшений, с колокольной на крыше, похожей на узкий деревянный ящик. В дверях Том немного отстал, чтобы поговорить с одним приятелем, тоже одетым по-воскресному:

— Послушай, Библии, есть у тебя желтый билетик?

— Есть.

— Что ты просишь за него?

— А ты что дашь?

— Кусок лапши и рыболовный крючок.

— Покажи.

Том показал. Приятель остался доволен, они обменялись ценностями. После этого Том променял два белых шарика на три красных билетика и еще разные пустишки — на два синих. Он еще около четверти часа подстергал подходящих мальчиков и покупал у них билетики разных цветов. Потом он вошел в церковь вместе с батюгой чистеньких и шумливых мальчиков и девочек, усаживая на свое место и заведя ссору с тем из мальчиков, который был поближе. Вышла важная, пожилой учитель; но как только он повернулся спиной, Том успел дернуть за волосы мальчишку, сидевшего перед ним, и уткнулся в книгу, когда этот мальчик оглянулся; тут же он ковылял будавкой другого мальчика, любившего пускаться пошутить, как тот заорет: «Ой!» — и получив

еще один выговор от учителя. Весь класс Тома поворачивался на один лад — все были беспокойные, шумные и непослушные. Выходя отвечать урок, ни один из них не знал стихов как следует, всем надо было подсказать. Однако они кое-как добрались до конца, и каждый получил награду — маленький синий библиотек с текстом из Священного писания; каждый синий библиотек был платой за два выученных стиха из Библии. Десять синих библиотек равнялись одному красному, их можно было обменять на красный библиотек; десять красных библиотек равнялись одному желтому; а за десять желтых директор школы давал ученику Библию в дешевой переплете (стоявшую в то доброе старое время сорок центов). У многих из них читательской найдется столярка усердия и прилежания, чтобы заучить наизусть две тысячи стихов, даже за Библию с рисунками Доре? Но Мари заработала таким путем две Библии — в результате двух лет терпения и труда, а один мальчик из немцев даже четыре или пять. Он как-то прочел наизусть три тысячи стихов подряд, не останавливаясь; но такое напряжение умственных способностей оказалось ему не по силам, и с тех пор он слезался идиллом — большое несчастье для школы, потому что во всех торжественных случаях, при посетителях, директор всегда вызывал этого ученика и заставляла его «из кожи лезть», по выражению Тома. Только старшие ученики умудрялись сохранять свои библиотек и просматривать над зубрежкой достаточно долго, чтобы получить в подарок Библию, и поэтому выдача этой награды была редким и памятным событием; удачливый ученик в этот день играл такую важную и заманчивую роль, что сердце каждого школьника немедленно загоралось честолюбием, которого хватало иногда на целых две недели. Быть может, Том не был одержим духовной жадной настолью, чтобы стремиться к этой награде, но нечего и сомневаться в том, что он всем своим существом жаждал славы и блеска, которые приобретались вместе с ней.

Как водится, директор школы стал перед кафедрой, держа молитвенник в руках, и, заложив его пальцем, потребовал внимания. Когда директор воскресной школы провозносит обычную коротенькую речь, то молитвенник в руках ему так же необходим, как ноты певца, который стоит на эстраде, готовясь пропеть соло, — хотя

почему это нужно, остается загадкой: оба эти ученика никогда не загадывают ни в молитвенник, ни в ноты. Директор был невзрачный человек лет тридцати пяти, с рыжеватой козлиной бородкой и коротко подстриженными рыжеватыми волосами, в жестком стоячем воротничке, верхний край которого подпирал ему уши, а острые углы выступали вперед, доходя до уголков рта. Этот воротник, словно забор, заставляла его гадать только прямо перед собой и поворачиваться всем телом, когда надо было посмотреть вбок; подбородком учитель упирался в галстук шириной в банковый билет, с бахромой на концах; носки его ботинок были по моде слабо загнуты вперед, напоминая лыжи, — результат, которого молодые люди того времени добивались упорным трудом и терпением, просиживая целые часы у стенки с прижатыми к ней носками. С виду мистер Уолтерс был очень серьезен, а в душе честен и искренен; он так благогоушал перед всем, что свято, и настолько отдался духовное от суетского, что незаметно для себя самого в воскресной школе он даже говорил совсем другим голосом, не таким, как в будние дни. Свою речь он начинал так:

— А теперь, дети, я прошу вас сидеть как можно тише и прямее и минуту-другую слушать меня как можно внимательнее. Вот так. Именно так и должны себя вести хорошие дети. Я вижу, одна девочка смотрит и окно; кажется, она думает, что я где-нибудь там. — (Одобрительное хихиканье.) Мне хочется сказать вам, как приятно видеть, что столько чистеньких веселых детских лиц собралось здесь для того, чтобы научиться быть хорошими.

И так далее, и тому подобное. Нет никакой необходимости приводить здесь конец этой речи. Она составлена по неизменному образцу, а потому мы все с ней знакомы.

Последняя треть его речи была несколько омрачена пошлостями среди озорников драками и иными развлечением, а также шепотом и движением, которые постепенно распространялись все дальше и дальше и докатились даже до подножия таких одиноких и неземных столбов, как Сид и Мари. Но с последним словом мистера Уолтерса всякий шум прекратился, и конец его речи был встречен благодарным молчанием.

Перешептывание было отчасти вызвано событием бое или менее редким — появлением гостей: адвоката Тэтчера в сопровождении какого-то совсем дряхлого старика, представителяного джентльмена средних лет с седыми волосами и величественной дамы, должно быть, его жены. Дама веда за руку девочку. Тому Соьеру не сиделось на месте, он был встревожен и не в духе, а кроме того, его грядла совет — он избегал встречаться глазами с Эми Лоуренс, не мог вынести ее любящего взгляда. Но как только он увидел маленькую незнакомку, вся душа его наполнилась блаженством. В следующую минуту он уже старался из всех сил: колотил мальчишек, дергал их за волосы, строил рожи, — словом, делал все возможное, чтобы очаровать девочку и заслужить ее одобрение. Его радость портит только одно — воспоминание о том, как его обилии помоями в саду этого ангела, но и это воспоминание быстро смыл волны счастья, нахлынувшие на его душу. Гости усадились на почетное место и, как только речь мистера Уолтера была окончена, их представляли всей школе. Джентльмен средних лет оказался очень важным лицом — не бодался и не менее как окружным судьей, самой высокопоставленной особой, какую приходилось видеть детям. Им любопытно было знать, из какого материала он создан, и хотелось услышать, как он рычит, но вместе с тем было и страшно. Он приехал из Константинополя, за двенадцать миль отсюда, — значит, путешествовал и видел свет: вот этими самыми глазами видел здание окружного суда, о котором ходили слухи, будто оно под железной крышей. О благоговении, которое вызывали такие мысли, говорило торжественное молчание и ряды почти таявно взирающих глаз. Ведь это был знаменитый судья Тэтчер, брат эдешнего адвоката. Джеф Тэтчер немедленно вышел вперед, на звание всей школы, и показал, что он коротко знаком с великим человеком. Если б он мог слышать шепот, подымавшийся кругом, то этот шепот усаждал бы его душу, как музыка:

— Поглядит-ка, Джим! Идет туда. Гляди, протянул ему руку — здоровается! Вот ловко! Скажи, небось хочешь быть на месте Джефа?

Мистер Уолтерс старался, проявляя необыкновенную распорядительность и расторопность, отдавая приказания, делая замечания и распылая выговоры направо и

налево, кому придется. Библиотекарь старался, бегая туда и вперед с охапками книг и производя ненужный шум, какой любит поднимать мелкотравчатое начальство. Молодежные учительницы старались, ласково склонив над учениками, которых не так давно драли за уши, грозили пальчиком маленьким шагунам и глядели по головке послушных. Молодые учителя старались, делая строгие выговоры и на все лады проявляя власть и поддерживая дисциплину. Почти всем учителям сразу понадобилось что-то в книжном шкафу, рядом с кафедрами; и они наседавали туда раза по два, по три, и каждый раз будто бы нехоты. Девочки тоже старались как могли, а мальчики старались так усердно, что жеванная бумага и затрепанные сыпались градом. И над всем этим восседал великий человек, благосклонно улыбаясь всей школе снисходительной улыбкой судьи и треня в ладья собственной славы, — он тоже старался.

Одного только не хватало мистеру Уолтеру для полного счастья: возможности вручить награду Бибано и подлатать чудом учености. У некоторых школьников имелись желтые бисеттики, но ни у кого не было столько, сколько надо, — он уже опросил всех первых учеников. Он бы отдал все на свете за то, чтобы к немушкому мальчику вернулось умственные способности. И в ту самую минуту, когда всякая надежда покинула его, вперед выступил Том Соьер с девятью желтыми бисетниками, девятью красными и десятью синими и потребовал себе Бибано. Это был гром среди ясного неба. Мистер Уолтерс никак не ожидал, что Том может потребовать Бибано, — по крайней мере, в течение ближайших десяти лет. Но делать было нечего — налицо были подлинные счета, и по ним следовало платить. Тома пригласили на повышение, где сидел судья и другие награжденные, и великая новость была провозглашена с кафедрой. Это было самое поразительное событие за последние десять лет, и печатание оказалось настолько потрясающим, что новый герой сразу вознесся до уровня судьи, и вся школа созерцала теперь два чуда вместо одного. Всех мальчиков терзала зависть, а бывшие друзья страдали от жесточайших угрозений именно те, кто раньше поздно понял, что они сами помогли возвышению ненавистного выскочки, променяв ему бисетники на те богатства, которые он нажи, уступая другим

свое право бешить забор. Они сами себя презирали за то, что дались в обман хитрому проныре и попались на уловку.

Награда была вручена Тому с такой прочувствованной речью, какую только мог выжать из себя директор при создавшихся обстоятельствах, но в ней недоставало истинного вдохновения, — бедняга чувал, что тут кроется какая-то тайна, которую вряд ли удастся вывести из мрака на свет: просто быть не может, чтобы этот мальчишка собрал целых две тысячи библейских снопов в житницу свою, когда известно, что ему не осилить и двенадцати. Эми Лоуренс и гордилась, и радовалась, и страдалась, чтобы Том это заметил по ее лицу, но он не глядел на нее. Она задумалась; потом светка огорчилась; потом у нее возникло смутное подозрение — появилось, исчезло и возникло снова; она стала наблюдать; один беглый взгляд сказал ей очень многое — и тут ее поразила удар в самое сердце: от ревности и злости она чуть не заплакала и возненавидела всех на свете, а больше всех Тома, — так ей казалось.

Тома представил судье; но язык у него прилип к гортани, сердце усиленно забилось, и он едва дышал — отчасти подавленный грозным величием этого человека, но главным образом тем, что это был ее отец. Он бы с радостью упал перед судьей на колени, если бы в школе было темно. Судья поглядел Тома по голове, назвал его славным мальчиком и спросил, как его зовут. Мальчик раскрыл рот, запнулся и едва выговорил:

— Том.

— Нет, не Том, а...

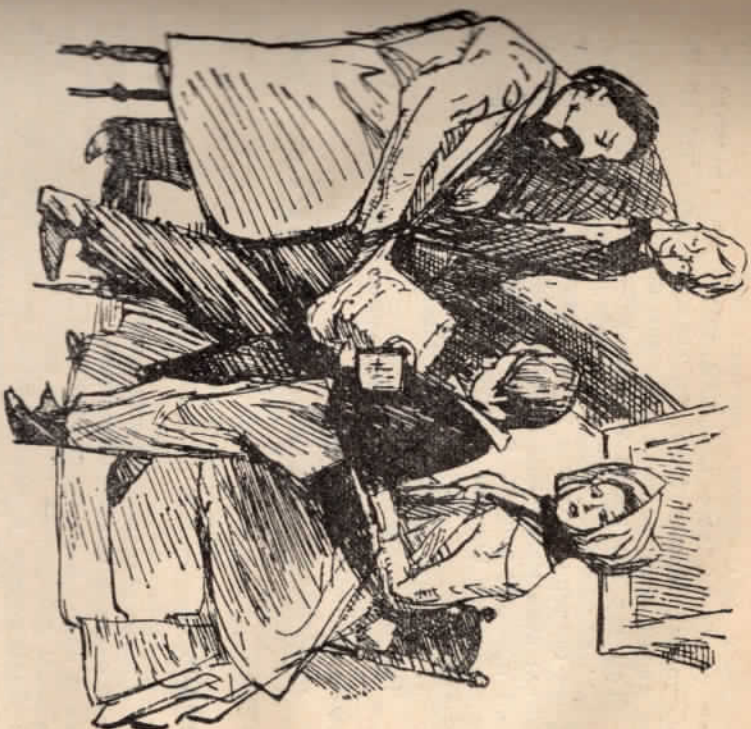
— Томас.

— Ну, вот это так. Я так и думал, что оно немножко длиннее. Очень хорошо. Но у тебя, само собой, есть и фамилия, и ты мне ее, конечно, скажешь!

— Скажи джентльмену, как твоя фамилия, Томас, — вмешался учитель, — и не забывай говорить «сэр». Веди себя как следует.

— Томас Сойер... сэр.

— Вот так! Вот молодец. Славный мальчик. Славный маленький человек. Две тысячи стихов — это очень много, очень много. И никогда не жалея, что потратил на это столько трудов: знание дорожке всего на свете — это оно делает нас хорошими людьми и



даже великими людьми; ты и сам когда-нибудь станешь хорошим человеком, большим человеком, Томас, и тогда ты оглянешься на пройденный путь и скажешь: «Всем этим и обязан тому, что в детстве имел счастье учиться в прекрасной школе, — моим дорогим учителям, которые полагали мне дорогу к знанию, моему доброму директору, который поощрял меня, селел за мной и подвигал меня прекрасную Библию — роскошную, изысканную Библию, которая станет моей собственностью и будет храниться у меня всю жизнь, — и все это благодаря тому, что меня правильно воспитывали!» Вот что ты скажешь, Томас, и эти две тысячи стихов станут тебе дорожкой всех денег, — да, да, дорожкой. А теперь не рассказывай ли ты мне и вот этой аде что-нибудь из того, что ты выучил? Конечно, расскажешь, потому что мы

гордились мальчиками, которые так хорошо учатся. Без сомнения, тебе известны имена всех двенадцати апостолов? Может быть, ты скажешь нам, как звали тех двоих, которые были призваны первыми?

Том все это время терпелив готовил и застенчиво глядел на судью. Теперь он покраснел и опустил глаза. Душа мистера Уолтера ушла в пятки. Про себя он подумал: ведь мальчишка не может ответить даже на самый простой вопрос, и чего это судье вздумалось его спрашивать? Однако он чувствовал, что обязан что-то сказать.

— Отвечай джентльмену, Томас, не бойся.

Том все молчал.

— Я знаю, мне он скажет,— вмешалась дама.— Первых двух апостолов звали...

— Давид и Иоанн!

Опустим же занесу милосердия над концом этой сцены.

ГЛАВА V

Около половины одиннадцатого зазвонил наотрешнутый колокол маленькой церкви, а скоро начал собираться и народ к утренней проповеди. Ученики воскресной школы разбрелись по всей церкви и расселись по скамейкам вместе с родителями, чтобы быть все время у них на глазах. Пришла и тетя Полин. Сид и Мари сидели рядом с ней, а Тома посадили поближе к проходу, как можно дальше от раскрытого окна и соблазнительных летних видов. Прихожане заполнили оба придела: престарелый и немущий почтеннейший, знавший лучше дни; мэр со своей супругой — ибо в городишке имелся и мэр, вместе с прочими ненужностями; судья; вдова Дуглас — красивая, нарядная женщина лет сорока, добрая душа, всем известная своей щедростью и богатством, владелица единственного барского дома во всем городе, гостеприимная хозяйка и устроительница самых блестящих праздников, какими мог похвастаться Сент-Питерсберг; почтенный согнутый в дуугу майор Уорд со своей супругой; адвокат Риверсон, новоявленная знаменитость, приехавшая откуда-то издалика; местная красавица в сопровождении стайки юных покорительниц сердец, разряженных в батист и ленты. Вслед за девицами

появились цесой гурьбой молодые люди, городские чиновники, — полукруг натомаженных вздыхателей стояли на панерти, посасывая набадашки свои тросточки, пока девицы не вошли в церковь; и, наконец, после всех явился Примерный Мальчик Вилли Мафферсон со своей мамашей, с которой он общался так бережно, как будто она была хрупкая. Он всегда сопровождал свою мамашу в церковь и был любимчиком городских дам. Зато все мальчишки его терпеть не могли, до того он был хорош; кроме того, Вилли постоянно ставили ему в пример. Как и всегда по воскресеньям, безосужденный папачон торчал у него из заднего кармана — будто бы случайно. У Тома палатка и в заводе не было, поэтому всех мальчишек, у которых были палатки, он считал фантатами.

После того как собралась вся паства, колокол прозвонил еще один раз, подгоняя лентяев и зевак, и в церкви водворилось торжественное молчание, нарушаемое только хихиканьем и перешептываньем певчих на доджение всей службы. Был когда-то один такой церковный хор, который вел себя прилично, только в позабыл, что о нем не помню, но, по-моему, это было не у нас, а где-то за границей.

Проповедник назвал гимн и с чувством прочел его от начала до конца на тот особый лад, который пользовался и заданных местах большим успехом. Он начал читать не очень громко и постепенно возвышал голос, затем, добрав до известного места, сделал сильное ударение на последнем слове и словно прыгнул вниз с трамплина:

О, мне ль блаженствовать в раю, среди цветов покоясь,
Тогда как братья во Христе бредут в крови по повсюду!

Он славился своим искусством чтения. На церковных собраниях его всегда просили почитать стихи, и как только он умолкал, все дамы поднимали вверх руки и, равно обесцвелев, роняли их на колени, закатывали глаза и трисан головами, будто говоря: «Словами этого псалма не выразишь, это слишком хорошо, слишком хорошо для нашей грешной земли».

После того как прочел гимн, его преподобие мистер Сирр повернулся к доске объявлений и стал читать

извещения о собраниях, сходках и тому подобном, пока всем не начало казаться, что он так и будет читать до второго пришествия,—странный обычай, которого до сих пор придерживаются в Америке, даже в больших городах, незирая на множество газет. Нередко бывает, что чем меньше оправданий какому-нибудь укореившемуся обычаю, тем труднее от него отделиться.

А потом проповедник стал молиться. Это была очень хорошая, длинная молитва, и никто в ней не был позавистлив: в ней молились и за церковь, и за детей, принадлежавших к этой церкви, и за другие церкви в городе, и за самый городок, и за родину, и за свой штат, и за всех чиновников штата, и за все Соединенные Штаты, и за все церкви Соединенных Штатов, и за конгресс, и за президента, и за всех должностных лиц; за бедных моряков, плавающих по бурному морю, за угнетенные народы, стонущие под игом европейских монархов и восточных деспотов; за тех, кому открыт свет евангельской истины, но они имеют уши и не слышат, имеют глаза и не видят; за лычников на дальних островах среди моря; а заключалась она молением, чтобы слова проповедника были услышаны и пали на добрую почву, чтобы семена, им посеянные, возжили во благовремении и дали обильный урожай. Аминь.

Зашелестели юбки, и поднявшиеся со своих мест прихожане снова уселись. Мальчик, о котором повествует эта книга, нисколько не радовался молитве: он едва ее вытерпел, и то через силу. Во все время молитвы он вертелся на месте; не вникая в суть, он подсчитывал, за что уже молились,—слушать он не слушал, но сама суть давно была ему известна, известно было также, что после чего будет сказано. И когда пастор вставал от себя что-нибудь новенькое, Том ловил ухом непривычные слова, и вся его натура возмущалась: он считал такие прибавления нечестными и жульническими. В середине молитвы на спинку скамьи перед Томом усеялась муха и долго не давала ему покоя — она то потирала сложенные вместе ладони, то хватала падающую голову и с такой силой чесала ее, что голова чуть не отрывалась от туловища, а тоненькая, как ниточка, шел была вся на виду; то подлаживала крылья задними лапками и одергивала их, как будто это были фалды фрака; и вообще занималась своим туалетом так не-

позумитом, словно знала, что находится в полной безопасности. Да так оно и было; как ни чесалась у Тома рука поймать ее, они на это не поднимались: Том верил, что в один миг загубит свою душу, если выкинет такую штуку во время молитвы. Однако при последних словах проповедника его рука дрогнула и пополазала вперед, и как только сказано было «аминь», муха пошла в паш. Тети Пола поймала его на месте преступления и заставила выпустить муху.

Проповедник прочел текст из Библии и пустился расбулывать скучным голосом о чем-то таком неинтересном, что многие прихожане начали касаться носом, хотя, и сущности, речь шла о преисподней и вечных мук, а число праведников, которым предназначено было спасение, пастор довел до такой ничтожной цифры, что и спастись-то их не стоило. Том считал странницы проповеди: выйдя из церкви, он всегда знал, сколько страниц было прочитано, зато почти никогда не знал, о чем читали. Однако на этот раз он заинтересовался проповедью, хотя и ненадолго. Проповедник нарисовал величественную и трогательную картину того, как наступит царство божие на земле и соберутся все народы, населяющие землю, и дев возляжет рядом с лилеником, а мададенец поведет их. Но вся возвышенная мораль и поучительность этого величественного зрелища пропала для Тома даром: он думал только о том, какая это будет интригующая роль для главного действующего лица, да еще на глазах у всех народов; и ему самому захотелось быть этим мададенцем, конечно, при условии, что дев будет ручной.

После этого его мучения возобновились, потому что дальше пошан некие сухие рассуждения. Но вдруг он вспомнил, какое у него имеется сокровище, и издалек его на свет. Это была боковой черной жук со страшными челюстями — «ципич», как называл его Том. Он сидел и коровочке на-под пистолон. Первым делом жук вцепился ему в падец. Само собой, Том отдернул падец, жук повелел в проход между скамейками и шепнулся на спину, а падец Том засунул в рот. Жук лежал, беспомощно шевелил лапками, не в силах перевернуться. Том косился на него, всей душой стремясь его достать, но жук был очень далеко, так что никак нельзя было дотянуться. Другие прихожане, не чувствуя никакого интереса

к проповеди, тоже нашли в жутке развлечение и начали искося поглядывать на него. Тут в церковь забежал чей-то пудель, одурелый и разморенный от летней жары и тишины. Он соскучился в заточении и жаждал перемени. Завидев жутку, он сразу ожил и завидла хвостом. Он оглядел добычу, обошел ее кругом, обошел издали, еще раз обошел кругом; потом осмелев, подошел поближе и обнюхал; потом оскакивал зубы и попробовал схватить жутку, но промахнулся; попробовал еще и еще раз; начал входить во вкус этого занятия; улегся на живот, так чтобы жук был у него между передними лапами, и продолжал игру; наконец утомился играть с жуком и стал рассеян и невнимателен. Он начал кавать носом, голова его опустилась, мордой он дотронулся до жутки, и тот в него впился. Раздался пронзительный визг, пудель замотал головой, жук отскочил шага на два в сторону и опять шапнулся на спину. Зрители по соседству тряслись от смеха, некоторые уткнулись в платки, женщины закрылись веерами, а Том был совершенно счастлив. У пса был глупый вид, да он, должно быть, и чувствовала себя дураком, но в душе была полная возмущения и жаждал мести. Он подошел к жуку и осторожно атаковал его снова: стал ходить вокруг и бросаться на него со всех сторон, хватал лапами землю в каком-нибудь дюйме от жутки, щекал зубами еще ближе и мотал головой так, что уши болтались. Однако немного погодя ему опять надоело играть с жуком; он потянулся за мухой, но не нашел в этом ничего интересного; побегла за муравьем, держа нос у самого пола, но и это ему скоро надоело; он зевнул, вздохнул и, совсем позабыв про жутку, усеялся на него! Раздался дикий вопль, полный боли, и пудель стрелой помчался по проходу; отчаянно вой, он пробежал перед алтарем, перескочил с одной стороны прохода на другую, замесался перед дверями, с воем пронесся обратно по проходу и, совсем одурев от боли, с молниеносной быстротой начал носиться по своей орбите, словно лохматая комета. В конце концов обезумевший от боли страдалец прыгнул на колени к хозяйнику; тот выкинул его за окно, и вой, полный скорби, все ослабевая, замер где-то в отдалении.

К этому времени все в церкви сидело с красными лицами, задыхаясь от подавленного смеха, а проповедь застыла на мертвой точке. Вскоре она возобновилась,

но шла спотыкаясь и с переборами, ибо не было никакой возможности заставить паству выкинуть в ее смысла; даже полные самой возвышенной скорби слова приходящие, укрывшись за высокой спинкой скамьи, встречали задушенным взрывом нечестивого смеха, словно бедный проповедник отпустил что-то невероятно смешное. Для всех было истинным обалдешением, когда эта пытка кончилась и проповедник благословил паству.

Том Соьер шел домой в самом веселом настроении, думая про себя, что и церковная служба бывает иногда не так уж плоха, если внести в нее хоть немножко разбора. Одна только мысль огорчала его: он ничего не имел против того, чтобы пудель поиграл с его жуком, но все-таки уносить жутку с собой щенок не имел никакого права.

ГЛАВА VI

В понедельник утром Том проснулся, чувствуя себя совершенно несчастным. В понедельник утром всегда так бывало, потому что с понедельника начиналась новая неделя мучений в школе. По понедельникам ему хотелось, чтобы в промежутке совсем не было воскресенья, тогда торьяма и кандады не казались бы такими неприятными.

Том лежал и думал. И вдруг ему пришло в голову, что неудачно было бы заболеть: тогда можно и не ходить в школу. Перед ним смутно забрезжила какой-то выгода. Он исследовал свой организм. Никакой хвори не нашлось, и он принялся за дело снова. На этот раз ему показалось, что у него имеются все признаки колик в желудке, и он положил надежду на них. Однако симптома становилось все слабее и слабее и, наконец, совсем исчезли. Он стал думать дальше и скоро нашел кое-что другое. Один перхотливый зуб у него шатался. Попробовав себя с уаачей, Том уже собрался было заставить дань начал, как вдруг ему пришло в голову, что, если он пойдет к тетке с такой жалобой, она просто-напросто выдернет ему зуб, а это очень больно. Он решил остановить зуб про запас и поискать чего-нибудь еще. Конечно должно ничего не подвертывалось, потом он вспомнил, как доктор рассказывал про одну болезнь, в которой пациент неделю на две, на три укадывался и постель и мог совсем остаться без павьца.

Он сейчас же выставляет «бодливой» палец из-под простыни и стал его рассматривать. Только он не знал, какие должны быть симптомы бодзени. Все же ему думалось, что попробовать стоит, и поэтому он принялся стонать с бодышим воодушевлением.

А Сид все спал, ничего не подозревая.

Том застонал громче, и ему показалось, что палец у него в самом деле начнет бодеть.

Сид и ухом не повел.

Том совсем запыхался от натуги. Он перевел дух, потом собрался с силами и испустил порядя несколько самых замечательных стонов. Сид все храпел.

Том даже рассердился. Он позвал: «Сид, Сид!» — и потряс его. Это, конечно, подействовало, и Том опять принялся стонать. Сид зевнула, потянулася, чихнула, приподнялась на локте и стала глядеть на Тома. Том все стонал. Сид окликнула его:

— Том! Послушай, Том!

Никакого ответа.

— Да ну же! Том! Что с тобой, Том? — И Сид схватила его за плечи, испуганно заглядывая ему в глаза.

Том простонал:

— Оставь, Сид. Не трогай меня.

— Да что с тобой, Том? Я позову тетю.

— Нет, не надо. Это, может, само пройдет. Не зови никого.

— Ну как же не звать? Перестань, Том, не стони так ужасно. И давно это с тобой?

— Несколько часов. Ох! Ой, не ворочайся так, Сид, ты меня убьешь.

— Том, чего же ты меня раньше не разбудила? Ой, Том, перестань. Просто мороз по коже дерет тебя слышать. Том, да что с тобой?

— Я все тебе прощю, Сид. (Стон.) Все, что ты мне сделала. Когда я умру...

— Ой, Том, ведь ты же не умираешь? Не надо, Том, ой, перестань. Может, еще...

— Я всех прощю, Сид. (Стон.) Так и скажи им, Сид. А еще, Сид, отдай мою оконную раму и одноглазого котенка этой новой девочке, что недавно приехала, и скажи ей...

Но Сид схватила в охапку свою одежду и исчез. Том и в самом деле страдал теперь, так разрыгавшись его

поображение, поэтому его стоны звучали довольно естественно. Сид скатилась вниз по лестнице и крикнула:

— Ой, тети Полали, идите скорее! Том умирает.

— Умирает?

— Да, тетя, умирает! Чего же вы стоите — бегите скорее!

— Пустяки! Не верю!

Том не менее она стрелой понеслась вверх, а за нею по пятам Сид и Марри. Лицо у нее побелело, губы дрожали. Подбежав и постелив, она с трудом вымолвила:

— Ну, Том! Том! Что с тобой такое?

— Ой, тетечка, я...

— Что с тобой, Том, что такое с тобой случилось, мой мальчик?

— Ой, тетечка, у меня на пальце гангрена!

Тети Полали упала на стул и сначала засмеялась, потом заплакала, потом и то и другое вместе. Это вернуло ей силы, и она сказала:

— Ну, Том, что за фокусы ты со мной вытворил! Врешь эти глупости и вставай.

Стоны прекратились, и бодь в пальце совсем прошла. Том почувствовала себя довольно глупо и сказала:

— Тети Полали, мне показалось, что это гангрена, и было так боляно, что я совсем забыла про свой зуб.

— Вот как! А что у тебя с зубом?

— Дали зуб инверзу шатается и болят так, что про-

сто ушат.

— Ну, ну, давай, только не вдумай опять стонать. Открой рот. Ну да, зуб шатается, только от этого никто еще не умирает. Марри, принеси мне шекловую нитку и туришную головню из кухни.

Том сказала:

— Ой, тетечка, только не надо его дергать. Теперь он уже совсем не болят. Помереть мне на этом месте, он чудотворно не болят. Пожалуйста, не надо. Я все равно пойду в школу.



— Ах, все равно пойдешь, вот как? Так все это ты затеял только ради того, чтобы не ходить в школу, а вместо того пойти на реку? Ах, Том, Том, я так тебя люблю, а ты меня просто убиваешь своими дикими выходками!

Орудия для улавления зуба были уже наготове. Тетя Полли съезжала из шековой нитки петельку, крепко обмотала ею боковой зуб, а другой конец нитки привязала к кровати. Потом, схватив пылающую головню, ткнула ею чуть не в самое лицо мальчику. Зуб выскочил и повис, боатайся на ниточке.

Но за всякое испытание человеку полагается награда. Когда Том шел после завтрака в школу, ему завидовали все встречные мальчишки, потому что в верхнем ряду зубов у него теперь образовалась дыра, через которую можно было превосходно плавать новым и весьма замечательным способом. За Томом бежал целый хвост мальчишек, интересовавшихся этим новым открытием, а мальчик с порезанным пальцем, до сих пор бывший предметом дести и поклоны, остался в полном одиночестве и лишился былой славы. Он был очень этим огорчен и сказал пренебрежительно, что не видит ничего особенного в том, чтобы плавать, как Том Сойер, но другой мальчик ответил только: «Зачем винограда!» — и развешанному герою пришлось со стыдом удаляться.

Вскоре Том повстречал юного парню Гекльберри Финна, сына первого сент-питерсбургского пьяницы. Все городские мальчики от души ненавидели и презирали Гекльберри Финна за то, что он был лентий, озорник и не признавал никаких правил, а также за то, что их дети восхищались Гекком, стремились к его обществу, хотя им это строго запрещалось, и жалели о том, что им не хватает храбрости быть такими же, как он. Том наравне со всеми другими мальчиками из приличных семей завидовал положению юного отщепенца Гекльберри, с которым ему строго запрещалось водиться. Именно поэтому он позволялся каждым удобным случаем, чтобы поиграть с Гекком. Гекльберри всегда бегал одет в какие-нибудь обноски с чужого плеча, все в пятнах и такие драные, что дохмоты развеивались по ветру. Вместо шляпы он носил какую-то просторную равню, от подлей которой был откромсан большой кусок в виде

полумесяца; сюртук, если он имелся, доходил чуть не до пятки, причем задние пуговицы приходились гораздо ниже спины; штаны держались на одной подтяжке и висели сзади мешком, а обтрепанные штанины волачились по гряд, если Гек не закатывал их выше колен.

Гекльберри думал, что хотел, никого не спрашиваясь, в сухую погоду он ночевал на чьем-нибудь крыльце, а если шел дождик, то в пустой бочке; ему не надо было ходить ни в школу, ни в церковь, не надо было никого слушаться: захочет — пойдет ловить рыбу или купаться когда вздумает и просидит на реке сколько надумает; никто не запрещал ему драться; ему можно было гулять до самой поздней ночи; весной он первый выходил на улицу босиком и последний обувался последним; ему не надо было ни умываться, ни одеваться во все чистое; и ругаться тоже он был мастер. Словом, Гек думал все задержанные, замученные мальчики из приличных семей в Сент-Питерсберге.

Том окликнул этого романтического бродягу:

— Здравствуй, Гекльберри!

— Здравствуй и ты, коли не шутишь.

— Что это у тебя?

— Дохлая кошка.

— Давай-ка поглядеть, Гек. Вот здорово очеченел! Где ты ее взял?

— Кулина у одного мальчишки.

— А что даа?

— Синий бисетик и бычий пузырь; а пузырь я достал на бойне.

— Откуда у тебя синий бисетик?

— Кулина у Бена Роджерса за папку для обруча.

— Слыхив, Гек, а на что годится дохлая кошка?

— На что годится? Сидеть бородавки.

— Ну вот еще! Я знаю средство получше.

— Знаешь ты, как же! Говори, какое?

— А гнидаи пода.

— Гнидаи пода! Ни черта не стоит твои гнидаи пода.

— Не стоит, по-твоему? А ты пробовал?

— Нет, я не пробовал. А вот Боб Таннер пробовал.

— Кто это тебе сказал?

— Как кто? Он сказал Джефу Татчеру, а Джеф

сказаа Джонни Баккеру, а Джонни сказаа Джиму Холдису, а Джим сказаа Бену Роджерсу, а Бен сказаа одному негру, а негр сказаа мне. Вот как было дело!

— Так что же из этого? Все они врут. То есть все, кроме негра. Его я не знаю, только я в жизни не видываа такого негра, чтобы не врад. Чуть! Ты лучше расскажи, как Боб Таннер это делаа.

— Известно как: взял да и засунуа руки в гниаой пенъ, где набралаа дождеваа вода.

— Днем?

— А то когда же еще.

— И лицом к пню?

— Ну да. То есть я так думаю.

— Он говориа что-нибудь?

— Нет, кажется, ничего не говориа. Не знаю.

— Ага! Ну какой же дурак сводит так бородавки!

Ничего не выйдет. Надо пойти совсем одному в самую чащу леса, где есть гниаой пенъ, и ровно в полночь стать к нему спиной, засунуть руку в воду и сказаа:

*Ячень, ячень, рассыпся, нидейская еда,
Сведи мне бородавки, гниааа вода...*

потом быстро отойти на одинадцать шагов с закрытыми глазами, повернуться три раза на месте, а после того ити домой и ни с кем не разговариаа: если с кем-нибудь заговоришь, то ничего не подействует.

— Да, вот это похоже на дело. Только Боб Таннер сводиа не так.

— Ну еще бы, конечно, не так: то-то у него и бородавок уйма, как ни у кого другого во всем городе; а если б он знаа, как обращаться с гниаой водой, то ни одной не было бы. Я и сам свеа пропасть бородавок таким способом, Гек. Я ведь много вожусь с лягушками, оттого у меня всегда бородавки. А то еще я свожу их гороховым стручком.

— Верно, стручком тоже хорошо. Я тоже так делаа.

— Да ну? А как же ты сводиа стручком?

— Берешь стручок, дужишь зерна, потом режешь бородавку, чтоб показалаа кровь, капашь кровью на половину стручка, роешь ямку и зарывашь стручок на перекрестке в новолуние, ровно в полночь, а другую половинку надо сжечь. Понимаешь, та половинка, на которой кровь, будет все время притягивааа другую, а кровь

тянет к себе бородавку, оттого она и сходит очень скоро.

— Да, Гек, что верно, то верно; только когда зарывашь, надо еще говориа: «Стручок в яму, бородавка прочь с руки, возвращаться не моти!» — так будет крепче. Джо Гарпер тоже так делаа, а он, знаешь — где только не был! Даже до самого Кунаваа доезжаа. Ну, и как же это их сводит дохлой кошкой?

— Как? Очень просто: берешь кошку и идешь на кладбище в полночь, после того как там похорониаа кого-нибудь большого грешника; ровно в полночь являеш черт, а может, два или три; ты их, конечно, не увидишь, услышишь только, — будто ветер шумит, а услышишь, как они разговариаюа; вот когда они потащат грешника, тогда и надо бросить кошку им всаа и сказаа: «Черт за мертвецом, кошка за чертом, бородавка за кошкой, я не я, и бородавка не моя!» Ни одной бородавки не останется!

— Похоже на дело. Ты сам когда-нибудь пробоваа, Гек?

— Нет, а слыхаа от старухи Гопкинс.

— Ну, тогда это так и есть. Все говорят, что она ведаиа.

— Говорит! Я наверно знаа, что она ведаиа. Она околдоваа отца. Он мне сам сказаа. Идет он как-то и видит, что она на него напускааа порчу, тогда он схватиа камень, да как пустит в нее, — и попал бы, если б она не увернулаа. И что же ты думаешь, в ту же ночь он забралаа пыльный на крышу сарая, и свалилаа оттуда, и самаа себе руку.

— Страсть какаа! А почему же он узнаа, что она на него порчу напускаа?

— Говориа, отец это митом узнаа. Он говориа: когда ведаиа гавант на тебя в упор — значит, околдованаа. Особенно веаа что-нибудь бормочет. Потому что если веаиа бормочут, так это они читают «Отче наш» наизусть.

— Слышаа, Гек, ты когда думаешь пробовать поину?

— Ниные ночью. По-моему, черти доажны нынче прийти да старым хрычом Вильямсом.

— А ведь его похорониаа в субботу. Разве они не забралаа его в субботу ночью?

— Чепуху ты говоришь! Да разве колдовство может подействовать до полночи? А там уж и воскресенье. Не думаю, чтобы чертм можно было везде шалиться по воскресеньям.

— Я как-то не подумал. Это верно. А меня возмешь?

— Возмю, если не боишься.

— Боюсь! Еще чего! Ты мне мяукнешь?

— Да, и ты мне тоже мяукни, если можно будет. А то прошлый раз я тебе мяука-мяука, пока старик Гайс не начал швырять в меня камнями, да еще говорит: «Черт бы драг эту кошку!» А я ему запустил кирпичом в окно.— только ты не говори никому.

— Ладно, не скажу. Тогда мне нельзя было мяукать, за мной тетя следит, а сегодня я мяукну. Послушай, а это что у тебя?

— Ничего особенного, каша. *бульда, каша*

— Где ты его взял?

— Там, в лесу.

— Что ты за него просишь?

— Не знаю. Не хочется продавать.

— Не хочешь — не надо. Да и каша какой-то уж очень маленький.

— Конечно, чужого каша охотить ничего не стоит. А я своим кашом доволен. По мне, и этот хорош.

— Кашей везде сколько хочешь. Я сам хоть тысячу наберу, если вдумано.

— Так чего же не наберешь? Отлично знаешь, что не найдешь ни одного. Это самый ранний каша. Первого в этом году выжу.

— Саушай, Гек, я тебе отдам за него свой зуб.

— Ну-ка, покажи.

Том вытащил и осторожно развернул бумажку с зубом. Гекберри с завистью стал его разглядывать. Искушение было слишком велико. Наконец он сказал:

— А он настоящий?

Том приподнял губу и показал пустое место.

— Ну ладно,— сказал Гекберри,— по рукам!

Том посадил каша в коробочку из-под пистонов, где сидел раньше жук, и мальчики расстались, причем каждый из них чувствовал, что разбогател.

Дойдя до бревенчатого школьного домика, стоявшего

то подаль от других, Том вошел туда шагом человека, который торопится из всех сил. Он повесил шапку на гвоздь и с довольным видом бойко прошмыгнув на свое место. Учитель, посевдавший на кафедре в большем почетном кресле, дремал, убаюканный сонным гудением класса. Появление Тома разбудило его.

— Томас Соьер!

Том знал, что когда его имя пронесется полностью, это предвещает какую-нибудь неприятность.

— Я здесь, сэр.

— Подойдите ближе. По обыкновению, вы опять опоздали? Почему?

Том хотел было соврать, чтобы избавиться от наказания, но тут увидел две длинные золотистые косы и синюю, которую он узнал мгновенно благодаря притягательной силе любви. Единственное свободное место во всем классе было рядом с этой девочкой. Не задумываясь ни на миг, он сказал:

— Я остановился на минуту поговорить с Гекберри Финном!

Учитель чуть не хватил удар, он растерянно взглянул на Тома. Гудение в классе прекратилось. Ученики наваливались, уж не рискуя ли этот отчаянный малый. Учитель переспросил:

— Вы... Что вы сделали?

— Остановился поговорить с Гекберри Финном. Понятой ошибки быть не могло.

— Томас Соьер, это самое поразительное признание, какое я только слышал. Одной английки мало за такой проступок. Снимите вашу куртку.

Гудя учитель торопился до полного изнеможения, пока не издохли все прутья. После чего был отдан приказ:

— А теперь, сэр, ступайте и сидите с девочками! Простое это будет для вас уроком.

Смешон, вошедший промчавшийся по классу, казался, смущен Тома, на самом же деле это было не смущение, а почтительный робость перед новым божеством и страх, смешанный с радостью, которую сулила такая необыкновенная удача. Он сел на самый конец основной скамьи, а девочка, вздернув носик, отодвинулась от него подальше. Все кругом шептались, подталкивали друг друга и переминивались; однако Том сидел смирно, по-

том, когда писали диктант, он надеялся ошибок в самых простых словах, известных всякому мальчику, оказался на последнем месте, и оловянная медаль за правописание, которую он носил всем напоказ несколько месяцев подряд, перешла к другому ученику.

ГЛАВА VII

Чем больше Том старался сосредоточиться на уроке, тем больше приходили в разброд его мысли. Наконец Том вздохнул, зевнул и бросил читать. Ему казалось, что большая перемена никогда не начнется. Воздух был совершенно неподвижен. Не чувствовалось ни малейшего ветерка. Из всех скучных дней это был самый скучный. Успышающее бормотанье двадцати пяти усердно зурбывших учеников навевало дремоту, как жужжанье пчел. Там, за окном, в жарком солнечном блеске, сквозь струистый от зной воздуха, чуть лиловый в отдалении, зеленели курчавые склоны Кардифской горы; две-три птицы, распахнув крылья, лениво парили высоко в небе; на улице не видно было ни одной живой души, кроме нескольких коров, да и те дремали. Душа Тома рвалась на волю, рвалась к чему-нибудь такому, что оживило бы его, помогло скоротать эти скучные часы. Его рука полезла в карман, и лицо просияло радостной, почти молитвенной улыбкой. Потихоньку он извлек на свет коробочку из-под пистонов, взял кашца и выпнул стик его на длинную плоскую палку. Кашец, должно быть, тоже просиял радостной, почти молитвенной улыбкой, но это было преждевременно: как только он, преспопавшись благодарности, пустился наутек, Том загородил ему дорогу булавкой и заставил свернуть в сторону.

Закадычный друг Тома сидел рядом с ним, страдая так же, как страдал недавно Том, а теперь он живо заинтересовался развлечением и с благодарностью принял в нем участие. Этот закадычный друг был Джо Гарпер. Обыкновенно мальчики дружили всю неделю, а в воскресенье шли друг на друга войной. Джо вынул булавку из ладканы курточки и тоже помог муштровать пленного. Игра с каждой минутой становилась все интереснее. Скоро Тому показалось, что давом они только мешают друг другу и ни тому, ни другому нет настояще-

го удовольствия от кашца. Он положил на палку грифельную доску Джо Гарпера и разделил ее пополам, проведя черту сверху донизу.

— Вот, — сказал он, — пока кашец на твоей стороне, можешь подгонять его булавкой, а его трогать не стану; а если ты его упустишь, и он перебежит на мою сторону, так уж ты его не трогай, тогда я его буду гонять.

— Ладно, вайай, выпускай кашца.

Кашец очень скоро ушел от Тома и пересек экватор. Джо его немножко помучил, а потом кашец от него сбегал и опять перешел границу. Он то и дело перебегал с места на место. Пока один из мальчиков с увлечением гоним кашца, весь уйдя в это занятие, другой смотрел в таным же увлечением — обе головы склонились над доской, обе души умерли для всего остального на свете. Но в конце счастья как будто повалило Джо Гарперу. Кашец бросился то туда, то сюда и, как видно, взволновал и расстроился не меньше самих мальчиков. Покуда пот-пот готова была перейти к Тому; у него уже один челенек подтолкнул кашца, но тут Джо Гарпер ловко направил кашца булавкой в другую сторону, и кашец остался в его владении. В конце концов Том не мог руку и подтолкнул кашца булавкой. Джо сразу выскочил. Он сказал:

— Том, оставь кашца в покое.

— И только хотел расшевелить его чуточку.

— Нет, сэр, это нечестно; оставьте его в покое.

— Да ведь я только чуть-чуть!

— Оставь кашца в покое, говорят тебе!

— Не оставлю!

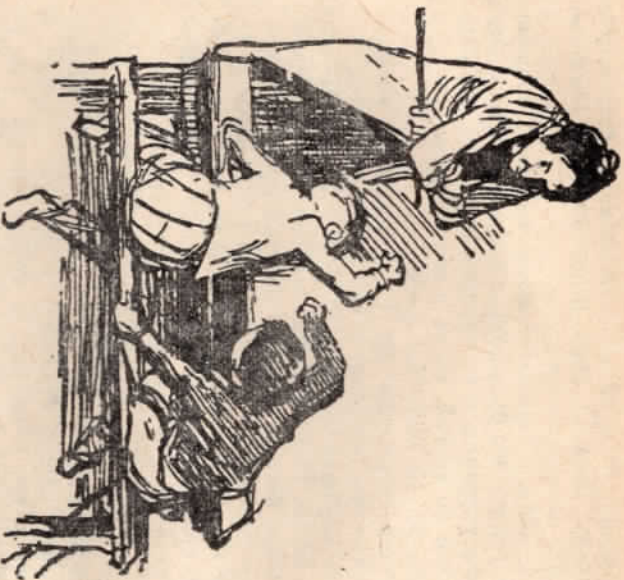
— Придется оставить — он на моей стороне!

— Исключай-ка, Джо Гарпер, чей это кашец?

— А мне нравится, чей бы ни был! На моей стороне, значит, не смей трогать.

— А я все равно буду. Кашец мой, что хочу, то и нын и даваю, вот и все.

Страшный удар обрушился на плечи Тома, и второй, совершенно такой же, — на плечи Джо; минутой две под-ина плав адела во все стороны из их курточек, и все индвинен вселмились, гадая на них. Мальчики так увлечены игрой, что не заметили, как весь класс притих, когда учитель, прокрадываясь на цыпочках через всю ком-



нату, остановился около них. Он довольно долго смотрел на представление, прежде чем внести в него некоторую долю разнообразия.

Когда школьников отпустили на большую перемену, Том побежал к Бекки Татчер и шепнул ей:

— Наденьте шляпку, как будто идете домой, а когда дойдете до угла, как-нибудь отстаньте от других девочек, сверните в переулок и приходите обратно. А я пойду другой дорогой и тоже так сделаю, удержу от своих.

Так они сделали — он пошел с одесей группой школьников, она — с другой. Через несколько минут оба встретились в конце переулка и вернулись в школу, где, кроме них, не осталось никого. Они сели вдвоем за одну парту, положили перед собой грифельную доску. Том дал Бекки грифель и стал водить ее рукой по доске, показывая ей, как надо рисовать, и таким путем соорудил еще один замечательный домик. Потом интерес к не-

квесту несколько ослабел, и они разговорились. Том начал в божество. Он спросил Бекки:

— Вы любите крест?

— Нет, терпеть их не могу.

— Ну да, явных и я тоже. А я говорю про дохлых — чтобы вертеть вокруг головы на веревочке.

— Нет, ярые в вообще не очень люблю. Я больше люблю мять резинку.

— Ну еще бы, и я тоже. Хорошо бы сейчас пожевать. Хотите? У меня есть немножко. Я дам вам пожевать, только вы потом отдайте.

Том согласился, и они стали жевать резинку по очереди, держа ноги от избытка удовольствия.

— Вы бывали когда-нибудь в цирке? — спросил Том.

— Да, и папа сказал, что еще меня поведет, если я буду хорошо учиться.

А я столько раз бывал, три или даже четыре раза. Черные арфы по сравнению с цирком. В цирке все время что-нибудь представляют. Когда я вырасту, то пойду в клоуны.

— Да? Вот будет хорошо! Они очень красивые, все в шестрэм.

— Это верно. И денет загребают кучу. Бен Роджерс говорит, будто бы по целому доллару в день. Послушайте, Бекки, вы были когда-нибудь помолвлены?

— А что это значит?

— Ну как же, помолвлены, чтобы выйти замуж.

— Нет, никогда.

— А вам хотелось бы?

— Помалашу. Я, право, не знаю. А на что это похоже?

— На что похоже? Да ни на что не похоже. Вы просят говорить мальчику, что никогда, никогда ни за кого до конца не выйдете, потом целуетесь, вот и все. Это кто так говорит?

— Неужели? А для чего же целоваться?

— Ну, знаете ли, это для того... да просто потому, что все так делают.

— Все?

— Ну конечно, все, кто влюблен друг в друга. Вы понимаете, что я написал на доске?

— А-а.

— Ну что?

— Не скажу.

— Может, мне вам сказать?

— Да-да, только как-нибудь в другой раз.

— Нет, я хочу теперь.

— Нет, не теперь, лучше завтра.

— Нет, лучше теперь. Ну что вам стоит, Бекки, в

шепотом, совсем потихоньку.

Так как Бекки колебалась, Том принял молчание за согласие, обнял ее за плечи и очень нежно прошептал ей:

— Я тебя люблю,— приставив губы совсем близко к ее уху; потом прибавил: — А теперь ты мне шепни тоже самое.

Она отнекивалась некоторое время, потом сказала:

— Вы отвернитесь, чтобы вам было не видно, тогда и шепну. Только не рассказывайте никому. Не расскажете, Том? Никому на свете, хорошо?

— Нет, ни за что никому не скажу. Ну же, Бекки! Он отвернулся. Она наклонилась так близко, что от ее дыхания зашевелились волосы Тома, и шепнула:

«Я — вас — люблю!»

И, вскочив с места, она начала бегать вокруг парт и скамеек, а Том за ней; потом она забилась в угол, закрыв лицо белым фартуком. Том, обняв Бекки за шею, стаа ее утешивать:

— Ну, Бекки, вот и все, теперь только поцеловаться. И напрасно ты боишься — это уж совсем просто. Ну же, Бекки! — И он ткнул ее за фартук и за руки.

Мало-помалу она сладась, опустила руки и покорно поставила Тому лицо, все разгоревшееся от беготни. Том поцеловал ее прямо в красивые губки и сказал:

— Ну вот и все, Бекки. После этого, знаешь, ты уже не должна никого любить, кроме меня, и замуж тоже не должна выходить ни за кого другого. Теперь это уж навсегда, на веки вечные. Хорошо?

— Да, Том, теперь я никого, кроме тебя, любить не буду и замуж тоже ни за кого другого не пойду; только и ты тоже ни на ком не женись, кроме меня.

— Ну да. Конечно. Это уж само собой. И в школу мы всегда вместе будем ходить, и домой тоже, когда никто не видит, и во всех играх ты будешь выбирать ме-

ня, а я тебя, это так уж полагается, и жених с невестой всегда так делают.

— Как это хорошо. А я и не знала. Я еще никогда об этом не слышала.

— Ох, это так несело! Вот когда мы с Эми Лоу-

инг.

Малыню и ее широко раскрытые глаза, Том понял, что проговорился, и замолчал, сконфузившись.

— Ах, Том! Так, значит, я не первая, у тебя уж была невеста?

И она замолкала. Том сказал:

— Не плачь, Бекки. Я ее больше не люблю.

— Нет, Том, любишь, ты сам знаешь, что любишь. Том попробовал обнять Бекки, но она его оттолкнула, отвернувшись лицом к стене и плакала не переставая. Том опять было сулился к ней с утешениями и опять она отвернулась. Тогда в нем заговорила гордость, он отступил от Бекки и вышел из класса. Он долго стоял в нерешительности и тревоге, то и дело поглядывая на дверь, и надеясь, что Бекки одумается и выйдет к нему. Но она все не шла. Тогда на сердце у Тома заскребан кошел, и он испугался, что его не простят. Ему пришлось вывести доверную борьбу с самим собой, чтобы сделать первый шаг, однако он решился на это и вошел в класс. Бекки все стояла в углу, лицом к стене, и всхлипывала. Том почувствовал утраченный совет. Он подошел к ней и остановился, не зная, как приняться за дело. Потом нерешительно сказал:

— Бекки, я... я никого не люблю, кроме тебя.

— Ответа не было — один рыдания.

— Бекки, — умолял он. — Бекки, ну скажи хоть слово.

Один рыдания.

Том достал самую главную свою драгоценность — маленькую пищечку от татана, протянул ее Бекки через плечо, так, чтобы она видела, и сказал:

— Бекки, хочешь, возьми себе?

Она ударила Тома по руке, пищечка покатилась на пол. Тогда Том твердыми шагами вышел из школы и отправился куда глаза глядят, чтобы в этот день больше не появляться.

Скоро Бекки начала подозревать что-то недоброе. Она подошла к двери; Тома нигде не было видно;

она побежала кругом дома во двор; его не было и там. Тогда она позвала:

— Том, вернись, Том!

Бекки прислушалась, но никто не откликнулся. Она осталась без товарища, совсем одна, в молчании и одиночестве. Она села и опять заплакала, упрекая себя; а в это время в школу уже начали собираться другие дети; ей пришлось заткнуть свое горе, унять свое страдающее сердце и нести крест весь этот долгий, скучный, тяжелый день, а кругом были одни чужие, и ей не с кем было поделиться своим горем.

ГЛАВА VIII

Том сначала сворачивал из переулка в переулок, все дальше и дальше от той дороги, по которой обыкновенно ходили школьники, а потом уныло понадеялся нота за ноту. Он два или три раза перешел вброд через маленький ручей, потому что среди мальчишек распространено поверье, будто это сбивает потону со следа. Через полчаса он уже обогнул дом вдовы Дуглас на вершине Кардифской горы, откуда школа на дне долины едва виднелась. Он вошел в густой лес, напрямик, без дороги, забрался в самую чащу и уселся на мох под раскидистым дубом.

Не чувствовалась ни малейшего ветерка; от мертвого, похолодевшего зноя притихли даже птицы; природа покоилась в оцепенении, которого не нарушал ни один звук; редко-редко долетал откуда-то издали стук дятла, но от этого всеобъемлющая тишина и безлюдье чувствовалась только еще сильнее. Душа мальчика была полна тоской, и настроение соответствовало окружающей обстановке. Он долго сидел в раздумье, поставив локти на колени и опершись подбородком на руки. Ему казалось, что жизнь — это в лучшем случае ненужное горе, и он даже позаиводвал Джими Холдесу, который недавно умер. Как хорошо, думалось ему, спокойно лежать и грешить, грешить без конца; и чтобы ветер шептался с вершинами деревьев и ласково играл с травой и цветами на могиле; не о чем больше горевать и беспокоиться! и это уже навсегда. Если бы только в воскресной школе у него были хорошие отметки! Он бы с удовольствием

умер, тогда, по крайней мере, всему конец. Взять хоть эту девочку. Что он ей сделал? Ровно ничего. Он ей только добра хотел, а она с ним — как с собакой, прямо как с самой покладливой собакой. Когда-нибудь она об этом поймает, да, может, уж поздно будет. Ах, если бы можно было умереть — не навсегда, а на время!

Но молодое сердце упруго и не может долго оставаться в слезах и оцепенении. Скоро Том начал как-то незаметно выпираться к мыслям о земной жизни. Что, если в этот раз он и убежать неизвестно куда? Что, если в этот раз далеко-далеко, в неведомые заморские страны, и больше никогда не возвращаться! Вот что бы она тогда сказала! Ему в голову опять пришла мысль сделать в школу, но на этот раз она вышинула только отпущенные Автоматские, шутки, пестрое трюко — все это осталось в распоряжении его души, воспарившей в эмпирей. Нет, лучше он пойдет на войну и вернется через много-много лет, весь награжденный в боях, овеянный славой. Нет, еще лучше, он уйдет к индейцам, будет охотиться на животных, наступит на военную тропу, где-нибудь там, в горах или в джунглях прерий дикого Запада, и когда-нибудь в будущем вернется великим вождем, весь украшенный орденами перьями, страшно размазанный, и в какое-нибудь мирное летнее утро вернется в воскресную школу с длинным военным канчем, от которого кровь стынет в жилах, так что у всех его товарищей гадки дохнуть от зависти. Впрочем, нет, найдется кое-что и лучше. Он делается пиратом! Вот именно! Теперь будущее стало ему ясно; оно развернулось перед ним, сияя переливающимся блеском. Его имя прогремит на весь мир и заставит людей трепетать! Он будет со славой носить на бурном море и океанам на своем длинном, узком черном корабле под названием «Дух бури», и наводный ужас черной флага будет развешен на носу! Нет, в конце своей славы, он вдруг появится в родном городе и пойдет в церковь, загорелый и обветренный, в черном бархатном камзоле и штанах, в больших сапогах и опоясанный, с алым шарфом на шее, с пистолетами на поясе и ржавым от крови тесаком на перевязи, в платье с развешенными перьями, под развешенным черным флагом с черепом и перекрещенными костями, — и, замирая от восторга, услышит шепот: «Это знаменитый»

тый пират Том Сойер! Черный Мститель Испанских морей!»

Да, решено; он избрал свой жизненный путь. Он бежит из дому и начнет новую жизнь. Завтра же утром, значит, готовиться надо уже сейчас. Надо собрать все свое имущество. Он подошел к гнилому стволу, который лежал позади него, и ножиком начал копать под ним землю. Скоро ножик ударился о дерево, и по стучку слышно было, что там пуста. Том запустил руку в яму и нарассев произнес такой заговор:

— Чего тут не было, пускай повисит! Что тут лежало, пускай останется.

Потом он разгреб землю руками: показались сосновая щепка. Он ее вытащил, и открылась уютный маленький тайник, где дно и стенки были сделаны из щепок. Там лежал один шарик. Удивленно Тома не было-тра-ни! Он растерянно почесал затылок и сказал:

— Ну, это уж совсем нигуда не годится!

Рассердившись, он забросил шарик подальше и остановился в раздумье. Дело в том, что он вместе с другими мальчишками надеялся на одно поверье, как на каменную гору, а оно его подвело. Если зарыть в землю шарик, прочтав при этом какой-нибудь заговор, то через две недели вместе с ним отыщутся все шарики, которые ты потерял, как бы далеко друг от друга они ни лежали. И оказалось, что все это вранье, даже и тогда, когда не о чем. Все, во что верил Том, поколебалось до основания. Он много раз сдыхал, что другим это удавалось, и ни разу не сдыхал, чтобы кому-нибудь не удалось. Ему и в голову не пришло, что всякий раз, как он сам пробовал эту штуку, он никак не мог найти свой тайник. Некоторое время он дома голову над этой задачей и наконец подумал, что тут, наверно, замешалась какая-нибудь ведьма и все испортила. Он решил, что надо это проверить; поискал кругом и нашел в песке маленькую воронку. Он лег на землю, приставив губы к ямке, и позвал:

— Лев, лев, скажи мне, что я хочу знать! Лев, лев, скажи мне, что я хочу знать!

Песок зашевелился, на одну секунду показался маленький черный мурдавый лев и в испуге нырнул обратно в ямку.



— Хотите сказать! Ну так и есть, это ведьма наколдовала! Том и в анал.

Ему было хорошо известно, что с ведьмами сладить трудно, не стоит даже и пробовать, и он махнул рукой на это дело. Однако он подумал, что, пожалуй, стоило бы отыскать шарик, который он забросил, и терпеливо вернуться к тайнику. Но найти шарик не мог. Тогда он вынул шарик, вынул из кармана второй шарик и бросил его в том же направлении, приговаривая:

Брат, ступай к моему брату!

Он заметил, куда упал шарик, побежал туда и стал искать. Должно быть, шарик упал самым близким или самым дальним. Том продолжал то же самое еще два раза. Последняя проба удалась: шарики лежали в двух шагах друг от друга.

Как раз в эту минуту под зелеными сводами леса послышался слабый звук жесткой игрушечной трубы. Том сбросил куртку и штаны, слезал из подтяжек пояс, разгреб хворост за поваленным деревом и обнаружил там самодельный лук и стрелы, деревянный меч и жесткую трубу; в один миг он подхватил все эти вещи и пустился бежать, босиком, в развешающейся рубашке. Скоро он остановился под высоким вязом, продавца ответный сигнал, а потом, приподнявшись на цыпочки, стал что-то осторожно высматривать из-за дерева. Он сказал предостерегающе своим воображаемым товарищам:

— Стойте, молодцы! Не показывайтесь из засады, пока я не протрублю!

Из леса вышел Джо Гарпер, в таком же воздушном одеянии и так же богато вооруженный, как и Том. Том окликнул его:

— Стой! Кто смеет ходить в Шервудский лес без моего позволения?

— Гай Гисборн не нуждается ни в чем дозволенном. А ты кто таков, что...

— ...смеешь держать такую речь? — подсажал Том; они говорили «по книжке» наизусть.

— Кто ты таков, что смеешь держать такую речь? — Кто я? — Робин Гуд, и твой презренный трун скоро это узнает.

— Так ты и вправду этот славный разбойник? Что ж, я буду рад сразиться с тобой, — решим, кому быть хозяином дорог в этом веселом лесу. Нападай!

Они схватились за деревянные мечи, побросав остальные доспехи на землю, стали в оборонительную позицию, нога к ноге, и начали серьезный, обдуманный поединок, по всем правилам искусства: два удара вверх, два вниз. Вард Том сказал:

— А теперь, если ты понял, в чем штука, вадай поживей!

И они начали «валять» с таким усердием, что совсем запылались и замокли.

Наконец Том крикнул:

— Падай! Да падай же! Чего же ты не падаешь? — Не хочу! А чего ты сам не падаешь? Тебе больше досталось.

— Что ж такого, это еще ничего не значит. Не могу

и падаю, когда в книжке этого нет. В книге сказано: «И тогда одним мощным ударом в спину он сразил злодеев». Гай Гисборн». Ты должен повернуться, и я тогда ударю тебя по спине.

С авторитетом книги спорить не приходилось, поэтому Джо Гарпер подставил спину, подучил удара и упал.

— А теперь, — сказал Джо, вставая, — давай я тебя валяю. А то будешь не по чести.

— Нет, это не годится; в книжке этого нет.

— Ну, валяй, это просто свинство, больше ничего. — Ах, Джо, ты будешь монахом. Таким или сыном монаха и избивать меня дубиной; или я буду монахом. Извини, но ты станешь Робин Гудом и избивать меня.

Том остался довольны таким решением, и все эти разговоры были кончены. После чего Том снова сдвинул Робин Гудом, и монахия-предательница не переставала его рану, чтобы он истек кровью. И наконец Джо, надрывая целую шайку осиротевших разбойников в первом ряду, оттащил его прочь, вложив лук и стрелы в его слабейшие руки, и Том произнес: «Куда улетит эта стрела, там и похороните бедного Робин Гуда под великим деревом». Потом он пустил стрелу, откинул на спину и умер бы, если бы не угодил в крапиву, пока что вскочил на ноги довольно живо для покойника.

Малочисленные ослепшие, спрятали оружие и пошли домой, споря о том, что на свете больше нет разбойников, и раздумывая, чем же может вознаградить их соприкосновения инициация за такую потерю. Они говорили друг другу, что скорее согласились бы сделаться на один год разбойниками в Шервудском лесу, чем президентами Штатов на всю жизнь.

ГЛАВА IX

В этот вечер, как и всегда, Тома и Сидя отослали спать в половине десятого. Они помолились на ночь, и на скоро уснул. Том лежал с открытыми глазами и ждал сигнала, ведь дрожь от нетерпения. Когда ему уже начало казаться, что вот-вот забрезжит рассвет, он услышал, как часы пробили десять! Горе, да и только!

Ворочаться и метаться, как ему хотелось, он не мог, опасаясь разбудить Сидя. И он лежал смирно, глаза в темноту. Его окружала гнетущая тишина. Мало-помалу из этой тишины начали выдвигаться самые незначительные, едва заметные звуки. Стало слышно тиканье часов. Старые бабки начали таинственно пощелкивать. Чуть-чуть поскрипывала лестница. Это, должно быть, бродили духи. Мерный, негромкий хрип доносясь из комнаты тети Полаи. А тут еще начал назойливо чиркать сверчок, — а где он сидит, не узнаешь, будь ты хоть семи пядей во лбу. Потом его бросило в дрожь от заовещего тиканья жука-могилашки в стене, рядом с изголовьем кровати, — это значило, что кто-нибудь в доме скоро умрет. Потом ночной ветер донес откуда-то издали вой собак, а на него едва слышным воем отозвалась другая где-то еще дадыше. Том весь замутился от нетерпения. Он был твердо уверен, что время остановилось и началась вечность, и невольно начинал уже думать, час, пробил одиночества, но он этого не сам-хал. И тут, когда ему уже стало что-то снится, к его снам примешалось заунывное мыканье. В соседнем доме стукнуло окно, и это разбудило Тома. Крик: «Брысь, прокуратка!» — и звон пустой бутылки, разбившейся о стенку сарая, прогнали у него последний сон: в одну минуту он оделся, вылез в окно и пополз по крыше пристройки на четвереньках. Он осторожно махнул раз два, пока полз; потом спрыгнул на крышу сарая, а оттуда на землю. Гекльберри Финн был уже тут с дохой кошкой. Мальчики двинулись в путь и пропали во мраке. Через полчаса они уже шагали по колено в траве за каадишеской оградой.

Каадише было старинное, каких много в Западных штатах. Оно раскинулось на холме милях в полутора от городка. Его окружала ветхая деревянная ограда, которая местами наклонилась внутрь, а местами — наружу, и нигде не стояла прямо. Все каадише спалошь заросло травой и бурьяном. Старые могилы провалились; ни один могильный камень не стоял, как полагается, на своем месте; изъезженные червями, трухлявые надгробия каонились над могилами, словно нища подержки и не находя ея. «Незабытой памяти такого-то» — было начертано на них когда-то, но теперь почти ни одной надписи не было даже прочесть даже днем.

Легкий ветерок шумел в ветвях деревьев, а Тому со страху чудилось, будто души мертвых жалуется на то, что на погребовали. Мальчики разговаривали очень мало, и то шепотом; место, время и торжественная тишина, разлитая над каадишем, действовали на них угнетающе. Они скоро нашли свежий холмик земли, который нечаянно, и ушли за тремя большими вязами, в не-избежные шатах от могилы.

Том ждал молча, как им показало, довольно долго. Кроме унылой фиалы где-то вдалеке, ни один звук не нарушил мертвой тишины. Тому лезли в голову самые мрачные мысли. Надо было прогнать их разговорами. Поэтому он прошептал:

— Как ты думаешь, Гекки, мертвецы не обидятся, что мы сюда пришли?

— И почему знаю. А страшно как, правда?

— Еще бы не страшно.

Некоторое время длилось молчание: оба мальчика на эти мысли задумались. Наконец Том прошептал:

— Слушай, Гекки, как ты думаешь, старый хрыч слышит, как мы разговариваем?

Конечно, слышит. То есть его душа слышит.

Том, помолчав, прибавил:

— А лучше бы я сказал «Мистер Вильямс». Только я не хотел его обидеть. Его все звали «старый хрыч».

— Уж если говоришь про этих самых мертвецов, так надо поосторожнее, Том.

После этого Тому не захотелось разговаривать, и они опять замолчали. Вдруг Том схватил Гекку за плечо и прошептал:

— Тес!

— Ты что, Том? — И оба они с замиранием сердца прислушались друг к другу.

— Тес! Вот опять! Разве ты не слышишь?

— И...

— Вот! Теперь ты слышишь?

— Господи, Том, это они! Они, это уж верно. Что теперь делать?

— Не знаю. Думаешь, они нас увидят?

— Ой, Том, они же видят в темноте, все равно как ночью. Лучше бы нам не ходить.

— Да ты не бойся. По-моему, они нас не тронут.

Мы же им ничего не сделали. Если будем сидеть тихо, они нас, может, совсем не заметят.

— Постараюсь не бояться, Том, только, знаешь, я весь дрожу.

— Саушай!

Мальчики прислушались, едва дыша. Заглушенные голоса дохнули до них с дальнего конца каадища.

— Посмотрите! Вон туда! — прошептал Том. — Что это?

— Это алский огонь. Ой, Том, как страшно!

Какие-то темные фигуры приближались к ним во мраке, раскачивая старый жестяной фонарь, от которого на землю ложился бесчисленные пятнышки света, точно веснушки. Тут Гек прошептал, весь дрожа:

— Это черти, теперь уж верно. Целых троих! Ну, Том, нам с тобой крышка! Можешь ты прочесть молитву?

— Попробую, только ты не бойся. Они нас не трогают. «Сон мирный и безмятежный даруй нам...»

— Тсс!

— Ты что, Гек?

— Это люди! По крайней мере, один. У него голос

Мафа Поттера.

— Да что ты?

— Уж я знаю. Смотри не шевелься. Где ему нас заметить! Накатался небось, по обыкновенно, старый пропойца!

— Ну ладно, я буду сидеть тихо. Застраши что-то. Никогда не найдут. Вот опять подходят. Вот теперь горячо. Холодно. Опять горячо. Ой, обожгутся! Теперь правдыно. Саушай, Гек, я и другой голос узнаю, это индеец Джо.

— Верно, он самый, чертов метис. Это будет похуже нечистой силы, куда там! Чего это они затеяли?

Шепот замер, потому что трое мужчин дошли до могилы и стояли теперь в нескольких шагах от того места, где прятались мальчики.

— Вот здесь, — сказал третий голос: человек поднял повыше фонарь, и при его свете мальчики узнали молодого доктора Робинсона.

Поттер и индеец Джо везли тачку с веревками и дощатками. Они сбросили груз на землю и начали раскапывать могилу. Доктор поставил фонарь в головах могилы,

подождал к трем видам и сел на землю, прислонившись спиной к стволу дерева. Он был так близко от мальчиков, что до него можно было дотронуться рукой.

— Потторонитесь! — сказал он негромко. — Луна должна войти в минуты на минуту.

Что-то проворчал в ответ, Маф Поттер с индейцем Джо продолжали копать. Некоторое время не слышно было ничего, кроме скрежета лопат, сбрасывавших землю и травы. Звук был очень однообразный. Наконец догнала с глухим деревянным стуком ударилась о крышку гроба, еще минута или две — и Поттер вдвоем с индейцем Джо вытащили гроб из могилы. Они сорвали с него крышку лопатами, вытащили мертвое тело и грубо перенесли его на землю. Луна вышла из-за облаков и осветила бледное лицо покойника. Тачка стояла наготове, трое навалили на нее, прикрыли одеялом и крепко привалили веревками. Поттер достал из кармана большой складной нож, обрезал бокающийся конец веревки и свистнул!

— Ну, все готово, господин Янвдер; вот что, выйдите еще пилтерку, а то бросим здесь эту падавку. Вот это дело, так с ними и надо разговаривать! — свистнул индеец Джо.

Послушайте, что это значит? — сказал доктор. — Вы же просили запечатать вперед, я вам и запечатал.

— Да, только есть да нами и еще должок, — начал индеец, подслушав к доктору, который теперь поднимая из могилы. — Пять лет назад вы вытащили меня из кухни этого индейца, когда я просил чего-нибудь поесть, и сказали, что я не да добром пришел; а когда я показывал, что отпущу вам, хотя бы через сто лет, ваш папаша заставил меня в тюрьму, как бродягу. Вы думаете, я заблуждался? Недавно вы мне индейский кролик. Теперь вы полагаете, не убавит той, пошлан?

Вы привели доктора нулемом. Доктор вдруг разгневался, и индеец повалился на землю. Поттер уронил свой нож и закричал!

— Эй вы, не троньте моего приятеля! — И в следующие минуты они с доктором схватились в рукопашную, топая траву и вырывая землю каблуками. Индеец Джо встал на ноги, глядя его затворившись злобой, он поднял нож Мафа Поттера, и, весь согнувшись, крадучись, как кошка, стал кружить около дерущихся, выжидая удоб-



ного случая. Вдруг молодой доктор вырвался из рук Поттера, схватил тяжелую нагробную доску с мотылькой Вильямса и сбил с ног Мафа Поттера, и в то же мгновение метис вонзил нож по самую рукоятку в грудь доктора. Тот зашатался и повалился на Поттера, задав его своей кровью; в эту минуту на луны набежали облака и скрыли страшную картину от перепуганных мальчиков, которые бросились бежать, в темноте не разбирая дороги.

Когда луна показалась снова, индеец Джо стоял над двумя распростертыми телами, созерцая их. Доктор пробормотал что-то невнятное, вздохнул раза два и затих. Метис проворчал:

— С этими счеты покончены, черт бы его взял.

И он ободрал убитого. Потом вложил предательский нож в раскрытую правую ладонь Поттера и сел на возманный гроб. Прошло три, четыре, пять минут, Поттер зашевелился и начал стонать. Его рука крепко стиснула нож; он поднес его к глазам, оглядел и, вздрогнув,

вспомнил снова. Он сел, оттолкнул от себя труп, взглянул на него, потом осмотрелся по сторонам, еще ничего не понимая, и встретился взглядом с Джо.

— Господи, как это случилось? — спросил он.

— Хорошо вышло, — сказал Джо, не двигаясь с места. — Для чего ты это сделал?

— Ну? Нет, это не я!

— Ну, знаешь ли! Эти разговоры тебе уже не по-

ходят.

— Джо, что успешно протрезвиться. И для чего только я ни сегодня! И сейчас в голове недавно — ху-мил, чем когда мы сюда пошли. Скажи мне, Джо, — только по чистой совести, старик, — неужели это я сделал? И как в тумане; ничего не помню. Джо, я не хотел, — неужели само, не хотел. Джо, Скажи мне, как это вышло, Джо? Ох, какая беда — такой молодой, способный человек!

— Вы с ним подрались, он хватил тебя доской, ты упал, выскочил на землю, потом вскочил, а сам шатаешься, лез на ноги держишься, выхватил нож и всадил в него, и ты самую минуту, как он ударил тебя во второй раз, — и тут вы оба повалились и все это время лежали, как мертвые.

— Ох, я сам не знал, что сделал. Лучшее мне не было, если так. Все это водка наделада, ну и нервы тоже, и думаю, я и в руки-то не знаю, как нож взять, не приходилось никогда. Дрался, правда, только не ножом. Кто и все тебе скажут, Джо, не говори никому! Обещай, что не скажешь. — Ты ведь хороший мальчик, Джо. Я тебя всегда любил и заступался за тебя, помнишь? Неужели не помнишь? Ты ведь не скажешь, правда, не скажешь, Джо? — И несчастный, умоляюще сжав руки, упал на колени перед равнодушным убийцей.

— Да, ты всегда поступал со мной по совести, Маф Поттер, и я отплачу тебе тем же. Это я могу обещать, ничто не бодрше.

— Джо, ты ангел. Сколько б я ни прожил, всю жизнь буду за тебя молиться. — И Поттер заплакал.

— Ну, ладно, будет уж. Хныкать теперь не время. Ты ступай в эту сторону, а я пойду в другую. Ну, шевелитесь же, да не оставьте после себя улик.

Поттер сначала пошел быстрым шагом, а потом при-

пустился бежать. Метис долого стоил и глядел ему вслед. Потом пробормотал:

— Если его так оглушило ударом, да если еще он так пьян, как кажется, то он и не вспомнит про нож, а и вспомнит, так побойтся прийти за ним один на кадище — сердце у него куринное.

Двумя или тремя минутами позже одна только лупа на смотрела на убитого доктора, на труп в одежде, на гроб без крышки и на разрытую могилу. И снова наступила мертвая тишина.

ГЛАВА X

Оба мальчика со всех ног бежали к городку, задыхаясь от страха. Время от времени они боязливо оглядывались через плечо, точно опасаясь погони. Каждый пенд, выраставший перед ними из мрака, они принимали за человека, за врата и цепенсан от ужаса; а когда они пробегали мимо уединенно стоявших домиков, уже совсем близко от городка, то от дая проснувшихся сторожевых собак у них на ногах словно выросли крылья.

— Только бы добежать до старого кожевеного двора! — прошептал Том, прерывисто дыша после каждого слова. — Я больше не могу!

Вместо ответа Гекльберри только громко пыхтел, и оба мальчика, собравшись с последними силами, пустились бежать к желанной цели, не сводя с нее глаз. Эта цель становилась все ближе и ближе, и, наконец, они встали в отворенную дверь плечо к плечу и упали на землю в спасительной тени, радостные и запылавшиеся. Мало-помалу они отдышались, сердце стало биться ровней, и Том прошептал:

— Гекльберри, как по-твоему, чем это кончится? — Если доктор Робинсон умрет, то кончится виле-лицей.

— Ты так думаешь?

— И думать тут нечего, знаю.

Том промолчал, потом опять спросил:

— А кто же донесет? Мы с тобой?

— Что ты мелешь? Мало ли что может случиться. А вдруг индейца Джо не повесит? Он же нас убьет, не теперь, так после, это как пить дать.

— И я сам так думаю, Гек.

— Если донесить, пускай уж лучше Маф Поттер донесит, раз он такой дурак, да еще и пьяница; а пьяницу море по колено.

Том ничего не ответил — он думал, потом прошептал:

— Гек, Маф Поттер не знает ничего. Как же он может донести?

— Почему же это он ничего не знает?

— Потому что он свалился замертво, как раз когда плелся Джо замахнувшись ножом. И ты думаешь, он что-нибудь видел? Ты думаешь, что он что-нибудь знает?

— А ведь, ей-богу, это верно, Том!

— А еще знаешь что? Может, от удара доской он даже ноги протянет.

— Нет, это вряд ли, Том. Он же был выпивши, сразу видно, да он и никогда трезвый не бывает. Маф хоть моего отца: когда наливается, дупи ты его хоть колоколомней, ничего ему не сдается. Он и сам так говорит. То же самое и Маф Поттер, ясное дело. Вот если б он был трезвый, тогда, пожалуй, мог бы покуриться от такой затрепанный, да и то еще не из-за того.

После нового раздумья Том сказал:

— Гекки, а ты не проговорился?

— Том, проговариваться нам никак нельзя. Сам знаешь: если этого индейского дьявола не повесит, он не маумеется нас утопить, как котят. Попробуи только, проговорился! Вот что, Том, дадим друг другу клятву, что будем молчать, — без этого нельзя.

— Что ж, я согласен. Это лучше всего. Просто давай поведемся за руки и покажемся, что...

— Нет, так не годится. Это хорошо для каких-нибудь пустяков, особенно с девочками: они вечно вбредничают и непременно все выболтают, если попадутся. А тут дело важное, значит, надо писать. И обязательно пропово.

Том от всей души приветствовал эту мысль. Выходя из тишины, непонятно и страшно: ночная пора, этот случай, окружающая обстановка — все одно к одному. Он подобрал основную цепку, бежавшую в душе в свете, достал из кармана кусок сурика, сел так, чтобы свет падал на его работу, и с трудом нацарапал

соединяющие строчки, прикусывая язык, когда выводила толстые штрихи, и высывая его, когда выводила тонкие.

Гек Финн и Том Сойер
клянутся, что будут держать
язык за зубами
насчет этого дела,
а если мы кому скажем или напишем
хоть одно слово, то помереть нам
на этом самом месте.

Гекберри искренне восхищался легкостью, с какой Том все это написал, и его красноречием. Он медленно вытащил булавку из отверстия и собирался уже колоть себе падец, но Том сказал:

— Постой, не надо. Булавка-то медная. Может, на ней ярь-медянка.

— Какая такая ярь-медянка?
— Ядовитая, вот какая. Проглоти попробуй хоть капелку, тогда узнаешь.

Том размотал нитку с одной из своих иглодок, и кадык из мальчиков, уколов большой падец, выждал капле крови. После долгих стараний, усиленно выжимая кровь из падца, Том ухитрился подписать первые буквы своего имени, действуя кончиком мизинца, как пером. Потом он показал Гекберри, как пишут Г и Ф, и дело было кончено. Они зарыли основную щепку под садовой стеной со всякими танцевальными церемониями и заклинаниями, после чего можно было считать, что их языки скованы, оковы заперты на замок и каюч от него далеко заброшен.

В эту минуту какая-то фигура проскользнула в проем с другого конца разрушенного здания, но мальчики этого не заметили.

— Том,— прошептал Гекберри,— а это нам поможет держать язык за зубами?

— Само собой, поможет. Все равно, что бы ни случилось, надо молчать. А иначе тут же и померем — не понимаешь, что ли?

— Да я тоже так думаю.

Том довольно долго шептал ему что-то. И вдруг проткнул и завоетще завывала собака — совсем рядом, шагах в десяти от них. Мальчики в страхе прижалась друг к другу.

— На кого это она воет? — едва дыша, прошептал Гек.

— Не знаю, погляди в щелку. Скорей!

— Нет, лучше ты погляди, Том!

— Не могу, ну никак не могу, Гек!

— Да погляди же! Опять она воет.

— Ну, сава богу,— прошептал Том.— Я узнал ее по голосу. Это собака Харбисона.

— Вот хорошо, а то знаешь, Том, я прямо до смерти испугался, я думаю, бродячая собака.

Собака завывала снова. У мальчиков опять душа ушла в пятки.

— Ой, это не она! — прошептал Гекберри.— Погляди, Том!

Том, весь дрожа от страха, уступил на этот раз, приподняв глазом к щели и пронзаясь едва слышным шепотом:

— Ой, Гек, это бродячая собака!

— Скорей, Том, скорей! На кого это она?

— Должно быть, на нас с тобой. Ведь мы совсем рядом.

— Ну, Том, плохо наше дело. И гадать нечего, куда в попад, это ясно. Грехов у меня уж очень много.

— Пропадай все пропадом! Вот что значит отлынивать от школы и деда, что не ведают. Я бы мог вести себя не хуже Сиды, если б постарался,— так вот нет же, не хотел. Если только мне на этот раз удастся отвертеться, я выходить не буду из воскресной школы! — И Том начал потихоньку всхлипать.

— Ты плохо себя веда? — И Гекберри тоже засопал слегка.— Да что ты, Том Сойер! По сравнению со мной ты просто ангел. Боже ты мой, боже, хоть бы мне выдохнуть быть таким хорошим, как ты!

Том вдруг перестал сопеть и прошептал:

— Гайди, Гек! Она сидит к нам задом!

Гек поглядел и обрадовался.

— Ну да, ей-богу, задом! А раньше как сидела? — И раньше тоже. А мне, дураку, и невдомек. Ой, вот это здорово, понимаешь! Только на кого же это она воет?

Собака перестала выть. Том насторожил уши.

— Ш-ш! Это что такое? — шепнула она.

— Похоже... как будто свинья хрюкает. Нет, это кто-то храпит, Том.

— Ну да, храпит. А где же это, Гек?

— По-моему, вон там, на другом конце. Во всяком случае, похоже, что там. Отец там ночевал иногда вместе со свиньями; только, бог с тобой, он храпит так, что, того гаяди, крышу разнесет. Да я думаю, он к нам в город и не вернется больше.

Дух приключений снова ожил в мальчишках.

— Гек, пойдем поглядим, если не боишься.

— Что-то не хочется, Том. А вдруг это индеец Джо?

Том струсли. Однако очень скоро любопытство взяло свое, и мальчики решили все-таки поглядеть, стоворившись, что зайдут стрекоча, как только храп прекратится. И они стали подкрадываться к спящему на цыпочках. Том вперед, а Гек сзади. Им оставалось шагов пять, как вдруг Том наступил на палку, и она с треском сломалась. Человек застонал, заворочался, и лунный свет упал на его лицо. Это был Маф Поттер. Когда он зашевелился, сердце у мальчиков упало и всякая надежда оставила их, но тут все их страхи мимот исчезли. Они на цыпочках выбрались за полуразрушенную ограду и остановились недалеко, чтобы обменяться на прощанье несколькими словами. И тут снова раздались протяжный, заунывный вой. Они обернулись и увидели, что какая-то собака стоит в нескольких шагах от того места, где лежит Маф Поттер, мордой к нему, и воет, задржав головою вверх.

— Ой, господи! Это она на него! — в одно слово сказали мальчики.

— Саушай, Том, говорит, будто бродячая собака выла в полночь около дома Джонни Миллера, недели две назад, и в тот же вечер козодой сел на периди и зашел, а ведь у них до сих пор никто не помер.

— Да, я знаю. Ну так что ж, что не помер. А помнишь, Грасси Миллер в ту же субботу упала в очаг на кухне и страшно обожглась.

— А все-таки не померла. И даже поправалась. — Даано, вот увидишь. Ее дело пропащее, все рано померет, и Маф Поттер тоже померет. Негры так говорят, а уж они-то в этих делах разбираются, Гек. После этого они разошлись, сильно призадумавшись.

Когда Том вошел в окно спальни, ночь была уже на исходе. Он раздвинулся как можно осторожнее и уснул, полагаясь на себя с тем, что никто не знает о его вылазке. Он и не подозревал, что мирно храпящий Сид не спит уже около часа.

Когда Том проснулся, Сид успел уже одеться и уйти. Но тому, как солнце освещало комнату, было заметно, что уже не рано, это чувствовалось и в воздухе. Том танился. Почему его не будили, не приставали к нему, как всегда? Эта мысль вызвала у него самые мрачные размышления. Через пять минут он оделся и сошел вниз, чувствуя себя разбитым и невыспавшимся. Вся семья еще сидела за столом, но завтрак уже кончился. Ничего не стал его попрекать, но все избежали взглянуть на него за столом парило молчанье и какая-то натянутость, из которой у преступника побежали по спине мурашки. Он сел на свое место, притворяясь веселым; однако это было все равно что везти воз в гору, никто не откликнулся, не улыбнулся, и у него тоже язык прилип к горлу, и душа ушла в пятки.

После завтрака тетка подговаривала его к себе, и Том обрадовался, надеясь, что его только выпорот, но вышел хуже. Тетка плакала над ним и спрашивала, как это он может так сокрушаться о старое сердце, а в конце концов сказал, чтобы он и дальше продолжал в том же духе, — пускай погубит себя, а старуху тетку сведет в могилу ей уже не исправить его, нечего больше и стараться. Это было хуже всякой порки, и душа Тома ныла сильнее, чем тело. Он плакал, просил прощения, сто раз обещал исправиться и наконец был отпущен на волю, понимая, что простил его не совсем и верит ему плохо.

Он ушел от тетки, чувствуя себя таким несчастным, что ему не хотелось даже мстить Сиду; так что поспешное отступление Сиды через заднюю калитку оказалось совершенно незаметным. Он пошел в школу мрачный и грустный, был наказан вместе с Джо Гарпером за то, что накануне сбежал с уроков, и вытерпел порку с доверенным лицом человека, удрученного серьезным горем и совершенно нечувствительного к пустякам. После этого он отправился на свое место, сел, опершись локтями на парту, и, положив подбородок на руки, стал смотреть в стену с каменным выражением страдания, мучения и горючего достоинства предавая и давшие идти не могут. Под

доктем он чувствовал что-то твердое. Прошло довольно много времени; он медленно и со вздохом переминался по ложению и взял этот предмет в руки. Он был завернут в бумажку. Том развернул ее. Последовал долгий, длительный, глубочайший вздох — и сердце его разбилось.

ГЛАВА XII

Странным, если бы он не носил ножа. Везде убитого бы найден окровавленный нож, как говорили, кто-то признал в нем карманный нож Мафа Поттера. Рассказывали, что кто-то из запоздалых горюжан видел, как Маф Поттер умылся у ручья во втором часу ночи и, засыпав шаги, сразу бросился бежать. Это показало подозрительным, в особенности умылиние, не входившее в привычки Поттера. Рассказывали также, что обыскали весь город, но убитцы (обычно не любят долго возиться с уликами и сразу выходят приговор) так и не нашли. Конные были разосланы по дорогам во всех направлениях, и шериф был уверен, что убийца хватал еще до наступления темноты.

Весь город устремился на каабише. Том забыл
своем горе и присоединился к шествию: не потому, что
ему туда хотелось, — он в тысячу раз охотней пошел бы
еще куда-нибудь, — но потому, что его тянуло туда сил
но и безотчетно. Добравшись до страшного места, он
пробрався сквозь толпу и увидел мрачное зрелище. Ему
казалось, что прошло сто лет с тех пор, как он был
здесь. Кто-то уцепился за руку. Он обернулся и
встретился взглядом с Гекльберри. Оба разом отверну-
лись и забеспокоились: не заметил ли кто-нибудь, ка-
кие перегрызаются? Но все в толпе разговаривало
не отрывая глаз от страшной картины.

— Бедняга! Бедный молодой человек!

Почему неужели тем, кто грабит могилы!
Могилы! Могилы повесят, если поймают!

Видна десница господня.

Он сам идет!

— Но, по-останови се! Гледате, поворачва се! Не

Вспомнившие на деревьях над головой Тома, со-
ветовали ему и не собираться бежать, только очень
осторожно и смутно.

Захотелось взглянуть на свою работу; не видно, что тут народ.

Людвиг растерялся, и сквозь нее прошла шерсть, зацепившись за руку. Лицо несчастного побелело, и по глазам было видно, что он себя не помнит. Когда его привели и поставили перед стеной, он лишь затрясся, как припадочный, закрыл глаза и разрыдался.

Но декада в итоге, друзья,— произнес он, рывком вырвав из себя эти слова,— не декада.

А кто говорит, что это ты? — крикнул кто-то. Настюха, как видно, попал в пещь. Поттер отнял руки и бросился вокруг с выражением трогательной неопределенности в глазах. Он заметил индейца Джо и во-

(1) индеец Джо, ты же обещаа, что никогда...
— Это наш нож? — И шериф положила нож перед

Потеря упал бы, если б его не подхватили и не опустили мягко на землю. Потом он сказал:

— Что-то мне говорило, что если я не вернусь сюда раньше... — Он задрожал, потом взял махнула рукой, и стало сознаться, что побежден, и сказал: — Скажи Лене, скажи маме! Что толку теперь молчать? Тут и Лен, и Том, онемев от страха и вытаращив глаза, выжидали, как закончатся уже спокойно расстав-

68

звывал о том, что видел: они ожидали, что вот-вот грянет гром с ясного неба и падет на его голову, и удивлялись, отчего так медлит удар. А когда индеец Джо замолчал и по-прежнему стоял живой и невредимый, их робкое желание нарушить казнь и спасти жизнь бедняги, выданного индейцем, поблекло и исчезло без следа, им стало ясно, что этот негодный продаст душу черту, а тутаться в деда нечистой силой — значило пропасть окончательно.

— Чего же ты не убьешь? Зачем ты сюда пришел? — спросил кто-то.

— Я не мог... Никак не мог, — простонал Поттер. — Я и хотел убежать, да только ноги сами привели меня сюда. — И он опять зарыдал.

Через несколько минут на следствии индеец Джо так же спокойно повторил свои показания под присягой, а мавычки, видя, что ни грома, ни молнии все еще нет, окончательно убедились в том, что он продал душу черту. Теперь индеец Джо став для них самым страшным и интересным человеком на свете, и оба они не сводили с него зачарованных глаз. Про себя они решили следить за ним по ночам, когда представится случай, в надежде хоть одним глазом взглянуть на его страшного властелина.

Индеец Джо помог перенести труп убитого и положить его в повозку; и в топе, дрожа от страха, перешептываясь и говоря, будто из раны выступила кровь, мавычки подумали было, что это страшное обстоятельство направит подозрения по верному пути, и очень разочаровались, когда некоторые горожане заметили:

— Тело было в трех шагах от Мафа Поттера, когда показавшись кровь.

Ужасная тайна и муки совести не давали Тому спать спокойно целую неделю после этого события, и как-то утром во время завтрака Сид сказал:

— Том, ты так мечешься и бормочешь во сне, что не даешь мне спать до полуночи.

Том победился и опустил глаза.

— Плохой признак, — сурово сказала тети Полин. — Что такое у тебя на душе, Том?

— Ничего. Ничего особенного. — Но рука у него так дрожаа, что он пролил свой кофе.

— И такую несешь чепуху, — сказала Сид. — Вчера ночью ты кричал: «Это кровь, это кровь, вот что это такое!» Завтра одно и то же. А потом: «Не мучайте меня, я все расскажу!» Что расскажешь? О чем это ты? Все понимало у Тома перед глазами. Невозможно, чем бы это могло кончиться, но, к счастью, выражение застыло на лице тети Полин, и она, сама того не зная, пришла Тому на выручку. Она сказала:

— Ну конечно! А все это ужасное убийство! Я сама чуть не каждую ночь вижу его во сне. Иногда мне снится, что я сама и убиваю.

Мери сказала, что и на нее это почти так же подействовало. Сид как будто успокоился. Том постарался как можно скорее избавиться от его общества и после того целую неделю ждался на зубную боль и на ночь подлизывал зубы платком. Он не знал, что Сид не спит по ночам, засыдая за ним; иногда стаскивает с него одеяло и довольно долго слушает, приподнявшись на локте, а после этого опять надевает повязку на старое место. Понемногу Том успокоился, зубная боль ему наконец, и он ее отменил. Если Сид что-нибудь и понял из бесноватого бормотанья Тома, то держал это про себя.

Тому казалось, что его школьные товарищи никогда не перестанут вести судебные следствия над дохлыми трупками и не дадут ему забыть о том, что его мучит. И на заметку, что Том ни разу не изображал следователя, хотя раньше имел обыкновенные брать на себя роль обвиняемого всех новых затеях. Кроме того, он заметил, что Том уклоняется и от роли свидетеля, — а это было странно; не ускользнуло от Сиды и то обстоятельство, что Том вообще проявляет заметное отвращение к таким следствиям и по возможности избегает участвовать в них. Сид удивился, но замолчал. В конце концов даже и эти следствия вышли из моды и перестали терзать совесть Тома.

И продолжение всего этого тревожного времени Том начал день или через день, улачив удобный случай, когда к маленькому решетчатому окошечку тюрьмы и тайком просовывал через него угощение для «убийцы», какое удавалось промышлять. Тюрьмой была небольшая кирпичная будка на болоте, за городской чертой, и стояла при ней не подгадось, да и занята она бывала редко. Эти подarki очень облеглали совесть Тома. Горо-

жанам хотелось обмазать индейца Джо детем, обмывать в перьях и прокатить на тачке за похищение мертвого теля, но его так боялись, что зачинщиков не нашлось, и эту мысль оставили. Он был достаточно осторожен, чтобы начать оба свои показания с драки, не упоминая об ограблении могилы, которое предшествовало драке; и потому решили, что будет благоразумнее пока что не привлекать его к суду.

ГЛАВА XII

Том отваялся от своих тайных тревог, потому что их вытеснила другая, более важная работа. Бекки Татчер перестала ходить в школу. Несколькими днями Том боролся со своей гордостью, пробовал развестись по ветру свою тоску о Бекки и наконец не выдержал. Он начал окладываться по вечерам банз ее дома, чувствуя себя очень несчастным. Она заболела. А что, если она умрет? Эта мысль доводила его до отчаяния. Он не интересовался больше ни войной, ни даже пиратами. Жизнь потеряла для него всякую прелесть, осталось одно сплошное уныние. Он забросил обруч с палкой; они не доставляли ему больше никакого удовольствия. Тетя Полли встретила ее. Она перепробовала на нем все лекарства. Она была из тех людей, которые уважаются патентованными средствами и всякими новыми лекарствами и способами укрепления здоровья. В своих опытах она доходила до крайностей. Как только появлялось что-нибудь новое, ей по этой части, она заторалась желанием испробовать это средство: не на себе, потому что она никогда не хворала, а на ком-нибудь из тех, кто был под рукой. Она подписывалась на все медицинские журналы и шарлатанские брошюры френологов и дышала не моралью без красноречивого невежества, которым они были напичканы. Как проветривать комнаты, как ложиться спать, как вставать, что есть и что пить, сколько гулять, какое расположение духа в себе поддерживать, какую одежду носить — весь этот вздор она принимала на веру, как евангельскую истину, не замечая, что медицинские журналы ныне опровергают все, что советовали вчера. Душа тети Полли была проста и ясна, как день, и потому она легко попадалась на удочку. Она со-

бирала все шарлатанские журналы и патентованные средства и, выражаясь образно, со смертью в руках шептала на бедном коне, и ад следовал за нею. Ей и в голову не приходило, что для страждущих соседей она является ангелом-исцелителем, так сказать, воплощенным хандалским балбазом.

Подолечение тогда только еще входило в моду, и извращенное состояние Тома оказалось для тети Полли просто находкой. Каждое утро она поднимала его с кровати, выливая в дровяной сарай и выливая на него целый поток ледяной воды, потом растирала жестким, как наждачник, полотенцем, потом закатывала в мокрую простыню, укладывала под одеяло и доводила до седьмого пота, так, что, по словам Тома, «душа вылезала через поры желтыми пятнышками».

Но, несмотря на все это, мальчик худел и бледнел и постепенно не становился веселее. Она прибавила еще другие ванны, ножные ванны, души и обливания. Мальчик оставался унылым, как катафакт. Она начала поливать водооченно чистой из жидкой овсянки и нарезанным пластырем. Измерив его емкость, словно это был мешок, а не мальчик, она каждый день до отказа наполняла его каким-нибудь шарлатанским пойлом.

Том стал теперь совершенно равнодушен к тонениям. Но равнодушные напугало тетушка Полли. Надо было во что бы то ни стало вернуть его к жизни. Как раз в это время она впервые услышала о болеутолителе. Она тут же наполнила большую партину этого лекарства. Она пощипывала его и преподносила благодарности. Это был самый жидкий огонь. Она забросила водооченное и все лечение и возложила все надежды на болеутолитель. Она дала Тому чайную ложку и следовала за ним, в слабейшем беспокойстве ожидая результатов. Наконец-то душа успокоилась и тревога улеглась: «равнодушнее» — вот как рукой сняло. Мальчик вряд ли мог бы вести себя опьяненней, даже если бы она развела под ним

Том чувствовал, что пора ему проснуться от спячки; душа являла, может, и подходила для человека в угнетенном состоянии, но в ней как-то не хватало пищи для жизни и было слишком много утомительного разнообразия. Он придумал несколько планов избавления и наконец противорисся, будто ему очень нравятся болеуто-

Антель. Он просил лекарство так часто, что надоела тетке, и в конце концов она вела ему принимать лекарство самому и оставить ее в покое. Если бы это был Сид, ее радость не омрачилась бы ничем; но так как это был Том, то она потихоньку сбежала за бутылкой. Оказалось, однако, что лекарство и в самом деле убавлялось, но тетка не приходило в голову, что Том поит бодуэтом Антелем щель в полу гостиной.

Однажды Том только что приготовился уложить эту щель ложкой лекарства, как в комнату вошла теткин желтый кот, мурлыча и жадно поглядывая на ложку, будто просил попробовать. Том сказал ему:

— Лучше не проси, если тебе не хочется, Питер.

Питер дад понять, что ему хочется.

— Смотри не ошибись.

Питер был уверен, что не ошибается.

— Ну, раз ты просишь, я тебе дам, я не жадный, только смотри, если тебе не понравится, сам будешь виноват, я тут ни при чем.

Питер был согласен. Том открыл ему рот и вливал да ложку лекарства. Питер подскочила на два метра кверху, испустил дикий вопль и зашатался по комнате, налетая на мебель, опрокидывая торшеры с цветами и поднимая невообразимый шум. Потом он встал на задние лапы и заляскал вокруг комнаты в бешеном веселом скандив голову к паучу и всем выражая неукротимую радость. Потом он помчался по всему дому, сел на спел пути хаос и разрушение. Тети Полин вышла как раз во время и увидела, как Питер перекувырнулся несколько раз, в последний раз испустил мощное «ура» и прыгнул в открытое окно, увлекая за собой увеселенные торшеры и цветами. Тети Полин словно окаменела от изумления, глядя на него поверх очков; Том валялся на полу, сдвинувшей от смеха.

— Том, что такое с Питером?

— Я не знаю, тетя, — еле выговорила мальчик.

— В жизни ничего подобного не видела. Отчего он с ним?

— Право, не знаю, тетя Полин; кошки всегда так себя ведут, когда им весело.

— Вот как, неужели? — В ее голосе было что-то такое, что заставило Тома насторожиться.

— Да, тетя. То есть я так думаю.



— Ты так думаешь?

— Да, тетя.

Она наклонилась, а Том сбежал за ней с интересом и трепетом. Он угадал ее намерение слишком поздно. Когда ложки предательски торчали из-под кровати. Тети Полин подняла ее и показала ему. Том моргнул и отбежал в сторону. Тети Полин ухватила его по прищипке за ухо и хорошенько стукнула по голове наперстком.

— Ну, сударь, для чего вам понадобилось мучить бедное животное?

Мне его жалко стало, ведь у него нет тети.

Нет тети! Дурачек. При чем тут тети?

При том. Если б у него была тетя, она бы сама ему вылила все внутрь. Она бы ему все кишки прищипала, не подумав бы, что он кот, а не мальчик!

Тети Полин вдруг почувствовала утешения совет. Не надо представлялось ей в новом свете: что было жестоко по отношению к кошечке, могло оказаться жестоко и по отношению к мальчику. Она смилостивилась и надела на голову мальчика, она ласково сказала: — И хотела тебе добра, Том. И ведь это же было так приятно.

Том поднял на нее глаза, в которых сквозил серьезный прощальный слез замкнутая искорка смеха.

— Я знаю, что вы хотели мне добра, тетя Люда, да ведь и я тоже хотел добра Питеру. И ему тоже это было полезно. Я никогда еще не видел, чтобы он так носился.

— Убирайся вон, Том, не то я опять рассержусь. И постарайся хоть раз в жизни вести себя как следует; никакого лекарства тебе больше не надо принимать.

Том пришел в школу до звонка. Заметив, что в последнее время это необыкновенное явление повторяется каждый день. И теперь, как обычно, он сонно сидел у школьных ворот, вместо того чтобы играть с товарищами. Он сказал им, что болен, и в самом деле выглядел больным. Он делал вид, что смотрит куда угодно, только не туда, куда смотрел в самом деле, — то есть на дорожку. Скоро на этой дорожке показались Джеф Татчер и Лицо Тома просияло. С минуту он смотрел в ту сторону, а потом печально отвернулся. Когда Джеф появился на школьном дворе, Том пошел к нему и осторожно завел издадека разговор о Беки, но этот ротозей даже не понял его намеков. Том все смотрел и смотрел на дорожку, загораясь надеждой всякий раз, как выдали помятую развешивающуюся платице, и проникаясь ненавистью к его владелице, когда становилось ясно, что это не Беки. Под конец никого больше не стало видно, и Том совсем упал духом; вошел в пустую школу и усеялся, чтобы страдать молча. Но вот еще одно платье мелькнуло в воротах, и сердце Тома запылало от радости. В следующее мгновение он был уже во дворе и бесновался как ниндзя: вопил, хохотал, гонялся за мальчишками, прыгал через забор, рискуя сломать себе ногу или голову, ходил вверх ногами, кувыркаясь — словом, выдал все, что только мог придумать, а сам все время носился исподтишка на Беки Татчер: видит она это или нет. Но она как будто ничего не замечала и ни разу не взглянула в его сторону. Неужели она не знала, что он здесь? Он перенес свои подвиги поближе к ней: носился вокруг нее с воплями, стащил с одного мальчика шапку, зашвырнул ее на крышу, бросился в толпу школьных растюхаков их в разные стороны и растинулся на земле под самым носом у Беки, чуть не сбив ее с ног, — а она отвернулась, задернув носик, и он услышал, как она сказала:

— Фу! Некоторые только и делают, что ломаются; значит, что это кому-нибудь интересно!

Шени Тома вспыхнула. Он поднася с земли и пошла прочь, уничтоженный, совсем упав духом.

ГЛАВА XIII

Том наконец решился. Он был настроен мрачно и горю на все. Другей у него нет, все его бросили, никто его не любит. Вот когда увидят, до чего довел несчастного мальчика, тогда, может, и пожалуют. Он пробовал быть хорошим, старался — так нет же, ему не дано. Что ж, пусть, если им только и надо, что избавиться от него; конечно, он же окажется у них виноват. Ну и прекрасно! Разве несли брошенный мальчик имеет право жаловаться? Жаловаться-таки, в конце концов! Ну что ж, придет к этому времени он был уже на середине Мадонного колокола, которое возвещало конец перемены. Он вспомнил при мысли о том, что никогда-никогда больше не слышит этого звонка; как ни тяжело, но что делать — его к этому принуждали; если его гонят скитаться по свету, придется уйти. Но он всем прощает. И всхлипывая стал чаще и слабей.

Тут ему как раз повстречался его закадычный друг Джо Парпер — с западающими глазами и, как видно, тоже готовый на все. Было ясно, что встретились «два старых, живущие одной мыслью». Том, утирая рукавом глаза, начал рассказывать, что собирается бежать из дома, потому что все с ним плохо обращаются и никто его не любит; так лучше он пойдет скитаться по свету и никогда больше не вернется домой. В заключение он выдал надежду, что Джо его не забудет.

Однако, однако, что и Джо собирался просить своего друга о том же и шел его размысливать именно с этой целью. Мать отодвинула его за то, что он будто бы выдал наивное-то славки, а он их не трогай и даже в глаза не смотри. Мать, что он ей надоел и она хочет от него отлучки, а если так, то ему ничего другого не остается, как уйти. Может, ей без него будет даже лучше и она никогда не пожалует, что выгнала своего несчастно-

го сына скитаться по свету, среди чужих людей, чтобы он там терпел мучения и умер.

Оба мальчика пошли даьше, держа своим печальным, и по дороге заключили новый договор: помогать друг другу, как братья, и не расставаться до самой смерти, которая положит конец всем их страданиям. Потому они обещали, как им быть даьше. Джо собирался стать отшельником, жить в пещере, питаться сухими корками и в конце концов умереть от холода, горы и нужды; однако, выслушав Тома, согласился, что в жизни преступников имеются кое-какие существенные преимущества, и решил сделаться пиратом.

Время миало ниже Сент-Питерсберга, в том месте где река Миссисипи немногим шире мши, лежит маленький, узкий, поросший лесом остров с большой песчаной отмелью у верхнего конца.— там они и решили поселиться. Остров был необитаем; он лежал ближе к другому берегу, как раз напротив густого и почти безлюдного леса. Потому-то они и выбрали остров Джексона. Кого они там будут грабить, об этом они даже не подумали. После этого они размыслили Гексберри Финна, и он сразу же к ним присоединился, потому что ему было все равно, чем он занимается; на этот счет он был стоворочен. Скоро они расстанься, чтобы встретиться в уединенном месте на берегу реки выше города в любимый час, то есть в полночь. Каждый должен был принести рыболовные крючки, удочки и что-нибудь из съестного, похитив все это самым таинственным и замысловатым образом, как подбавляет пиратам. И еще до наступления вечера они успели распустиить по всему городу слух, что очень скоро про них «услышат кое-что интересное». Все, кому они дали этот туманный намек, получали также предупредительные «держать язык за зубами и ждать».

Около полуночи явился Том с вареным окороком и еще кое-какой провизией и засел в густом кустарнике на крутой горке, чуть выше места встречи. Ночь была звездная и очень тихая. Морская река расстилалась перед ним, как океан во время шторма. Том прислушался минуту, но ни один звук не нарушил тишины. Потом он свистнул неторопливо и протяжно. Из-под горы ему ответили тем же. Том свистнул еще два раза; и на эти сигналы ему тоже ответили. Потом осторожный том спросил:

— Кто идет?
— Том Совер, Черный Мститель Испанских морей.
Назовите наши имена.
— Гек Финн, Кровавая Рука, и Джо Гарпер, Роза Океанов.— Том вычитал эти пыльные прозвища из своих любимых книжек.

— Хорошо. Скажите паровы!
Во мраке ночи два хриплых голоса шепотом произнесли одно и то же страшное слово:
— Кровы!

После этого Том скатился с горы окорок и сам съехал на нем, причем пострадал и штаны, и его собственная кожа. Под горой вдоль берега шла удобная, ровная тропинка, но ей недостаало препятствий и опасностей, чтобы ценных пиратами. Роза Океанов принесла с собой кусок свиной грудинки и выбиая из сил, пока не дошла до места. Финн, Кровавая Рука, стинула где-то котенок и пачку недосушенного листового табаку и, кроме того, захватила несколько маисовых стеблей, чтобы сделать из них трубки. Надо сказать, что, кроме него самого, никто из пиратов не курил и не жевал табак. Черный Мститель Испанских морей заметил, что не годится оставаться в путь, не запасшись огнем. Мысль была ему чужда; спичек в те времена почти не знали. В ста шагах выше по реке они увидели костер, тлеющий на большой пауте, подобрался к нему укрывкой и стащили топливо. Из этого они устроили целое приключение: то шатались друг на друга, то выдвигались вперед и прикармливали пауча к губам, то клали руку на воображаемую рукоятку кинжала, то отдавали глухим шепотом приказ паучу, что если «враг» зашевелится, то «вон-но» «смертвец» не выдадут тайны». Мальчикам было как паучу, лучше известно, что паучишки сейчас в городе, но паучишки или бражничают, и все-таки им не было так приятно пиратам. Скоро они отчалили: Том, который пошел у кормового веса, Джо на носу. Том впереди приказания глухим, суровым шепотом:

— К ветру! Держать по ветру!
— Есть, есть, сар!
— Так держать!

— Есть, сэр!

— Поворот на полрумба!

— Есть, сэр!

Так как мальчики гребли равномерно и медленно, вода плот на середине реки, то само собой разумеется, что эти приказанья отдавались только так, «для красоты слова», и ничего особенного не значили.

— Какие поданы паруса?

— Нижние, марсея и бом-каньера, сэр!

— Поставить трюмсея! Эй, вы там! Поставить десерт молодцов на фор-стень-стаксея! Шведисы!

— Есть, сэр!

— Опустить грот-брамсея! Шкоты и брасы! Поживей, ребята!

— Есть, сэр!

— Руль под ветер — с левого борта! Приготовься взять на абордаж! Лево руля, еще левей! Ну, ребята, дружнее! Так держать!

— Так держать, сэр!

Плот миновал середину реки, мальчики повернули его по течению и направили на весла. Уровень воды в реке был немалый, и скорость течения была не больше двух-трех миль. Прошло три четверти часа или час; все это время мальчики почти не разговаривали. Теперь плот проходил мимо Сент-Питерсберга. Два-три мерцающих огонька виднелись там, где над широкой туманной гаванью реки, усеянной отражающимися звездами, дремал городок, не подозревая о том, какое важное совершается событие. Черный Мститель все еще стоял со скрепленными на груди руками, «бросая последний взгляд» на те места, где он когда-то был счастлив, а потом страдал. Ему хотелось бы, чтоб «она» видела, как он несется по бурным волнам навстречу опасности и смерти, не зная страха и привествуя свою гибель мрачной улыбкой. Сделав совсем небольшое усилие воображения, он перенес вину остров Джексона подальше, так, чтобы его не видно было из города, и теперь «бросал последний взгляд» на родной город с болью и радостью в сердце. Оставшиеся пираты тоже «бросали последний взгляд», и все они смотрели так долго, что едва не дали течению снести их плот ниже острова. Однако они вовремя заметили свою оплошность и сумели исправить ее. Около двух часов утра плот сел на мель в двухстах ярдах выше острова, и

пятидесяти пиратов перетаскали на берег все свои пожитки. На маленьком плоту нашедся старый парус, и они растянулись на нем, между кустами вместо навеса, чтобы укрыть себя от солнца, сами они были намерены спать под открытым небом, как и подается пиратам.

Сын развеса костер у поваленного дерева в двадцати-тридцати шагах от темной чащи леса, поджарив на ринг целую сковородку свиной грудинки и съев по кусочку кургузых лепешек, захваченных с собой. Им было известно, что это замечательно весело — пировать на поваленном лесу на необитаемом и еще не исследованном острове, далеко от человеческого и еще не исследованного больше не возвращаться к цивилизованной жизни. Мальчики сели к небу папи костре освещало их лица, и красные отблески на колонны стволов, уходившие в глубь лесного храма, на лакированную анству и на лакированный винорада.

Маленький последний домишко поджаристой грудинки и был съеден последний кусок кургузых лепешек, было бы выбрать место попоходнее, но им не хотелось уходить от себя в романтическом удовольствии.

Привид, весело? — сказал Джо.

Еще бы! — отозвался Том. — Что сказали бы на-м, ребята, если бы увидели нас?

Что сказали бы? Да все на свете отдали бы, только бы почувствовать на нашем месте. Верно, Текки?

И тоже так думаю, — сказал Тек. — Я-то доволен, что мне это дело походящее. Мне ничего лучше не надо, чем сидеть по правде, мне ведь и поесть не всегда уда-ется достать; а потом... здесь тебя не тронут, никто не приставать к человеку.

Какая жизнь как раз по мне, — сказал Том. — Мне не надо вставать рано, и в школу ходить не надо, мне не надо учиться, да и мало ли у них там всякой чепухи. Прощай, Джо, если ты пират, так тебе ничего не надо, пока ты на берегу; а вот отшельнику так надо много молиться, да и не очень-то весело быть всегда

Да, это верно, — сказал Джо. — Я, знаешь ли, об этом много не думал раньше. А теперь, когда я попро-шу, мне больше хочется быть пиратом.

— Видишь ли,— сказал Том,— отшельники никогда не в почете. Это не то что в старое время, ну, а пираты и теперь уважают. Да еще отшельнику надо спать на голом что ни на есть жестком, носить рубище и посыпать голову пеплом, и на дожде стоять мокнуть и...

— А для чего ему носить рубище и посыпать голову пеплом?— спросил Гек.

— Не знаю. Так уж полагается. Все отшельники так делают. И тебе пришлось бы, если б ты пошла в отшельники.

— Ну, это дураки,— сказал Гек.

— А как бы ты сделала?

— Не знаю. Только не так.

— Да ведь пришлось бы. Как же без этого?

— Ну, я бы не вытерпела. Взяла бы и убежала.

— Убежала! Хорошо бы ты была отшельник. Просто воображал!

Кровавая Рука ничего не ответила, так как нашла более интересное занятие. Он только что кончил вырезать трубку из кукурузного початка, а теперь придал ей черенок, набив табачными листьями, прижал сверху утюжком и пустил целое облако душистого дыма. Удовольствие было полное, и он весь в него ушел. Отавапские пираты только завидовали этому царственному пороку и втайне решили обучиться ему поскорее, не кадыкая дела в долгий ящик! Вдруг Гекберри спал.

— А вообще, что делают пираты?

Том ответил:

— О, им очень весело живется: они захватывают рабов, жгут их, а деньги берут себе и зарывают в канюху закопанном месте на своем острове, чтобы стеречь всякие там призраки; а всех людей на корабле убивают— обрасывают с доски в море.

— А женщин увозят к себе на остров,— сказал Гек.

— Да,— подтвердил Том,— женщины они не увозят— они очень великодушны. А женщины всегда невинны.

— А как они одеты! Вот это да! Сплошь в золотом серебре и брильянтах!— с восторгом прибавил Джим.

— Кто?— спросил Гек.

— Да пираты, кто же еще.



Гек повесело оглядел свой костюм.

Помоюму, я в пираты не похужу— не так одет,— заметил он с сожалением в голосе,— а другого у меня ни-кого нет.

Двадцать мальчики доказали ему, что богатые костюмы не являются сами собой, как только они начнут жить, и что это только прикрасы. Они дали ему понять, что, пока они не станут пиратами, они не могут быть счастливы. Пираты как-нибудь сойдут для начала, хотя состоятельные пираты обыкновенно приступают к делу с бо-мощными средствами.

Маленькому разговору оборвався, и у маленьких бег-лецов начали свистеть глаза. Кровавая Рука выронила трубку и заснул крепким сном, как спят люди усталые и беззаботные. Гроза Оксанов и Черный Мститель и другие пираты уснули не так легко. Они поманились к себе, потому что никому было заставить их спать, они были дураки совсем не молиться, но побой-лись, специально посланным с небес. Вдруг сразу все изменилось, и они готовы были погрузиться в сон. Но тут пришла нежданная гостья, которую нельзя было прогнать: это была совесть. В их душу начало закрадываться смут-ное ощущение, что они, может быть, поступили нехорошо, и что им надо думать о том, что они сделали. Они попро-сили отдалиться от своей совести, напомнив ей, что они ведь только конфеты и яблоки, но она не поддава-

лась на такие шитые белыми нитками хитрости. В конце концов, сам собой напрашивался вот какой вывод, и это никак нельзя было обойти: взять потихоньку что-нибудь саако — значит, стаянуть, взять же кусок грудинки оокорок или другие ценности — значит, просто-напросто украсть; а на этот счет имеется заповедь в Библии: И про себя они решили, что, пока будут пиратами, ни что не запятнают себя таким преступлением, как кража. Тогда советъ успокоилась и обьявила перемирие, и не посасовательные пираты мирно уснули.

ГЛАВА XIV

Проснувшись утром, Том не сразу понял, где находится. Он сел, протер глаза и осмотрелся. И только тогда пришел в себя. Занималось прохладное серое утро, и рабское безмолвие лесов было проникнуто отдаленным шепотом мира и покоя. Не шевелась ни одна листва, ни один звук не нарушал вечного раздумья природы. Бусинки росы висели на листьях и травах. Белый сам пелла лежал на головных костра, и тонкий синий дымок поднимался кверху. Даже с Теем еще спали.

И вот где-то в глубине леса чиркнула птица, ей ответила другая, и сейчас же послышалась стукотня дятла. Постепенно стал белеть мутный серый свет прохладного утра, так же постепенно множались звуки, и все оживало на глазах. Мальчик, задумавшись, глядел, как пробуждается и начинает работать природа. Маленький лисеный червяк полз по мокрому от росы листу, временами поднимая в воздух две трети туловища и тогда принимаясь, потом двигался дальше. Это он мерно ползти к нему поближе, Том замер, едва дыша, и то и догадываясь, когда червяк подвинется ближе, то приходило ощущение, когда тот козлеблется, не свернуть ли ему в сторону. И когда наконец червяк остановился на минутку, а потом решительно переполз на ногу Тома, лисеный путешествовать по ней, мальчик возмущенно пустился путешествовать по ней, мальчик возмущенно всем сердцем: это значило, что у него будет новый в том — конечно, разлоаченный мушкетир пирата. Вот известно откуда появилась процессия муравьев, по-

шествующих по своим делам; один из них, понагнувшись, отпихнул вназад на спину дохлого паука выпитеро пидные себя самого и потащил вверх по стволу дерева. Коричневая с крапинками божья коровка взбиралась по тропинке на головокружистабную высоту. Том наклонился к ней и сказал:

Божья коровка, скорей улетай.
В твоём доме пожар, своих асток спасай.

Она сейчас же послушалась и улетела, и Том никак не удивился: он давно знал, что божья коровка очень астрокверны, и не раз обманывала бедняшек, подбуживая их простотой. Потом потащилась мимо навозный жуки, изю всех сил толкая перед собой шар; и Том догнал жука пальцем, чтобы посмотреть, как он пододвигает лапки, притворяясь мертвым. Птицы к этому времени распеались вовсю. Дрозд-пересмешник сел на деревце над головой Тома и трель за трелью принялся перепрыгивать пенне своих соседей. Потом вспышкой голубого огня метнувшись вниз крикнув сойка, села на ветку так близко от Тома, что он мог бы достать до нее рукой, и, наклонив голову набок, стала разглядывать чужаков с ненасытным любопытством. Серая беака и еще какой-то зверек покрупнее, лисей породы, пробежали мимо, изредка останавливаясь на берегу и сердито цокая на мальчиков; должно быть, звери в этом лесу никогда еще не видели человека и не знали, пугаться им или нет. Но живое теперь проснулось и зашевелилось: длинные концы солнечного света пронизывали густую листву; двести бибочки гонялись одна за другой, перепархивая с места на место.

Том разбудила оstarьных пиратов, и все они с криком и топотом пустились бежать к реке, а там в одну минуту разбежались и стали плавать наперетонки и кувдыряться друг через друга в прозрачной мелкой воде белой песчаной отмели. Их больше не тинило в маленький городок, дремавший в отдалении над величественной водной гавани. Плот унесло течением или приливной водой, но это было только на руку мальчишкам, потому что, если можно так выразиться, сожгло мост между ними и цивилизацией.

Они перуанлись в лагерь чудесно освежившись, все-таки и голодные, как вошки; и в одну минуту снова запы-

давал походный костер. Гек нашел поблизости каню с холодной водой; мальчики сделали себе чашки из широких лубовых и ореховых листьев и решили, что эта вода, подслащенная дикой пределью лесов, отлично заменит им кофе. Джо стал резать к завтраку ветчину, но Том с Гekom попросили его подождать минутку: они отыскали на берегу одно заманчивое местечко, забросили удочки и очень скоро были вознаграждены за труд. Джо не успев еще соскучиться, как они вернулись, неся порядочного лавина, двух окуней и маленького соменка, — такого улова хватало бы на целую семью. Они поджарили рыбу с грудинкой и даже удивились — никогда еще рыба не казалась им такой вкусной. Они не знали, что речная рыба тем вкусней, чем скорей попадает на огонь, кроме того, им и в голову не приходило, какой отменной приправой бывает сон под открытым небом, беготни на воле, купанье и голод.

После завтрака они разлеглись в тени, и Гек выкурил трубочку, а потом отправился через лес на разведку. Они весело шли по лесу, пробираясь через гнилой бурелом и густой подлесок, между величественными деревьями, одетыми от вершины до самой земли пахотом дикого винограда. То тут, то там им встречались уютные уголки, убранные ковром из трав и пестреющими цветами.

Они нашли много такого, что их обрадовало, но ровно ничего удивительного. Оказалось, что остров танется миль на три в длину, а шириной он всего в четверть миль и что от ближнего берега он отделен узким рукавом в каких-нибудь двести ярдов шириной. Через каждый час они купались, и день передала уже за половину, когда они вернулись в лагерь. Мальчики очень проголодались, так что ловить рыбу было уже некогда, зато они отчаянно пообедали холодной ветчиной, а потом улеглись в тени разговаривать. Но разговор что-то не клеился и скоро совсем смолк. Тишина, торжественное безмолвие лесов и чувство одиночества начали сказываться на настроении мальчиков. Они признавались. Какая-то смутная тоска напала на них. Скоро она приняла более определенную форму: это начиналась тоска по дому. Дяде Финн, Кривая Рука, и тот мечтал о пустых бочках и чужих сенах. Но все они стыдились своей слабости, и никто не отваживался высказаться вслух.

Но мальчиков уже давно доносились издали какой-то странный звук, но они его не замечали, как не замечали никогда тикающих часов. Однако теперь этот загадочный звук стал более навязчивым и потребовал внимания. Мальчики выстроились, переглянулись и замерли, прижавшись к земле. Наступило долгое молчание, лаубовое, почти мертвое, потом глухой грозный гуд докатился до них издали.

— Что это такое? — нервно спросил Джо.

— А, в самом деле? — прошептал Том.

— Это не гром, — сказал Гек, — Гексберри испуганным голосом, — потому что гром...

Они ждали несколько минут, которые показались им вечностью, затем торжественную тишину снова нарушили глухие раскаты.

— Поидем поглядим.

Все трое вскочили на ноги и побежали к берегу, туда, откуда виделся городок. Раздвинув кусты над водой, они стали смотреть на реку. Маленький пароходик шел поперек реки, мисей ниже городка. Широкая пауза была пона народ. Люди плали вниз по реке рядом с пароходиком, сновали вокруг него, но издали мальчики не могли разглядеть, что делают сидящие в них люди. Наружу большой клуб белого дыма оторвался от парохода, и когда дым поднялся и расплылся дымным облачком, до слуха мальчиков дозвучало все тот же глухой звук.

— Теперь понимаю! — воскликнул Том. — Кто-нибудь утонул!

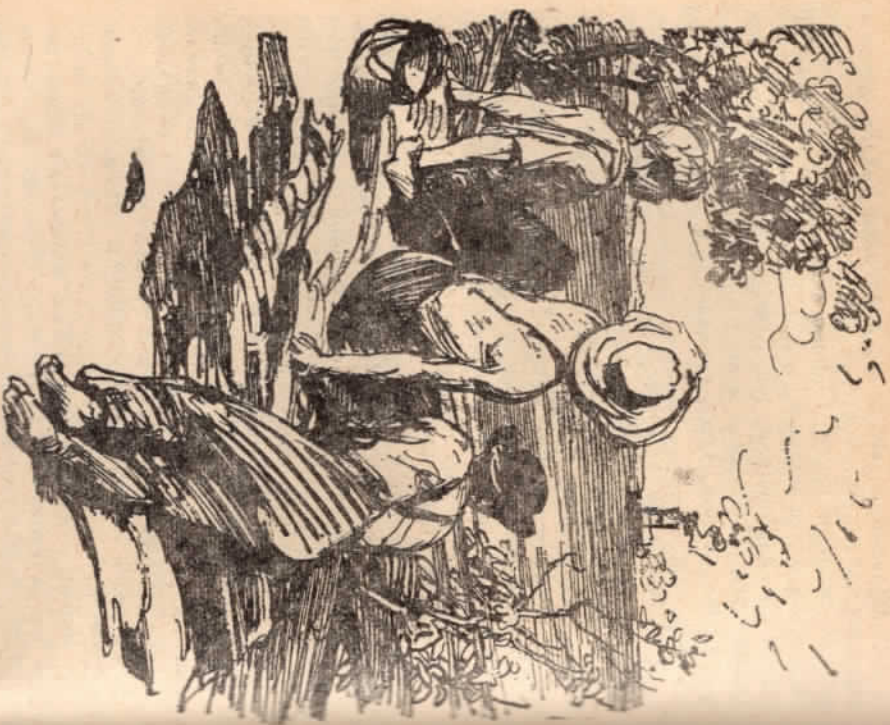
Верно! — сказал Гек. — Так же делали прошлым летом, когда утонул Билл Тернер: стреляют из пушки над водой, чтобы утопающий всплыл наверх. Да еще бегут ковернуть хлеба, кадают в нее ртуть и пускают по воде, и где есть утопающий, туда хлеб и падает и останавливается на том самом месте.

— А, я тоже это слышал, — сказал Джо. — Не знаю, почему хлеб останавливается.

— Тут, по-моему, не один хлеб действует, — сказал Том, — а больше всякие слова; они что-то там поворают, когда пускают хлеб по воде.

— А вот и не говорят ничего, — сказал Гек. — Я сам знаю, ничего не говорят.

— Ну, это что-то чудно, — сказал Том. — Может, про



себя шепчут. Конечно, про себя. Всякий мог бы догадаться.

Оставшие согласились, что Том, должно быть, прав, потому что простой кусок хлеба без заговора не мог бы действовать так осмысленно, выпонная дело такой важности.

— Ох, черт, мне тоже хотелось бы на ту сторону, — сказал Джо.

— И мне, — сказал Гек. — Я бы все на свете отдал, лишь бы узнать, кто утонул.

Мальчики все еще слушали и смотрели. Вдруг Тома перебил:

— Ребята, я знаю, кто утонул, — это мы!

На минуту они почувствовали себя героями. Вот это было настоящее торжество: их шут, о них говорят, из-за них умирают, льют слезы, горько расклинаются, что припадись к бедным, погибшим мальчикам, предаются полным сожалением, испытывают угрызения совести; а самое лучшее: в городе только и разговоров что про утонувшего, и все мальчики завидуют им, то есть их бытие пиратом после этого.

С наступлением сумерек пароходик опять стал ходить по одному берегу к другому, и люди исчезли. Морские разбойники вернулись в дачер. Их расширало тусклость, они гордились своим новоявленным величием и тем, что надевали хапот всему городу. Они наловили рыбы, приготовили ужин, поели, а потом принялись гадать, что думают и говорят о них в городке; отсюда им было очень приятно любоваться картиной всеобщего горю. Но как только спустилась ночная тень, они мало-помалу перестали разговаривать и сидели молча, глядя на огонь, а думы их, видно, бродили где-то далеко. Возвращаясь теперь уединенно, и Джо с Томом невнятно вспоминали про своих родных, которыми дома вовсе не так весело думать об этой их шалости, как им здесь. Появились первые предчувствия; мальчики упали духом, начали тревожиться и разок-другой вздохнули урядкой. Наконец Джо отважился робко закинуть удочку насчет того, как другие смотрят на возвращение к цивилизации — не сейчас, а когда-нибудь потом...

Том высмеял его беспощадно. Гек, пока еще ни в чем не провинившись, приселелнился к Тому; отступник тут же начал обижаться и был рад-радехонек, что деловито отдалась, запитав себя только маюдушнем и тоской по дому. На время бунт был подавлен.

Как только совсем стемнело, Гек начал класть носом и скоро захрапел. За ним уснул и Джо. Некоторое время Том лежал неподвижно, опершись на локоть, пристально глядя на них обоих. Потом он осторожно встал на колени и начал шарить в траве, там, куда ложился неровные идиотски походной костра. Он поднимал и разглядывал один за другим большие свертки тонкой белой платано-



вой коры и наконец выбрал два самых подходящих. Стан на колени перед костром, он с трудом напарала что-то суриком на обоих кусках коры, один свернул по-прежнему трубочкой и положил в шапку Джо, отодвинув ее немножко от хозяина. А еще он положил в эту шапку бесценные в глазах всякого школьника сокровища — кусок меда, резиновый мячик, три рыболовных крючка и один шарик — из тех, какие именовались «настоящими, хрустальными». После этого он стал пробираться между деревьями, осторожно ступая на ульпюках, пока не отошел ревными, осторожно ступая на ульпюках, пока не отошел настолько далеко, что его шагив не слыши было расслышать, и тогда пустился бежать прямо к песчаной отмели.

ГЛАВА XV

Через несколько минут Том уже бег по мягкой воде песчаной отмели, перепрыгивая на иллинойский берег. Прежде чем вода дошла ему до пояса, он успел пройти больше половины дороги. Так как сильное течение не позволяло больше идти вперед, он уверенно пустился вплавь, надеясь одолеть оставшуюся сотню ярдов. Он плыл против течения, забирая наискось, однако его сно-

сало плыло гораздо быстрее, чем он думал. Все-таки в конце концов он добрался до берега, нашел удобное место и вылез на воду. Сунув руку в карман куртки, он убедился, что кусок коры цел, и зашагал через лес, держась поближе к берегу. Вода стекала с него ручьями. Еще не было десяти часов, когда он вышел из леса на открытое место, как раз напротив городка, и увидел, что пароходик стоит под высоким берегом в тени деревьев. Все было спокойно под мигающими звездами. Он спустился с обрыва, озираясь по сторонам, соскочил на воду, подплыл к пароходнику, влез в челнок, стоявший под верной, и, забившись под давку, отдышался и стал плавать.

Скоро звякнула натреснутый колокол и чей-то голос промолвил: «Отчаливай!» Через минуту или две нос паролика поднялся на волне, разведенной пароходником, и потешные начались. Том порывалась своей удаче, зная, что это последний рейс пароходника. Прошло долгие двенадцать или пятнадцать минут, колеса остановились, и Том, перевалившись через борт, попал в темноту к берегу. Он вылез из воды шагах в пятидесяти от пароходника, чтобы не наткнуться на оставших пассажиров.

Том бежал по безлюдным переулкам и скоро очутился перед забором тети Полаи, выходящим на задок. Он перелазил через забор, подошел к пристройке и заглянул в окно тетиней комнаты, потому что там горел свет. Тети Полаи, Сид, Мари и мать Джо Гарпера сидели и разговаривали. Все они сидели около кровати, так что кровать была между ними и дверью. Том подкрался к двери и начал тихонько поднимать щеколду, потом осторожно нажал на нее, и дверь чуть-чуть приотворилась; он все толкал и толкал ее дальше, вздрагивая каждый раз, когда она скрипела, и наконец щель стала настолько широкой, что он мог проползти в комнату на четвереньках; тогда он просунул в щель голову и осторожно поглядел. — Отчего это свечу задувает? — сказала тети Полаи. Том поплз быстрее. — Должно быть, дверь открыта. Ну да, так и есть. Бог знает что у нас творится. Полаи, Сид, закрой дверь.

Том как раз вовремя нырнул под кровать. Некоторое время он отлеживался, переводил дух, потом подполз совсем близко к тете Полаи, так что мог бы дотронуться до ее ноги.

— Ведь я уже вам говорила, — продолжала тетя Пола — ничто плохого в нем не было, — озорник, потише. Ну, ветер в голове, рассеян немножко, знаете ли. С него и спрашивать-то нельзя, все равно что с жеребенка. Никому он зла не хотел, и сердце у него было золотое... — И тетя Пола заплакала.

— Вот и мой Джо такой же: вечно чего-нибудь натворит, и в голове одни проказы, зато добрый, ласковый; а я-то, господин прости, взяла да и выпорола его за эти сивки, а главное — из головы вон, что я сама же их выслнула, потому что они прокисли! И никогда больше и не увижу, бедного моего мальчишка, никогда, никогда! — И миссис Гарпер зарыдала так, словно сердце у нее разрывалось.

— По-моему, Тому гораздо лучше там, где он теперь находится, — сказал Сид, — а все-таки, если бы он все же

бы поучился... — Сид! — Том почувствовал, что тетя Пола грозно сверкнула глазами, хотя и не мог этого видеть. — Помоги же и не трогай Тома, ведь его больше нет на свете! Он теперь у бога, так что напрасно вы беспокоитесь, сударыня! Ах, миссис Гарпер, просто не знаю, как я это переживу! Просто не знаю! Ведь он был единственным моим утешением, хотя, случалось, и огорчал меня, старуху.

— Бог да, бог и взял. Благословенно имя господне! Только это тяжело. Ох, как тяжело! Не давай же как и прошлую субботу мой Джо хлопнуть пистолотом чуть не под самым моим носом, а я его так шлепнула за это, что он у меня полетел на пол. Кто же знал, что так скоро... Да если бы он еще раз это сделал, я бы его просто обидела и расстреляла.

— Да, да, да, я вас понимаю, миссис Гарпер, я вас так понимаю. Еще вчера в полдень мой Том взял да и напал кота лакастом — что тут делалось!.. Я думала, кот весь дом разнесет вдребезги. И, прости меня, господин, я стукнула Тома по голове наперстком... Бедный мой мальчик, нет его больше. Зато теперь все его мучения кончились. И последнее, что я от него слышала, это утешение...

Но этого воспоминания она была не в силах вынести и завилась слезами. Том тоже всхлипывал, больше от жадости к себе самому, чем к кому-нибудь другому. Он слышал, как плакала Мари, изредка вмешиваясь в раз-

говор, чтобы сказать о нем что-нибудь хорошее. Теперь же и сам был о себе гораздо лучшего мнения. Все-таки тетя Пола настолько его тронула, что он уже хотел было нырнуть из-под кровати и броситься ей на шею, чтобы она опомнилась не тогда от радости; но, хотя ей было очень весело, Том ему не поддавался и держался смирно. Прислушиваясь даже к разговору, он полагал по отрывкам его обрывкам, что сначала думали, что мальчишки утонули во время купанья, потом хватились мальчишеского пласта: после этого распространился слух, будто бы пропавшие мальчишки намеряли товарищей в разговоре, что весь город о них скоро услышит, тогда уцелевшие головы стали смекать — и смекнули, что мальчишки упали на пауту и скоро отыщутся в ближайшем горюшке вниз по реке. Однако в полдень паут на берегу, и всякая надежда пропала. Значит, они утонули, и висящий годок пригнал бы их домой к вечеру, если не раньше. Думали, что мальчишки утонули на середине реки, потому что и не нашли; а не то им легко было бы добраться до берега, плавали они хорошо. Это случилось в этот вечер. Если те же до воскресенья не будут найдены, решено было оставить всякую надежду и утром в воскресенье отслужить заупокойную службу. Том заплакал.

Миссис Гарпер, всхлипывая, пожелала всем доброй ночи и собралась уходить. Обе осиротевшие женщины, оставшиеся одними и тем же чувством, обнялись и, нападая на плачу, расстались. Тети Пола была гораздо больше обыкновенного, прощаясь на ночь с Сидом и Мари. Сид селетка поспыивала, а Мари плакала навзрыд, от разрыва сердца.

Потом тетя Пола опустилась на колени и стала молиться за Тома так трогательно, так тепло, с такой безграничной любовью в дрожащем старческом голосе и таинственных словах, что Том под кроватью обняв себя руками, слушал, как она дочитывает последнюю молитву.

После того как тетя Пола улеглась в постель, Тому было очень тяжело лежать смирно, потому что она все плакала, время от времени что-то горестно бормоча вслух, и беспокойно металась из стороны в сторону. Изредка она затихла и только изредка слышала вдали вой Тома мальчишка выбрался из-под кровати и, заслонив

рукой пама свечн, стаа гадать на спящую. Его сердце было полно жалости к ней. Он достал из кармана сверт платановой коры и положил его рядом со свечкой. Не вдруг какая-то новая мысль пришла ему в голову, и он остановился, раздумывая. Его лицо просияло, и, не видно, что-то решив про себя, он сунул кору обратно в карман. Потом нагнулся, поцеловал сморщенные губы и ни секунды не медля, на прыпочках вышел из комнаты опустив за собой щекодау.

Он пустился в обратный путь к переносу, где в этот час не были ни души, и смело вошел на борт пароходка, зная, что там нет никого, кроме сторожа, да и тот всегда уходит в рубку и спит как убитый. Он отыскал челнок от кормы, забрался в него и стал осторожно присти против течения. Немного выше города он начал присти наноско к другому берегу, не жалея сил. Он уловил как раз к пристани, потому что дело это было для него привычное. Тому очень хотелось захватить челнок псаен, потому что его можно было считать кораблем в сасдовательно, законной добычей пиратов, однако он знал, что искать его будут везде и, пожалуй, могут и кинуться на самих пиратов. И он выбрался на берег и вошел в лес. Там он сел на траву и долго отдыхал, мучительно снись побороть сон, а потом через снау побрел к лагерю. Ночь была на исходе. Прежде чем он пошел, наляся с отмелью, совсем рассвело. Он отдыхал, по соннице не поднялось высоко и не позозотило бодрости реку во всем ее величии, и только тогда вошел в лагу. Спусти немного времени он уже стоял, весь мокрый, на границе лагера и слышал, как Джо говорил Геку:

— Нет, Том не подведет, он непременно вернется. Гек. Он не сбежит. Он же понимает, что это был не зор для пирата, и ни за что не останется, хотя бы гордости. Он, верно, что-нибудь затеял. Хотелось бы знать, что у него на уме.

— Ну, ладно, его вещи-то теперь, во всяком случае наши?

— Вроде того, только не совсем, Гек. В записке сказано, что они наши, если Том не вернется к завтра. — А он вернулся! — воскликнула Том и, прервав разыграв эту драматическую сцену, торжественно вошла в лагерь.

В этот день была подали роскошный завтрак — рыба с грудами картофеля, и, как только они усеялись за еду, Том пустился расспрашивать о своих приключениях, безбожно их извешавая. Наслаждались его, мальчики и сами приехали наладить нос и хватать напропаваю. После этого Том выбрал себе тенистый уголок и залег спать до полудня, а остальные пираты отправлялись ловить рыбу и возвращаться к острову.

ГЛАВА XVI

После обеда вся шайка отправилась на отмель за черными пиратами. Мальчики расхаживали по отмелью, разбавляя на коленях и копади песок руками. Иногда они вылезали по пятидесяти — шестьдесят дюймов в одной ямке. Когда были совсем круглые, безаме, чуть поменьше грецких орехов. В этот вечер мальчики устроили знатный пир. Непосредственно до отвода яичницы, и в пятницу утром того же дня завтрак они с воплями носились взад и вперед по отмелью, гонимые друг за другом, сбрасывая на землю и воду, покрывавшую отмель; быстрое течение толкало их с ног, но от этого становилось только веселее. Они то нагибались все разом и начинали псалить друг в друга водой, отворачивая только лицо, что-то было было взохнуть, то принимались бороться и вылезали до тех пор, пока победитель не окуная оставшуюся головой, и вдруг все разом уходили под воду, месья на солнце клубком белых рук и ног, а потом опять вылезали на поверхность, отфыркиваясь, отплевываясь, и задыхались.

Найдяшись из сна от возни, они вылезали на берег, и, как только они усеялись за еду, Том пустился расспрашивать о своих приключениях, безбожно их извешавая. Наслаждались его, мальчики и сами приехали наладить нос и хватать напропаваю. После этого Том выбрал себе тенистый уголок и залег спать до полудня, а остальные пираты отправлялись ловить рыбу и возвращаться к острову.

Потом они достали шарики и стали играть в них — и играли до тех пор, пока и это развлечение не наскучило. После этого Джо с Гекком опять пошли купаться, а Том

не захотел, так как обнаружил, что, сбрасывая штаны, сбросил вместе с ними и трещотку гремучей змеи, привязанную к ноге; он только подвинулся, как это его до сих пор не схватила судорога без этого чудодейственного амулета. Купаться он не отваживался, пока опять не пришла трещотка, а к этому времени Джо с Гекком уже ушли и решившись отдохнуть. Мало-помалу они разбрелись в разные стороны, вняли в уныние и с тоской потаивали за широкую реку — туда, где дремал на солнце маленький городок. Том спохватился, что пишет на песне «Беки» большим пальцем ноги; он стер написанное и рассердился на себя за такую слабость. Но он не в силах был удержаться и снова написал то же самое; потом опять затер это саово ногой и ушел подавльше от искушения, собирать оставшихся пиратов.

Однако Джо совсем упал духом, и оживить его было невозможно. Он так соскучился по дому, что не знал, куда деваться от тоски. Слезы вот-вот готовы были хлынуть рекой. Гек тоже приуныл. У Тома на сердце скребли кошки, но он изо всех сил старался этого не показывать. У него нылся один секрет, о котором он пока что не хотел говорить, но если это мятельное настроение не пройдет само собой, то придется открыть им свою тайну. Он сказал, стараясь казаться как можно веселее:

— А ведь, должно быть, на этом острове и до нас с вами жила пираты. Мы его опять исследуем. Где-нибудь здесь, наверно, зарыт клад. Вдруг нам посчастливится откопать полуистгнивший сундук, набитый золотом и серебром? А?

Но это вызвало лишь слабое оживление, которое утасало, не приведя ни к чему. Том пустился в ход еще какие-то рассказы, но и они не имели успеха. Это была не благодарный труд. Джо сидел с очень мрачным видом, ковыряя палькой песок. Наконец он сказал:

— А не бросить ли нам все это, ребята? Я хочу домой. Здесь такая скучища.

— Да нет, Джо, потом тебе станет веселее, — сказал Том. — Ты подумай только, какая здесь рыбная ловля!

— Не хочу я ловить рыбу. Я хочу домой.

— А купанья такого ты нигде не найдешь.

— На что мне купанье? И неинтересно даже купаться, когда никто не запрещает. Нет, я домой хочу.

Ну и проваливай! Соляки! К маме захотел, знаешь? Да, вот и захотел к маме! И ты бы захотел, только не с ней. И никакой я не соляк, не хуже тебя! — Джо засел на носом.

Ажно, давай отпустим этого плаксу домой к маме. Верно, Гек? Младенчик, к маме захотел! Ну и нехай его! А тебе тут нравиться, Гек? Мы с тобой оспариваем?

Том сказал: «Да-а-а», — но без всякого энтузиазма. Новьше и с тобой не разговариваю, — сказал Джо, — я с тобой не так. Вот и все. — Он упрямо отошел от них и стал одеваться.

Подумавшись, — сказал Том. — Очень мне надо с тобой разговаривать. Ступай домой, пускаяй тебя там подальше на смех. Нечего сказать, хорош пират! Ну нет, Джо, Гек? Пускай уходит, если ему надо. И без него можно.

Мало-помалу Джо не по себе, он забеспокоился, увидев, что Джо одевается с самым мрачным видом. Кроме того, было неприятно, что Гек следит за сборами вещей и зловещее молчание. Минуту спустя Джо, не выдержав, пошел на прощанье ни слова, побрел вброд к идинойс-реке. У Тома запыало сердце. Он посмотрел на часы, но не в силах был вынести его взгляда и отвел глаза.

Мне тоже хочется домой, Том. Скучно как-то теперь будет еще хуже. Давай тоже уйдем.

Но хочу! Можете все уходить, если вам угодно.

Том, я лучше уйду.

Сундай! Кто тебя держит?

Том начал собирать разбросанное по песку платье. Он

Том, лучше бы и ты вместе с нами. Ты подумай. Ты ведь подождешь на том берегу.

Ну и ждите сколько влезет!

Том уныло пошел прочь, а Том стоял и глядел ему вслед, чувствуя сильное искушение махнуть рукой на свою гордость и тоже уйти с ними. Он надеялся, что они останутся, но они медленно брели по мекской дорожке. Том сразу почувствовал, как без них стало оди-



ноко. Еще немного, и гордость его была сломлена, — он бросился бежать за своими друзьями, вопи:

— Погоните! Послушайте, что я вам скажу!

Они сразу остановились и обернулись к Тому. Доведя до них, он открыл им свою тайну, а они хмурые, суровые, пока не поняли, в чем штука, а когда поняли, то радостно завопили, что это «здорово» и что если б он сразу им сказал, они бы ни за что не ушли.

Том тут же придумал что-то себе в оправдание, на самом деле он боялся, что даже его тайна не удержит их надолго, и приберегал ее напоследок.

Они вернулись на остров веселые и опять принимались за игры, богатая напербой об удивительной выдумке Тома и восторгаясь его изобретательностью. После роскошного обеда из личинцы и рыбы Том объявил, что теперь он, пожалуй, поучится бы курить. И Джо воспаленный этой мыслью и сказав, что ему тоже хотелось бы покурить. Гек сделал им трубки и набил табак. Они новичка не курили до сих пор ничего, кроме выпорванных листьев, от которых только ципало язык, да это не считалось настоящим куревом.

Они развалились на земле, опираясь на локти, и начали подхихивать трубками, очень осторожно и не без опаски. Дым был неприятного вкуса и застревал в гортани, но Том сказал:

— Да это совсем легко! Если б я знал, что это так просто, я бы давно выучился.

— И я тоже, — подтвердил Джо. — Ничего не стоит! — Сколько раз я видел, как другие курят, вот бы

я тоже, и мне тоже, — сказал Том, — только я не знал, что это так просто.

Вот и я тоже, правда, Гек? Сколько раз я при этом самое говорил, ты ведь слышал, Гек? Вот Гек слышит, говорил я или нет.

— Ну да, сколько раз, — подтвердил Гек.

И я тоже, — сказал Том, — тысячу раз говорил. Один раз около бойни. Помнишь, Гек? Еще тогда были там Боб Таннер, Джонни Миллер и Джеф Татчер. Ты ведь помнишь, Гек, я это говорил?

— Ну да, еще бы, — сказал Гек. — Это было в тот самый день, когда я потерял белый шарик. Нет, не в тот день, а накануне.

Ага, что я тебе говорил, — сказал Том. — Вот я и тебе помню.

Мне кажется, я бы мог целый день курить трубку, — сказал Джо. — Ни капелюшки не тошнит.

И меня тоже ни капелюшки, — сказал Том. — Я бы мог курить целый день. А вот Джеф Татчер, наверно, не мог бы.

Джеф Татчер! Да он от двух затяжек под стол падает. Пускай попробует хоть один раз. Где ему! Ну конечно. И Джонни Миллер тоже, — хотел бы я покурить, как он за это примется!

Еще бы, я тоже! — сказал Джо. — Куда твой Джонни Миллер годится! Его от одной затяжки со стола своротит.

— Ну да, свернет. А хотелось бы мне, чтобы ребята на нас поглядывали теперь.

И мне тоже.

Вот что, друзья, мы никому ничего не скажем, я так думаю, когда они все соберутся, я подойду к тебе и скажу: «Джо, трубка с тобой? Что-то захотелось покурить». А ты ответишь так, между прочим, будто это ничего не значит: «Да, старая трубка со мной, а табачка тоже есть, только табак неважный». А я скажу: «Это ничего, лишь бы был покрепче». А я скажу: «Обе трубки, и мы с тобой закурим, как ни в чем не бывало» — то-то они удивятся!

— Ладно, вот будет здорово! Жалко, что сейчас мы еще не идём!

Еще бы не жалко! А когда мы скажем, что выходя курить, когда были пиратами, небось позавидуют, что не были с нами?

и оглушит каждое живое существо на нем,— и все это в одно и то же мгновение. Страшно было в такую ночь оставаться под открытым небом.

Но в конце концов битва кончилась, войска отступили, угрожающе ворча и громыхая в отдалении, и на земле снова воцарился мир. Мальчики вернулись в дотер, сидно напуганные; оказалось, что большой патаи, под которым они устроили себе постели, лежал вырбезги разбитый молнией, и мальчики радовались, что их не было под деревом, когда оно рухнуло.

Все в лагере было занято водой, и костер тоже, потому что, по свойственной их возрасту беспечности, мальчики и не подумали чем-нибудь прикрыть огонь от дождя. Было от чего прийти в отчаяние, так они промокли и озноби. Они красноречиво выражали свое горе: но скоро обнаружилось, что огонь ушел далеко под большое бревно, в том месте, где оно приподнималось, отделившись от земли, и от дождя укрылась тлеющая подоска в даянь шириной. Мальчики терпеливо раздували огонь и подкалывали щепки и кору, доставая их из-под сухих снизу бревен, пока костер не разгорелся снова. Тогда они навалили сверху толстых суевей, пламя заредело, как в горне, и мальчики опять повеселели. Они высунули вареный окорок и насыли досьта, а потом до самого рассвета сидели у костра, хвастаясь и приукрашивая ночное происшествие, потому что спать все равно было нелегко — ни одного сухого местечка кругом.

Как только первые лучи солнца прокрались сквозь ветви, мальчиков стало каянить ко сну, они отирались на отмас и улеглись там. Мало-помалу начало припекать солнце, и они нехоти поднялись и стали готовить завтрак. После еды они раскисли, едва двинулись, и им опять захотелось домой.

Том это заметил и принялся развлекать пиратов чем только мог. Но их не привлекали ни шарики, ни дрик, ни купанье, ничто на свете. Он напомнил им про важный секрет, и это вызвало проблеск радости. Пока этот проблеск не угас, Том успел заинтересовать их новой выдумкой. Он решил бросить пока нир в пиратов и для разнообразия сделать индейками. Им эта мысль понравилась — и вот, не долго думая, все они разделись догола, вымазались с ног до головы полосами грязи,

иногда лабри, и помчались по лесу, собираясь напасть на индейских поселенцев. Все они, конечно, были вожди.

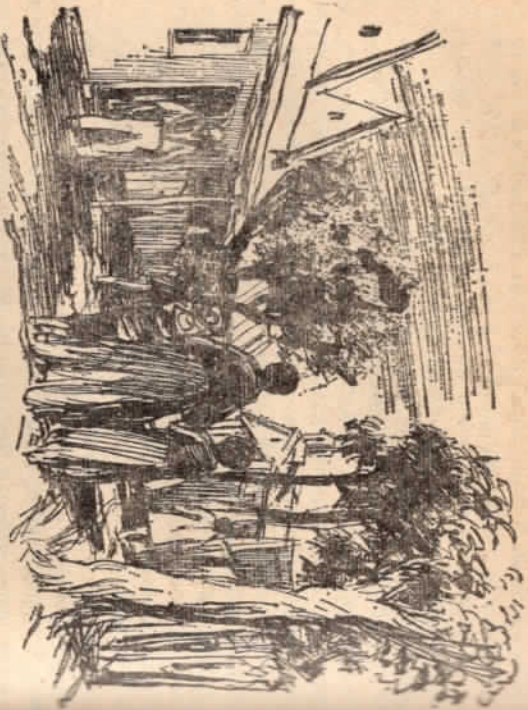
Потом они разбидлись на три враждебных племена и бросались друг на друга из засады со страшными криками, уводя врагов и снимая скалды тысячами. День выдался кровожадный и, значит, очень удачный.

Они собрались в лагере к ужину, голодные и веселые, но тут возникло затруднение: враждебные племена не могли оказывать друг другу гостеприимство, не заперто между собой перемирия, а заковать его было даянь невозможно, не выкурив трубки мира. Никакого даянь пути они просто не знали. Двое индейцев пожара даже, что не остались пиратами. Однако делать было нечего, и потому, принюхавшись, будто им это очень нравится, они потребовали трубку и стали затягиваться по очереди, как подагастся, передавая ее другу.

В конце концов они даже порадовались, что стали индейками, потому что это их кое-чему научило: оказалось, что теперь они могут курить понемножку, не уходя искать потерянный ножик, — их тошино гордадо меньше и до больших неприятностей дело не доходило. Как же было уступить такую великодушную возможность, не приложив никаких стараний. Нет, после ужина они опять попробовали курить, и с большим успехом, так что вечер прошел очень хорошо. Они так гордились и радовались своему новому достижению, будто силой глады и содрали кожу с шести племен. А теперь мы на оставим курить, болатать и хвататься, так как можем пона обойтись и без них.

ГЛАВА XVII

Зато никто во всем городке не веселился в этот тихий субботний вечер. Семейство тети Полаи и все Гар-перы обдачивались в траур, забывшись слезам неутешно-го горя. В городе стояла необычная тишина, хотя, порокине занимались своими делами с каким-то рассеянным видом и почти не разговаривали между собой, зато очень часто вздыхали. Для детей субботний отдых выдался тяжким бременем. Им совсем не хотелось ит-



рать и веселиться, и мало-помалу всякие игры были брошены.

К концу дня Бекки Татчер забрела на опустевший школьный двор, не зная, куда деваться от тоски. Но там не нашлось ничего такого, что могло бы ее утешить. Она стала разговаривать сама с собой:

— Ах, если б у меня была теперь хоть та медная шинелка! Но у меня ничего не осталось на память о нем! — И она проглотила подступившие слезы.

Потом, остановившись, она сказала себе:

— Это было как раз вот здесь. Если бы все повторилось снова, я бы этого не сказала, ни за что на свете не сказала бы. Но его уже нет; я никогда, никогда, никогда больше его не увижу.

Эта мысль окончательно расстроила Бекки, и она побрела прочь, заливаясь горючими слезами. Потом подошла кучка мальчиков и девочек — товарищей Тома и Джо; они остановились у забора и стали глядеть по двору, разговаривая благоговейным шепотом насчет того, где они в последний раз видели Тома и как он тогда следовал то-то и то-то, и как Джо сказал так-то и так-то слова (по-видимому, ничего не знавшие, но предавшиеся беде, как все теперь понимали), — и как

каждый на своем месте показывал то самое место, где стоял Тома тогда погибшие, приговаривая что-нибудь вроде: а я там-то был, а я там-то стоял, а он совсем рядом — где ты стоишь, а он ушибнулся вот так — и у него стоило, — а я тогда, конечно, не понял, к чему бы это, это теперь понимаю.

Потом расстроил насчет того, кто последний вида измученных живыми, и многие претендовали на это последнее отличие и давали показания, более или менее невероятные свидетельства; и когда было окончательно установлено, кто последний вида погибших и говорил о них, то эти несчастлики сразу почувствовали себя измученными в высокий сан, а все остальные глумились над ним и дразнились. Один бедняга, который не мог попросту сказать ничем другим, сказал, явно гордясь таким воспоминанием:

— А меня Том Соьер здорово поколотил один раз! Но эта претензия прославиться не имела никакого успеха. Почти каждый из мальчиков мог сказать про себя то же самое, так что это отличие ничего не стоило. Дети пошли дальше, благоговейно обмениваясь воспоминаниями о погибших героях.

На следующее утро, когда занятия в воскресной школе окончились, зазвонил колокол, но не так весело, как обычно, а мерно и уныло. Воскресенье выдалось очень тихим, и печальный звук колокола очень подходил к настроению тихой грусти, разлитой в природе. Горожане начали собираться в церкви, задерживаясь на минутку на паркет, чтобы побеседовать шепотом о печальном событии. Но в самой церкви никто не шептался; тишину нарушало только шуршанье траурных платьев, когда женщины пробирались к своим местам. Никто не мог вспомнить, чтобы маленькая церковь была когда-нибудь так полна. Наступила наконец полная ожиданий, напряженная тишина, и тут вошли тетя Пола и Сидни, и все семейство Гарперов в главном траурном одеянии, а за ними семейство Пола с Сидни, и все приехавшие, даже сам старенький проповедник, почтительно поднялись им навстречу и стояли все время, пока родственники погибших не заняли места на передней скамье. Снова наступила проникновенная тишина, прерываемая время от времени глухими рыданиями, и потом пастор начал читать молитву, простирал

вперед руки. Прочли трогательный гимн, за которым последовал текст: «Я есмь Воскресение и Жизнь».

Затем началась проповедь, и пастор изобразил тамными красками достоинства, привлекающие манеры и редкие дарования погибших, что каждый из прихожан созерцая их портреты, ощутил угрызения совести при воспоминании о том, что всегда был несправедлив к бедным мальчишкам и всегда видел в них одни только пороки и недостатки. Проповедник рассказал, кроме того, несколько трогательных случаев из жизни покойных, которые рисовали их кроткие, благородные характеры, самой лучшей стороны, и тут все увидели, какие это были замечательные, достойные восхищения поступки, и прискорбнем душевным припомнил, что в то время эти поступки всем казались просто возмутительным озорством, засаживающим хорошего ремня. Прихожане проливали все больше и больше волнения, по мере того как длился трогательный рассказ, и наконец вся паства не выдержала и присоединилась горько рыдающим хором к плачущим родственникам, и даже сам проповедник был не в силах сдержать своих чувств и прослезился на кафедре.

На хорах послышался какой-то шум, но никто не обратил на это внимания; минутой позже скрипнула входная дверь; проповедник отнял платок от мокрого глаза и словно окаменел. Сначала одна пара глаз, потом другая последовала за взглядом проповедника, и вдруг чуть не все прихожане разом поднялись со своих мест, глядя в остопаенности на трех утопленников, шествовавших по проходу; Том шел впереди, за ним Джо, а следом всех, видимо робей, падала оборванец Гек, весь в лохмотьях. Они прятались на пустых хорах, слушая надтронуто проповедь о самих себе.

Тети Полаи, Мари и все Гарперы бросались обнимать своих спасенных и чуть не задушили их поцелуями, воссылая благодарение богу, а бедный Гек стоял совсем растерявшись и чувствовал себя очень неудобно, не зная, что делать и куда деваться от неприязненных взглядов. Он нерешительно двинулся к дверям, но меревался улизнуть, но Том схватил его за руку и сказал:

— Тети Полаи, это хорошо. Надо, чтобы и Гек кто-нибудь обрадовался.

— Ну, само собой разумеется. Я-то ему рада, бедноте (сиротке)!

И если от чего-нибудь Гек мог сконфузиться еще сильнее, чем до сих пор, то единственно от ласкового внимания тети Полаи, которое она начала ему расточать.

Марк проповедник воскликнул громким голосом: — Восхваляй господи, подателя всех благ. Пойте! И пойте от всей души!

И все прихожане запели. Торжественно звучал старинный хорал, сотрясая свода церкви, а пират Том рыдал, опускаясь на завывавших ему кондов, не мог не сознаться самому себе, что это лучшая минута его жизни.

Выходя толпой из церкви, «обманутые» прихожане поздравляли друг друга, что согласились бы, чтобы их прозвали еще раз, лишь бы опять услышать такое прочувствованное пение старого благодарственного гимна.

Том получила столько подзатыльников и поцелуев за этот день, смотря по настроению тети Полаи, сколько прежде не получала за целый год; он и сам бы не мог сказать, в чем больше выражалась любовь к нему и благодарность богу — в подзатыльниках или в поцелуях.

ГЛАВА XVIII

Это и была великая тайна Тома — он задумал вернуться домой вместе с братьями пиратами и присутствовать на собственных похоронах. В субботу, когда уже отчалил берег, выбравшись на бревно к миссургийскому берегу, выбралась на сушу в пяти-шести милях от берега, ночевали в лесу, а перед рассветом прокрались к церкви окольной дорогой по переулкам и легли дождаться на хорах среди хаоса поломанных скамеек. И поспешили утром, за завтраком, и тети Полаи и Марк были очень ласковы с Томом и ухаживали за ним заботой. Разговорам не было конца. Посреди разговора тети Полаи сказала:

— Ну хорошо, Том, я понимаю, вам было весело видеть всех чуть не целую неделю; но как у тебя хватило выносливости шутки ради мучить и меня? Если вы будете приходить на бревне на собственные похороны,



то, наверно, можно было бы как-нибудь хоть намекнуть мне, что ты не умер, а только собрал из дому.

— Да, это ты мог бы сделать, Том,— сказала Мари,— мне кажется, ты просто забыл об этом, а то так бы и сделал.

— Это правда, Том? — спросила тети Полли, и ее лицо осветилось надеждой.— Скажи мне, сделала бы ты это, если бы не забыл?

— Я... право, я не знаю. Это все испортило бы.

— Том, я надеюсь, что ты меня любишь хоть не много,— сказала тети Полли таким расстроенным тоном, что Том растерялся.— Хоть бы подумал обо мне, все-таки это лучше, чем ничего.

— Ну, тетечка, что же тут плохого? — заступился Мари.— Это он просто по рассеянности; он вечно торопится и оттого ни о чем не помнит.

— Очень жаль, если так. А вот Сид вспомнил бы. Переправился бы сюда и сказал бы мне. Смотри, Том, вспомнишь как-нибудь и пожалеешь, что мало думал обо мне, когда это ничего тебе не стоило, да уж было поздно.

— Тетечка, ведь вы же знаете, что я вас люблю.— Может, и знала бы, если бы ты хоть чем-нибудь это доказал.

— Теперь я жалею, что не подумал об этом,— сказал Том с раскатым в голове,— зато я вас люблю все-таки хоть что-нибудь, правда?

— Не бог весть что — сны и кошма может видеть,— но все-таки лучше, чем ничего. Что же тебе снится? — Ну вот, в среду ночью мне приснилось, будто бы вы спите вот тут, возле кровати, а Сид около ящика с Арпами, а Мари с ним рядом.

— Верно, так мы и сидели. Мы всегда так сидим. Очень рад, что ты хоть во сне о нас думал.

— И будто бы мать Джо Гарпера тоже с вами.

— Верно, и она тут была! А еще что тебе снилось? — Да много разного. Только теперь все как-то спуталось.

— Ну постарайся вспомнить — неужели не можешь? — Будто бы ветер... Будто бы ветер задул... задул... Ну, думай, Том! Ветер что-то задул! Ну!

Том приставил палец ко лбу в тревожном раздумье и минуту спустя сказал:

— Теперь вспомнил! Вспомнил! Ветер задул свечу! Господи помилуй! Дальше, Том, дальше!

— И будто бы вы сказали: «Что-то мне кажется, будто дверь...»

— Дальше, Том!

— Дайте мне подумать минутку, одну минутку... Ах, да! Вы сказали, что вам кажется, будто дверь отворилась.

— Верно, как то, что я сейчас тут сижу! Ведь правда, Мари, я это говорил? Дальше!

— А потом... а потом... наверно не помню, но как будто бы послали Сиду и велели...

— Ну? Ну? Что я ему велела, Том? Что я ему велела? Велели ему... Ах, да! Вы велели ему закрыть дверь.

— Ну вот, ей-богу, никогда в жизни ничего подобного не слышала. Вот и говорите после этого, что сны ничего не значат. Надо сию же минуту рассказать про это Сиррин Гарпер. Пусть говорит, что хочет, насчет парасушков, теперь ей не отвертеться. Дальше, Том!

— Ну, теперь-то я все до капелки припомнил. Потом вы сказали, что я вовсе не такой плохой, а только рассеянный, и спрашивать с меня все равно что уж не помню, с жеребенка, что ли.

— Так оно и было! Ах, боже милостивый! Дальше, Том!

— А потом вы заплакали.

— Да, да. Заплакала. Да и не в первый раз. А потом...

— Потом миссис Гарпер тоже заплакала и сказала, что Джо у нее тоже такой и что она жалеет теперь, что отстала его за сливки, когда сама же их выпаснула.

— Том! Дух святой снизошел на тебя! Ты видел пророческий сон, вот что с тобой было! Ну, что же дабыше, Том?

— А потом Сид сказал... он сказал...

— Я, кажется, ничего не говорил,— заметил Сид.

— Нет, ты говорил, Сид,— сказала Мари.

— Замоучите вы, пускай Том говорит! Ну так что же он сказал, Том?

— Он сказал... кажется, он сказал, что мне там гораздо лучше, чем здесь, но все-таки, если бы я себя не по-другому...

— Ну вот, вы слышите? Эти самые слова он и сказал!

— А вы ему все-таки замолчать.

— Ну да, велел! Верно, анга божий был с нами в комнате! Где-нибудь тут был ангел!

— А миссис Гарпер сказала, как Джо научил ее пистолотом, а вы рассказали про кота и про лекарство.

— Истинная правда!

— А потом много было разговоров насчет того, что нас хотят искать в реке и что похороны будут в воскресенье, а потом вы с миссис Гарпер обнялись и заплакали, а потом она ушла.

— Все так и было! Все так и было! И так же и теперь, как то, что я здесь сижу. Том, ты не мог бы рассказать это лучше, даже если бы видел все своими собственными глазами! А потом что? Ну, Том?

— Потом вы стали молиться за меня — я видел, как вы молились, и слышал каждое слово. А потом вы легли спать, а мне стало вас жалько, и я написал по куске коры: «Мы не утонули — мы только спасаем пиратами», и положил кору на стол около свечки; а потом будто бы вы уснули, и лицо у вас было такое дурное во сне, что я будто бы подошел, наклонился и целовал вас в губы.

— Да что ты, Том, неужели! Я бы тебе все да еще простил! — И она схватила и крепко прижала к себе

малышка, отчего он почувствовал себя последним из поколения.

— Очень хорошо с его стороны, хотя это был всего-навсего сон,— сказал Сид про себя, но довольно ясно.

— Замоучи, Сид! Во сне человек ведет себя точно так же, как вса бы и наяву. Вот тебе самое большое впечатление, Том, я его берегла на всякий случай, если ты когда-нибудь найдешься; а теперь ступай в школу. Славилу богу, отцу нашему небесному за то, что он не вел, кто в него верит и соблюдает его заповеди, дабы мне тоже, хоть я и недостойна: но если бы одни только достойные пользовались его милостями и поощрением и трудную минуту, то немногие знали бы, что такое радость на земле и вечный покой на небе. А теперь отправьтесь отсюда, Сид, Мари, Том,— да поживей. Надеюсь, вы мне!

Дети ушли в школу, а тети Полли отправилась навещать миссис Гарпер с целью побороть ее неверие в действительным сном Тома. Уходя из дому, Сид, однако, не перестал и не высказал вслух ту мысль, которая была у него на уме. Вот что он думал: «Что-то уж очень чудно — запомнил такой длинный сон и ни разу ни в чем не ошибся!»

Каким героем чувствовал себя Том! Он не сказал и не пригнул, а выступал не спеша и с достоинством, как и подобает пирату, который знает, что на него устремлены глаза всего общества. И действительно, все на него обращенных на него взглядов и не слышит, что про него говорят, когда он проходит мимо, зато про себя утешался тем, что он бежал за ним хвостом и гордились тем, что их видят вместе с ним, а он их не гонит от себя, да и них он был чем-то вроде барабанщика во гвардии. Его ровесники делали вид, будто он вовсе не бежал, не убегал, и все-таки их терзала зависть. Они издали громкую славу, а Том не растаял бы ни с тем, ни с другим, даже если бы ему предложили взамен быть козлом для забавы.

В школе все дети так носились и с ним и с Джо Гарпером и смотрели на них такими восторженными глазами, что оба героя в самом скором времени заканчивали невыносимо. Они начали рассказывать свои приключения спорахшим от любопытства слушателям, — но только начал: не такая это была вещь, чтобы скоро кончить, когда неистощимая фантазия подавала им все новый и новый материал. А когда, наконец, Том и Джо достали трубки и принялись преспокойно покуривать, их слава поднялась на недостижимую высоту.

Том решил, что теперь он может не обращаться на Бекки Тэтчер никакого внимания и обойтись без нее. Достаточно ему одной славы. Он будет жить для славы. Теперь, когда он так отучился, Бекки, может быть, захочет помириться с ним. Что ж, пускай, — она увидит, что он тоже умеет быть равнодушным, как некоторые другие. Скоро пришла и Бекки. Том притворился, будто не видит ее. Он подошел к кучке мальчиков и девочек и завед с ними разговор. Он заметил, что Бекки, все раскрасневшись, бросила глазами, весело бегает под и вперед, притворяясь, будто гонимая за подругами, и вскрикивая от радости, когда поймает кого-нибудь, однако он заметил, что если она кто-нибудь ловит, то всегда рядом с ним, а поймав, непременно поглаживает его украдкой. Это очень похвально его тщеславию, и Том еще сильнее заупрямился, вместо того чтобы сдаться. Он решил ни за что не уступать, понимая, чего хочется Бекки. Теперь она перестала бегать и нерешительно прохаживалась неподалеку, с грустью поглядывая украдкой на Тома, и даже вздохнула раза два. Потом она заметила, что Том больше разговаривает с Эми Лоуренс, чем с другими. Сердце у нее завыло, она встревожилась, и ей стало не по себе. Она хотела отойти подальше, а вместо того непослушные ноги несли ее все ближе и ближе к той группе, где был Том. Она заговорила с одной девочкой, которая стояла рядом с Томом:

— Ах, Мари Остин! Какая девочка, почему ты не была в воскресной школе?
— Я была, как же ты меня не видела?
— Разве ты была? Где ты сидела?
— В классе мисс Питерс; там же, где и всегда.
Я тебя видела.

— Неужели? Странно, как это я тебя не заметила. Мне хотелось поговорить с тобой о пикнике.
— Вот хорошо! А кто его устраивает?
— Моя мама.

— Как это мило! А меня она пригласит?

— Конечно, пригласит. Ведь пикник для меня. Она пригласит всех, кого я захочу, а тебя я непременно хочу позвать.

— И так рада. А когда это будет?

— Очень скоро. Может быть, на каникулах.

— Вот будет весело! Ты пригласишь всех мальчиков и девочек?

— Да, всех моих друзей... или тех, кто хочет со мной дружить. — И она украдкой посмотрела на Тома, на он в эту минуту рассказывал Эми Лоуренс про прогулку на острове и про то, как молния разбила большой палец «в мехкие щепки», когда он стоял «всего в трех шагах».

— А мне можно прийти? — спросила Греси Миллер.

— Да.

— А мне? — спросила Салли Роджерс.

— Да.

— И мне тоже можно? — спросила Сюзи Гарпер. —

— Да.

И все, кроме Тома и Эми, один за другим радостно бегом в дадоши, напросились на приглашение. Тогда Том спокойно повернулся к Бекки спиной и, продолжая разговаривать, увел с собой Эми Лоуренс. У Бекки вырвались губы и слезы навернулись на глаза; она потерялась это скрыть, притворяясь веселой, и продолжала бегать по-прежнему, но пикник потерял для нее значение предельно, как и все остальное на свете; она потерялась поскорее уйти и спряталась, чтобы выплакаться в тишине, как принято говорить у прекрасного пола. Она сидела одна до самого звонка, не ждая показывать, как уязвлена ее гордость. Потом встала, трянуа длинными косами и, мстительно сверкнув глазами, сказала себе, что теперь знает, что ей делать.

На перемене Том продолжал ухаживать за Эми, веселый и очень довольный собой. Однако он все время старался развлекать Бекки и нанести ей удар в самое сердце своим поведением. Наконец он ее увидел, и его

настроение сразу упало. Она сидела в уютном уголке за школьным домом на одной скамеечке с Альфредом Темплом и разглядывала с ним картинки в книжке, склонившись над странницей голова к голове. Оба они были так увлечены этим занятием, что, казалось, вовсе не замечали, что делается на свете. Ревность огнем пробежала по жилам Тома. Он разозлился на самого себя за то, что упустил случай помириться с Бекки, когда она первая подошла к нему. Он ругал себя дураком и всеми бранными словами, какие только приходили ему в голову. Он чуть не заплакал с досады. Эми болтала без умолку, не помня себя от радости, а у Тома явным точно припадком к горлани. Он не слышал того, что говорила ему Эми, а когда она взглядывала на него, он, не давая ответа, он бормотал бог знает что, часто даже и невпопад. Его все тянуло за школьный дом, хотя эта возмутительная картина растрывала ему душу. Он не мог с собой справиться. И его просто бесило, что Бекки, как ему казалось, даже не замечает его существования. Однако она все видела, отлично понимала, что по беда на ее стороне, и была очень рада, что он теперь страдает так же, как раньше страдала она.

Всесила болтовни Эми сделалась для него невыносимой. Том намекнул, что у него есть важное дело и что ему надо спешить. Но все было напрасно — девочка трещала по-прежнему. Том подумал: «Ах ты господин, неужели от нее никак не отвязаться?» Наконец он примолгнул, что ему надо уйти по делу, а она простодушно ответила, что подождет его «где-нибудь тут» после уроков. И он поскорей убежал, чуть не возненавидев ее за это.

«Кто угодно, только бы не этот мальчишка! — думала Том, скрежеща зубами. — Кто угодно в городе, только не этот франт из Сент-Луи. Туда же, воображает, что он аристократ, оттого что одет с иголочки! Ну, погоди, любезный, я тебя поколотила в первый же день и еще поколочу! Дай только добратись! Вот как поведу да...»

И Том принялся колотить воображаемого врага лупин по воздуху кулаками, замахиваясь и даясь. «Ах ты вот как? Проси сейчас же пощады! Ну, так тебе и надо, вперед науки!» И воображаемое побойще закончилось к полному его удовольствию.

Том бежал домой в большую перемену. Совесть не позволяла ему больше смотреть на простодушную радость Эми, а ревность стала невыносимой. Бекки опять эта рассматривать картинки вместе с Альфредом, но Бекки шло, Том больше не появлялся и мучить было нечего, и потому ее торжество поблекло и потеряло для него всякий интерес; дьявольская рассеянность, скука, а там и сон! Два-три раза она настораживалась, прислушиваясь и чиним-то шагам, но это была ложная надежда — Том все не приходил. Наконец она совсем приуныла и начала жалеть, что завела дело так далеко. Бедняга Альфред, который видел, что ей с ним скучно, хотя и не понимал почему, все не унимался:

— Глядите, какая картинка! А эта еще лучше!

— Ах, останьте, пожадуйте! Не нужны мне ваши картинки! — Она расплакалась, вскочила и убежала от него.

Альфред подбежал за ней и собирался было пристать к решеньям, но она сказала:

— Да уйдите же, оставьте меня в покое! Я вас терпеть не могу!

И мальчик растерянно остановился, не понимая, что же он такого сделал, когда она сама сказала, что будет ему большую перемену смотреть с ним картинки, а теперь с надрезом убежала от него. Альфред, не зная, что и думать, побрел обратно в пустую школу. Он рассердился и обиделся. Докопаться до правды было нетрудно. Бекки просто воспользовалась им, чтобы досадить Тому Соьеру. Когда он об этом догадался, то еще больше возненавидел Тома. Ему захотелось как-нибудь наказать Тома, не подвергая себя риску. Учебник Тома попался ему на глаза. Случай был удобный. Он с радостью открыл книжку на той странице, где был заданный урок, и задал ее чернилами.

Бекки заглянула в эту минуту в окно и увидела, что он делает, но прошла мимо, не сказав Альфреду ни слова. Она ушла домой: ей хотелось разыскать Тома и все рассказать ему. Том, конечно, будет ей благодарен, и они с ним помирятся. Однако на пороге Бекки перестала. Она вспоминала, как Том обошелся с ней, когда

она рассказывает про пикник, и от обиды ее обожгло словно огнем. Она решила не вырывать Тома, а кроме того, возненавидеть его навеки. Пускай его накажут за испорченный учебник.

ГЛАВА XIX

Том вернулся домой в очень мрачном настроении, но первые же слова тетки показали ему, что он лжнлся со своими горестями в самое неподходящее место:

— Том, выдрать бы тебя как следует!

— Тетечка, что же я такого сделал?

— Да уж надевал довольно! А я-то, старая дура, бегу к Сирини Гарпер,— думаю, сейчас она поверит в этот твой дурацкий сон. И нате вам, покажу! Она, оказывается, узнала у Джо, что ты здесь был в тот вечер и слышал все наши разговоры. Не знаю даже, что может выйти из мальчишка, который так себя ведет. Мне просто думать противно: как это ты мог допустить, чтобы я пошла к миссис Гарпер и разыграла на себя такую идиотку, и ни слова не сказала!

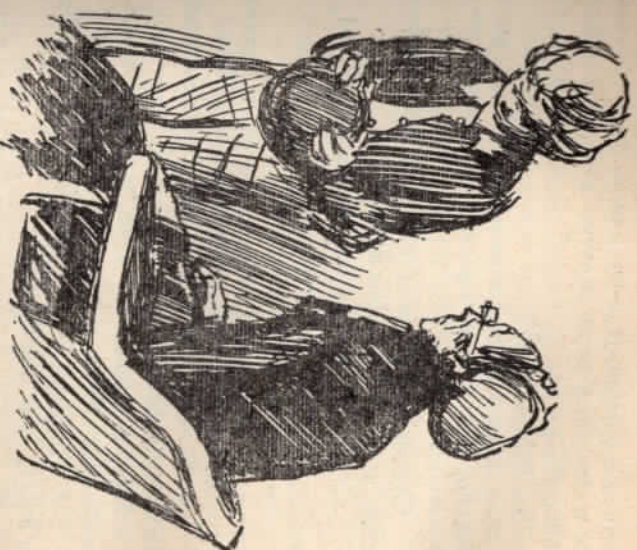
Теперь все дело представилось в ином свете. До сих пор утренний выдумка казалась Тому очень лонной шуткой, поистине находкой. А теперь это выглядело очень убого и некрасиво. Том повесил голову и с минуту не мог ничего придумать себе в оправдание. Потом сказал:

— Тетечка, мне очень жалею, что я это сделал, я как-то не подумал.

— Ах, милый, ты никогда не думаешь. Ты никогда ни о чем не думаешь, только о себе самом. Ты вот не задумался пропалить такую дыру с острова, ночью, только для того, чтобы посмеяться над нашим горем, не задумаясь оставить меня в дураках, сочинив этот сон; а вот пожалеть нас и забыть от лишних слез тебе и в голову не пришло.

— Тетечка, сейчас я понимаю, что это было нехорошо, но ведь это я не нарочно. Я не хотел, честное слово. А кроме того, я приходил домой вовсе не затем, чтобы над вами смеяться.

— Для чего же тогда ты приходишь?



Мне хотелось вам сказать, чтобы вы не беспокоили нас, потому что мы не утонем.

— Ах, Том, Том, если бы я только могла поверить, что у тебя было такое доброе намерение, я от всей души поблагодарила бы бога, но ведь ты и сам знаешь, что так не было; и я тоже это знаю, Том.

— Ну, право же, тетечка, было! Вот не сойти мне с этого места, если не было!

— Ах, Том, не выдумывай, это ни к чему. Только это раз хуже.

— И не выдумываю, тетечка, это правда. Я хотел, чтобы вы не горевали, для этого и пришел.

— Я бы все на свете отдала, чтобы этому поверить, да одно это все твои грехи можно простить, Том. Знаю то, что ты убежал и вел себя из рук вон плохо. Да поверить-то невозможно; ну отчего ты мне не скажешь, а?

— Знаете, тетечка, когда вы заговорили про похороны, мне вдруг ужасно захотелось вернуться и спря-

таться в церкви. Как же можно было сказать? И я была да и положила кору обратно в карман и ничего не стала говорить.

— Какую кору?

— А на которой я написал, что мы ушли в пиратство, Жакко, что вы не проснулись, когда я вас поцеловала, право, жакко.

Суровые морщины на лице тети Полаи разгладились, и глаза просияли нежностью.

— А ты меня выправду поцеловала, Том?

— Конечно, а то как же.

— Это ты правду говоришь, Том?

— А то как же, тетечка, конечно, правду.

— Почему же ты меня поцеловала, Том?

— Потому что я вас очень люблю, а вы стонали во сне, и мне было вас жакко.

Это походило на правду. Тети Полаи сказала в дрожью в голосе, которой не могла скрыть:

— Поцелуй меня еще раз, Том! А теперь уберишься в школу и не мешай мне.

Как только он ушел, она бросилась в чулан и достала старую куртку, в которой Том убежал из дому. Потом остановилась, держа куртку в руках, и сказала себе:

— Нет, рука не поднимается. Бедный мальчик, он, наверно, соврад мне, но это святая ложь, ложь во снысенье, она меня так порадовала. Надеюсь, что господь нест, я знаю, что господь простит ему, ведь это он и думать по доброте сердечной. Даже и знать не хочу, если он соврад. Не стану смотреть.

Она положила куртку и призадумалась на минуту. Дважды протягивала она руку за курткой и дважды отдавала ее. На третий раз она набралась смелости, подкрепившись мыслями: «Это ложь во спасение, святая ложь, и я не стану из-за нее расстраиваться», — и сунула руку в карман. Минутой позже она, обнявшись сестрами, читала нацарапанные на куске коры слова и притворялась:

— Теперь я ему все прощу, чего бы он ни натворил, хоть миллион грехов!

Тети Полаи поцеловала Тома так ласково, что все его уныние как рукой сняло и на сердце у него опять появилась легкость и весело. Он отправился в школу, и ему было приятно, что он нагнал Бекки в самом начале Меау-а. Ведь он себя всегда в зависимости от настроения. Не полагаясь ни минуты, он подбежал к ней и сказал: — Я очень нехорошо поступил сегодня, Бекки, и жалею об этом. Я никогда, никогда больше не буду, никогда, пока жив. Давай помиримся, хорошо?

Девочка остановилась и презрительно поглядела ему в глаза.

— Я буду вам очень благодарна, если вы меня оставите в покое, мистер Томас Софтер. Я с вами больше не разговариваю.

Она надернула носик и прошла мимо. Том до того испугался, что ему не пришлось в голову даже сказать: «Ишь пожалуйста! Ишь задрада нос!» А когда он собрался с духом, говорить что-нибудь было уже поздно. Если бы она была мальчишкой, уж и отдушина бы он получил на школьном дворе он опять столкнулся с ней и она подала ей в долгую извительное замечание. Она тоже извительной Бекки казалась, что она никогда не дожестся начала уроков, так ей не терпелось, чтобы Тома не оставил за испорченную книжку. Если у нее и оставалась хоть какое-нибудь желание изобличить Аффре-да Темпа, то после обидных слов Тома оно совсем пропадало. Бедная девочка, она не знала, что опасность грозит ей самой!

Учитель Дюбинс должна до седых волос, так и не достигнув своей цели. Самой заветной его мечтой было заставить доктором, но бедность не пустила его дальше начальной школы. Каждый день он доставал из ящика своего стола какую-то таинственную книгу и погружался в чтение, пока ученики готовили уроки. Книгу эту он держал под замком. Все мальчишки в школе умирали от любопытства хоть одним глазом заглянуть в эту книгу, но удобного случая так ни разу и не представилось. У каждого мальчика и у каждой девочки имелись свои любимые книги, но ни у кого не было

никакой возможности докопаться до правды. И вот, проходя мимо кафедр, стоявшей возле самых дверей, Бекки заметила, что ключ торчит в щелке. Йакоб было упустил такую минуту. Она оглянулась, увидела, что никого кругом нет,—и в следующее мгновение книга уже была у нее в руках. Заглянув на первой странице— «Анатомия» профессора такого-то—равно ничего ей не сказала, и она принялась листать книгу. Ей сразу же показалась очень красивая гравюра, вся в красках,—сонный голый человек. В это мгновение чья-то тень упала на страницу—на пороге стоял Том Сойер, загляывая в книжку через ее плечо. Торопясь захопнуть книгу, Бекки рванула ее к себе и так неудачно, что надорвала страницу до половины. Она бросила книгу в щик, повернула ключ в замке и распахнулась от стыда и досады.

— Том Сойер, от вас только и жди какой-нибудь гадости, вам бы только подкрадываться и подсматривать.

— Почему же я знаю, что вы тут делаете?

— Как вам не стыдно, Том Сойер, вы, уж наверно, на меня пожалуетесь. Что же мне теперь делать, что делать? Меня накажут при всей школе, а я к этому не привыкла!

Она топнула ножкой и сказала:

— Ну и отлучно, жалуйтесь, если хотите! Я-то знаю, что теперь будет. Погодите, вот увидите! Противный, противный мальчишка!—И, выбежав из школы, она опять распахнулась.

Озадаченный нападением, Том не мог двинуться с места, потом сказал себе:

— Ну и дура эта девчонка! Не привыкла, чтоб ее наказывали! Чушь какая! Подумаешь, отстегают! Вот они, девчонки,—все трусихи и мокрые курицы. Я, конечно, ничего не скажу старику Дობбину про эту дуру, можно с ней и по-другому раздаться, и без вбоды обойдется, да ведь что толку? Дობбинс непременно спросит, кто разорвал книжку, и ответа не получит. Тогда он сделает, как всегда,—начнет спрашивать всех подряд, сначала одного, потом другого: а дойдет до нее, сразу узнает, кто виноват: у девчонок всегда по лицу все видно. Где им выдержать! Вот и выпорет ее. Да, пошла Бекки в переделку, теперь уж ей не вывернуться!

— Том подумал еще немного и прибавил:—Ну и давай! Ей хотелось, чтобы мне встало,—пускай теперь она попробует.

Том присоединился к ирравшим во дворе школьникам. Через несколько минут пришел учитель, и уроки начались. Том не чувствовал особенного интереса к занятиям. Каждый раз, как он заглядывал в сторону двери, его расстраивало лицо Бекки. Ему вовсе не хотелось жалеть ее, а выходило так, что он никак не мог удержаться; он не чувствовал ничего хоть сколько-нибудь похожего на торжество. Скоро открылась прощессонная с учебником, и после этого Тому пришлось думать только о своих собственных делах. Бекки очнулась от своего горестного оцепенения и выказала живой интерес к происходящему. Том не выпутался из беды, даже если скажет, что это не он обман чернилами книжки, и она оказалась права: вышло только еще хуже для Тома. Бекки думала, что обрадуется этому, старалась даже утешить себя, будто радуется, но не могла. Когда дашо до распахнутой, ей захотелось вскочить и сказать, что это сделала Аарфред Темпл, однако она удержалась и заставила себя сидеть смирно. «Ведь Том,—говорила она себе,—непреренно пожалуется учителю, что это я распахнула картинку. Слова не скажу, даже для спасения жизни!»

Том выдержал порку и вернулся на свое место, даже не очень огорчившись. Он думал, что, может быть, и в самом деле, распахнувшись, как-нибудь незаметно опровергнул чернилами на книжку, и отнекиваясь только для вида, потому что так было принято—не отступать от своих слов из принципа.

Мало-помалу прошел целый час, учитель дремал на своем троне, какой носом, в воздухе стояло сонное жужжание мушек. Скоро мистер Дობбинс потянулся, зевнул, оперся стол и протянул руку за книгой, но нерешительно, как будто не зная, брать ее или не брать. Ученики лениво глядели на него, и только двое из них зорливо следили за каждым его движением. Мистер Дობбинс некоторое время рассеянно вертел книгу, потом взял ее в руки, усажив в кресле поудобнее, собиравшись приступить к чтению. Том оглянулся на Бекки. Ему случалось видеть такое заигнанное и беспомощное выражение у крошечки, когда в них целуются из ружья. Он мигом забыл

про свою ссору с ней. Что-то надо сделать! Сию же минуту! Но как раз эта необходимость спешить мешала ему что-нибудь придумать. И вдруг его осеняло вдохновение. Он подбежит к учителю, выхватит у него книгу, выскочит в дверь — и был таков. Но на одну коротенькую секунду он замаялся, и случай был упущен — учитель раскрылся толстым том. Если бы можно было перенуть потерянное время! Санишком поздно. Теперь Бекки уже ничем не поможешь. В следующую минуту учитель повернулся лицом к классу. Все опустили глаза. В его взгляде было что-то такое, от чего даже невинноватые затрясались от страха. Наступило молчание, оно длилось так долго, что можно было сосчитать до десяти; учитель все больше и больше распалялся гневом. Наконец он заговорил:

— Кто разорвал эту книгу?

Ни звука в ответ. Можно было расслышать падение булавок. Молчание продолжалось; учитель взглядывался в одно лицо за другим, нища виновного.

— Бенджамен Роджерс, вы разорвали эту книгу?

Нет, не он. Снова молчание.

— Джозеф Гарпер, это сделали вы?

И не он.

Тому Соьеру становилось все больше и больше не по себе, его изводила эта медленная пытка.

Учитель пристально взглядывался в ряды мальчиков, подумав некоторое время, потом обратился к девочкам:

— Эми Лоуренс?

Она только потянула головой.

— Греси Миллер?

Тот же знак.

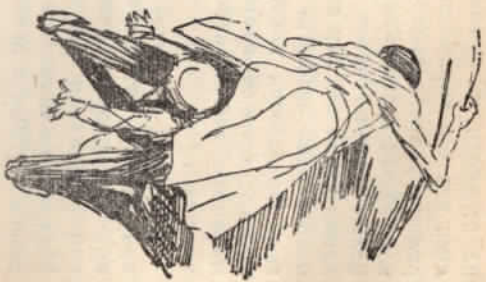
— Сьюзен Гарпер, это вы сделали?

Нет, не она. Теперь настала очередь Ребекки Татчер. Том весь дрожал от волнения, сознавая, что выхода нет никакого.

— Ребекка Татчер (Том посмотрел на ее лицо — оно поблело от страха), это вы разорвали, — нет, давайте мне в глаза (она умоляюще сложила руки), — вы разорвали эту книгу?

Вдруг Тома словно озарило. Он вскочил на ноги и крикнул:

— Это я разорвал!



После школы рот разинула, танцующий такой невероятной быстротой. Том постоял минутку, собравшись с духом, а когда наступила вперед, чтобы принять наказание, то воскликнул и благодарность, светившись в глазах Бекки. Возвратившись к сторицей. Возвратившись своим великодушным, он без единого звука поддержал жесточайшую порку, какой еще никогда не вытравывал никому мистер Дюбинс, и равнодушно выслушал допытывавший строгий приговор, — он знал, кто будет жадать за воротами, пока его не выпустят из паена, и не считал потерянными эти скучные часы.

В этот вечер, укладываясь в постель, Том обдумывал мнение Альфреду Темплу. Бекки, падающая от раскаяния и стыда, рассказавшая ему все, не скрывая и собственной измены. Однако жадная миссия скоро уступила место более приятным мыслям, и Том наконец уснул, но даже и во сне последние слова Бекки все еще звучали в его ушах:

— Ах, Том, какой ты благодарный!

ГЛАВА XXI

Приблизившись каникулы. Всегда строгий учитель стал теперь еще строже и требовательнее: ему хотелось, чтобы его школа отличалась на экзаменах. Розга и диния никогда не лежали без дела, по крайней мере, в младших классах. Только самые старшие из учеников да взрослые барышни лет восемнадцати — двадцати были избавлены от порки. А порка мистер Дюбинс очень бранила, потому что лет ему было не так уж много, и, хотя под париком у него скрывалась совершенно дыша и бестелесная, как шар, голова, его мускулы никогда

не ослабел. С приближением векового дня обнаружилось все его тиранство: ему как будто доставляло удовольствие удовлетворение наказывать за малейший проступок. Из-за этого самые маленькие мальчики проводили целые дни в страхе и трепете, а по ночам не спали и думали, как бы ему отомстить. Они не упустили ни одного случая насолить учителю. Но и он тоже не оставался. Воздавание, которое следовало за каждой удачной местью, бывало настолько потрясающе и грозно, что мальчики всегда отступали с поля битвы с большим уроном.

Наконец они стоворились между собой и придумали одну штуку, которая сулила блестящий успех. Был принят в компанию ученик местного живописца вывески. Они рассказали ему свой план и просили помочь им. Мальчишка пришел в восторг, потому что учитель стоял у них в доме и успел надоесть ему хуже городской редьки. Жена учителя уезжала на несколько дней потопить к знакомым, так что некому было расстроить их планы; учитель всегда изрядно выпивал перед такими торжественными днями, и мальчишка обещал «устроить ему сюрприз» перед самым экзаменом, когда старинный напиток и задермает в кресле, а потом разбудить его и спровадить в школу.

В свое время наступило и это интересное событие. К восьми часам вечера школа была ярко освещена и украшена гирляндами и венками из зелени и цветов. Учитель восседал, как на троне, в своем большом кресле, поставленном на возвышении, а позади него стояла черная доска. Видно было, что он успел порядком нагнать злость. Три ряда скамеек по сторонам возвышения и шесть рядов перед ним были заняты городскими сановниками и родителями учеников. Сцена от учительского места, позади зрителей, возвышалась просторная эстрада, на которой сидели школьники, участвующие в программе: маленькие мальчики, умилые, причисленные и такие нарядные, что сидели как на иголках и маляков невыносимо; неуклюжие верзилы; белоусые рудые девчонки и разряженные в батыст и кисею взрослые бабы, которые стеснялись своих голых рук в старинных бабушкиных браслетах, розовых и голубых бантов и цветов в волосах. Все остальные места были заняты некими учениками, не участвовавшими в выступлении.

Экзамены начались. Выступил вперед крошечный мальчик и пролепетал испуганно: «Никто из вас, друзья, не ждал, чтобы мальчишки стихи читали», сопроводив декламацию вымученными, судорожными движениями, какие могла бы делать машина, если бы была в несправности. Однако он благополучно добрался до конца, как живой от страха, и, поклонившись, как автомат, ушел под гром рукоплесканий.

Сконфуженная девочка прошептала: «У Мари был барашек», — сделала достойный жест реверанс, получила свою долю аплодисментов и ушла на место, как красная и счастливая.

На эстраду очень самоуверенно вышел Том Соьер и с неистовым воодушевлением, бешено размахивая руками, начал декламировать бесмертную и неистребимую похвалу: «О, дайте мне свободу!», но, дойдя до середины, запнулся. На него напал страх перед публикой, но он под ним затряснулся, и в горе перехватило дыхание. Слышатели явно жалели его, но молчали, а молчанье было еще хуже жалости. Учитель нахмурился, так что пропал был полдень. Том попробовал было читать дальше, но ничего не вышло, и он с позором удалился. Раздался жидкий хлопок, но сейчас же и смолк. За ним последовало «На пылающей палубе мальчик стоял», а также «Ассирийские шили» и другие перлы, излюбленные декламаторами. Потом состязались в правописание и чтение. Теперь на очереди был гвоздь вечера — оригинальные произведения молодых девиц. Одна за другой они подходили к краю эстрады, откашливались, развешивали рукописи, перевязанную хохлячьей ленточкой, и начинали читать, особенно напирая на выразительность и знаки препинания. Темы были все те же, над которыми в свое время трудилась их матушки, бабушки и, без сомнения, все прабабушки, начиная с эпохи крестовых походов. Тут были: «Дружба», «Воспоминания о былом», «Роль религии в истории», «Царство мечты», «Что нам дает просвещение», «Сравнительный очерк политического устройства различных государств», «Задумчивость», «Дочерняя любовь», «Задумчивые мечты» и т. д.

Главной особенностью этих сочинений была меланхолия, любовно вылинянная и выпестованная, кроме того — сущее наводнение всяких красивых слов и к то-

му же — манера носиться с каким-нибудь любимым предметом до тех пор, пока оно не навяжется в зубах и не потеряет всякий смысл; а особенно заметна и неприятна была надоедливая мораль, которая помахивала хвостом в конце каждого сочинения. Каким бы ни была тема, автор из кожи лез, чтобы впихнуть в свое произведение что-нибудь полезное и поучительное для добродетельного и возвышенного ума. И хотя фальшь этой морали бьет в глаза, ее ничем не искоренишь; она до сих пор остается в силе и не выведется в наших школах, пока свет стоит. Нет ни одной школы во всей нашей стране, где ученицы не чувствовали бы себя обязанными заканчивать сочинение моралью; и чем легчемысленней и маловерней ученица, тем длинней и набожней будет мораль. Но довольно об этом. Горькая истина никому не по вкусу. Давайте вернемся к экзаменам. Первое из прочитанных сочинений было озаглавлено «Так это и есть жизнь?» Быть может, читатель выдержит хоть один отрывок из него:

«На торных путях жизни с каким радостным восторгом предаккушает юный ум некое долговое праданство! Воображение живо набрасывает розовыми красками картины веселья. В мечтах занеженная поклонница моды уже видит себя среди праздничной толпы, одетой в роскошнейшее платье. Ее изящная фигура, обаятельная в белоснежных одеждах, кружится в пышном упоительного танца; ее глаза сияют ярче всех; ее ноги порхают легче всех в этом веселом сборище.

В таких упоительных мечтах время проходит быстро, и наступает желанный час, когда она должна вступить в тот светлый рай, о котором говорили ей счастливые грезы. Как волшебное-прекрасно кажется здесь все ее очарованному взору! Каждое новое явление для нее новее, бодрее, пленительнее. Но с течением времени она обинуется, что под этой блестящей внешностью скрывается суета сует; ледяной, когда-то пленявшая ее душу, теперь только раздражает; багровые залы потерян для нее свое очарование; с расстроеным здоровьем и горечью в сердце она бежит прочь, уверившись, что светские удовольствия не могут удовлетворить стремлений ее души!»

И так далее, и тому подобное. Одобрительный гу-го и де-во слышались во время чтения, сопровождаемый шепотом: «Как мило!», «Какое красноречие!», «Как это верно!», а после того, как все это закончилось особенно надоедливой моралью, слушатели восторженно захопывали в ладоши.

Потом выступила стройная меланхолическая девица, начинавшаяся интересной бледностью, происходящей от голода и несварения желудка, и прочая «поэму». Довольно будет и двух строк:

ПРОЩАНИЕ МИССУРИСКОЙ ДЕВЫ С ААБАМОИ

Аабама, прощай! Я любила тебя,
А теперь я тебя покинула!
Дню я горюю, всем сердцем скорюю,
И навеки тебе оставаю.
Аабама, тебе шлю любовь и привет.
О долгах твоих я горюю,
Пусть остынут навеки и сердце и тело,
Если только тебе разлюблю я.

Очень немногие из присутствующих знали, что такое «тело», но все-таки стихи очень понравились.

После нее перед зрителями появилась смуглая, черноволосая и черноглазая барышня; она выдержала долготу паузы, сделала трагическое лицо и начала читать размеренно и торжественно:

ВИДЕНИЕ

«Ночь была бурная и темная. Вокруг небесного пространства не мерцала ни одна звезда, но глухие раскаты грома непрерывно сотрясали воздух, в то время как разбухшая молния гневно сверкала в облачных чертогах небес, как бы пренебрегая тем, что знаменитый Франклин укротил ее свирепость! Даже неистовые ветры единодушно покинули свое таинственное убежище и забушевали над землей, словно для того, чтобы эта бурная ночь казалась еще более ужасной.

В эту пору мрака и уныния мое сердце томилось по неопределяемому участию, но вместо того —

Мой друг, мой мечта — советник лучший мой,
В скорбях и в радости — являлась предо мной.

Она приодичкалась, подобная одному из тех небесных созданий, которые являются юным романтикам в

мечтах о сиющем рае,—царица красоты, не украшенная ничем, кроме своей непревзойденной предности. Так тиха была ее поступь, что ни одним звуком не дада знать о себе, и если бы не волшебный трепет, сообщившийся мне при ее приближении, она проскользнула бы мимо незамеченной, невидимой, подобно другим скромным красавицам. Странная печаль была разлита в ее чертах, словно слезы, застывшие на одеянии Декабри, когда она указала мне на борьбу стихий под открытым небом и обратила мое внимание на тех двух, что приставствовали здесь».

Этот кошмар занимал десять рукописных страниц и заканчивалась такой суровой проповедью, предупреждавшей неминуемую гибель всем, кто не принадлежит к пресвитерианской церкви, что за него принадлежали первую награду. Это сочинение, по общему мнению, было лучшим из всех, какие читали на вечере. Городской мар, врученный автору награду, произнес прочувствованную речь, в которой сказал, что за всю жизнь не слышал ничего красивее и что сам Дэниел Уэбстер мог бы гордиться таким сочинением.

Заметим мимоходом, что сочинений, в которых слово «прекрасный» повторялось без конца, а человеческий опыт назывался «страницей жизни», было не меньше, чем всегда.

Наконец учитель, размякший от выпивки до полного благодушия, отодвинул кресло и, повернувшись спиной к зрителям, начал чертить на доске карту Америки для предстоящего экзамена по географии. Но рука у него дрожала, с делом он справлялся плохо, и по завывающей прокатился сдавленным смехом. Учитель понял, что над ним смеются, и захотел поправиться. Он стер глубокой чертёж и начертил его снова, но только натёрт, и хихиканье усилилось. Учитель весь ушел в свою работу и, по-видимому, решил не обращать никакого внимания на смех. Он чувствовал, что все на него смотрит, ему казалось, что дело идет на лад, а между тем смех не умолкал и даже становился громче. И вдруг! Над самой головой учителя прихлынула чердачный ливень, и вдруг из этого ливня показалась кошка, обвешанная веревкой; голова у нее была обмотана тряпкой, чтобы она не мяукала; медленно спускалась, кошка натягивала то вверх, то вниз, хватая когтями то веревку, то воздух.

Она раздвигалась все громче и громче — кошка была всего в шести дюймах от головы учителя, поглощенного его работой, — ниже, ниже, еще немножко ниже, и вдруг она отчаянно вцепилась когтями ему в парик и в мгновение ока вознеслась на чердак, не выпуская из лап своего трофея. А лысая голова учителя засверкала под лампой освещенным блеском — ученик живописца пододвинул ее!

Этим и кончился вечер. Ученики были отомщены. Наступили каникулы.

ГЛАВА XXII

Том вступил в новое общество «Юных трезвенников», привлекательный блестящим мундиром. Он дал слово не курить, не жевать табак и не употреблять бранных слов, пока состоит в этом обществе. И тут же следовало новое открытие, а именно: стоит только дать слово, что не будешь чего-нибудь делать, как непременно этого заметишь. Скоро Тому ужасно захотелось курить и ругаться; до того захотелось, что только надежда покрасоваться перед публикой в алом шарфе не позволила ему выйти из общества «Юных трезвенников». Приближалось четвертое июля; но скоро он перестал надеяться на этот праздник — перестал, не проносив своих целей и два дня, — и возложил все свои надежды на старого судью Фразера, который был при смерти. Хоронить его должны были очень торжественно, раз он занимал такое важное место. Два три Том усмешливо интересовался процессом судьи Фразера и жадно ловил каждый слух о нем. Иногда судья подавал надежды — и наоборот, что Том вытаскивала все свои ретации и любовалась на себя в зеркало. Но на судью никак нельзя было полагаться — то ему становилось лучше, то хуже. Наконец поняли, что дело пошло на поправку, а потом — что судья издобривляется. Том был очень недоволен и, чувствуя себя обиженным, сейчас же подал в отставку. И ту же ночь судьбе опять стало хуже, и он скончался. Том решил никогда никому больше не верить.

Похороны были величественные. Юные трезвенники участвовали в церемонии с таким блеском, что бывший член общества чуть не умер от зависти. Все-таки Том был опит свободен и в этом находит некоторое утеше-



ние. Теперь он мог и курить и ругаться, но, к его удивлению, оказалось, что ему этого не хочется. От одной мысли, что это можно, пропадала всякая охота и всякий интерес.

Скоро Том неожиданно для себя почувствовал, что желанные каникулы ему в тягость и время тинется без конца.

Он начал вести дневник, но за три дня ровно ничего не случилось, и дневник пришлось бросить.

В город приехал негритянский оркестр и произвел на всех сильное впечатление. Том и Джо Гарпер тоже набрали себе команду музыкантов и два дня были заняты. Даже славное Четвертое июля вышло не совсем удачным, потому что дождик лил как из ведра, процессия не состоялась, а величайший человек в мире, как полагал Том, настоящий сенатор Соединенных Штатов Бентон ужасно разочаровал его, потому что оказался не в двадцать пять футов ростом, а много меньше.

Приехал цирк. Мальчики после этого играли в цирковых три дня, устроив палатку из рваных ковров. За вход брали три булавки с мальчишки и две с девочки, а потом забросили и цирк.

Приехал гипнотизер и френолог, потом опять уехал, и в городишке стало еще хуже и скучней. У мальчиков и девочек несколько раз бывали вечеринки, но так редко, что после веселья еще трудней становилось переключить зияющую пустоту от одной вечеринки до другой.

Ленки Тэтчер уехала на каникулы с родителями в Консантауниноу, и в жизни совсем не осталось ничего интересного.

Страшная тайна убиения постоянно тяготела над мальчиком. Она изводила его, как извд, непрерывно и мучительно.

Потом он забавлялся корью.

Две долгие недели Том пролежал в заключении, отрезанный от мира, от всего, что в нем происходило. Он был очень болен и ничем не интересовался. Когда он наконец встал с постели и, едва передвигая ноги, побрел в центр города, то нашел решительно во всех грустную перемену. В городе началась «революционное обновление», и все «уверовали», не только взрослые, но даже мальчики и девочки. Том долго ходил по городу, надеясь увидеть хотя бы одного грешника, но везде его ждало разочарование. Джо Гарпера он застал за чтением Библии и с огорчением отвернулся от этой печальной картины. Он разыскал Бена Ролжера, и оказалось, что тот навещает бедных с корзиночкой душепастиельных вещей. Джо Холлис, которого он долго разыскивал, оказался, что корь была ему послана от бога, как предупреждение свыше. Каждый мальчик, с которыми он встречался, прибавлял лишнюю тонну груза к тяжести, которую нес на душе у Тома. А когда, доведенный до отчаяния, он бросился искать утешения у Гекльберри Финна, то был встречен текстом из Писания и, совсем лишив духом, пошелся домой и слег в постель, думая, что он один во всем городе обречен на вечную гибель.

А ночью разразилась страшная гроза, с проливным дождем, ужасными ударами грома и ослепительной молнией. Том с головой залез под одеяло и, замирая от страха, стал ждать собственной гибели; он ни минуты не сомневался, что всю эту кутерьму поднял из-за него. Он был уверен, что истощил долготерпение господне, и вот результат — и вот результат. Он мог бы себе представить, что едва ли стоило падать из пушек по мучителю, трижды столько грому и пороха, но не нашел ничего невероятного в том, что для уничтожения такой ничтожной булавки, как он, пущено в ход такое дороговатое средство, как гроза.

Мало-помалу все стихло, и гроза прошла, не достигнув своей цели. Первой мыслью Тома было вознаграда-

рять бога и немедленно исправиться. Второй — подождать немножко: может, грозы больше и не будет.

На другой день опять позвал доктора: у Тома начался рецидив. На этот раз три недели, пока он болел, показались ему вечностью. Когда он наконец вышел из дому, то нисколько не радовался тому, что остался в живых, зная, что теперь он совершенно одинок — нет у него ни друзей, ни товарищей. Он вяло попался по улане и увидел, что Джим Холлис вместе с другими мабьичками судит кошку за убийство перед лицом убийтой жертвы — птички. Давьше в переулке он застал Джо Гарнера с Гекком Финном — они ели украденную дыню.

Бедняги! У них, как и у Тома, начался рецидив.

ГЛАВА XXIII

Наконец стовечье болото всколыхнулось, и очень бурно: в суде начали разбирать дело об убийстве. В городе только и было разговоров что про это. Том не знал, куда от них деваться. От каждого намка на убийство сердце у него замирало, несстая совесть и страх вышлани ему, что все замечания делаются при нем нарочно, чтобы испытать его. Он понимал, что неоткуда было взяться подозрению, будто он знает про убийство, и все-таки не мог не тревожиться, слушая такие разговоры. Его все время бросало в озноб. Он отвел Гекка в укромное место, чтобы поговорить с ним на свободе. Ему стало бы легче, если бы можно было развязать язык хоть ненадолго, разделиться с другим мучеником бремени своего несчастья. Кроме того, ему хотелось проговориться, не проболтаться ли кому-нибудь Гек.

— Гек, ты кому-нибудь говорил?

— Это насчет чего?

— Сам знаешь, насчет чего.

— Конечно, нет.

— Ни слова?

— Ни единого словечка, вот ей-богу. А почему ты спрашиваешь?

— Да так, боясь.

— Ну, Том Сойер, мы с тобой и двух дней не прожили бы, если б оно вышло наружу. Сам знаешь.

Тому стало немножко легче. Помолчав, он спросил: — Гек, ведь тебя никто не заставит проговориться? — Проговориться? Если захочу, чтобы этот индейский дьявол меня утопил, как котенка, тогда, может, и проговорюсь. А так вряд ли.

— Ну, тогда все в порядке. Пока мы держим язык за зубами, нас никто не тронет. Только давай еще раз понаблюдай. Все-таки верней.

— Ладно.

И они поклялись еще раз самой торжественной и клятвенной клятвой.

— А что теперь говорят, Гек? Я много разного слышу.

— Что говорят? Да все одно и то же — Маф Поттер да Маф Поттер, других разговоров нету. Прямо потрошится все время, так и хочется сбегать куда-нибудь и спрятаться.

— Вот и со мной то же самое. Его дело пропащее. А тебе его не бывает жалко?

— Как же не жалко! Человек он, конечно, никомушний, зато никого не обидел. Навевит рыбы, добудет анимоник, напьется, а потом слонется без дела. Давать мы и все так. Ну хоть не все, а очень многие, даже проповедники и всякие другие. А он человек неплохой — один раз дал мне подрыбинку, когда там и на одного не хватало, и помогал тоже много раз, когда мне не везло.

— Да, он и мне змея починил, Гек, и крючки к лесе привязывал. Хорошо бы его как-нибудь выручить. — Ну, где нам его выручить! Да и что толку: все равно опять поймают.

— Что поймают, это верно. Только противно слышать, как его ругают на чем свет стоит, а он и не виноват.

— Мне тоже противно, Том. Боже ты мой, что passiert и злодей-то он, каких свет не видывал, и давно пора его повесить, и мало ли что еще.

— Да, только и разговору все время. А еще я слышал, если Мафа выпустят из тюрьмы, то его будут линчевать.

— Так и делают, понятно.

Мальчики говорили долго, но это их очень мало утешило. С наступлением сумерек они начали прохаживать-

ся неподдавку от маенькой тюрьмы, стоявшей на пустыре, должно быть, питая смутную надежду на то, что какой-нибудь несчастный случай еще может все уладить. Но ничего такого не случилось; по-видимому, ни ангелы, ни феи не интересовались заочными узником. Мальчики опять повторили то, что продавая табак уже не раз,— просунули Поттеру за решетку табак и спичек. Он сидел в нижнем этаже, и никто его не сторожил. Им всегда бывало совестно, когда Поттер начинал благодарить их за подарки, а на этот раз было так совестно, как никогда. Они почувствовали себя посланцами трусами и предателями, когда Поттер сказал:

— Вы были очень добры ко мне, ребята,— добрее всех в городе. И я этого не забуду, нет. Скорее раз и говорила сам себе: «Всем ребятам я, бывало, чинила заморев и всякую там штуку, показывала, где лучше ловится рыба, и дружила с ними, а теперь все они бросили старика Мафа в беде, только Гек не бросил, и Том не бросил,—они меня не забыли, говорю я себе, и я их тоже не забуду». Да, ребята, говорила я, прын была тогда, и в голове шумело — иначе никак этого не объяснишь! а теперь меня за это вздернут, так оно и случится. Может, оно даже и к лучшему, думается мне, то есть я так надеюсь. Ну, да что толковать! Не хочется вас расстраивать,—ведь вы со мной дружили. Одно только и хочу вам сказать: не пейте, ребята, никогда, чтобы вам не попасть за решетку. Отойдите чуточку подальше — вот так; как приятно видеть дружеские лица, когда человек попал в такую беду,—ведь ко мне никто, кроме вас, не ходит. Добрые дружеские лица, добрые, добрые лица. Выезьте один другому на спину, чтоб я мог до вас дотронуться. Вот так. Пожмите мне руку — вы же пролезаете сквозь решетку, а моя нет, слишком велика. Маленькие руки и слабые, а ведь много помогли Мифу Поттеру, и еще больше сделали бы, если б могли.

Том вернулся домой очень грустный и вида в эту ночь страшные сны. На следующий день он все время вертелся около заданья суда; его неудержимо тянуло войти в зал, но он с великим трудом удерживался от этого. Гек переживал то же самое. Они старательно избегали друг друга. И тот и другой иногда уходили подальше, но какая-то темная сила притягивала их обратно. Том настаивал ушли, когда из зала суда выходила на

какой-нибудь зенка, но каждый раз слышал только последние нотности — пелая затигивалась все туже и туже воле шен бедного Поттера. К концу второго дня весь город о том только и говорил, что индеец Джо твердо стоит на своем и что нечего и сомневаться, какой приговор вынесут присяжные.

В тот вечер Том вернулся домой очень поздно и встал поздно. Он был очень сильно взволнован. Прошло несколько часов, прежде чем он уснул. Наутро весь город собрался перед зданием суда. Зал был битком набит. Мальчик пришел довольно долго, наконец один за другим вошли присяжные и заняли свои места; вскоре после того ввели бедного, измученного Поттера в кандалы и посадили так, чтобы все любопытные могли глядеть на него; индеец Джо, невозмутимый, как всегда, тоже был виден отовсюду. Опять наступило молчание, и потом явился судья, и шериф объявил, что заседание начинается. Как всегда, адвокаты начали перешептываться между собой и собирать какие-то бумаги. Пока великая тишина, полная ожидания.

Вызвали свидетеля, который подтвердил, что в тот день, когда было обнаружено убийство, он видел как Миф Поттер умылся у ручья и тут же убежал. Задав еще несколько вопросов, прокурор сказал защитнику:

— Можете допросить свидетеля.

Обвиняемый поднял глаза на минуту и опустил их снова, когда его защитник сказал:

— У меня нет вопросов.

Следующий свидетель показал, что нож был найден возле тела.

Прокурор повторил:

— Можете допросить свидетеля.

— У меня нет к нему вопросов,—ответил защитник Поттера.

Третий свидетель показал под присягой, что не раз видел этот нож у Поттера.

— Допросите свидетеля.

Защитник Поттера снова не пожелал его допрашивать. На лицах публики выразилась досада. Неужели адвокат не приложит никаких стараний, чтобы спасти жизнь своего подзащитного?

Несколько свидетелей подтвердили, что Поттер вел себя подозрительно, когда его привели на место происшествия. Их тоже отпустили без перекрестного допроса.

Все, что произошло на каадише в то памятное присутствующим утро, было рассказано надежными свидетелями со всеми подробностями, отягчающими вину Поттера, но ни один из свидетелей не был допрошен защитником. Публика выразила свое недоумение и недовольство глумом ропотом и получила за это выговор от судьи. После этого прокурор сказал:

— На основании свидетельских показаний, данная под присягой и не внушающих подозрений, нами установлена, что это страшное преступление, несомненно, совершено несчастным, который сидит на скамье подсудимых. Мы считаем обвинение доказанным.

Стол вырвался у бедного Поттера, и, закрыв лицо руками, он тихонько закачался взад и вперед среди тостного молчания всего зала. Даже мужчины были тронуты, а женщины заплакали от жалости. Тогда защитник поднялся со своего места и сказал:

— Ваша честь, в начале заседания мы были намерены доказать, что наш подзащитный совершил это ужасное дело бессознательно, в пьяном виде, в припадке белой горячки. Теперь мы переменили мнение и не будем на это ссылаться. — И, обратившись к судьям, сказал: — Вызовите Томаса Сойера!

На лицах всех, не исключая и Поттера, выразилось крайнее изумление. Все глаза с любопытством обратились на Тома, который встал и занял свое место на синей детельской скамье. Вид у него был растерянный, потому что он умирал от страха. Его привели к присяге.

— Томас Сойер, где бы были в ночь на семнадцатого июня, около полуночи?

Том взглянул на каменное лицо индейца Джо, и в нем у него отнялся. Публика затая дыхание и превратилась в слух. Сначала Том не мог выговорить ни слова. Однако через некоторое время он собрался с силами и произнес таким слабым голосом, что первые ряды в зале едва могли его слышать:

— На каадише...

— Погромче, пожалуйста! Не бойтесь. Значит, вы были...



На каадише.

Презрительная улыбка скользнула по лицу индейца.

Вы были недалеко от могилы Вильямса?

Да, сэр.

Рассказывайте, только нельзя ли погромче. Как близко вы были от могилы?

Почти так же, как от вас.

Вы где-нибудь спрятались или нет?

Да, я спрятался.

Где?

За визами, около могилы.

Индус Джо едва заметно вздрогнул.

С вами кто-нибудь был?

Да, сэр. Я ходил туда с...

Погодите, погодите минутку. Не трудитесь называть нашего товарища. Мы его вызовем в свое время. Вы принесли что-нибудь с собой?

Том колебался, и вид у него был смущенный.

Говорите же, мой мальчик, не стесняйтесь. Истина всегда почтенна. Что вы с собой принесли?

Только... дохлую кошку.

Но залу воцарилась пробежка смех, но судья прекратил прерывание.

— Мы представим суду скелет этой кошки. А теперь, мой мальчик, расскажите нам все по порядку, расскажите, как умеее, не пропуская ничего, и не бойтесь.

Том начал рассказывать. Сначала он заинался, но мало-помалу оживился, и его речь лилась все свободнее и свободнее. Через некоторое время в зале стихло все, кроме его голоса; все глаза устремись на него, слушатели ловили каждое его слово, раскрыв рот и затаив дыхание, завороченные страшным рассказом. Сдержанное волнение публики перешло всякие границы при саводующих словах Тома:

— ...а когда доктор хватил Мафа Поттера доской и он упал, индеец Джо замахнулся ножом и...

Трах! С молниеносной быстротой индеец бросился к окну, расшвырив тех, кто хотел его удерживать, и скрылся.

ГЛАВА XXIV

Том снова занял блестящее положение героя — на утешение старшим, на зависть ровесникам. Его имя даже увековечили в печати, ибо городская газета преподнесла его. Некоторые были уверены, что он когда-нибудь станет президентом, если только его не повесит до тех пор.

Как это всегда бывает, переменчивая, легковесная публика приняла теперь Мафа Поттера в свои объятия и расточала ему ласки так же неумеренно, как прежде — брань. Но такое поведение только делает публике честь, поэтому нехорошо осуждать ее за это.

Свои дни Том проводил в радости и веселье, зато по ночам изнывал от страха. Индеец Джо заполнял все его мысли и всегда глядел на него мрачно и угрожающе. После наступления темноты Тома нельзя было выманить из дома никакими соблазнами. Несчастный Гек был тогда едва жив от страха, потому что Том вечером, накануне того дня, когда он дал показания, рассказал всю историю адвокату, и Гек ужасно боялся, как бы не появилось участие в деле, хотя побег индейца Джо избавил его от мучительной обязанности выступать на суде. Адвокат обещал бедняге держать все дело в тайне, но разве можно было этому верить? После того как мужики совести привели Тома вечером на квартиру адвоката

и вырвали из его уст рассказ об ужасной тайне, хотя на нем лежала печать самой мрачной и устрашающей клятвы, пера Гека в человечество сильно пошатнулось.

Каждый день, выслушивая благодарность Мафа Поттера, Том радовался, что сказал правду, и каждую ночь раскидывался, что не сумел держать язык за зубами. Покойные времена Том боялся, что индейца Джо никогда не поймат, а другую половину боялся, что поймат. Он твердо знал, что только тогда вздохнет свободно, когда этот человек умрет и он своими глазами увидит его труп.

За поимку преступника была назначена награда, обещанная всю округу, но индейца Джо так и не нашли. Но Сент-Луи прибыл один из всеведущих и внушающих изумление чудотворцев — полицейский сыщик, — прибыл, произвел розыски, покачал головой, сделал табукомиссанное лицо и добился, разумеется, блестящих результатов, как это водится у людей его профессии. Иными словами, он «напал на след». Но ведь «след» не водился на виселицу за убийство; и после того как сыщик побливал у них и уехал восвояси, положение Тома никак не изменилось: он чувствовал себя в такой же опасности, как и прежде.

Но дни шли за днями, и с каждым днем мальчики всеменьше забывали о тяготеющей над ними угрозе.

ГЛАВА XXV

В жизни каждого настоящего мальчишки наступают моменты, когда его обуревают неистовое желание найти заветный клад. В один прекрасный день такое желание появилось и на Тома. Он отправился разыскивать Джо Гарнера, но безуспешно. Он побежал к Бену Роджерсу, но тот ушел ловить рыбу. Случайно ему попался навстречу Гек Финн, Кровавая Рука. Гек тоже мог приподняться. Том отнес его в укромное место и доверил ему свой план. Гек был не прочь. Гек всегда был не прочь участвовать в любой затее, лишь бы она сулила развлечение и не требовала капитала, — потому что, хотя и говаривали, что время — деньги, времени у Гека было девать некуда.

— Где же мы будем копать? — спросил Гек.

— Да где угодно.

— Как, разве клады везде зарыты?

— В том-то и дело, что не везде. Они бывают зарыты в каком-нибудь укромном месте — когда на острове, когда в гнилом сундуке под засохшим деревом — там, куда тень от сучка падает в полночь, — а чаще всего под полом в старых домах, где нечисто.

— А кто их зарывает?

— Разбойники, понятно. А по-твоему, кто? Учитель воскресной школы?

— Я почему знаю. Если бы клад был мой, я бы его зарывать не стал, а тратил бы денски да поживал припеваючи.

— И я тоже. Только разбойники по-другому делают. Всегда зарывают клад, да так и оставляют.

— Что же они потом за ним не приходят?

— Ну, все собираются прийти, а потом забудут приемы или умрут. Вот он и лежит долго-долго и ржавеет, а потом кто-нибудь находит старую пожелтевшую бумагу со всеми приметами, и надо эту бумагу расшифровывать целую неделю, потому что в ней один значок да нероглифы.

— Иероглифы?

— Иероглифы — такие картинки и разные закорючки, с виду как будто бы и ничего не значат.

— А у тебя есть такая бумага, Том?

— Нет.

— Так как же ты найдешь приметы?

— А на что мне приметы! Клад всегда бывает зарыт под старым домом, или на острове, или под сухим деревом, у которого торчит один сучок. Мы уж пробовали копать на острове Джексона, можно и еще попробовать; а то есть еще старый дом за рекой, и сухих деревьев там сколько хочешь.

— И под каждым деревом клад?

— Ну, что ты! Понятно, нет.

— А как же ты узнаешь, под которым копать?

— Под всеми по очереди!

— Да ведь так все лето пройдет.

— Ну и что же из этого? А варят ты найдешь медный котелок с сотней долларов, весь в ржавчине, или тухлый сундук, полный брильянтов. Что тогда?

У Гека заторсансь глаза.

— Вот здорово! Уж чего бы лучше. Ты мне дай сотню долларов, а брильянтов лучше не надо.

— Ага. Ты не думай, брильянтами тоже бросаться нечего. Есть такие, что стоят каждый доллар двадцать, а уж дешевле, чем по доллару за штуку, и не бывает.

— Да ну? Быть не может!

— Это тебе всякий скажет. Разве ты никогда не видел брильянтов, Гек?

— Что-то не припомню.

— У королей их целые кучи.

— У меня и знакомых королей тоже нет.

— Да, верно. А вот если бы ты поехал в Европу, там там они на каждом шагу так и скачут.

— Скачут?

— Ах ты господи! Да нет же!

— А чего же ты говоришь, что скачут?

— Да ну тебя, это я только так сказал. Чего ради им скакать; я просто говорю, что их там сколько хочешь. Куда ни пойдешь, везде король. Бродя этого старика Горбуна Ричарда.

— Ричарда? А как его фамилия?

— Никакой у него нет фамилии. У королей вообще не бывает фамилии.

— Да ну?

— Вот тебе и ну.

— Что ж, пускай, если им так нравится, но я бы не хотел быть королем, раз у них даже фамилии нет, вроде как у негров. Ты вот что лучше скажи: где ты сперва начнешь копать?

— Не знаю еще. Давай начнем копать под сухим деревом, что на горе за рекой?

— Давай.

Они достали ржавую мотыгу и лопату и отправились за три мили на реку. Добравшись они до места разгоряченные, запыхавшиеся и растянувшись на земле под тенистым пылом отдохнуть и покурить.

— Вот это жизнь! — сказал Том.

— Еще бы!

— Скажи, Гек, если мы найдем клад, что ты будешь делать со своей долей?

— Ну, каждый день буду покупать пирожок и стакан содовой воды, и в цирк тоже буду ходить каждый

раз, как цирк придет. Да уж не беспокоюсь, закину от лично.

— А ты не собираешься копить деньги?

— Копить? Для чего это?

— Ну как же, чтобы были деньги на черный день.

— Вот уж это ни к чему. Вернется родитель и зану стит лапу в мои денежки, есан я их не потрачу, а ты ниши-свищи. А ты что сделаешь на свою долю, Том?

— Купаю себе новый барабан, настоящую сабан, красивый галстук, шенка-будьдота, а потом женюсь.

— Женишься!

— Ну да.

— Том, ты, должно быть, совсем рехнулся.

— Погоди, вот увидишь.

— Ну, гаупей ты ничего не мог придумать. Взять хоть моих отца с матерью. Только и делади, что дрались. Я это отлично помню.

— Это ничего. Девочка, на которой я женюсь, не будет драться.

— Том, они все на один лад. Им бы только драться. Ты лучше подумай сначала как следует. Подумай, тебе говорю. А как эту девочку зовут?

— Она вовсе не девочка, а девочка.

— По-моему, не все ли равно: кто говорит — девочка, кто — девочка. Что так, что эдак — один черт!

— Я тебе скажу, только не сейчас.

— Ну ладно, дею твою. А только, когда ты женишься, я совсем один останусь.

— Нет, не останешься. Ты будешь жить со мной. А теперь хватит валяться, пойдем копать.

Они работали, обливаясь потом, около получаса. Ни каких результатов. Они трудились еще полчаса. И все таки ничего.

Тек сказаа:

— Неужто они всегда так гаубоко зарывают?

— Выпадет, только не всегда. Не каждый раз. По моему, мы просто не там роим.

Они выбрали другое место и начали копать снова. Работа шла теперь медленнее, но все-таки подвигалась вперед. Некоторое время они копали молча. Под конец Тек оперся на лопату, смахнул рукавом капелдьки пота со лба и спросил:

— Да ты собираешься копать после этого места?

— Давай попробуем рыть под старым деревом на Маринской горе, за домом вдовы Дуугас.

— Что ж, я думаю, попробовать можно. А вдова не помнит у нас каады? Ведь дерево на ее земле.

— Отнимет?! Пускай только сунется. Кто нашла место, того и каады. Это все равно, на чьей он земле.

Тек успокоился. Работа продолжалась. Через некоторое время Тек сказаа:

— Ах ты черт, должно быть, опять не там копаем. Как по-твоему?

— Что-то чудно, Тек. Ничего не разберу. Случается, что и ведьмы мешают. Я думаю, уж не в этом ли все дело.

— Да что ты, право, какие днем ведьмы, ничего они делом сделать не могут.

— Да, это верно. Я и не подумал. Ага, теперь знаю, в чем дело! Ну и осы же мы с тобой! Надо сперва узнать, куда падает тень от сучка в полночь, а тогда уже и рыть в том месте!

Выходит, что мы валяди дурака, целый день рыли даром! О, чтоб тебе, теперь вот опять тащишься сюда ночью. Давь-то какал! А ты сможешь выбраться из джун?

— Ну еще бы! Все равно придется рыть нынче ночью, а то если кто-нибудь увидит эти ямы, сразу поймет, в чем дело, и сам начнет рыть.

— Ну что ж, я тебе мякнуту нынче ночью.

— Ладно. Давай спрячем лопаты в кустах.

Ночью в назначенный час мальчики опять пришли под дерево. Они уселись в тени и стали ждать. Место было уединенное и час поздний, старики подзовавший-и дуриной славой. В шорохе листья слышались голоса дуриков, привидения танцали по темным углам, гаухой дай им него зловещим уханьем. Мальчики разговаривали на них действовал таинственный ночной час. Скоро они решили, что полночь уже настала; отметили, куда падает тень, и начали рыть. Надежда ожила в них. Интерес к делу все возрастал и усердие с ним наравне. Они становились все гаубже и гаубже, но каждый раз, как лопата обо что-нибудь ударялась, они испытывали новое разочарование. Наконец Том сказаа:

— Напрасно мы стараемся, Гек. Опыт не там роет.
— Ну как же не там? Ведь тень падала как раз в этом самом месте.

— Знаю, что падала, да не в том дело.

— А в чем же?

— В том, что времени мы не знали наверно. Скорее всего было или самым поздно, или самым рано.

Гек выронила лопату.

— Так и есть,— сказал он.— В этом-то и беда. Придется и эту яму бросить. Верного времени никак не угадаешь, да и страшно уж очень, ведьмы и привидения так везде и носятся. Я все время чувствую, что за спиной у меня кто-то стонет, а повернувшись боюсь: может, и впереди тоже кто-нибудь есть и только того и дожидается. Как мы сюда пришли, меня все время в дрожь бросает.

— Ну, и со мной не лучше, Гек. Ты знаешь, когда зарывают деньги, то сверху всегда капают мертвецы, чтобы он их стерел.

— Господи!

— Да, да! Я сколько раз это слышала.

— Том, не нравятся мне, что мы копаем в таком месте, где есть мертвецы. С ними, знаешь, шутки плохи.

— Мне тоже не очень нравятся их трогать. А вдруг из ямы выскочит череп да скажет что-нибудь!

— Брось, Том! И так страшно.

— Еще бы не страшно! Гек, меня мороз по коже дерет.

— Знаешь, Том, давай бросим это место и попробуем где-нибудь еще.

— Давай, так лучше будет.

— А где?

— Том подумал немного, потом сказал:

— В том старом доме, где нечисто. Вот где.

— Ну его к черту, не люблю я таких домов. Это будет похуже всякого мертвеца. Мертвец еще туда-сюда! Ну, скажет что-нибудь, зато не станет таскаться за тобой в саване и загораживать через плечо и ни с того ни с сего скрежетать зубами, как привидение. Этого и по вытерплю, Том, да никто не вытерпит.

— Это верно, зато привидения ходят только по ночам. Днем они нам копать не помешают.

164

— Положим, что так. А ты знаешь, что никто не знает мимо этого дома ни днем, ни ночью?

— Там убили кого-то, поэтому мимо этого дома и не любят ходить, а так ничего особенного никто не замечает, разве только по ночам, да и то просто синие огоньки падают под окнами, а не настоящие привидения.

— Ну уж, если где-нибудь падают синие огоньки, значит, и привидение там недалеко. Ясное дело. Сам знаешь, кому они нужны, кроме привидений.

— Да, это верно. Только днем они все равно не появляются, так чего же нам бояться?

— Ну даю. Давай попробуем в старом доме, коли хочешь, только все-таки риск большой.

В это время они спустились под гору. Внизу, посреди освещенной луною долины, стоял дом с привидениями, без забора, совсем на отшибе, заросший бурьяном до самого крыльца, с обвалившейся трубой, темными развалинами окон и рухнувшей с одного бока крыши. Мальчики долго смотрели на окна, ожидая, не мелькнет ли в них синий огонек. Потом, разговаривая тихими голосами, как требовали время и место, они свернули направо, чтобы обойти подальше старый дом, и вернулись другой через лес, по другой стороне Кардифской горы.

ГЛАВА XXVI

На следующий день около полуночи мальчики вернулись в сухому дереву— им надо было взять мотыгу и лопату. Тому Сойеру не терпелось поскорей бежать в дом с привидениями. Гек тоже стремился туда, хотя и не так решительно, и вадуг сказал:

— Послушай, Том, а ты знаешь, какой нынче день?

— Том быстро перебрал в уме все дни недели и вскрикнул на Гека испуганные глаза:

— Ой! А мне и в голову не пришло, Гек!

— Вот и мне тоже, а тут сразу вспомнилось, что нынче пятница.

— Ох ты черт, ну как тут убежешь? Вот могли бы написать, если бы начали такое дело в пятницу.

— Могли бы! Скажи лучше— наверняка валялись бы привидения, может, счастливые дни, да только не пятница.

— Всякий дурак знает. Не ты первый выдумал.

— А я разве говорил, что я? Да мало того, что птица, я нынче видел препариный сон — красы синисль.

— Да что ты! Это уже обязательно к несчастью. Дранись они?

— Нет.

— Ну, тогда еще ничего, Гек. Если они не дерутся, то это просто так, вообще не к добру. Нам только надо держать ухо востро и остерегаться беды. Сегодня мы больше копать не станем, будем играть. Ты сыхкал про Робин Гуда?

— Нет. А кто такой Робин Гуд?

— Ну, как же, он был самый замечательный человек во всей Англии и всех главней. Он был разбойник.

— Ох, здорово, вот бы мне. А кого он трабил?

— Ну разных там богачей, королей, шерифов и епископов. А бедных он никогда не трогал. Он их любил. Всегда с ними делился поровну.

— Вот, должно быть, молодец был.

— Ну еще бы. Он был всех на свете благородней, Гек. Таких людей теперь нет, вот что я тебе скажу. Он мог одной левой побить кого угодно в Англии и на поютторы миаи попадад из тисового лука в десятициговую монету.

— А что такое тисовый лук?

— Не знаю. Какой-то там особенный лук. А если попадад не в середину, а в край монетки, то саднись и плакад, ругался даже. Вот мы и будем играть в Робин Гуда — самая благородная игра. Я тебя научу.

— Давай.

И они весь день играли в Робин Гуда, время от времени с тоской поглядывая на старый дом с привидениями и разговаривая о том, что будут там делать завтра. Как только солнце начало склоняться к западу, они побредли домой, пересекая длинные тени деревьев, и скоро скрылись в лесу на Кардифской горе.

В субботу, вскоре после полудня, мальчики опять пришли к сухому дереву. Они посидели в тени, куря и болтая, потом покопались немного в последней по счету яме, без особенной надежды, только из-за того, что, по словам Тома, бывали такие случаи, когда люди не дороятся каких-нибудь шести дюймов, бросят кода, а по-



ним придет кто-нибудь, копнет лопатой и вырвет его. На этот раз им, однако, не повезло, и, взвалив на плечи копаты, они ушли, сознавая, что отнеслись к делу не совсем ловко, а добросовестно продавали все, что попада-лось неслучайно кода.

Когда мальчики подошли к старому дому, то мертвая тишина, разлитая под палящим солнцем, показала им такой странной и жуткой, а самое место таким забавным и безлюдным, что они не сразу отважились войти в дом. Подкравшись на цыпочках к двери, они издали заглянули внутрь. Они увидели заросшую сорной травой комнату без полов, с обвалившейся штукатуркой, старый-престарый очаг, зияющие окна, разваливающиеся лестницу; и везде пыльные дохмоты паути-

ны. Они вошли тихо, с сильно бьющимся сердцем, переговариваясь шепотом, лоя настороженным ухом малейший звук и напугав каждый мускул,— на тот случай, если вдруг понадобится отступить.

Через некоторое время они настолько освоились, что почти перестали бояться. С любопытством и недоверчивостью разглядывали они все кругом, восхищаясь собственною смелостью и удивляясь ей. Потом им захотелось поглядеть, что делается наверху. Это затрудняло отступление, но они подзагоривали друг друга и в конце концов, как и следовало ожидать, побросали лопаты в угол и полезли на лестницу. Наверху было то же пустынное. В одном углу они нашли чулан, с виду очень заманчивый и таинственный, однако их надежды были обмануты — в чулане ровно ничего не оказалось. Теперь они совсем расхрабрились и собрались уже сойти с лестницы и приняться за работу, как вдруг...

— Ш-ш! — сказал Том.

— Что такое? — прошептал Гек, бднее от страха.

— Ш-ш!.. Вот оно!.. Слышишь?

— Да!.. Ой, бежим скорей!

— Тише! Не шевельсь! Идут сюда, прямо к двери. Мальчики растянулись плашмя на полу и, глядя в круглые дырки от сучков, стали ждать, замирая от страха.

— Остановись... Нет, идут... Вот они. Перестань шептать, Гек. Господи, хоть бы поскорей кончилось! Вошли двое мужчин. Каждый из мальчиков подумал про себя: «Это глухонемой старик испанец, который был раза два у нас в городе, а другого я никогда еще не видел».

«Другой» был нечесаный, невыттый оборванец с очень неприятным лицом. Испанец кутался в плащ; у него были густые белые бакенбарды; длинные седые волосы падали на плечи из-под шляпы; на нем были зеленые очки. Когда они вошли в дом, «другой» говорил что-то испанцу тихим голосом; они ушли на полу, лицом к двери, прислонившись к стене, и тот, «другой», все говорил что-то. Он держался теперь не так осторожно, и его слова доносились до мальчиков яснее.

— Нет,— сказал он,— думаю я об этом деле, и мне оно не нравится. Опасно очень.

— Опасно! — проворчал «глухонемой» к великому удивлению мальчиков.— Сантай!

От этого голоса мальчиков бросило в дрожь: то был голос индейца Джо! Некоторое время внизу молчали. Потом Джо сказал:

— Уж какое было опасное то, последнее дело. А ведь обиднось.

— Там совсем другое. Это было дальше вверх по реке, и ни одного дома рядом. Никто и не узнает, что мы пролазили там руку, раз не вышло ничего.

— Ну ладно, уж чего опаснее таскаться сюда днем. Ничего, кто нас увидит, почувет, что дело нечисто.

— Это я знаю. Да ведь не нашлось другого места, где спрятаться. Я и то хочу уйти из этого сада. Вчера еще хотел, только нечего было и думать,— проклятые мальчишки все вертелись тут на горе, на самом виду.

«Проклятые мальчишки» опять затряслись от страха, пораженные этим замечанием, и подумали: какое счастье, что они решили подождать один день, вспомнив про питницу. В душе они жалели, что не подождали целый год.

Двое внизу достали какую-то провизию и принялись закусывать. После долгого молчания индеец Джо сказал:

— Вот что, мальчик, ступай-ка ты, откуда пришел: вверх по реке. Подождешь там, пока я тебя извещу. А я индеец — поброжу еще по городу, надо же хоть поглядеть. За то опасное дело мы примемся, когда я раз-угодно побольше и обдумаю все как следует. А потом в Гекс! Вместе и махнем.

На том и порешали. Вскоре после этого оба начали рычать, и индеец Джо сказал:

— Спать хочу до смерти! Твоя очередь стеречь.

Он улегся в бурьяне и скоро захвател. Товарищ по-трус его раза два, и он затих. Потом с сторож начал рычать носом; голова у него клонилась все ниже и ниже, и вскоре они храпели оба.

Мальчики вздохнули долгим, облегченным вздохом. Том прошептал:

— Ну, теперь пора, идем!

Гек ответил:

— Не могу — я тут же помру, если они проснутся.



Том наставив, Гек упирается. Наконец Том поднимается на ноги, медленно и осторожно, и пошел один. Но с первым же его шагом покоробленные половицы так страшно заскрипели, что он повалился на пол едва живой от страха. Второй раз он и пробовать не стал. Мальчики лежали, считая медленно тнувшиеся минуты, пока им не показалось, что времени больше нет вообще и сама вечность состарилась и поседела; но тут они с радостью заметили, что солнце садится.

Наконец один из бродяг перестал храпеть. Индеец Джо сел, оглядевшись по сторонам, мрачно усмехнулся, глядя на своего товарища, который спал, опустив голову на колени, токнула его ногой и сказала:

— Ну вот! Хорош сторож, нечего сказать! Да да! но уж, ничего не случилось.

— Ох! Неужто я заснул?

— Да вроде того. Пора двинуться, приятель. А что нам делать с оставшимися деньгами?

— Не знаю,—оставить здесь, как всегда, я думаю. Брать их с собой не стоит, пока мы не двинемся на юг. Шестьсот пятьдесят серебром, пожалуй, и руку оттянут.

— Ну ладно, ничего нам не делается, если еще раз сюда придем.

— Да только, по-моему, надо прийти ночью, как мы раньше делали, оно лучше будет.

— Это верно, только вот что. Может, мне еще не скоро удастся наладить то дело. Мало ли что можно помешать. Место не очень-то подходящее. Давай зароем как следует — и погубим.

— Правильно,—одобрил его спутник и, переждав череду свою комнату, поднял одну из плит в глубине очага и вынул мешок, в котором что-то приятно зазвенело. Он достал долларов двадцать—тридцать для себя и столько же для индейца Джо, потом отдал ему мешок, и тот в это время стоял на коленях в утлу и копал вонючим складным ножом.

Мальчики в один миг забыли все свои страхи и все свои недостатки. Горящими глазами они следили за каждым его движением. Вот повезло! Просто нельзя было себе представить такого счастья. Шестьсот долларов—это такая уйма денег, что десятками мальчишкам разбегать можно. Вот вам и кака, да еще как все хорошо утрясается—ничего и голову ломать, в каком месте быть ему. Они ежесекундно токали друг друга локтем—выразительные и очень понятные толчки, которые значили просто: «Небось рад теперь, что мы с тобой тут!»

Нож индейца Джо наткнулся на что-то.

— Ого! — сказал он.

— Что там такое? — спросил его спутник.

— Глядя доска... нет, щипок как будто. Ну-ка помоги, сейчас узнаем, что здесь такое. Нет, не надо, я пробоина ножом дыру.

Он запустил в щипок руку и тут же вытащил ее:

— Гляди-ка, это деньги!

Они вдвоем стали разгладывать горсть монет. Это было золото. Мальчики наверху так же волюновались и так же радовались, как и бродяги.

Спутник индейца Джо сказал:

— Сейчас мы с этим упрямимся. Тут где-то в утлу, за очагом, валяется ржавая мотыга, я ее только что видел.

Он сбегал и принес лопату и мотыгу. Индеец Джо взял мотыгу, недоверчиво осмотрел ее со всех сторон, поочередно, пробормотав что-то себе под нос и начал копать землю. Скоро сундучок был вырыт. Он был неважно, окован железом и, наверно, был необыкновенно прочен, пока не истаял от времени. Бродяги некоторое время глядели на сундук в озабоченном молчании.

— Ну, приятель, да тут прямо тысячи долларов,—сказал индеец Джо.

— Говорили же, что в этих местах одно лето околдована шайка Марреда,—сказал другой.

— Это и я слышала, — сказал индеец Джо, — похоже, что это их работа.

— Теперь тебе не стоит братья за то дело.

Индеец нахмурился и сказал:

— Не знаешь ты меня. То есть мало знаешь об этом деле. Тут не один грабеж, тут еще и месть! — И злобный огонь вспыхнул в его глазах. — Мне понадобится твоя помощь. А как покончим с этим, тогда в Тохас. Ступай домой к своей Нэнси и ребятам иждидайся, пока я тебя не встречу.

— Ладно, как хочешь. А что нам с этим делать — опять зароем, что ли?

— Да. (Полный восторг наверху.) Нет, клянусь великим Сахемом! (Глубокое уныние наверху.) Я чуть было не забыла. На мотыге была свежая земля! (Мальчики чуть не умерли от страха.) Откуда взялась эта мотыга с лопатой? Откуда на них свежая земля? Кто их принес и куда делась эти люди? Слышала ты кого-нибудь? Видела кого-нибудь? Это как же — зарыть деньги опять, чтоб они пришли и увидели вскопанную землю? Ну уж нет — ни за что. Отнесем-ка их в мою берлогу.

— Вот это верно! Как это я раньше не подумал! По-моему, в номер первый!

— Нет. В номер второй — под крестом. А первый не годится — слишком людно.

— Ну, хорошо. Скоро стемнеет, пора и отпираться.

Индеец Джо поднялся на ноги и стал красться от окна к окну, осторожно выглядывая наружу. Потом сказал:

— Кто бы это мог принести сюда мотыгу с лопатой? Как по-моему, может, они еще наверху?

Том и Гек чуть не умерли от страха. Индеец Джо схватился за нож, постоял минутку в нерешимости, потом двинулся к лестнице. Мальчики встали про чулан, но не в силах были пошевеливаться. Заскрипели ступеньки. Положение было такое отчаянное, что мальчики мигом очнулись от столбняка, но только хотели броситься в чулан, как затрещало гнилое дерево и индеец Джо вместе с подломившейся лестницей рухнул вниз. Он поднялся с земан, ругаясь на чем свет стоит, а его спутник заметил:

172

— Ну что ты туда поешь? Если тут есть кто-нибудь и сидит там наверху, то и пусть сидит, — нам-то что? Клян им хочется, пуская прыгают вниз и ломают ноги, разве нам дело? Через четверть часа стемнеет, тогда пуская догоняют нас, если угодно. На здоровье! Попробуй, тот, кто принес сюда эти лопаты, должен быть, инак нас и принят за нечистых духов или призраков. Надо полагать, и сейчас еще бежит без оглядки.

Индеец поворачивал немного, потом согласился с предложением, что надо поджидать время, пока еще не стемнеет, и собираться в путь. Довольно скоро они потихоньку выбрались из дома среди густой сумерек и потащили к реке свой драгоценный скарб.

Том с Гекком поднялись на ноги едва живые, зато выдохнули с облегчением и стали смотреть им вслед с любовью шепотом в бревенчатых стенах. Бежать за ними? Ну нет! Мальчики были довольны уже и тем, что слышали шепот, не сломав себе шеи. Они пошли обратно в город по другой дорожке, через гору. Разговаривали они мало, потому что всю дорогу были заняты тем, что ругали себя — ругали за неудачную мысль отнести туда мотыгу с лопатой. Если бы не это, индеец Джо не почувствовал бы ничего неадекватного, спрятал бы серебро вместе с лопатой и оставил бы здесь, пока не «отомстит», а потом оказалось бы, к его сожалению, что деньги пропала. Надо бы хуже, да некуда! И зачем только им вздумалось тащить сюда лопаты!

Они решили не спускаться вниз с испанца, когда он появится в городе, ища случая «отомстить», и проследить за ним до «номера второго», где бы это ни было. Индеец у Тома мелькнула страшная мысль:

— Отомстить? А что, если это он про нас, Гек?

— Ох, молчи! — сказал Гек, чуть не падая от страха.

Они разговаривали об этом до самого города и решили, что индеец, может быть, инак в виду и кого-нибудь другого, — может быть, одного только Тома, потому что только он один давал показания на суде.

Дав Тома было очень и очень слабым утешением, что опасность грозит ему одному. «В компании все-таки было бы легче», — думал он.

173

События этого дня продолжали мучить Тома и по-
сие. Четыре раза он протиривал руки к сокровищу, и че-
тыре раза оно превращалось в ничто, упавшая из руки;
сон бежал от его глаз, и вместе с являю к нему возвра-
щалось сознание горькой действительности и беды. Ран-
ним утром, лежа в постеле и припоминав подробности
вчерашнего приключения, он с удивлением заметил, что
все они как-то отошли от него и заволоклись туманом,—
словно все это было где-то в другом мире и очень дав-
но. Тогда ему пришло в голову, что, может быть, и са-
мое приключение только приснилось ему! В полбужде-
ние то был один очень убедительный довод, а именно, что
такой кучи серебра и золота, какую он вчера видел на-
ву, просто быть не могло. До сих пор он никогда не ви-
дел даже пятидесяти долларов сразу и, так же как и
другие мальчики его лет и небольших достатков, под-
гад, что все разговоры насчет «сотен» и «тысяч» — это
только так, для красного словца, а на самом деле таких
денег не бывает. Он никогда не думал, что у кого-ни-
будь в кармане может найтись такое богатство, как сот-
ни долларов наличными. Если бы спросить его, как он
представляет себе клад, то оказалось бы, что для него
это горсть настоящих серебряных монеток и целая гора
вошешных, блястливых, не дающих в руки долларов.
Однако подробности приключения выступали тем яснее
и резче, чем больше он о них думал, и скоро он начал ска-
заться к мысли, что в конце концов, пожалуй, это был
и не сон. Надо было как-нибудь выйти из тупика. Он
наскоро позавтракал, а потом пошел развешивать Гек,
Гек сидел на борту большой плоскодонки, равнодуш-
но богуша ногами в воде, и вид у него был мрачный.
Том решил, что надо дать Геку первому заговорить на-
счет вчерашнего. Если же он не заговорит, значит, все
это только приснилось Тому.

— Здравствуй, Гек!

— Здравствуй.

Минута молчания.

— Том, если бы мы оставили эту чертову лопату под
сухим деревом, денски были бы наши. Вот не повезало!
— Так это не во сне, значит. А мне даже хотелось
бы, чтобы это был сон. Право, хотелось бы, Гек!

— Какой еще сон?
— Да вот, все вчерашнее. Я начал уж думать, что
это был сон.

— Сон! Если бы лестница не подоминулась, уна-
ла бы ты, какой это сон. Я тоже всю ночь видел сны —
и все этот кривоглазый испанский дьявол за мной го-
нился, чтобы ему провалиться!

— Нет, зачем ему проваливаться! А вот найти бы
его! Выследить, где деньги.

— Том, никогда нам его не найти. Это только раз в
жизни бывает, чтобы человеку сами давались в руки та-
кие деньги, и то мы их упустили. Я-то, должно быть, и
на ногах не устою, если опять его увижу.

— Ну, и я тоже, только мне все-таки хочется его
узнать и проследить за ним до номера второго.

— Номер второй — вот в том-то и загвоздка! Я уж
об этом думал. Да что-то ничего не разберу. Как по-тво-
ему, что это такое?

— Не знаю. Дело темное. Послушай, Гек, а может,
это номер дома?

— Еще черол. Нет, Том, это вряд ли. Только не в
нашем городишке. Какие тут номера!

— Да, это верно. Дай-ка подумать. Ну, а если это
номер комнаты в каком-нибудь трактире?

— Вот, вот, оно самое! И трактиров у нас всего два.
Мимо разйдем.

— Ты посиди здесь, Гек, пока я не приду.

Том мигот исчез. Ему не хотелось, чтобы его виде-
ли вместе с Гексом на улице. Через полчаса он вернулся.
Оказалось, что в трактире получше номер второй с дав-
них пор занят молодым адвокатом, занят и сейчас.
В другом трактире, похуже, номер второй был какой-то
таинственный, хозяйский сын сказал, что этот номер все
время на замке и он ни разу не видел, что бы оттуда кто-
нибудь выходил или входил туда, кроме как ночью; он
не знал, почему это так, никаких особенных причин как
будто не было; ему это даже показалось любопытным,
но не очень, и он решил, что в этой комнате должно
быть «нечисто». Накануне ночью он видел, что там го-
рел свет.

— Вот что я узнал, Гек. Думаю, это и есть тот са-
мый номер второй, который нам нужен.

— Я тоже так думаю, Том. Что же мы теперь будем делать?

— Дай подумать.

Том думал довольно долго. Потом заговорил:

— Вот что я тебе скажу. Задняя дверь этого номера второго выходит в маленький переулок между трактиром и старым кирпичным складом, который похож на крысоловку. Ты раздобудь побольше ключей — ну сколько можешь, а я стащу все теткины ключи, и в первую же темную ночь мы пойдем туда и попробуем, не подойдет ли который-нибудь. Да гляди в оба, не появится ли ни-деся! Джо, он же хотел побывать в городе и посмотреть еще раз, не подтвердится ли удобный случай отомстить. Если увидишь, ступай за ним следом; если он не пойдет в этот номер второй, значит, это не тот.

— Ей-богу, не хочется мне идти за ним одному!

— Да ведь это же будет ночью. Он тебя, может, и не увидит; а если и увидит, то ничего особенного не подумает.

— Ну, если будет очень темно, я, так и быть, пойду за ним. Не знаю, не знаю. Попробую.

— Можешь быть уверен, что я бы за ним пошел, если б ночь была темная. Почему ты знаешь, может, он сразу увидит, что отомстить не удастся, и тогда пойдет прямо за деньгами.

— Верно, Том, верно. Я за ним пойду, честное слово, пойду.

— Ну вот, это дело! Так смотри же, Гек, не подведи, а я-то уж не подведу.

ГЛАВА XXVIII

В тот вечер Том с Гекком приоткрылись ко всему. Они до девяти часов вечера слонялись возле трактира один из них, стоя подаль, сторожил переулок, а другой — дверь трактира. Никто не входил в переулок и не выходил из него; и в трактир не заходил никто, похорожий на испанца. Ночь обещала быть светлой, и Том отправился домой, уговорившись, что, если будет очень темно, Гек прибежит и мяукнет, а он тогда выйдет в окно и попробует подобрать ключи. Но было все так же светло, и Гек, постояв на страже до двенадцати, задремал в пустую бочку из-под сахара.

Во вторник мальчишкам опять не повезло. В среду тоже. Зато в четверг ночь выдалась темная. Том заблаговременно вышел в окно, захватив теткины жестяной фонарь и широкое полотенце, чтобы закрывать свет. Он открыл фонарь в бочку из-под сахара, где ночевал Гек, и стаа на стражу. За час до полуночи трактир закрылся, и все огни в нем погасли, а других поблизости не было. Непонятно так и не показывался. Никто не входил в переулок и не выходил из него. Все как будто бы складывалось отлично. Темная была непроглядная, и полная тишина нарушалась лишь изредка воркотней далекого грома.

Том достал фонарь, зажг его в бочке, хорошенько вынул полотенцем, и оба искателя приключений вошли прокрадываясь к трактиру. Гек занял сторожевой пост, а Том ошущью пробрался в переулок. Потом потянулся тревожное ожидание, придавившее Гэка, словно тень. Ему захотелось, чтобы перед ним блеснула свет фонаря; он, разумеется, испугался бы, зато, по крайней мере, узнал бы, что Том еще жив. Казаюсь, прошлым вечером, с тех пор как Том исчез во мраке. Наверно, он лежит без чувств, а может, и умер. А может, у него сердце разорвалось от страха и волнения? Встретившийся переулку; ему мерещились всякие ужасы, и каждую минуту он ждал: вот-вот стрисется что-нибудь такое, что из него и дух вон. Положим, он и так едва дышал, а сердце у него поминутно замирало, того и гляди, совсем остановится. Вдруг блеснула свет, и Том стрелой пронесся мимо.

— Бегил! — крикнул он. — Бегил, если жизнь тебе дорога!

Повторять этого не пришлось, довольно было и одного раза. Гек пустился бежать во весь дух, не дожидаясь повторения. Мальчишки не останавливались, пока не добежали до навеса возле старой бойни на другом конце города. Как только они встали под навес, разразилась гроза и хлынул проливной дождь. Том, едва переводя дыхание, сказал:

— Гек, вот было страшно! Стаа я пробовать ключи, таконько, как можно тише; попробоваа два, а наделаа такого шума, что я даже дышать не мог, так испугался. А и даме они все равно не повораживались. Я уж и сам не знал, что делало, дернула за ручку, а дверь и отвори-

дася! Она и запрета-то не была! Я шмыг туда, сина фонаря полотенце и...

— Ну и что? Что ты увидал, Том?

— Гек, я чуть не наступил на руку индейцу Джо!

— Быть не может!

— Дал! Лежит на полу и спит как убитый, раскинув

руки и все с тем же пластырем на глазу.

— Господи! Что же ты сделал? Он проснулся?

— Нет, не пошевелился даже. Пьин, наверно. Я под-

хватила полотенце, да бегом.

— Ну, я бы и думать забыла про полотенце.

— Да, как бы не так! Мне заорово встает от тети

Полли, если я его потеряю.

— Саушай, Том, а сундук ты видел?

— Гек, я даже глядеть не стал. Сундука я не ви-

дел. И креста не видел. Ничего я не видел, кроме бу-

тылки и жестиной кружки на полу рядом с индейцем

Джо; а еще я видел в комнате два боюнка и много бу-

тылок. Так что видишь теперь, почему там нечисто?

— Ну, почему?

— А виски держат, вот это и значит нечисто! Мо-

жет, и во всех трактирах Общества трезвости есть такие

комнаты, где виски держат, как ты думаешь?

— Пожауй, что так. Ну кто бы мог подумать?

А знаешь, Том, сейчас самое подходящее время украсть

сундук, если индеец Джо вляется пьяный!

— Да, как же! Попробуй поди!

Гек вздрогнул.

— Ой нет, тогда не надо.

— И я тоже думаю, что не надо. Она бутылка ри-

дом с индейцем Джо — этого мало. Было бы три, тогда

другое дело, я бы попробовал.

Они долго молчали и думали, и наконец Том сказал:

— Саушай, Гек, давай больше не будем пробовать,

пока не узнаем наверно, что индеец Джо ушел. Уж очень

страшно. А если мы будем стеречь каждую ночь, то, ко-

нечно, увидим когда-нибудь, как он уходит, и мыгом вы-

хватим сундук.

— Ну что ж. Я буду стеречь нынче ночью и каждую

ночь потом уже буду стеречь, если ты сделаешь все

остальное.

— Хорошо, сделано. Тебе только придется прове-

178

ждать один квартал по Гипер-стрит и мякнуть, а если я

спав, то ты брось горсть песка в окно, и я проснусь.

— Даано, так и сделаю!

— Ну вот что, Гек, гроза прошла, я иду домой. Ча-

та через два и светать начнет. А ты ступай туда, посте-

рени пока что.

— Сказал, что буду стеречь, значит, буду. Хотя це-

лный год проторчу на улице. Днем буду спать, а ночью

стеречь.

— Вот и даано. А где же ты будешь спать?

— На сеновале у Бена Роджерса. Он меня пускает, и

давал Джо, негр, что у них работает,—тоже. Я таскаю

вишу, когда ему надо, а он мне дает чего-нибудь поесть,

когда попрошу, если найдется лишний кусок. Он очень

кормиши негр. И меня любит за то, что я не деру нос

никуда неграми. Иной раз даже обедаю с ним вместе.

Только ты никому не говори. Мало ли чего не сделаешь

с родюду, когда в другое время и думать про это не за-

бота бы.

— Ну, если ты мне не понадобишься днем, спи на

заповоше. Зри будить не стану. А если ты ночью заме-

тишь что-нибудь такое, беги прямо ко мне и мяукай.

ГЛАВА XXIX

Первое, что услышала Том в пятницу утром, было радостное известие: семья судьи Тэтчера вчера вернулась в город. И клад, и индеец Джо сразу отошли на второй план, и Бекки заняла первое место в его мыслях. Том побежал к ней, и вместе со своими одноклассниками они наигрались до упаду в «папочку-выручающую» и в другие игры. День закончился очень удачно и весело. Бекки упростила наконец свою маму устроить завтра дождливый пикник, и та согласилась. Девочка сняла от радости, да и Том радовался не меньше. Приглашения были разосланы еще до вечера, и все дети в городке, предаваясь удовольствию, принялись впопыхах собираться на пикник. От волнения Том не мог уснуть до поздней ночи: он очень надеялся услышать мяуканье Гекки и завтра на пикнике удивить Бекки и ее гостей, показав им клад. Но ему пришлось разочароваться — слышав в эту ночь не было.

В конце концов наступало утро, и часам к десяти на одиннадцатый везсая, шумная компания собралась в доме судьи Татчера, чтобы отсюда двинуться в путь. В те времена было не принято, чтобы пожилые люди ездили на пикники и портняги детям удовольствие. Считалось, что дети находяться в безопасности под крыльшками двух-трех девиц лет восемнадцати и молодых людей не-множко постарше. Для такого случая наняли старенький паровозик, и скоро везсая толпа повалила по главной улице, таща корзинки с провизией. Сид заворал, и ему пришлось отказаться от этого удовольствия; Мари осталась дома ухаживать за ним. На прощанье миссис Татчер сказала Бекки:

— Вы вернетесь, должно быть, очень поздно. Быть может, тебе лучше переночевать у кого-нибудь из девочек, что живут поближе к пристани.

— Можно, я останусь ночевать у Сюзи Гарпер?

— Очень хорошо. Смотри же, vedi себя как следует, будь умницей.

Когда они шли по улице, Том сказал Бекки:

— Знаешь, Бекки, вот что мы с тобой сделаем. Вместо того чтобы идти к Джо Гарперу, мы поднимемся в гору и пойдем к вдове Дулаас. У нее бывает сливочное мороженое почти каждый день — да еще какими порциями! Она нам обрадуется, вот увидишь.

— Ой, вот будет весело!

Бекки задумалась на минутку и сказала:

— А как же мама?

— Откуда же она узнает?

Девочка опять подумала и нерешительно сказала:

— По-моему, это нехорошо все-таки...

— Ну, чего там «все-таки»? Твоя мама не знает, так что же тут плохого? Лишь бы с тобой ничего не случилось, больше ей ничего не надо, по-моему, она тебе и сама позволала бы, только ей в голову не пришло. Конечно, позволала бы!

Шедшее гостеприимство вдовы Дулаас было соблазнительной приманкой, и уговоры Тома скоро оказали свое действие. Было решено не говорить никому, какие у них планы на этот вечер. Вдруг Тому пришло в голову, что Тек может явиться нынче ночью и подать сигнала. Эта мысль чуть не испортила ему будущее удовольствие. И все же он никак не мог пожертвовать везсаям у

матери Дулаас. Да и для чего жертвовать, рассуждал он: ведь сигнала не было вчера ночью, то с какой стати его ждать непременно сегодня? Везсая будет наверняка, а нечет кагда еще неизвестно. И, как всегда у мальчишек, переиссало то, к чему тянуло сильнее: в этот день он решил больше не думать о судьяке с девицами.

Тремя милями ниже города паровозик замедлил ход в лесистой долине и причалил к берегу. Толпа высыпала на берег, и скоро повсюду в лесу и на крутых склонах раздались крики и смех. Перепробовав все игры, вышедшие из сил и разгоряченные шалуны опять сошлись в лагерь, нагуляв завидный аппетит, и набросились на разные вкусные вещи. После пира они уселись отдыхать и разговаривать в тени раскидистых дубов. Скоро кто-то крикнул:

— Кто хочет в пещеру?

Оказалось, что хотят все. Достали свечи, и сейчас же все пустылись наперевой карабкаться в гору. Вход в пещеру был довольно высоко на склоне горы и походил на брешь «А». Тяжелая дубовая дверь никогда не запирается. Внутри была небольшая пещера, холодная, как погреб, со стенами из прочного известняка, которые были выложены самой природой и усыяны кальными вагами, какою холодным потом. Стоять здесь в глубоком мраке и глядеть на зеленую долину, освещенную солнцем, было так интересно и таинственно. Но скоро первое впечатление рассеялось, и опять начался шалости. Как только кто-нибудь зажигал свечу, все остальные набрались на него гурьбой; и сколько он ни защищался от нападающих, свечу скоро вышибали у него из рук или тушили, и тогда снова поднимался веселый крик, смех и шипение. Но все на свете когда-нибудь кончается. Мало-помалу шестые, вытнувшись вереницей, начало спускаться по крутому склону главной галереи, и ряд колеблющихся огней смутно осветил высокие каменные стены почти до самых сводов, сходящихся над головой на высоте шестидесяти футов. Главная галерея была не шире восьми или десяти футов. На каждом шагу по обеим сторонам открывались новые высокие расщелины горада, какою главной галереи. Пещера Мак-Дулаас представляла собой настоящий лабиринт извилистых, перекрещивающихся между собой коридоров, которым не было конца. Говорили, что можно было целыми днями и ночами блу-

ждать по затоптанной сети расписали и проводов, не пахоты выхода из пещеры, что можно было спускаться ниже и ниже в самую глубь земли, и там встретить что же — лабиринт под лабиринтом, и так без конца. Ни кто не знал всей пещеры. Это было невысказанное дело. Большинство молодых людей видело только часть пещеры, и обычно никто не заходил дальше. Том Соьер знал пещеру не лучше других.

Мало-помалу одна группа за другой, захватившись, подбегала к выходу, все веселее, закатанные с ног до головы свеченым салом, перепачканные в глине и очень довольные проведенным в пещере днем. И только тут все увиделись, что время прошло так незаметно и что скоро стемнеет. Пароходный колокол звонил уже с полчаса. Однако все был очень доволен, что так романтически завершается день, полный приключений. Когда пароходик со своим шумным грузом выплыл на середину реки, никто, кроме капитана, не ждал о подвешенном во время

Гек уже стоял на своем посту, когда огни пароходов замаяблили мимо пристани. Он не слышал никакого шума, потому что молодежь присмирела и притихла, как это обычно бывает с людьми, которые очень устали. Сначала Гек удивился, что это за пароход и почему он не останавливается у пристани, потом перестал об этом думать и занялся своим делом. Ночь становилась все темнее и обдачнее. Прошло десять часов, затих шум колес, разбросанные кое-где огоньки стали мигать и гаснуть, на улицах больше не встречалось прохожих. Гордо док отошел ко сну, оставив маленького сторожа наедине с тишиной и прививаниями. Прошло однанадцать часов, и в трактире погасли огни; все погрузилось во мрак. Гек ждал, как ему показалось, ужасно долго, но ничего не случилось. Он начал ковылять. Стоит ли ждать? Да и выйдет ли какой-нибудь толк? Уж не пропустить ли все да и не завалиться ли спать?

Вдруг он расслышал какой-то шум и сразу остановился. Дверь, выходящая в передок, тихо закрылась.

Он бросился за угол кирпичного склада. Минутой позже
они прошли, чуть не задев его, два человека, у одного из
них было что-то под мышкой. Должно быть, сундук!
Значит, они собираются переносить клад. Стоит ли звать
Геня? Это было бы глупо — они уйдут с сундуком, и
попытайся как звали. Лучше пойти за ними и выследить
их. В темноте они его не заметят. Рассуждая сам
с собой, Гек выскочил из-за угла и, крадучись, как
шпион, пошел за бродягами. Он неслабыно ступал босы-
ми ногами, держась на таком расстоянии, чтобы не упу-
стить их из виду.

Они прошли три квартала по улице вдоль реки, а потом свернули налево. Сначала они шли все прямо, а дойдя до тропинки, ведущей на Кардифскую гору, стали поворачиваться по ней. Они прошли, не останавливаясь, мимо дома старика валлийца, на склоне горы, и лесом все выше и выше. «Аадо, — подумал Гек, — значит, они хотят зарыть сундук на старой каменоломне». Но бродяги даже не остановились там. Они прошли дальше к вершине. И вдруг, свернув на узкую тропинку между пыльными кустами сумаха, сразу пропали в темноте. Гек прибавил шагу и стал нагонять их, потому что увидеть их они не могли. Сначала он бежал, потом замедлил шаг, боясь, что наткнется на них; прошел еще немного, становясь, прислушавшись: ни звука, слышно было только, как бьется его сердце. Ухानье филина донеслось до него с горы — плохая примета. Но шагов не слышно. Говорил, неужели все пропало? Он уже собирался задать pregunta, как вдруг кто-то кашлянул в четырех шагах от него. Сердце у Гека чуть не выскочило, но он пересилил свой страх и замер на месте, весь дрожа, словно его трясло сразу все двенадцать лихорадок, а слабость на него напала такая, что он боялся, как бы не свалиться на землю. Теперь он знал, где находится: он был около изгороди, окружавшей усадьбу вдовы Дууглас, в пяти шагах поребрика. «Аадо, — подумал он, — пускай зарывают

Посадышась очень тихий голос, говорил индеец Джо:
Черт бы ее взял! Может, у нее гости? Свет горит
и поданей ночи.

— И ничего не вижу.

Генерал говорил тот оборванец, брошенный из старого дома. Серафим Египа сжалось от смертельного холода: так

вот кому собирался мстить индеец Джо! Первой мыслью Тека было убежать. Но тут он вспомнил, что вдова Ду-глас всегда была добра к нему, а эти люди, может, соберутся убить ее. Тек пожалел, что у него не хватило храбрости предупредить вдову; он очень хорошо знал, что не отважится на это — они могли увидеть его и схватить. Все это, и не только это, промелькнуло у него в голове за короткий миг между словами бродяги и ответом индейца Джо:

— Тебе кусты мешают. Ну, смотри в эту сторону. Теперь видишь, что ли?

— Да. Ну, конечно, у нее гости. Брось ты это дело! — Как! Бросить, когда я уезжаю отсюда навсегда? Когда, может, другого случая больше не будет? Ну, нет! Опять-таки говорю тебе, как не раз говорил: мне навевать на ее деньги, можешь их забрать себе. А вот मुझे ко мне придирается, и не один раз это было; он же меня и посадил как бродягу, когда был судьей. Да это еще не все! Куда там! Он ведал меня отступить влево — отступить на улице перед тюрьмой, как негра! И весь город это видел! Пастырь! Понимаешь ты это? Он перекутил меня и умер. Ну, зато она мне заплатит!

— Не убивай ее! Не надо!

— Не убивай? А кто говорит про убийство? Ею бы я убил, а ее не собираюсь. Когда хотят отомстить женщине, ее не убивают — это ни к чему! Ее уродуют, рвут ноздри, обрубают уши, как свинье!

— Господи, это уж...

— Тебя не спрашивают! Молчи, пока цел! Я ее привожу к кровати. Если истечет кровью и умрет, я тут ни при чем. Плакать не стану, А ты, приятель, мне помо- жешь, для того я тебя и взял, одному мне не управит- ся. Если будешь отдымивать — убью! Понял? А если придется тебя убить, то уж и ее заодно прихлопну — тогда, по крайней мере, никто не узнает, чья это работа.

— Ну что ж, если без этого нельзя, тогда идем. Чем скорей, тем лучше. Меня всего так и трясет.

— Сейчас? А гости? Смотри не вдумай меня вы- дать, что-то я тебе не верю. Нет, подождем, пока свет погаснет, спешить некуда.

Тек понял, что за этим последует молчание, еще бо- лее страшное, чем все эти разговоры насчет убийства, и, затравив дыханье, живо шагнул назад: долго балансируя



над на одной ноге, с опасностью свалиться вправо или влево, и наконец осторожно опустил другую ногу. Потом он сбежал еще один шаг назад, так же осторожно и с тем же риском, потом еще один и еще — и вдруг сушок треснул у него под ногой. Он перестал дышать и при- каушался. Ни звука — тишина была полная. Тек себя не поднимая от радости. Он повернулся между двумя стена- ми кустов сумаха, осторожно, как поворачивает корабль, и с опаской зашагал прочь, но, выйдя на дорогу у каме- номини, почувствовал себя в безопасности и побежал так, что только пятки засверкали. Он бежал все быстрее под гору, пока не добежал до фермы вальщика. Он так кинулся в дверь кулаками, что из окон сейчас же высуны- лись головы старика и двух его дюжих сыновей.

— Что за шум? Кто там стучит? Что надо?

— Пустите скорей! Я все расскажу!

— А кто ты такой?

— Гекльберри Финн! Скорей отопните!

— Вот как, Гекльберри Финн! Не такое это имя, чтобы перед ним все двери распахивались настежь! Пу-

стите его все-таки, ребята, послушаем, что там стрислось!

— Только, ради бога, никому не говорите, что это я вам сказал,— были первые слова Гек, после того как его выпустили.— Ради бога, а то меня убьют! Ведь я знаю меня всегда жалева, и я все расскажу, непременно расскажу, если вы обещаете не выдавать меня.

— Ей-богу, тут что-то есть, это он не зря говорит!— воскликнула старик.— Ну, валяй рассказывай, никто тебе не выдаст, паренек.

Через три минуты старик с сыновьями, вооружившись как следует, поднимались в гору и были уже у чада дорожки между кустами сумаха, с ружьями в руках. Гек не пошел за ними дальше. Он спрятался за большим камнем и стал слушать. Долго тинулось тревожное молчание, а потом вдруг сразу раздались выстрелы и крики.

Гек не стал дожидаться разъяснений. Он выскочил из-за камня и пустился бежать под гору так, что дух захватило.

ГЛАВА XXX

В воскресенье утром, чуть только забрезжил свет, Гек в потемках вскарабкался на гору и тихонько постучался в дверь старика вальица. Все обитатели дома спали, но сон их был тревожен после волнений прошлой ночи. Из окна его оканкули:

— Кто там?

Испуганный голос Гек ответил едва слышно:

— Пожалуйста, выпустите меня! Это я, Гек Финн.

— Перед этим именем мой дверь всегда откроется, и ночью и днем. Входи, милый, будь как дома!

Такие слова бездомному мальчику приходилось слышать впервые, и никогда в жизни ему не говорили ничего приятнее. Он не мог припомнить, чтобы раньше кто-нибудь приглашал его быть как дома.

Дверь быстро открыли, и Гек вошел. Его усадил, а старик со всем своим выводком рослых сыновей стал поспешно одеваться.

— Ну, сынок, надеюсь, ты как следует проголодался, потому что завтрак нам подадут, как только взойдет солнце.

«Почему горючий, можешь быть спокоен! А мы с ребятами ждали тебя вчера, думали, что ты у нас заочуешь. — Я уж очень испугался,— сказал Гек,— и убежал. Как пустился бежать, когда пистолеты выстрелили, так и не останавливаясь целых три мили. А теперь я пришел потому, что хотелось все-таки узнать, как было дело, и пришел перед рассветом, потому что боялся наткнуться на этих дьяволов, даже если они убиты.

— Ах ты бедняга! Видно, ты устал за эту ночь,— вот тебе кроватка, ложись, когда позавтракаешь. Нет, они не убиты, вот что жалко. Видишь ли, мы знали, где их искать, с твоих же слов; подкрался на цыпочках и стал стрелять. И вдруг захотелось мне чихнуть! Вот незадача! Старик удержался— и не могу. Ну, думаю, сейчас чихну,— и чихнул! Я стоял впереди с пистолетом наготове, и только чихнул, эти мошенники зашуршали— и в бегство. А я кричу: «Пади, ребята!»— и сам стреляю прямо туда, где шуршит. Ребята мои тоже. Но все-таки они ударили, мерзавцы эти, а мы гнались за ними через весь лес. Кажется, не задела ни одного. Они оба сбежали по выстрелу и тоже мимо. Как только не стало слышно шагов, мы сейчас же бросились погоню, спустились под гору и разбудили полицейских. Они собрали отряд и пошли в обход по берегу реки, а как только рассвет, шериф со своими людьми обыщет весь лес. Мои ребята тоже пойдут с ними. Хорошо бы знать, каковы эти мошенники с виду, это бы нам очень помогло. Да ведь ты их, верно, не рассматривал в темноте?

— Нет, я их увидел еще в городе и пошел за ними. Вот это отлично! Так опиши их нам, опиши, мой мальчик!

— Один—это гаухонемой испанец, которого видели в городе раза два, а другой— бродяга, весь в ломотях, странная такая рожа.

— Довольно, милый, этих мы знаем! Я сам на них как-то наткнулся в лесу за домом вдовы Дуглас, и они от меня ударили. Ну, ступайте, ребята, да расскажите все это шерифу, а позавтракаете как-нибудь в другой раз! Сыновья вальица тут же ушли. Гек вскочил и побегал за ними к двери.

— Ох, ради бога, не говорите никому, что это я их выдал! Ради бога!

— Ну, дадно, Гек, если ты так хочешь, но ведь это только деает тебе честь.

— Ох, нет, нет! Ради бога, не надо!

Когда молодой люди вышли, старик валайец сказал:

— Они никому не скажут, и я тоже. А почему ты не хочешь, чтобы другие знали?

Гек не пожелал объяснить, сказал только, что про одного из этих бродяг он и так уж много знает и не хочет ни за что на свете, чтобы бродяга про это узнал, а то он его убьет, непременно убьет.

Старик еще раз пообещал молчать и спросил:

— А все-таки почему ты за ними пошел? Они показались тебе подозрительными, да?

Гек помолчал, стараясь придумать самый уклончивый ответ. Потом начал:

— Как вам сказать, я ведь и сам тоже вроде бродяги,—так, по крайней мере, все считают, и я не обижаясь; иной раз бывает, что из-за этого по ночам не сплю, все думаю, как бы мне начать жить по-другому. Вот и прошлой ночью так же было. Мне что-то не спалось, и я пошел бродить по улицам в полночь, и все думал да думал, а когда дошел до старого кирпичного склада рядом с трактиром Общества трезвости, то постоял, прислонившись к стенке, чтобы подумать как следует. А тут как раз идут эти двое, совсем банко, и несут что-то под мышкой. «Наверно, думаю, краденое». Один из них курил, а другой попросил огоньку; они остановились прямо передо мной, сигары осветили их лица, и тогда я сразу узнал, что высокий—это глухономой испанец с пластырем на глазу и седыми бакенбардами, а другой—тот самый оборванец в дохмотрях.

— Что же, ты и дохмотря рассмотрел при свете свечей?

Гек сбился на минуту. Потом продолжал:

— Уж не знаю, право, как-то все-таки рассмотрел.

— Потом они пошли дальше, и ты за ними?

— Да, и я за ними. Правильно. Хотелось поглядеть, что они затевают,—уж очень по-пороски они прощмынулись. Я дошел за ними до забора вдовы, притаясь в темноте и слыша, как оборванец застучался за вдову, а испанец каялся, что изуродует ее,—и же там раскатыла...

— Как? Глухономой все это говорил?

Гек опять сделал страшный промах. Уж как он старался, чтобы старик не угадал, кто такой этот испанец, и все-таки язык подвел его, несмотря на все старания. Он попробовал вывернуться, но старик не спускал с него глаза, и Гек завырнулся все хуже и хуже. Наконец старик сказал:

— Ты меня не бойся, милый. Я тебе ничего плохого не сделаю. Наоборот, заступлюсь за тебя, да, заступлюсь. Этот испанец вовсе не глухономой, ты сам же проговорился нечаянно, теперь уж этого не исправить. Ты это знаешь про этого испанца и хочешь это скрыть. Иначе ты мне не доверишься. Скажи, в чем дело, я тебе не выдам.

Гек с минуту смотрел в честные глаза старика, потом повернулся к нему и прошептал на ухо:

— Никакой это не испанец—это индеец Джо!

Индеец так и подскочил на стуле. Помолчав с минутой, он сказал:

— Ну, теперь все ясно. Когда ты рассказывал про вырванные ноздри и обрушенные уши, я уже решил, что это ты прибавил для красного словца, потому что белым так не мстят. Ну, а индеец—это совсем другое дело! За завтраком, продолжая разговор, старик рассказал немало прочим, что, перелав как ушечки в постель, он с Джо фондром и вместе с сыновьями пошел осматривать виноград, нет ли на ней крови или где-нибудь на земле поданности. Крови они не нашли, зато подобрали большой уса...

— Чем?

Если бы слова были молнией, то и тогда они не могли бы сорваться быстрее с победивших уст Гека. Он широким раскрыл глаза и почти не дышал в ожидании ответа. Индеец изумился и тоже уставился на него; смотрел прищурив, пять секунд, десять, потом ответил:

— С поровским инструментом. Да что с тобой такое?

Гек откинулся на спинку стула, едва дыша, но чувствовал тафокую, невыразимую радость. Валайец посмотрел на него внимательно и с любопытством, потом сказал:

— Да, с воровским инструментом. Тебе, кажется, от этого легче стало? Чего ты так встревожился? Что по-тому, мы должны были найти?

Гек был прижат к стенке. Вопросительный взгляд его и буравил его. Он бы отдал все на свете, лишь бы

нашлось из чего состряпать подходящий ответ. Ничего не приходило в голову. Вопросительный взгляд бурвана все глуже и глуже. На язык лезла такая бессмыслица: Обдумывать было некогда, и он сказал наобум, сама слышно:

— Может, учебники для воскресной школы?

Бедный Гек расстроился и не мог даже улыбнуться, зато старик захохотал громко и весело, так что вся его крупная фигура сотрясалась с головы до пят, и наконец сказал, что такой здоровый смех не хуже денег в кармане, потому что доктору придется меньше платить. Потом прибавил:

— Ах ты бедняга, сразу победлен и осунулся. Видать, что недоров, — нечего и удивляться, что мозги у тебя набекрень. Ну, да авось обойдется. Отдохнешь, выспишься, и все, я думаю, как рукой снимет.

Геку было досадно, что он все себя, как дурак, и никак такое подозрительное воиление, потому что, еще у изгороди подсаушав разговор, он перестал надеяться, что в уале был каад. Но все-таки он только так подумал, а намерника не знал, — вот почему упоминание о захваченном уале вызвало его. Но в общем он был даже рад этому пустяковому случаю: теперь, когда он узнал на верное, что уале не тот, ему стало легче, и душа его совершенно успокоилась. Как будто все сошло как невзлауще: каад, должно быть, все лежит в номере шром, бродяг нынче же схватят и засадят в тюрьму, и они с Томом в этот же вечер пойдут и возьмут золото без всяких препятствий и хлопот, ничего не опасаясь.

Не успели они управиться с завтраком, как в дверь постучались. Гек вскочил и побежал прятаться, не желая чтобы другие знали, что он имеет какое-то отношение к событиям прошлой ночи. Вальнец открыл дверь несколькими дамам и джентльменам, между прочим, и вдове Дулас, и увидел, что в гору поднимаются кучки горожан — поглазеть на место происшествия. Значит, новость уже облетела весь город. Вальнцу пришлось рассказать посетителям обо всем, что случилось ночью. Вдова горнично поблагодарила его за то, что он спас ей жизнь.

— Ни слова об этом, сударыня. Есть еще один человек, которому вы, быть может, обязаны больше, чем мне и моим ребятам, но он не хочет называть себя. Если бы не он, нас бы вообще там не было.

Конечно, это вызвало такое любопытство, что о самом происшествии чуть не забыли, но вальнец только раздрадил любопытство своих гостей, а через них и весь город, отказавшись рассказать со своей тайной. После того как гости узнали все остальные подробности, вдова сказала:

— Я уснула, читая в постели, и ничего не слышала. Почему же вы не пришли и не разбудили меня?

— Решим, что не стоит. Бродяги вряд ли собирались вернуться, — без инструмента у них все равно ничего не вышло бы; так зачем же было вас будить и пугать до полусмерти. Мои три негра сторожили ваш дом до самого утра. Они только что вернулись.

Пришли еще посетители, и вальнец часа два рассказывал и пересказывал всю историю с самого начала. В воскресной школе не было занятий по случаю каанину, зато все горожане собрались в церковь спозаранку. Событие, переполнившее город, обсуждалось со всех сторон. Говорили, что и следа преступников не удалось еще обнаружить. После проповеди жена судьи Татчера догнала миссис Гарпер, которая шла вместе с толпой к выходу, и заговорила с ней:

— Неужели мой Бекки проспит целый день? Я так и думаю, что она устанет до полусмерти.

— Ваша Бекки?

— Да. Разве она не у вас ночевала?

— Нет, что вы!

Миссис Татчер победлена и опустилась на скамью как раз в ту минуту, когда тети Полли, очевидно разговаривая с прителевницей, проходила мимо. Тети Полли сказала:

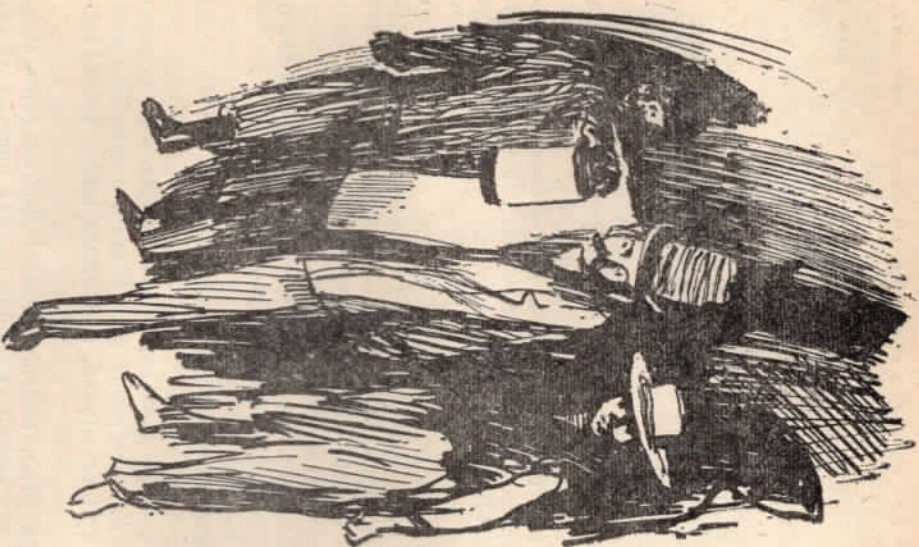
— Доброе утро, миссис Татчер! Доброе утро, миссис Гарпер! А у меня мальчишка пропал куда-то. Я думаю, он вчера остался ночевать у кого-нибудь из вас, а теперь боится идти в церковь. Надо будет задать ему вопросенко.

Миссис Татчер победлена еще больше и чуть заметно покачала головой.

— Он не ночевал у нас, — сказала миссис Гарпер, напуганная беспокойством.

По лицу тети Полли было видно, как она встревожилась.

— Джо Гарпер, видел ты моего Тома нынче утром? Нет, не видел.



— А когда ты его видел в последний раз?

Он попытался вспомнить, но наверное сказать не мог. Прихожане останавливались на подороге к выходу. В толпе начали перешептываться, все забеспокоилось. Стали спрашивать детей и молодых учителей толпы. Никто из них не заметил, были ли Том и Бекки на подороге, когда возвращались в город. Уже стемнело, и никому в голову не пришло спросить, все ли налицо. На конец один из молодых людей выразил опасение, не остались ли они в пещере.

Миссис Тэтчер упала в обморок. Тетя Полаи плакала, ломая руки.

Тревожная весть переходила из уст в уста, от толпы в толпу, из улицы в улицу, и через пять минут колокола неистово зазвонили и весь город был на ногах. Случай на Кардифской горе теперь казался совсем неважным, о нем все забыли. Седлали лошадей, сядились в кареты, парочка разводила пары — и не прошло и получаса, как двести человек двинулись к пещере по большой дороге и по реке.

На весь долгий день городишко опустело и словно вымер. Женщины навещали тетю Полаи и миссис Тэтчер, стараясь их утешить. Они плакали вместе с ними, и это было гораздо лучше слов. Всю томительную ночь город ждал известий, но когда забрезжило утро, то поученно было всего несколько слов: «Пришли еще свечей и провозили». Миссис Тэтчер чуть не сошла с ума, и тетя Полаи тоже. Судья Тэтчер посматривал из пещеры бодрее и полные надежды записки, но они никого не радовали.

Старик вальденец вернулся домой к рассвету, еле держась на ногах, весь закапанный свечным салом и измазанный в глине. Гек, весь в жару, все еще лежал в постели, куда его уложили с вечера. Все доктора были в пещере, и ухаживать за больным пришла вдова Дуглас. Она сказала, что сделает для него все, что может, потому что, какой бы он ни был, хорош или плох, или ни то ни се, но все-таки божье дитя. — не бросать же его без присмотра. Вальденец заметил, что у Гека есть и хорошие черты, и вдова сказала:

— И не сомневайтесь. На нем печать господня. Бог не забывает никого. Никогда. Он отмечает каждое тво-рение, выходящее из его рук.

Еще до полудня отдельные группы измученных людей начали стекаться в городок, но те, у кого остались лошади, продолжали понести. Только и узнали нового, что обискианы самые отдаленные углы пещеры, куда раньше не находил никто; что будут искать и дальше, не пропуская ни одного угла, ни одной расщелины; что в длинных коридорах там и сям мелькают вдалеке огни и по темным переходам то и дело перекатывается эхо доносящихся издалека криков и pistolетных выстрелов.

В одном месте, далеко от тех галерей, куда обычно направляли туристы, наши на скале имена «Беки и Том», выведенные копыто, а неподалеку подобрал ленточку, закапанную свечным салом. Миссис Тэччер узнала ленточку и заплакала над ней. Она сказала, что это последняя память о ее бедной девочке и что ничем другим она не дорожит так, как этой лентой, которая была на жинвой Беки до самой последней минуты, перед тем как девочка умерла такой ужасной смертью. Некоторые рассказывали, что иногда в пещере мелькала влажная светлая точка, человек двадцать с радостными криками бросались туда по глухим переходам, но за этим следовало горькое разочарование: оказывалось, что это кто-нибудь из своих.

Так прошли три дня и три ночи, полные страха; часовские часы тянулись за часами, и наконец весь город впал в безнадежное отчаяние. У всех опустились руки. Когда случайно обнаружилось, что в трактире Общества трезвости продают из-под полы виски, то это почти никого в городе не возводило, хотя само по себе событие было потрясающее. Очнувшись от анхораки, Гем слабым голосом завел разговор о трактирах и между прочим спросил, смутно опасаясь самого худшего, не наши ли чего-нибудь в трактире Общества трезвости, пока он болен.

— Да, наши, — ответила вдова.

Гем поласкочил на постели, широко раскрыв глаза.

— Что? Что наши?

— Виски, и теперь трактир закрыли. Ложись, милая, как ты меня напугала!

— Скажите мне только одно, только одно, пожалуйста! Кто нашел — Том Соьер?

Вдова задыхаясь сказала:

— Тише, милая, тише! Ты же знаешь, что тебе нельзя разговаривать! Ты очень, очень болен!

«Так, значит, не наши ничего, кроме виски. Небоже, если б наши золото, подняли бы шум на весь город. Выходит, что клад пропал, пропал навсегда! О чем же она все-таки плачет? Интересно, с чего бы ей плакать?»

Эти мысли смутно бродили в голове Гека, и, устав думать, он заснул. Вдова сказала себе:

«Ну, вот он и уснул, бедный. «Том Соьер нашел!» Хорошо, если бы кто-нибудь нашел Тома Соьера! Ах, уж немного осталось таких, кто еще надеется его найти и у кого хватает сил искать дальше!»

ГЛАВА XXXI

Теперь перенемся к Тому и Беки и посмотрим, что они делали на пикнике. Они шли вместе со всей компанией по темным коридорам, осматривая уже знакомые чудеса пещеры, чудеса, носившие очень пышные названия: «Гостиница», «Собор», «Дворец Аладдина» и т. д. Кипро началась веселая игра в прятки, и Том с Беки тоже увлекались ею и играли до тех пор, пока не устали немного. Тогда они спустились по извилистой галерее, держа свечи над головой и разбирая путаный узор копыто на каменных стенах. Так они шли все дальше и дальше и за разговором не заметили, что находятся уже в той части пещеры, где на стенах нет никаких надписей. Они тоже вывели свои имена копыто на выступе стены и двинулись дальше. Скоро им понадобилось такое место, где маленький ручеек, падающий со скалы, мало-помалу обжидая известность и в течение столетий образовал целую кружежную Ниагару из белил и прочного камня. Том протиснулся туда своим худеньким телом и повис на воле, чтобы доставить Беки удовольствие. За подопалом он нашел круглую естественную лестницу в узком проходе между двумя стенами, и им сразу овладела страсть к открытиям. Он позвал Беки, и, сделав известный знак, чтобы не заблудиться, они отправились на разведку. Они долго шли по этому коридору, повременами то вправо, то влево, и, забравшись все глубже и глубже под землю в тайники пещеры, сделали еще одну пометку, свернули в сторону в поисках нового и невиданного, о чем можно было бы рассказать наверху. В одном месте они набрали на обширную пещеру, где с потолка свисало много сталактитов, длинных и толстых, как человеческая нога; Том и Беки обошли ее кругом, восторжались и ахали, и вышли по одному из множества боковых коридоров. По этому коридору они скоро пришли к прекрасному роднику, выложенному сверкающими, словно иней, кристаллами; этот родник находился посреди пе-

щеры, стены которой поддерживало множество фантастических колонн, образовавшихся из сталактитов и сталагмитов, свившихся от постоянного падения воды и теченье столетий. Под сводами пещеры, сцепившись каубами, висели летучие мыши, по тысяче в каждом каубке! потроженные светом, сотни мышей светили вниз и в пискном стаде яростно бросаться на свечи. Том знала повадки летучих мышей и понимала, как они могут быть опасны. Он схватил Беки за руку и потянул ее в первый попавшийся коридор: это было как раз время, по тому что летучая мышь затаскала крылом свечу Беки и ту минуту, как она выбежала из пещеры. Летучие мыши гнались за дестями довольно долго, но беглецы то и дело сворачивали в новые коридоры, попадавшиеся им на встречу, и наконец избавились от этих опасных тварей. Вскоре Том нашел подземное озеро, которое, тускло поблескивая, уходило куда-то вдале, так что его очертания терялись во мгле. Ему захотелось исследовать берега озера, но он решил, что сначала лучше будет посидеть и отдохнуть немножко. Тут в первый раз гнетущее безмолвие пещеры наполнило на них свою холодную руку.

— А я сначала и не заметил, но, кажется, мы уж очень давно не слышим никаких голосов.

— Подумай сама, Беки, ведь мы очень давно по ним, — да еще, может быть, гораздо дальше к северу, или к югу, или к востоку, или куда бы то ни было. Отсюда мы и не можем их слышать.

Беки забеспокоилась.

— А долго мы пробьдем тут вниз, Том? Не лучше ли нам вернуться?

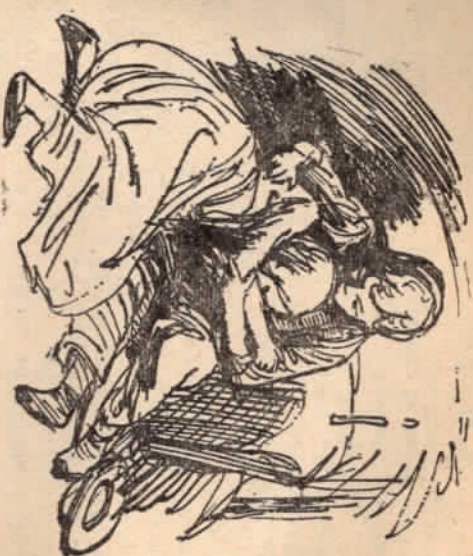
— Да, конечно, лучше вернуться. Пожалуй, это будет лучше.

— А ты найдешь дорогу, Том? Тут все так запутано, и ничего не помню.

— Дорогу-то я нашел бы, если б не летучие мыши. Как бы они не потушили нам обе свечки, тогда просто беда. Давай пойдем какой-нибудь другой дорогой, лишь бы не мимо них.

— Хорошо. Может быть, мы все-таки не забудем себе такую возможность.

Они свернули в какой-то коридор и долго шли по нему молча, заглядывая в каждый встречный переход, и



надежде — не покажется ли он знакомым; но все здесь было чужое. Каждый раз, как Том начинал осматривать новый ход, Беки не сводила с него глаз, ища утешения, и он говорил весело:

— Ничего, все в порядке. Это еще не тот, но скоро мы дойдем и до него!

Но с каждой новой неудачей Том все больше и больше падал духом и скоро начал повертываться куда попало, куда-то, в бессмысленной надежде найти ту галерею, которая была им нужна. Он по-прежнему твердил, что все в порядке, но страх свицовой тяжестью лег ему на сердце, и его голос звучал так, как будто говорил: «Все пропадает». Беки прижалась к Тому в смертельном страхе, изо всех сил стараясь удержать слезы, но они так и текли. Наконец она сказала:

— Пускай там летучие мыши, все-таки вернемся той дорогой! А так мы только хуже собьемся.

Том остановился.

— Прислушайся! — сказал он.

Глубокая тишина, такая мертвая тишина, что слышно было даже, как они дышат. Том крикнул. Эхо откликнулось, прокатилось по пустым коридорам и, замирая в отдалении, перешло в тихий гул, похожий на чей-то намеренный хохот.

— Ой, перестань, Том, уж очень страшно, — сказала Беки.

— Хоть и страшно, а надо кричать, Беки. Может, они нас услышат. — И он опять крикнул.

Это «может» было еще страшней, чем призванный хохот: оно говорило о том, что всякая надежда потеряна. Дети долго стояли, прислушиваясь, но никто им не ответил. После этого Том сразу повернул назад и прибавил шагу. Прошло очень немного времени, и по его нерешительной походке Беки поняла, что с ними случилось другая беда: он не мог найти дороги обратно!

— Ах, Том, почему ты не делаешь пометок! — Беки, я свалаю дурака! Такого дурака! Я и не подумала, что нам, может быть, придется вернуться. Нет, не могу найти дорогу. Совсем запутался.

— Том, Том, мы заблудились! Мы заблудились! Нам никогда не выворотиться из этой страшной пещеры! Ах, и зачем мы только отбились от других!

Она села на землю и так горько заплакала, что Том испугался, как бы она не умерла или не сошла с ума. Он сел рядом с ней и обнял ее; она спрятала лицо у него на груди, прижалась к нему, изливая свои страхи и беспомощные сожаления, а дальше эхо обрадowało ее слова и насмешливый хохот. Том уговаривал ее собраться с силами и не терять надежды, а она отвечала, что не может. Он стал упрекать и бранить себя за то, что довел ее до такой беды, и это помогло. Она сказала, что попробует собраться с силами, встанет и пойдет за ним куда угодно, лишь бы он перестал себя упрекать. Он виноват не больше, чем она.

И они опять пошли дальше — куда глаза глядят, просто наугад. Им больше ничего не оставалось делать, как только идти, идти не останавливаясь. Надежда снова ожила в них на короткое время — не потому, что было на что надеяться, но потому, что надежде свойственно оживать, пока человек еще молод и не привык к неудачам.

Скоро Том взял у Беки свечу и загасил ее. Таких бережливости значила очень много. Никаких обильных не попадались. Беки и так поняла, что это значит, и опять упала духом. Она знала, что у Тома в кармане есть еще целая свеча и три или четыре отарки, и все-таки нужно было беречь их.

Скоро дама себя знает усталость; дети не хотели ей поддаваться: им было страшно даже подумывать, как это они будут сидеть, когда надо дорожить каждой минутой; двигаться хоть куда-нибудь все-таки было лучше и можно привести к спасению, а сидеть — значило призывать к себе смерть и ускорять ее приход.

Наконец слабенькие ножки Беки отказались ей служить. Она села отдыхать. Том сел рядом с ней, и они стали вспоминать своих родных, друзей, удобные позы, а главное — свет! Беки заплакала, и Том старался придумать что-нибудь ей в утешенье, — но он столько раз повторял все это, что его слова уже не действовали и были похожи на насмешку. Беки так измучилась, что задремала и уснула. Том был и этому рад. Он сидел, глядя на ее осунувшееся личико, и видел, как от веселых снов оно становится спокойным, таким, как всегда. Скоро на ее губах заиграла улыбка. Мирное выражение ее лица немножко успокоило самого Тома и помогло ему собраться с духом — он стал думать о прошлом и весь ушел в смутные воспоминания. Он долго сидел, глубоко задумавшись, как вдруг Беки проснулась с тихим веселым смехом, но он тут же запер у нее на губах и сменился жалобным стоном.

— Как это я могла уснуть! Мне хотелось бы никогда, никогда не просыпаться! Нет, нет! Я больше не буду, Том! Не смотри на меня так! Я больше не буду так говорить!

— Я рад, что тебе удалось уснуть, Беки; теперь ты отдохнула, и мы с тобой найдем дорогу к выходу. — Попробуем, Том. Только я видела во сне такую прекрасную страну. Мне кажется, мы скоро там будем. — Может, будем, а может, и нет. Развеселись, Беки, и пойдем искать выход.

Они встали и пошли дальше, взявшись за руки и уже ни на что не надеясь. Они попробовали сообщить, сколько времени находятся в пещере, — им казалось, что целые недели. Однако этого не могло быть, потому что свечи у них еще не вышли. Прошло много времени — сколько именно, они не знали, — и Том сказал, что надо идти потихоньку и прислушиваясь, не слышит ли где вода, — им надо найти источник. Скоро они нашли источник, и Том сказал, что пора опять отходить. Оба они смертельно устали, однако Беки ска-

зада, что может пройти еще немножко даьше. Ес уан-
вино, что Том на это не согласился. Она не понимала
почему. Они сели, и Том гниной прилепила свечу к сто-
не. Оба они задумались и долог молчали. Потом Бекки
заговорила:

— Том, мне очень хочется есть!

Том достал что-то из кармана.

— Помнишь? — спросил он.

Бекки улыбнулась через силу.

— Это наш свадебный пирот, Том.

— Да, жалко, что он не с колесо величинной, ведь
больше у нас ничего нет.

— Я спрятаа его на пикнике, чтобы потом попо-
жить под подушку, как делают больные со свадебным
пиротом, но для нас это будет...

Она так и не договорила. Том раздала кусок попо-
лам, и Бекки с удовольствием съела свою долю, а Том
только отщипнул от своей. Холодной воды было сколь-
ко угодно — нашлаось, чем запить еду.

Через некоторое время Бекки предожидла идти
даьше. Том помочаа с минутой, потом сказаа:

— Бекки, ты можешь выслушать то, что я тебе скажу?

Бекки поблдедела, но сказаа, что может.

— Вот что, Бекки, нам надо остаться здесь, где есть
вода для питья. Этот огарок у нас последний.

Бекки даа волю слезам. Том утешал ее, как умеа,
но это плохо помогаа. Наконец Бекки сказаа:

— Том!

— Что ты, Бекки?

— Нас хватятся и будут искать!

— Да, конечно. Непременно будут.

— Может быть, они уже ищут нас, Том!

— Да, пожалуй, уже ищут. Хорошо бы, если там.

— Когда они хватятся нас, Том?

— Когда вернутся на пароход, я думаю.

— Том, тогда будет уже темно. Разве они заметят,
что нас нет?

— Не знаю. Во всяком случае, твоя мама хватител
тебя, как только все вернется домой.

По испуганному лицу Бекки Том понял, что саслаа
промах. Бекки не ждала домой в этот вечер. Дети при-
могли и задумались. Через минуту Бекки разрыда-
лась, и Том понял, что ей пришла в голову та же
200

идея, что и ему: пройдет все воскресное утро, прежде
чем миссис Татчер узнает, что Бекки не ночевала у
миссис Гарпер.

Дети не сводили глаз с крохотного огарка, ссела,
нав он медленно и безжалостно таял, как остался, на-
почке, только подлойма фитиль; как слабый огонек
то испыхивал, то угасал, пускаа тоненькую струйку
дыма, помедлиа секунду на верхушке, а потом воцари-
лась непроглядная тьма.

Сколько прошло времени, прежде чем Бекки заме-
тила, что плачет в объятиях Тома, ни один из них не
мог бы сказаа. Оба знали только, что очень долог
пробыли в сонном оцепенении, а потом снова очнулись
в полном отчаянье. Том сказаа, что сейчас, дождно
идти, уже воскресенье, а может быть, и понедельник.
Он старался воясь Бекки в разговор, но она была
кашном подавлена горем и ни на что больше не наде-
лась. Том сказаа, что теперь их, надо полагать, дав-
ным-давно хватились и начали искать. Он будет кри-
чать, и может быть, кто-нибудь придет на крик. Одна-
ко в темноте отдаленное эхо звучало так страшно, что
Том прикнуа один раз и замочаа.

Часы проходили за часами, и скоро голод снова на-
чал терзать палеников. У Тома оставался кусочек от
его доли пирога; они разделили его и съели. Но стали
еще голоднее — этот крохотный кусочек только раздраз-
нил аппетит.

Вдруг Том сказаа:

— Ш-ш! Ты слышала?

Оба прислушались, застав дышание. Они уловили
какой-то звук, похожий на слабый, отдаленный крик.
Том сейчас же отозвался и, схватив Бекки за руку,
испустил пустяка по коридору туда, откуда слышался
звук. Немного погодя он опять прислушался; опять
раздался тот же крик, как будто немного ближе.

— Это они! — сказаа Том. — Они идут! Скорей,
Бекки, теперь все будет хорошо!

Дети чуть с ума не сошли от радости. Однако спе-
шить было нельзя, потому что на каждом шагу попада-
лись нмы и надо было остерегаться. Скоро они дошли
до такой дымы, что им пришлось остановиться. Быть мо-
жет, и ней было три фута губыны, а быть может, и
ниа это, — во всяком случае, обойти ее было нельзя.



Том лег на живот и перегнулся вниз, насколько мог. Дна он не достал. Надо было оставаться здесь и ждать, пока за ними придут. Они прислушались. Отдаленные крики уходили как будто все дальше и дальше. Минута-другая, и они совсем смолкли. Просто сердце разрывалось от тоски! Том кричал, пока не охрип, но все было бесполезно. Он уговаривал и обнадёживал Беки, но прошел целый век тревожного ожидания, а криков больше не было слышно.

Дети ощупью нашли дорогу к источнику. Время тонуло без конца; они опять уснули и проснулись голые, удрученные горем. Том подумал, что теперь, наверно, уже вторник.

Вдруг его словно осенило. Поблизости было несколько боковых коридоров. Не лучше ли пойти на разведку, чем изнывать столько времени от безделья и тоски! Он достал из кармана бечевку от змеи, привязал ее к выступу скалы, и они с Беки тронулись в путь. Том

шел вперед, продвигаясь ощупью и разматывая веревку. Через двадцать шагов коридор кончился обрывом. Том стал на колени, протянул руку вниз, потом насколько мог давил за угол и только хотел протянуть ее еще немножко дальше вправо, как из-за скалы, все еще шатавшейся в двадцати, показалась чья-то рука со свечой! Том радостно закричал — как вдруг за этой рукой показалась и вся фигура... индейца Джо! Том остолбенел! он не мог двинуться с места. В следующую минуту он, к своему великому облегчению, увидел, что «испанец» бросился бежать и скрылся из виду. Том удивился, что индеец Джо не узнал его голоса и не убил его за показания в суде. Должно быть, эхо изменило его голос. Конечно, так оно и есть, расудил он. От страха он совсем ослаб и сказал себе, что, если у него хватит сил двинуться обратно до источника, он никогда больше не двинется, чтобы опять не наткнуться на индейца Джо. Он скрылся от Беки, что видел индейца, и сказал ей, что крикнул «на всякий случай».

Но голод и беда оказались в конце концов сильнее страха. После долгого утомительного ожидания у источника они снова уснули, и настроение у них изменилось. Дети проснулись оттого, что их мучил голод. Тому повезло, что наступила уже среда, а может быть, четверг или даже пятница, или даже суббота, и что их перестали искать. Он решил осмотреть еще один коридор. Он чувствовал, что не побойтся теперь ни индейца Джо, ни других опасностей. Но Беки очень ослабела. Тоска и уныние овладели девочкой, и ее ничем нельзя было расшевелить. Она говорила, что останется здесь и умрет, — ждать теперь уже недолго. Она позвала Тому идти с бечевкой осматривать коридоры, если он хочет; только просила почаще возвращаться и говорить с ней и, кроме того, заставила Тома обещать ей, что, когда настанет самое страшное, он не отойдет от нее ни на минуту и будет держать ее за руку до самого конца.

Том поговаривал Беки, чувствуя, что каубок подкашивает у него в гору, и уверил ее, будто надеется найти выход из пещеры и встретить тех, кто их ищет. Потом он взял бечевку в руку и пополз на четвереньках по одному из коридоров, едва живой от голода, с тойной предчувствия близкую гибель.

Наступил вторник, и день уже сменялся сумерками. Города Сент-Питерсберг все еще оплакивал пропавших детей. Они так и не нашлись. За них молились в церкви всем обществом, многие и дома воссылали горячие молитвы, вкладывая в них всю душу, но до сих пор из пещеры не было вестей. Многие из горожан бросили поиски и вернулись к своим обычным делам, говоря, что детей, видно, уж не найти. Миссис Тэтчер была очень больна и почти все время бредила. Говорили, что сердце разрывается слушать, как она зовет свою девочку, поднимает голову с подушки и подолгу прислушивается, а потом опускает ее со стоном. Тети Полаи впадала в глубокую тоску, и ее седующие волосы совсем побелели. Во вторник вечером городок отошел ко сну, горюя и ни на что не надеясь.

Вдруг среди ночи поднялся неистовый порывной ветер, и в одну минуту улицы переполнились ликующими полуодетыми людьми, которые вопили: «Выходите! Выходите! Они наши!» Они направились! Звонили в колокола, били в скородки, трубили в рожки, и весь город толпою повалил к реке, навстречу Тому и Бекки, которых горожане везли в открытой коляске; их окружили и торжественно проводили домой по главной улице с немолкающими криками «ура».

Города осветился огнями; никто больше не ложился спать: это была самая торжественная ночь в жизни горожан. В первые полчаса они один за другим входили в дом судьи Тэтчера, крепко обнимали спасенных и целовали их, пожимали руки миссис Тэтчер, пытались что-то сказать, но не могли — и уходили, роняя по дороге слезы.

Тети Полаи была совершенно счастлива, и миссис Тэтчер почти так же. Ей доставало только одного: чтобы гонец, посланный в пещеру, сообщил эту радостную новость ее мужу. Том лежал на диване, окруженный внимательными слушателями, и рассказывал им о своих удивительных приключениях, безбожно приукрашивая их самыми невероятными выдумками. Наконец он рассказал, как оставил Бекки и ушел отыскивать проход; как он прошел две галереи, насколько у него была



тенью бечевки; как он свернул в третью, наткнувшись бечевку до отказа, и хотел уже повернуть обратно, как далеко вперед блеснуло что-то похожее на дневной свет; он бросил бечевку и стал пробираться туда ползком, просунув голову и плечи наружу, и увидел, что вонючая Миссисипи катит перед ним свои волны! А если бы в это время была ночь, он не увидел бы этого проблеска дневного света и не пошел бы дальше по коридору. Он рассказал, как вернулся к Бекки и сообщил ей радостную новость, а она попросила, чтобы он не мучил ее такими пустяками, потому что у нее нет больше сил и она скоро умрет, и даже хочет умереть. Он рассказал, как уговаривал и убеждал ее и как она чуть не умерла от радости, добравшись до того места, откуда было видно голубое пыльное небо; как он выбрался из дыры и помог выбраться Бекки; как они сидели на берегу и плакали от радости; как мимо проезжали какие-то люди и в чужих и Том окликнул их и сказал, что они только что из пещеры и умирают с голоду. Ему сначала не поверили, сказали, что «пещера находится в пяти милях выше по реке», а потом взяли их в лодку, привели к какому-то дому, накормили их ужином, уложили отдыхать часа на два — на три, а после наступления темноты отвезли домой.

Перед рассветом судья Тэчера с горсточкой его помощников разбегаясь в пещере по бечевке, которая тинулась за ними, и сообщали им радостную новость.

Оказалось, что три дня и три ночи скитаний и голода в пещере не прошли для Тома и Бекки даром. Они пролежали в постели всю среду и четверг, чувствуя себя ужасно усталыми и разбитыми. Том встал ненадолго в четверг, побывав в пещищу в городе, а к субботе был уже почти совсем здоров. Зато Бекки не выходила из комнаты до воскресенья и выглядела так, как будто перенесла тяжёлую болезнь.

Том, узнав о болезни Гекки, зашел навестить его в пещищу, но в спешно его не пустили; в субботу и в воскресенье он тоже не мог к нему попасть. После этого его стали пускать к Гекке каждый день, но предостерегли, чтобы он не рассказывал о своих приключениях и ничем не волновал Гекку. Вдова Дуглас сама оставалась в комнате, следя за тем, чтобы Том не проговорился. Дома он узнал о событиях на Кардифской горе, а также о том, что тело «борванца» в конце концов выловили из реки около перевоза; должно быть, он утонул, спасаясь бегством.

Неделю через две после выхода из пещеры Том пошел повидаться с Гекком, который теперь набрался сил и мог высказывать волнующие новости, а Том думал, что его новости будут интересны Гекке. По дороге он зашел к судье Тэчеру навестить Бекки. Судья и его знакомые завели разговор с Томом, и кто-то спросил его в шутку, не собирается ли он опять в пещеру. Том ответил, что он был бы не прочь. Судья на это сказал: — Ну что же, я насколько не сомневался, что ты не один такой, Том. Но мы приняли свои меры. Больше никто не заблудится в этой пещере.

— Почему?

— Потому что еще недали назад я велел охватить большую дверь листовым железом и запереть ее на три замка, а ключи у меня.

Том победил, как простыня.

— Что с тобой, мальчик? Скорее, кто-нибудь! Принесите стакан воды!

Воду принесли и брызнули Тому в лицо.

— Ну вот, наконец ты пришел в себя. Что с тобой, Том?

— Мистер Тэчер, там, в пещере, индейцы Джо!

ГЛАВА XXXIII

Через несколько минут эта весть облетела весь город, и около десятка переполненных лодок было уже на пути к пещере Мак-Дугласа, а вскоре за ними опирались и паромы, битком набитый пассажирами. Том Совер сидел в одной лодке с судьей Тэчером.

Когда дверь в пещеру открыли, в сумраке сумраке людям всех представилось печальное зрелище. Индейцы Джо лежал мертвый на земле, приняв лицом к дверной щели, словно до последней минуты не мог оторвать своих тоскующих глаз от светлого и радостного мира там, на воле. Том был тронут, так как знал по собственному опыту, что перенес этот несчастный. В нем зачervenело обаяние, но все же он испытывал огромное негодование, насколько угнетал его страх с того самого дня, когда он отважился выступить на суде против кровавого метиса.

Охотничий нож индейца Джо лежал рядом с ним, каменный поплавок. Тяжелый нижний брус двери был не только переломлен и разрезан, что стоило индейцу немалых трудов. Однако этот труд пропал даром, потому что снаружи скала образовала порог, и с неподатливым камнем индейцы Джо ничего не мог поделать; нож саоманного порога, этот труд пропал даром, потому что индейцы Джо все равно не мог бы протиснуться под дверь, даже вырезав нижний брус. И он это знал: он рубил брус только для того, чтобы сделать что-нибудь, чтобы как-нибудь скоротать время и занять чем-нибудь свой замученный ум. Обычно в расщелинах стен можно было найти с десяток огарков, оставленных туристами; кроме того, он ухитрился поймать несколько летучих мышей и тоже съел их, оставив один когти. Несчастный умер голодной смертью. Поблизости от входа поднимаясь над землей статуи, выросший в течение ве-

ков из капель воды, которые падали с висевшего над ним сталактита. Уэник отломил верхушку сталактита и на него положил камень, выдолбив в этом камне небольшую ямку, чтобы собирать драгоценные капли, падавшие через каждые три минуты с тоскановой меренностью майтника — по десертной ложке каждые двадцать четыре часа. Эта капля падала, когда строндись пирамиды, когда разрушали Трою, когда основывали Рим, когда распинали Христа, когда Вильгельм Завоеватель создавал Великобританию, когда битва при Азенкурте была свежей новостью. Она падает и теперь, и будет падать, когда все это станет вчерашним днем истории, уйдет в сумерки прошлого, а там и в непроглядную ночь забвения. Неужели все на свете имеет свою цену и свое назначение? Неужели эта капля терпеливо падала в течение пяти тысяч лет только для того, чтобы эта человеческая букашка утолила свою жажду? И не придется ли ей выплодиться еще какое-нибудь важное назначение, когда пройдет еще десять тысяч лет? Не все ли равно. Много, много лет прошло с тех пор, как заповоучный метис выдолбил камень, чтобы собирать в него драгоценную влагу, но и до сих пор туристы, приходя любоваться чудесами пещеры Мак-Дугада, боьше всего смотрят на этот тропательный камень и на эту медленно набухающую каплю. Чаша индейца Джо стоит первой в списке чудес пещеры: даже «Дворец Аладдина» не может с ней сравниться.

Индейца Джо зарыли у входа в пещеру; люди съезжались на похороны в лодках и в повозках — из городов, поселков и с ферм на семь миль в окружности; они привезли с собой детей и всякую провизию и горюхи потом, что похороны доставили им такое же удовольствие, как если бы они видели саму каплю. Эти похороны приоткрыли дальнейший ход одного дейца Джо. Прощение соборало очень много подлишек, состоялось много митингов, лились слезы и расточались красноречие, избран был целый комитет слезливых дам, которые должны были обдаться в траур и идти плакать к губернатору, умоляя его забыть свой долг и показать себя милосердным ослом. Говорили, что ин-

деец Джо убил пятерых жителей городка, но что же на этого? Если бы он был сам сатана, то и тогда на-шлось бы довольно саомтишек, готовых подписать проше-ние о помиловании и слезно просить об этом губернато-ра, бабю гада у них на мокром месте.

На другой день после похорон Том повел Гека в укромное место, чтобы поговорить с ним о важном де-ле. Гек уже знал о приключении Тома и от вадийца и вадийца Дуэлас, но Том сказал, что Гек не все от них слышал, одного он еще не знает, вот об этом одном он и надо поговорить. Лицо Гека омрачилось. Он всматривался:

— Я знаю о чем. Ты побывал в номере втором и не нашел ничего, кроме виски. Никто мне не говорил, но я понял, что это ты, когда услышал насчет виски; я так и знал, что денег ты не нашел, а то дад бы как-нибудь знать мне, хоть и не сказал никому другому. Том, мне всегда так думалось, что нам с тобой этих денег не выдать.

— Да что ты, Гек, я вовсе не доносил на хозяйина трактира. Ты сам знаешь, он еще был открыт в суббо-ту, когда мы поехали на пикник. Как же ты не пом-нишь, что была твоя очередь стеречь в ту ночь?

— Ах да! Право, кажется, целый год прошел с тех пор. Это было в ту самую ночь, когда я выселел ин-дейца Джо и шел за ним до самого дома вдовы.

— Так это ты его выселил?

— Да, только ты помалкивай. У индейца Джо, на-перво, остались приятели, — очень надо, чтобы они на-шлись, обозначились и стронли мне пакости! Если б не я, он бы, наверно, был уже в Техасе.

После этого Гек по секрету рассказал все, что с ним случилось, Тому, который слышал от вадийца только прощину.

— Так вот, — сказал Гек, опять возвращаясь к глав-ному предмету, — кто унес боценок виски из второго номера — унес и деньги: во всяком случае, дад нас они принади, Том!

— Гек, эти деньги и не бывали в номере втором! — Как так? — И Гекльберри зорко посмотрел в глаза товарищу. — Том, уж не напад ли ты опять на-зад этих денег?

— Гек, они в пещерел
у Гека загорелись глаза.

— Повтори, что ты сказал, Том!

— Денюги в пещерел!

— Том, честное индейское? Ты это шутишь или
запугиваешь?

— Запугиваю, Гек; такой правды я еще никому
не говорил. Хочешь пойти туда со мной, помошь мне
достать денюги?

— Еще бы не хотелось! Только чтобы можно было
туда добраться по меткам, а то как бы нам не заблудиться.

— Гек, нам это никакого труда не будет стоить.

— Вот здорово! А почему ты думаешь, что денюг
— Подожди, дай только нам добраться до места! Если
мы их не найдем, я тебе отдам свой барабан, все
отдам, что у меня только есть. Отдам, ей-богу!

— Ну ладно, по рукам. А когда ты думаешь?

— Да хоть сейчас, если хочешь? Сиди у тебя хвостит?

— А это далеко от входа? Я уже дня три или четыре
на ногах, хожу по немножку, только больше одной
мили мне не пройти, куда там!

— Если идти, как все ходят, то миаль пити
а я знаю другую дорогу, короче, там никто не ходит.
Гек, я тебя свезу в ченоке. Буду сам гребсти и туда
и обратно. Тебе даже пальцем шевельнуть не придется.
— Давай сейчас и поедем!

— Хорошо. Возьмем хлеба с мясом, трубки, дватри
мешка, каубок бечевки для змеи да немножко этих
новых штушек, которые называются серными спичками.
Эгзеш, я не раз пожалел, что их со мной не было.
Сразу же после полудня мальчики позанимались
ченоком у одного горожанина, которого не было дома,
и отправились в путь. Когда они отплыли на несколько
миль от входа в пещеру, Том сказал:

— Видишь этот обрыв, он весь одинаковый — от
входа в пещеру до этого места ни домов, ни лесных
складов, и кусты везде одинаковые. А видишь белое
пятно вон там, где оползень? Это и есть мой примет.
Теперь мы пристанем к берегу.

Они высадились.



— Ну, Гек, с того места, где ты стоишь, можно
легко достать до входа. А попробуй-ка разыскать
его.

Гек обыскал все кругом, но так и не нашел входа.
Том с гордостью вошел в густые кусты сумаха и ска-
зал:

— Вот он! Погляди, Гек, такой удобной лазейки
нигде больше не найти. Ты только помалкивай. Я ведь
давно собирался в разбойники, да все не было подхо-
дящего места, и где его искать — тоже неизвестно.
А теперь, раз оно нашлось, мы никому не скажем.
Только Джо Гарперу и Бену Роджерсу — надо же,
чтобы была шайка, а то какая же это игра! Шайка То-
ма Сонера — здорово получается, правда, Гек?

— Да, ничего себе, Том. А кого же мы будем грабить?

— Ну, мало ли кого! Устроим засаду — так уж всегда делается.

— И убивать тоже будем?

— Ну нет, не всегда. Будем держать пленников в пещере, пока не заплатят выкупа.

— А что это такое — выкуп?

— Девчуги. Заставляешь их заниматься, сколько можно, у знакомых; ну, а если они и через год не заплатят, тогда убиваешь. Все так делают. Только женщины не убивают. Женщин держат в плену, а убивать не убивают. Они всегда красивы, богатые и ужасно всего боятся. Отбираешь у них часы, вещи, — только разговаривать надо вежливо и снимать шляпу. Вечером все разбойников вообще никого на свете нет, это ты влюбой книжке прочтешь. Ну, женщины в тебе сразу влюбляются, а когда поживут в пещере недельку-другую, то перестают пакать, и вообще их оттуда уж не выживешь. Если их выгнать, они повернутся, повертятся и опять придут обратно. Во всех книгах так.

— Вот здорово, Том. Я думаю, это куда лучше чем быть пиратом.

— Да, еще бы не лучше! И к дому ближе, и шире в двух шагах, да мало ли что еще.

Теперь все было готово, и мальчики поехали в пещеру. Том полз вперед. Он кое-как добрался до конца прохода, закрепил конец бечевки и двинулся дальше. Нескоро шаг — и они были у источника. Том почувствовал, как его с ног до головы охватила дрожь. Он показал Геку остаток фитиля, припавший к кончику гильзы у самой стены, и описал ему, как они вместе с Бекки съездили за вспыхивающим и гаснущим пламенем свечи.

Теперь мальчики начали говорить шепотом, потому что тишина и мрак пещеры угнетали их. Они шли все дальше, пока не дошли до второго коридора, а там и до провала. При свечах стало видно, что никакого провала тут нет, а есть глянцевый обрыв фута в двадцать или тридцать высотой. Том прошептал:

— Теперь я тебе покажу одну штуку, Гек.

Он поднял выше свечку и сказал:

— Постарайся заглянуть подальше за угол. Видишь? Вон там, на большом камне, — копытю от енота.

— Так это же крест!

— А где у тебя номер второй? Под крестом, так? Как раз тут я видел индейца Джо со свечой!

Гек долго смотрел на таинственный знак, потом сбежал дрожавшим голосом:

— Том, лучше уйдем отсюда!

— Как же! А куда бросить, что ли?

— Да, бросить. Дух индейца Джо, наверно, где-нибудь поблизости.

— Нет, не здесь, Гек, вовсе не здесь. Он там, где умер индеец Джо, у входа в пещеру, за пять миль отсюда.

— Ничего подобного. Он где-нибудь тут, бродит около денег. Уж мне ли не знать все повадки духов, да и тебе они тоже известны.

Том начал опасаться, что Гек прав. Предчувствие нехорошего томило его душу. Но вдруг ему в голову пришла одна мысль.

— Послушай, Гек, какие же мы с тобой дураки! Да разве дух индейца явится туда, где крест?

Довод был основательный. Он убедил Гек.

— Том, а я и не подумал. Это верно. Нам с тобой показалось, что здесь крест. Теперь, я думаю, мы спустимся и поищем сундук.

Том спускался первым, по дорожке наскоро вырубая в гниле ступеньки. Гек за ним. Четыре хода открывали из маленькой пещеры, где лежал большой камень. Мальчики осмотрели три хода, но ничего не нашли. Они увидели неглубокую впадину в том ходе, который был ближе к основанию камня, а в ней разостланные на нем одеяла, старую подтяжку, синюю кожу, дочиненные обглоданные кости двух-трех кур. Но сундука там не было. Они искали и искали без конца, и все зря. Том сказал:

— Говорил же он, что под крестом. А это всего ближе к кресту. Под самым камнем быть не может, потому что он сидит глубоко в земле.

Они обыскали все еще раз, а потом устали и сели отдыхать. Гек не мог ничего придумать. И вдруг Том сказал:

— Послушай, Гек, с одной стороны камни есть сады и земля закана свечным саом, а с трех сторон ничего нету. Как ты думаешь, почему? По-моему, денбги под камнем. Сейчас начну копать гину.

— Это ты неплохо придума, Том,— сказал Гек, оживаясь.

Том пустиа в ход настоящий ножик фирмы Барлоу и, уйдя на какие-нибудь четыре дюйма в глубину, начался на дерево.

— Что, Гек, слышишь?

Гек тоже начал рыть и выгребать руками землю. Скоро показались доски, они их вынули. Там оказались расселниа, уходящая под камень. Том влез туда и про-сунул свечку как можно дальше, но конца расселнии все же увидеть не мог. Он сказаа, что пойдет посмотреть. Натувшись, он поав под камень; узкий ход шел под уклон. Том свернула сначала направо, потом налево, Гек следовал за ним по патам. Пройдя еще один короткий поворот, Том воскликнул:

— Боже ты мой, Гек, погляди сюда!

Перед ними была тот самый сундук с денбгами, он стояа в уютной маендской пещерке; там же была пустой боцонк из-под пороха, два ружья в кожаных чехлах, две или три пары старых мокасин, кожаный ремень и всякий другой хаа, намокший в воде, который канаа со стен.

— Наконец-то добрались!— сказаа Гек, роясь в куче потемневших монет.— Мы с тобой теперь богачи, Том!

— Гек, я всегда думал, что эти денбги нам достанутся. Не верится даже, но ведь достались же! Вот что, копаться тут нечего, давай вылезать. Ну-ка, дай посмотреть, смогу ли я поднять сундушок.

Сундук весаа фунтов пятьдесят. Поднять его Том поднял, но нести было очень тяжело и неудобно.

— Так я и думал,— сказаа он.— Видно было, что им тяжело, когда они выносили сундук из дома с привидениями. Я это заметил. Хорошо еще, что я не дабы захватить с собой мешки.

Скоро денбги были пересыпаны в мешки, и мальчики потащили их к камню под крестом.

— Давай захватим и ружья, и все оставшее,— сказал Гек.



— Нет, Гек, оставим их здесь. Все это нам понадобится, когда мы уйдем в разбойники. Вещи мы будем арывать здесь и ортин тоже здесь будем устранивать. Ааа ортин тут самое подходящее место.

— А что это такое «ортин»?

— Я почем знаю. Только у разбойников всегда бывают ортин, значит, и нам тоже надо. Ну, пошла, Гек, мы здесь без конца сидим.

— Должно быть, уже поздно. И есть тоже хочется, Дюберемся до лодки, тогда поспим и покурим.

Скоро они вышли на волю в зарослях сумаха, осторожно огляделись по сторонам, увидели, что никого нет, и уселись в лодке курить и закусьивать. Когда солнце начало склоняться к западу, они оттокнувшись от берега и поплыли обратно. Том грёб, держась около берега все время, пока длились летние сумерки, и в конце boats с Гексом, а как только стемнело, причалила к берегу.

— Вот что, Гек,— сказал Том,— мы спрячем дельфин на сеновале у вдовы, а утром я приду, и мы их сосчитаем и поделаем, а там найдем в лесу местечко, где их никто не тронет. Ты посиди тут, постереги, пока я соберу и возьму потихоньку тележку Бенни Тайлора и в одну минуту обернусь.

Он исчез и скоро вернулся с тележкой, уложив в нее два мешка, прикрыл сверху старыми тряпками и тронулся в путь, таща за собой тележку. Порававшись с домом валанжица, мальчики остановились отдохнуть. Только они хотели двинуться дальше, как старик вышел на крыльцо и окликнул их:

— Эй, кто там?

— Гек Финн и Том Сойер!

— Вот это хорошо! Идем со мной, мальчики, все только вас и ждут. Ну, скорей, идите вперед, а я потащу вашу тележку. Однако тяжесть порядочная. Что у вас тут? Кирпичи или железный дом?

— Железный дом.

— Так я и думал. В нашем городе все мальчишки готовы собирать, не жалея сил, железный дом, за который им дадут какие-нибудь гроши на заводе, а понастоящему работать не хотят, даже если дать вдвое больше. Так уж человек устроен. Ну, живей, поторопивайтесь!

Мальчикам захотелось узнать, для чего надо торговаться.

— Не беспокойтесь, скоро узнаете, вот только придем к дому вдовы Дуглас.

Гек сказал не без опаски (он давно привык к вдовой напастине):

— Мистер Джонс, мы ничего такого не делаем. Валанец засмеялся:

— Уж не знаю, Гек, мой мальчик. Ничего не знаю. Равно вдова к тебе плохо относится?

— Нет. Она ко мне относится хорошо, это верно.

— Ну, так в чем же дело? Что тебе боится?

Гек еще не успел решить этого вопроса, ум у него внезапно работал, как его втокнули вместе с Томом в гостиную вдовы Дуглас. Мистер Джонс оставил тележку у крыльца и вошел вслед за ними.

Гостиная была великолепно освещена, и в ней собралось все, кто только имел какой-нибудь вес в городке. Тетерки были здесь, Гарперы, Роджерсы, тети Полли, Сид, Мари, пастор, редактор местной газеты и еще много народа, все разодетые по-праздничному. Вдова встретила мальчиков так ласково, как только можно было встретить гостей, явившихся в таком виде, они с ног до головы были выпачканы в галине и запачканы свечным салом. Тети Полли вся покраснела от стыда и, грозно нахмурившись, покачала головой. И все же мальчики чувствовали себя куда хуже остальных гостей. Мистер Джонс сказал:

— Том еще не заходил домой, я уже было думал, что не найду его, как вдруг встретился с ними у моих дверей и сейчас же привел их сюда.

— И отлично сделали,— сказала вдова.— Идемте со мной, дети.

Она повела их в спальню и сказала:

— Теперь умойтесь и переодевайтесь. Вот вам два новых костюма, рубашки, носки,— все, что нужно. Это костюмы Гека. Нет, не благодарите, Гек, мистер Джонс купил один, а я другой. Но они вам обоим годятся. Переоденьтесь. Мы вас подождем, а вы приведите себя в порядок и приходите вниз.

И она ушла.

ГЛАВА XXXIV

Гек сказал:

— Том, можно ударить через окно, если найдется вилка. Окно не очень высоко от земли.

— Гупости, для чего это нам удирать?

— Да ведь я не привык к такой компании. Мне ни за что не выдержат. Я вниз не пойду, так и знай.



— Да будет тебе! Вот еще пустяки. Я же не боюсь ни капелек. И ты не бойся, ведь я с тобой буду.

Появился Сид.

— Том, — сказал он, — тети весь день тебя дожидась. Мари приготовила твой воскресный костюм и вывела тебя беспокондась. Послушайте, что это у вас все пацать в галине и закатано свечкой?

— Вот что, сударь, не десь не в свое дело. Ты лучше скажи, что это у вас тут затевается?

— Просто вечеринка у вдовы, как обыкновенно. Сегодня — в честь вальмица с сыновьями, за то, что они ее спасли тогда ночью. А если хочешь, я тебе могу кое-что рассказать.

— Ну, что?

— Вот что: мистер Джонс собирается нынче вечером удивить всю публику, а я слышал, как он рассказывал по секрету тете Полин, да теперь это уж не секрет. Все давно знают, и вдова тоже, хоть и делает вид, будто ей ничего не известно. Оттого и мистер Джонс непременно хотел, чтобы Гек был тут, без Гека у него ничего не выйдет, понимаешь?

— Какой секрет, насчет чего?

— Насчет Гека, что это он выслеждал бандитов. Ми

стер Джонс воображает, будто удивит всех своим сюрпризом, а по-моему, никто даже и не почешется.

Сид радостно захихикал.

— Сид, это ты всем сказал?

— А тебе не все равно кто? Знают — и ладно.

— Сид, только один человек во всем городе способен на такую гадость — это ты. Если бы ты был на месте Гека, ты бы живо скатился с горы и никому да не позволил про бандитов. Только и можешь деять гадости, а ведь не любишь, когда других хвалят за что-нибудь хорошее. Вот, подучай и не благодарить, не надо.

И Том, оттащав Сиду за уши, пинками выпроводил его за дверь.

— Ступай, жаупись тете Полин, если хватит храбрости, тогда завтра еще получишь.

Через несколько минут гости вдовы сидели за столом и ужинали, а для детей были поставлены маленькие столики у стены, по обычаю тех мест и того времени. Настала пора, и мистер Джонс в коротенькой речи поблагодарил вдову за честь, которую она оказала ему и его сыновьям, и объявила торжественно, что есть один человек, чья скромность...

И так далее, и тому подобное. Он раскрыл тайну об участии Гека в событиях с присутствием ему драматическим мастерством, однако впечатление он произвел далеко не такое сильное, как могло бы быть при другом, более счастливых, обстоятельствах. Тем не менее вдова очень естественно изобразила изумление и благодарность Геку столько ласковых слов и так хвалила и благодарила его, что он и думать забыл про нестерпимые мучения от нового костюма, потому что вытерпеть больше внимание и похвалы было уже совсем невозможно.

Вдова сказала, что хочет взять Гека на воспитание, и когда найдутся на это деньги, она поможет ему завести какое-нибудь свое дело. Тут пришла очередь Тома. Он сказал:

— Гек в деньгах не нуждается. Он и сам богат. Только памятуя о том, как подается вести себя в обществе, гости смогли удержаться от пошлостивости и дружного смеха при этой остроумной шутке. Но

молчание вышло довольно неловкое. Том первый нарушил его.

— У Гека есть деньги. Вы, может, не поверите, но денег у него много. И смеяться нечего, могу вам показать. Походите минутку.

Том выбежал за дверь. Все гости растерянно и с любопытством поглядывали друг на друга и вопрошали на Гека, у которого язык разом отнялся.

— Сид, что такое с Томом? — спросила тетя Полли. — Он... хотя от него просто не знаешь, чего и ждать.

Никогда с этим мальчишкой... Тут вошел Том, стибаясь в три погибели под тяжестью мешков, и тетя Полли так и не закончила фразы. Том высыпал всю грудку золотых монет на стол со словами:

— Ну вот, что я вам говорил?! Одна половинка Гека, а другая половинка мой!

От такой картины у всех гостей захватило дыхание. Они уставились на золото и с минуту не могли выговорить ни слова. Потом все разом потребовали объяснения. Том сказал, что сейчас все объяснит. Рассказ был долгий, но очень интересный. Все слушали как зачарованные, не смея вставить ни слова. Когда рассказ был окончен, мистер Джонс сказал:

— А я-то думал, что приговорила отанчивый сюрприз для вас всех, но теперь он ничего не стоит. Должен сознаться, что по сравнению с этим мой сюрприз — сухие пустяки.

Начали считать деньги. Оказалось, что их немного больше двенадцати тысяч долларов. Никому из присутствующих еще не приходилось видеть такой кучи денег сразу, хотя у некоторых гостей были капиталы и побольше этого.

ГЛАВА XXXV

Читатель может быть уверен, что находка Тома и Гека вызвала сильное брожение умов в захудалом городишке Сент-Питерсберге. Такая большая сумма, да еще наличными, — просто невероятна! О ней говорили без конца, закидывая, восторгались, многие горожане даже поспрашивали в раскудке, не выдержав недолгого

молчания. В городе и окрестных посадах разобрали доску за доской все дома, где было «нечисто», вплоть до фундамента, и даже земля под ними была вся изрыта в поисках клада — и не то что мальчишками, а полами-табачниками, солидными людьми, далеко не мечтателями. Куда бы ни пошли Том с Геком, за ними везде ухаживали, восхищались ими, гонимыми на них. Мальчишки не могли припомнить, чтобы раньше хоть кто-нибудь прилащивался к тому, что они говорят, а теперь люди подлащивали и повторяли за ними каждое слово; что бы они ни сделали, все выходило у них замечательно; они, видно, утратили способность действовать и говорить, как обыкновенные смертные: мало того, раскопав их прошлое — и даже там оказались налицо все признаки оригинальности и таланта. Городская газета напечатала их биографию.

Вдова Дукас положила деньги Гека в банк, а судья Тэтчер по просьбе тети Полли следил то же самое для Тома. У каждого из мальчиков был теперь просто громадный доход — по доллару каждый день, а в воскресенье поддольдара. Столько, сколько получало пастору, вернее, сколько ему обещали, ибо собрать такую сумму он не мог. Времена тогда были простые — за доллар и четверть в неделю мальчик мог иметь стол и квартиру, мог учиться, одеваться да еще стричься и мыться за те же деньги.

Судья Тэтчер возмел самое высокое мнение о Томе и Софере. Он говорил, что обыкновенный мальчик не вынес бы его дочь из пещеры. Когда Бекки рассказала ему по секрету, что в школе Том выдержал ради нее пиршу, судья был заметно тронут; а когда она стала заступаться за Тома и извинять дождь, придуманную Тоном, для того чтобы розги достались ему, а не Бекки, судья сказал с большим чувством, что это была великодушная, благородная, святая ложь, достойная стать наравне с хваленой правдой Георга Вашингтона насчет пиорика и шагать по страницам истории рядом с ней! Бекки подумала, что никогда еще ее папа не казался таким важным и внушительным, как в тот день, когда сказала эти слова, расхаживая по ковру, и топнула ногой. Она сейчас же побежала к Тому и рассказала ему

Судья Тетчер надеялся когда-нибудь увидеть Тома великим законодателем или великим полководцем. Он говорил, что приложит все усилия, чтобы Том попал в Национальную военную академию, а потом изучал бы юридические науки в лучшем учебном заведении страны и таким образом подготовился к той или другой профессии, а может быть, и к обоим сразу.

Богатство Гекса Финна, а может быть, и то, что он теперь находился под опекой вдовы Дуглас, ввел его — нет, втащило его, — в общество, и Гек терпел невыносимые муки. Прислуга вдовы одевала его и умывала, причисывала и приглаживала, укладывала спать на отвратительно чистые простыни, без единого пятнышка, которое он мог бы прижать к сердцу, как старого друга. Надо было есть с тарелки, пользоваться ножом и вилок, утираться салфеткой, пить из чашки; надо было учиться по книжке уроку, ходить в церковь; надо было разговаривать так вежливо, что он потерял всякий вкус к разговорам; куда ни поворачивался — везде решетки и канделябры цивилизации лишили его свободы и сковывали по рукам и по ногам.

Три недели он мужественно терпел все эти неудобства, а потом в один прекрасный день бежал. Сильно истрепавшись, вдова двое суток разыскивала его повсюду. Все приняли участие в поисках; Гек искал решительно везде, даже закидывал сети в реку, думая выловить мертвое тело. На третий день рано утром Том Соуер догадался заглянуть в пустые бочки за стороной бойней и в одной из них нашел беглеца. Гек тут и почесал; он уже успел стинуть кое-что из съестного и позавтракать, а теперь лежал, развалился и покуривал трубку. Он был немыт, нечесан и одет в те самые лохмотья, которые придавали ему такой живописный вид в доброе старое время, когда он был свободен и счастлив. Том вытащил его из бочки, рассказал, как он всем надевал хлопот и потребовал, чтобы он вернулся домой. Лицо Гекса из спокойного и довольного сразу стало мрачным. Он сказал:

— И не говори, Том. Я уже пробовал, да не вышло, ничего не выходит. Том. Все это мне ни к чему, да и не привык я. Вдова добрая, не обижает меня, только порядки ее не по мне. Велит вставать каждое утро в одно и то же время, велит умываться, сама приче-

сывает, просто все волосы выдрада; в дровяном сарае спать не позволяет; да еще надевай этот чертов костюм, а в нем просто задохнешься, воздух как будто совсем сквозь него не проходит; и такой он, прах его небери, чистый, что ни тебе асфальта, ни тебе сестры, ни по мне не повадился; а с погребом я не скатывался лет сто! Да еще в церковь ходи, потей там, — а я эти проповеди терпеть не могу! Мух не лови, не разговаривай, да еще бумажки носи, не снимая, все воскресенье. Обедает вдовка по закону, спать ложится по звонку, встает по звонку — все у нее по порядку, где же человеку это вытерпеть!

— Да ведь и у всех то же самое, Гек!

— Том, мне до этого дела нет. Я не все, мне этого не стерпеть. Просто как веревками связан. И еда уж очень легко достается — этак и есть совсем не интересно. Рыбу ловить — спрашивайся, купаться — спрашивайся, куда ни понадобится — везде спрашивайся, черт из дери. А уж ругаться ни-ни, так что даже и разговаривать неохота — приходится лаять на чердак, там погонять душу, а то просто хоть помирай. Курить вдовка не позволяет, орать не позволяет, зевать тоже, ни тебе потянуться, ни тебе почесаться, особенно при го-стях (тут он выругался с особым чувством и досадой)... и все время моантсся, прах ее побери! Я таких еще не видал! Только и знай хлопочи да заботься, хлопочи да заботься! Этак и жить вовсе не захочешь! Пришлось ударить, Том, ничего не поделаешь! А тут еще школа скоро откроется, мне бы еще и туда пришлось ходить, — ну, я и не стерплю. Знаешь, Том, ниче-го хорошего в этом богатстве нет, напрасно мы так ду-маем. А вот эта одежда как раз по мне, и бочка тоже по мне, теперь я с ними ни за что не расстаюсь. Том, я бы не впадался в такую историю, если бы не деньги, так что возьми-ка ты мою долю себе, а мне выдавай пинтон по десять, только не часто, я не люблю, когда мне деньги даром достаются, а еще ты как-нибудь уговари вдову, чтобы она на меня не сердилась.

— Знаешь, Гек, я никак не могу. Нехорошо получается. А ты попробуй, потерпи еще немножко, может, тебе даже понравится.

— Понравится! Да, попробуй, последи-ка немножко на торжесей планте, — может, тебе тоже понравится. Нет,

Том, не хочу я больше этого богатства, не хочу больше жить в этих проклятых душных домах. Мне нравятся в лесу, на реке, и тут, в бочке,— тут я и останусь. Ну их к черту! И надо же, чтобы как раз теперь, когда у нас есть и ружья, и пещера и мы уж совсем собрались в разбойники, вдруг подвернулась такая чепуха и все испортила!

Том воспользовался удобным случаем.

— Слушай, Гек, хоть я и разбогатею, а все равно уйду в разбойники.

— Да что ты! Ох, провалиться мне, а ты это перно говоришь, Том?

— Так же верно, как то, что я тут сижу. Только знаешь ли, Гек, мы не сможем принять тебя в шайку, если ты будешь плохо одет.

Радость Гек померкла.

— Как так не можете? А в пираты как же вы меня приняли?

— Ну, это совсем другое дело. Разбойники вообще считаются куда выше пиратов. Они почти во всех странах бывают самого знатного рода— герцоги там, ну и мало ли кто.

— Том, ведь ты всегда со мной дружил. Что же ты, совсем меня не примешь? Примешь ведь, скажи, Том?

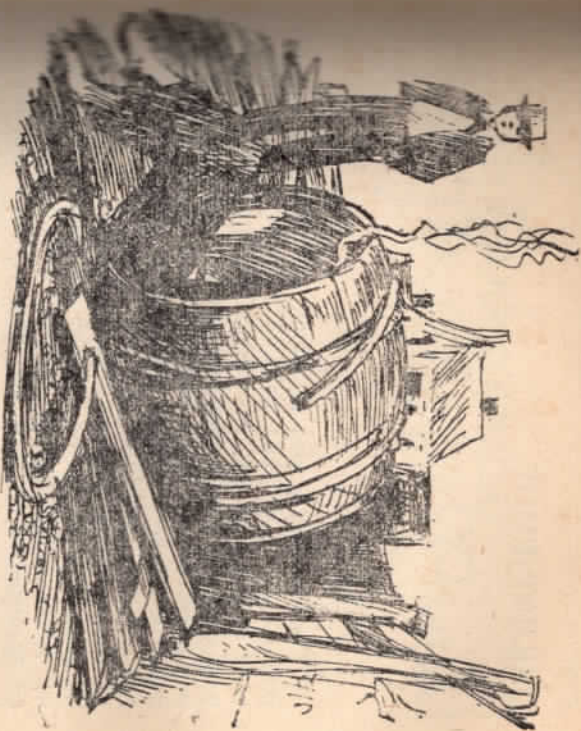
— Гек, я бы тебя принял, непременно принял, но что люди скажут! Скажут: «Ну уж и шайка у Тома Сойера! Одина равны!» Это про тебя, Гек. Тебе самому будет неприятно, и мне тоже.

Гек долго молчал, раздираемый внутренней борьбой. Наконец он сказал:

— Ну ладно, поживу у вдовы еще месяц, попробую; может, как-нибудь и вытерплю, если вы примете меня в шайку, Том.

— Вот хорошо, Гек! Вот это я понимаю! Пойдем, старик, я попрошу, чтобы вдова тебя поменьше тревожила.

— Нет, ей-богу, попросишь? Вот это здорово! Если она не так будет приставать со своими порядками, и не курить буду потихоньку, и ругаться тоже, и хоть тресну, а вытерплю. А когда же ты соберешь шайку и уйдешь в разбойники?



— Да сейчас же. Может, нынче вечером соберемся в котроном посвящение.

— Что это устроим?

— Посвящение.

— А что это такое?

— Это когда все кланутся помогать друг другу и не выдавать секретов шайки, даже если тебя изрубят в пух; а если кто тронет кого-нибудь из нашей шайки, того убивать, и всех его родных тоже.

Вот это повеселимся так повеселимся!

— Еще бы! И клятву приносят ровно в полночь; и надо, чтобы место было самое страшное и безлюдное— лучше всего в таком доме, где «нечисто», только на теперь все срыли.

— Ну хоть в полночь, и то хорошо, Том.

— Еще бы не хорошо! И клятву надо принести на троном и подписывать своей кровью.

— Вот это дело! В миалон раз лучше, чем быть пиратом! Хоть слоухну, да буду жить у вдовы, Том; а если из меня выйдет заправский, настоящий разбойник и пойдут об этом разговоры, я думаю, она и сама будет рада, что взяла меня к себе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Так кончается эта хроника. И поскольку это история мальчика, она должна остановиться на этом, а если ее продолжать, она станет историей взрослого человека. Когда пишешь роман о взрослых, то никогда неизвестно, где надо поставить точку, — на свидетелю, когда пишешь о детях, приходится ставить точку там, где это всего удобнее.

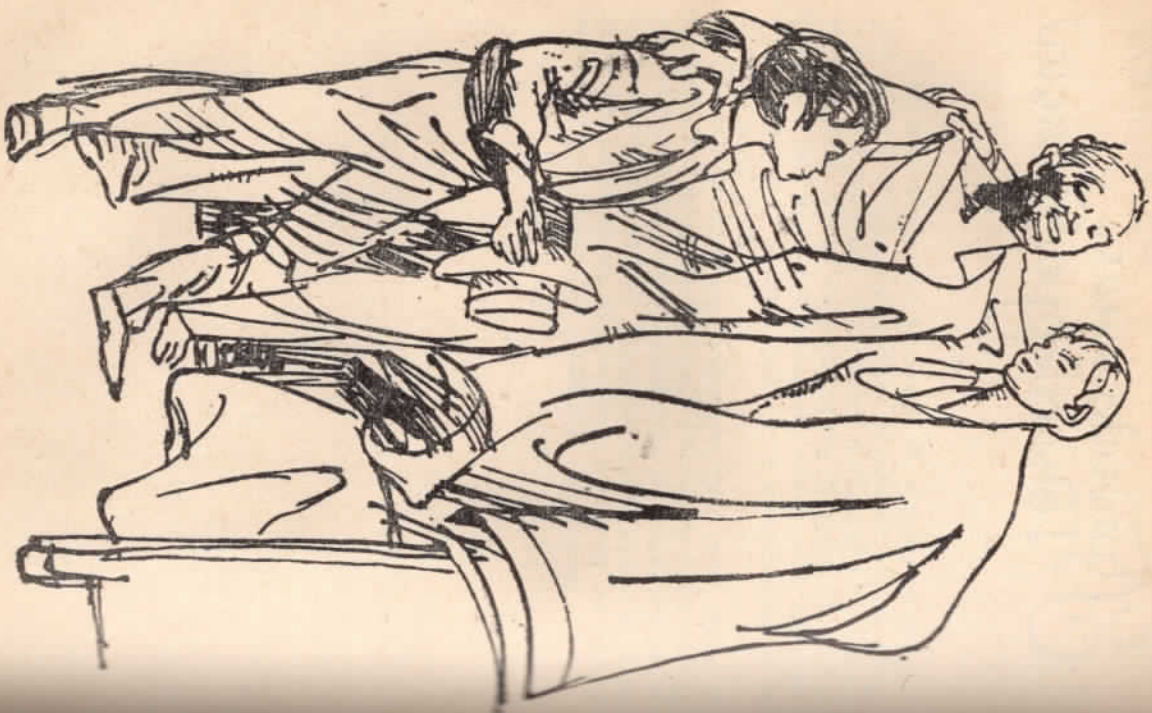
Большинство героев, действующих в этой книге, еще не умерли и до сих пор живут счастливо и благополучно. Быть может, автору захочется со временем закончить эту дальнейшей судьбой молодых героев книги и посмотреть, что за люди из них вышли, а потому не следует рассказывать сейчас об этой поре их жизни.

Струковский
Гекльберри Финна

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Лица, которые пытаются найти в этом повествовании мотив, будут отданы под суд; лица, которые попытаются найти в нем мораль, будут сосланы; лица, которые попытаются найти в нем сюжет, будут расстреляны.

По приказу автора,
Генерал-губернатор
Начальник артиллерийского управления



ОБЪЯСНЕНИЕ

В этой книге использовано несколько диалектов а именно: негритянский диалект штата Миссури, самая резкая форма заходистого диалекта Паик-Кавити, а также четыре несколько смягченных разновидности этого последнего. Оттенки говора выбирались не случайно и не наугад, а, напротив, очень тщательно, под надлежащим руководством, подкреплённым моим личным знакомством со всеми этими формами речи.

Я даю это объяснение потому, что без него многие читатели предположили бы, что все мои персонажи стараются в говоре подражать один другому и это им не удается.

А. ОТОР

ГЛАВА I

Мы про меня ничего не знаете, если не читали выписки под названием «Приключения Тома Сойера», но это не беда. Эту книжку написал мистер Марк Твен и, в общем, не очень наврал. Кое-что он присочинил, но, в общем, не так уж наврал. Это ничего, я еще не видал таких людей, чтобы совсем не врал, кроме тети Полли и вдовы, да разве еще Мари. Про этого Полли,—это Тому Сойеру она теть,—про Мари и про вдову Дуглас рассказывается в этой самой книжке, и там почти все правда, только кое-где приукрашено,—я уже про это говорил.

А кончается книжка вот чем: мы с Томом нашли деньги, зарытые грабителями в пещере, и разбогатели. Получили мы по шесть тысяч долларов на брата — и все золотом. Такая была куча денюжки — смотреть страшно! Ну, судья Тэтчер все это взял и положил в банк, и каждый божий день мы стали получать по доллару прибавки, и так круглый год,—не знаю, кто может такую уйму истратить. Вдова Дуглас усыновила меня и пообещала, что будет меня воспитывать; тогда мне у нее в доме жилось неважно: уж очень она доминировала всякими порядками и привычками, просто невозможно было терпеть. В конце концов я взял да и удрал, надел опять свои старые лохмотья, задел опять в ту же бочку из-под сахара и сию, радуясь вольной жизни. Однако Том Сойер меня отыскал и рассказал, что набирает шайку разбойников. Примет и меня тоже, если я вернусь к вдове и буду вести себя хорошо. Ну, я и вернулся.

Вдова поплакала надо мной, обозвала меня бедной заблудшей овечкой и всякими другими словами; но, разумеется, ничего обидного у нее на уме не было. Динь она одела меня во все новое, так что я только и знал, что потел, и целый день ходил как связанный.



И опять все пошло по-старому. К ужину вдова звонная в колокол, и тут уж никак нельзя было опаздывать — непременно приходи вовремя. А сядешь за стол, никак нельзя сразу приниматься за еду: надо подождать, пока вдова не нагнет голову и не побормочет неспешно над едой, а еда была, в общем, не плохая; одно только плохо — что каждая вещь сварена сама по себе. То ли дело куша всяких отрывков и обрывков! Бывало, перемешаешь их хорошенько, они пропитаются соком и проскакивают не в пример легче.

В первый же день после ужина вдова достала толстую книгу и начала читать мне про Моисея в трюстах, а я просто разрывался от любопытства — до того хотелось узнать, чем дело кончилось: как вдруг она протворилась, что этот самый Моисей давным-давно помер, и мне сразу стало неинтересно, — плавать и ходить на покойников.

Скоро мне захотелось курить, и я спросил разрешения у вдовы. Но она не позволяла: сказала, что это дурная привычка и очень неряшливая и мне надо от нее отучаться. Бывают же такие люди! Напустятся на что-нибудь, о чем и понятия не имеют. Вот и вдова тоже: носится со своим Моисеем, когда он ей даже не родня, — да и вообще кому он нужен, если давным-давно помер, сами понимаете, — а меня ругает за то, что мне нравится курить. А сама небось нюхает табак — это ничего, ей-то можно.

Ее сестра, мисс Уотсон, порядком усохшая старая дева в очках, как раз в это время переехала к ней на житье и сразу же пристала ко мне с букварем. Целый час она ко мне придиралась, но в конце концов вдова всеела ей оставить меня в покое. Да я бы довше и не вытерпел. Потом целый час была скушница смертная, и я все вертелся на стуле. А мисс Уотсон все приставала: «Не кадри ноги на стул, Гексберри!», «Не скривись так, Гексберри, сиди смирно!», «Не зевай и не пошлякись, Гексберри, всиди себя как следует!». Потом она стала проповедовать насчет преподобней, а я поздно ми да и скажи, что хорошо бы туда попасть. Она про-

то набеденчалась, а я ничего плохого не думал, лишь бы ударить куда-нибудь, до того мне у них надоело, а куда — все равно. Мисс Уотсон сказала, что это очень дурно с моей стороны, что она сама ничем бы так не сказала; она старается не грешить, чтобы попасть в рай. Но я не видел ничего хорошего в том, чтобы попасть туда же, куда она попадает, и решил, что и стараться не буду. Но говорить я этого не стал — все равно никакого толку не будет, одни неприятности.

Тут она спугнулась рассказывать про рай — и пошла и пошла. Будто бы делать там ничего не надо — знай прощайся целый день с арфой да распевай, и так до скончания века. Мне что-то не очень понравилось. Но говорить я этого опять-таки не стал. Спросила только, как она думает, попадет ли туда Том Сойер? А она говорит: «Нет, ни под каким видом!» Я очень обрадовался, потому что мне хотелось быть с ним вместе.

Мисс Уотсон все ко мне придиралась, так что в конце концов мне надоело и сделалось очень скучно. Скоро в комнаты позвали негров и стали молиться, а после того все легли спать. Я поднялся к себе наверх и спарком свечки и поставил его на стол, сел перед ним и попробовал думать о чем-нибудь веселом, — только ничего не вышло: такая напала тоска, хоть помирай. Светили звезды, и листья в лесу шелестели так печально; где-то далеко ухал филин — значит, кто-то помер; слышно было, как кричит козодой и воет собака, — значит, кто-то скоро померет. А ветер все напевал что-то, и я никак не мог понять, о чем он шепчет, и от этого по спине у меня бежали мурашки. Потом в лесу кто-то застонал, вроде того как стонет припадке, когда оно хочет рассказать, что у него на душе, и не может добиться, чтобы его поняли, и ему не хватило спокойно в могиле: вот оно скитается по нощам и тоскует. Мне стало так страшно и тоскливо, так захотелось, чтобы кто-нибудь был со мной... А тут еще ноги спутались ко мне на плечо. Я его сбил щеком прямо на свечку и не успел опомниться, как он весь загорелся. Я и сам знал, что это не к добру, хуже не бывает приметы, и здорово перепугался, просто душа в пятки ушла. Я вскочил, повернулся три раза на ка-

луках и каждый раз при этом крестился, потом лаяла ниточку, перевязав себе локоть волос, чтобы отпугивать ведьм,— и все-таки не успокоилась: это помогает, когда найдешь подкову и, вместо того чтобы прибить над дверью, потеряешь ее; только я не слышала, чтобы таким способом можно было избавиться от беды, когда убьешь паука.

Меня бросило в дрожь. Я опять села и достала трубку: в доме теперь было тихо, как в гробу, и, значит, веда ничего не узнает. Прошло довольно много времени; я услышала, как далеко в городе начали бить часы «бум! бум!»— пробило двенадцать, а после того опять стало тихо, тише прежнего. Скоро я услышала, как в темноте под деревьями треснула ветка,— что-то там двигалось. Я села не шевелясь и прислушиваясь. И вдруг кто-то мякнула ее слышно: «Мя-у! Мя-у!» Вот здорово! Я тоже мякнула ее слышно: «Мя-у! Мя-у!»— а потом потянула свечку и вылез через окно на крышу сарая. Оттуда я соскочила на землю и прикрываясь под деревья. Гляжу— так и есть: Том Совер меня дожидается.

ГЛАВА II

Мы пошли на цыпочках по дорожке между деревьями в самый конец сада, нагибаясь пониже, чтобы ветви не задевали по голове. Проходя мимо кухни, я спотынувшись о корень и надеясь шуму. Мы присели на корточки и затаились. Большой негр мисс Уотсон— его звали Джим— сидел на пороге кухни; мы очень хорошо его видели, потому что у него за спиной стояла спица. Он вскочил и около минуты прислушиваясь, вытирая шею, потом говорит:

— Кто там?

Он еще прислушался, потом подошел на цыпочках и остановился как раз между нами: можно было до него дотронуться пальцем. Ну, должно быть, времени прошло порядочно, и ничего не было слышно, а мы все были так близко друг от друга. И вдруг у меня зачесалось одно место на лодыжке, а почесать его я боялась; потом зачесалось ухо, потом спина, как раз между



лопатками. Думаю, если не почесуешь, просто хоть поинюй. Я это сколько раз потом замечала: если ты где-нибудь в гостях, или на похоронах, или хочешь заснуть и никак не можешь— вообще, когда никак нельзя заснуть,— у тебя непременно зачесется во всех местах разом.

Тут Джим и говорит:

— Послушайте, кто это? Где же вы? Ведь я все слышала, свистовство какое! Ладно, я знаю, что мне делать: сиди и буди сидеть, пока опять что-нибудь не трясну.

И он усеялся на землю, как раз между мной и Томом, прислонившись спиной к дереву и вытянув ноги так, что вода не задела мою ногу. У меня зачесался нос. Так зачесался, что слезы выступили на глазах, а почесать я боялась. Потом начало чесаться в носу. Потом зачесалось под носом. Я просто не знала, как унять этот зуд. Такая напасть продолжалась минут шесть или семь, а мне казалось, что много дольше. Теперь я меня чесалось в одиннадцатых местах сразу. Я решила,

что боьше минуты ничем не вытерплю, но кое-как сдержался: душно — уж постарюсь. И тут как раз Джин начал громко дышать, потом захрипел, и у меня все сразу прошло.

Том подад мне знак — еле слышно приоткрыл губами, — и мы на четвереньках поползли прочь. Как только мы отползли шагов на десять, Том шепнул мне, что хочет для смеха привязать Джина к дереву. А я сказал: «Лучше не надо, он проснется и поднимет шум, и тогда увидят, что меня нет на месте». Том согласился, что у него маловато свечей, надо бы побрататься в кухню и взять побольше. Я его останавливал, говорил, что Джин может проснуться и войти в кухню. Но Тому хотелось рискнуть; мы забрались туда, взяли три свечи, и Том оставил на столе пять центов в уплату. Потом мы с ним вышли; мне не терпелось поскорее убраться подальше, а Тому вздумалось подползти на четвереньках к Джину и сыграть с ним какую-нибудь шутку. Я его дождался, и мне показалось, что ждать пришлось очень долго, — так было кругом пусто и молчаливо.

Как только Том вернулся, мы с ним побежали по дорожке кругом сада и очень скоро очутились на своей вершущке горы по ту сторону дома. Том сказал, что стащил шланг с Джина и повесил ее на сучок над раз над его головой, а Джин немножко зашевелился, но так и не проснулся. На другой день Джин расхворался, будто ведьмы околдовали его, уснули и капились на нем по всему штату, а потом опять посадили под дерево и повесили его шланг на сучок, чтобы сразу видно было, чье это дело. А в другой раз Джин рассказывал, будто они доехали на нем до Нового Орлеана; потом у него с каждым разом получалось все дальше и дальше, так что в конце концов он стал говорить, будто ведьмы обрехали на нем вокруг света, да мучили его чуть не до смерти, и спина у него была выстерта, как под седелом. Джин так загордился после этого, что на других негров и смотреть не хотел. Но мы приходили за много миль послушать, как Джин будет про это рассказывать, и он стал пользоваться таким уважением, как ни один негр в наших местах. Повторяя Джина, чужие негры останавливались, разговаривали с ним, и глядя на него, словно на какое-нибудь чудо.

Как стемнеет, негры всегда собираются на кухне у огня и разговаривают про ведьм; но как только кто-нибудь начнет об этом речь, Джин сейчас же вмешается и скажет: «Гм! Ну что ты можешь знать про ведьм!» И этот негр сразу притихнет и замолчит. Пятицентую монетку Джин надед на веревочку и всегда носил на нем; он рассказывал, будто этот таинсман ему подарил сам черт и сказал, что им можно лечить от всех болезней и привязывать ведьм, когда вздумается, стоит только пошептать над монеткой; но Джин никогда не говорил, что он такое шепчет. Негры собирались со всей округы и отащали Джину все, что у них было, лишь бы взглянуть на эту монетку; однако они ни за что на свете не доглотнули бы до нее, потому что монета появилась в руках черта. Работник он стал теперь нигде не годный — уж очень возгордился, что видел черта и носил на себе ведьм по всему свету.

Ну так вот, когда мы с Томом подошли к обрыву и поглядели вниз, на городок, там светило всего три звезды; вверху над нами так ярко сияли звезды, что казалось, будто река в целую милю шириной, разлилась Джо Гарпера с Беном Роджерсом и еще двумя или тремя мальчиками; они притаились на старом коленном заводе. Мы отвязали ялик и спустились по реке вниз на две с половиной, до боьшого оползня на торпидной стороне, и там высадились на берег.

Когда подошли к кустам, Том Соьер застала всех нас показаться, что мы не выдадим тайны, а потом пошел ход в пещеру — там, где кусты росли гуще всего. Потом мы зажгли свечи и поползли на четвереньках в проход. Поползли мы, должно быть, шагов двести, и тут открылась пещера. Том потащился по проходам и скоро нырнул под стенку в одном месте, — вы бы никогда не заметили, что там есть ход. По этому узкому ходу мы пролезли вроде как в комнату, очень сырую, и запотевшую и холодную, и тут остановились.

Том сказал:

— Ну вот, мы соберем шайку разбойников и назовем ее «Шайка Тома Соьера». А кто захочет с нами разбойничать, тот должен будет принести клятву и поднести своей кровью.

Все согласились. И вот Том достал листок бумаги, где у него была написана клятва, и прочел ее. Она призывала всех мальчиков дружно стоять за шайку и никому не выдавать ее тайн; а если кто-нибудь обидит мальчишку из нашей шайки, то тот, кому весел убит обидчика и всех его родных, должен не есть и не спать, пока не уберет их всех и не вырежет у них на груди крест — знак нашей шайки. И никто из посторонних не имеет права ставить этот знак, только те, кто надеждит к шайке; а если кто-нибудь поставит, то шайка подает на него в суд; если же он опять поставит, то его убьют. А если кто-нибудь из шайки выдаст нашу тайну, то ему перережут горло, а после того сожгут труп и развеют пепел по ветру, кровью вычеркнут его имя из списка и больше не станут о нем поминать, а проклянут и забудут навсегда.

Все сказали, что клятва замечательная, и спросили Тома, сам он ее придумал или нет. Оказалось, кое-что он придумал сам, а остальное взял из книжек про разбойников и пиратов, — у всякой порядочной шайки бывает такая клятва.

Некоторые думали, что хорошо бы убивать родных у тех мальчиков, которые выдадут тайну. Том сказал, что это недурная мысль, взял и вписал ее карандашом.

Тут Бен Роджерс и говорит:

— А вот у Тека Финна никаких родных нет, как с ним быть?

— Ну и что ж, ведь отец у него есть? — говорит Том Сойер.

— Да, отец-то есть, только где ты его теперь разыщешь? Он, бывало, все выдавался прыткий на кожевников заводе, вместе со свиньями, но вот уже больше года его что-то не видно в наших краях.

Посоветовавшись они между собой и уж совсем собрались меня вычеркнуть, потому что, говорят, у каждого мальчишка должны быть родные или кто-нибудь, кого можно убить, а то другим будет обидно. Ну, и ничто ничего не мог придумать, все стали в тупик и молчали. Я сперва чуть не заплакал, а потом вдруг придумал выход: взял да и предложил им мисс Уотсон — пускай ее убивают. Все согласились.

— Ну что ж, она годится. Теперь все в порядке. Гена принять можно.

Тут все стали колотить себе палубы булавакой и распинались кровью, и я тоже поставил свой значок на булавке.

— Ну, а чем же эта шайка будет заниматься? — спрашивает Бен Роджерс.

— Ничем, только грабежами и убийствами.

— А что же мы будем грабить? Дома, или скотины, или...

— Чепуха! Это не грабеж, если угонять скотину и кому подобно, это воровство, — говорит Том Сойер. — Мы не воры. В воровстве никакого баяску нет. Мы разбойники. Наденем маски и будем останавливать diligences и кареты на большой дороге, убивать пассажиров и отбирать у них часы и деньги.

— И непременно надо их убивать?

— Ну еще бы! Это самое лучшее. Некоторые авторитеты думают иначе, но вообще считается лучше убивать — кроме тех, кого приведем сюда в пещеру и будем держать, пока не дадут выкуп.

— Выкупа? А что это такое?

— Не знаю. Только так уж полагается. Я про это читал в книжках, и нам, конечно, тоже придется так делать.

— Да как же мы сможем, когда не знаем, что это такое?

— Ну, как-нибудь уж придется. Говорят тебе, во всех книжках так, не слышишь, что ли? Ты что же, хочешь деать все по-своему, не так, как в книжках, чтобы мы совсем запутались?

— Ну да, тебе хорошо говорить, Том Сойер, а как же они станут выкупаться, — чтоб им пусто было! — ведь мы не знаем, как это делается? А ты сам как думаешь, что это такое?

— Ну, уж не знаю. Сказано: надо их держать, пока они не выкупятся. Может, это значит, что надо их держать, пока они не помрут.

— Вот это еще на что-нибудь похоже! Это нам подходит. Чего же ты раньше так не сказал? Будем их держать, пока они не выкупятся до смерти. И возни,

наверно, с ними не оберешься — корни их да гадан, чтобы не удрали.

— Что это ты говоришь, Бен Роджерс? Как же они могут ударить, когда при них будет часовая? Он застрелит их, как только они пошевельнутся.

— Часовой? Вот это ловко! Значит, кому-нибудь придется сидеть и всю ночь не спать из-за того только, что их надо стеречь? По-моему, это глупо. А почему же нельзя взять дубину, да и выкупить их сразу дубиной по башке?

— Потому что в книгах этого нет — по этому по самому. Вот что, Бен Роджерс: хочешь ты делать дело как следует или не хочешь? Ты что же — думаешь, англичан, которые пишут книжки, не знают, как по-настоящему подается? Учить их ты собираешься, что ан? И не мечтай! Нет, сэр, мы уж будем выкупать их по всем правилам.

— Ну и даю. Мне-то что! Я только говорю: по-дурачки получается все-таки... Саушай, а женщины мы тоже будем убивать?

— Ну, Бен Роджерс, если бы я была такой неуч, я бы больше молчала. Убивать женщин! С какой же это стати, когда в книжках ничего подобного нет? Принимай их в пещеру и обращайся с ними как можно вежливей, а там они в тебя мало-помалу влюбляются и уж сами больше не хотят домой.

— Ну, если так, тогда я согласен, только смысл в этом не вижу. Скоро у нас в пещере пройдут неведь будет: столько набьется женщин и всякого народу, который дожидается выкупа, а самим разбойникам и драть будет некуда. Ну, что ж, вайди давайше, я ничего не говорю.

Маленький Томми Барнс успел уже заснуть и, когда его разбудили, испугавшись, заплакал и стал проситься домой к маме, сказал, что больше не хочет быть разбойником.

Все подняли его на смех и стали дразнить паясником, а он надулся и сказал, что сейчас же пойдет и выделает все наши тайны. Но Том дал ему пять центов, чтобы он молчал, и сказал, что мы все сейчас пойдем домой, а на будущей неделе соберемся и тогда кого-нибудь из рабов и уберем.

Бен Роджерс сказал, что он не может часто уходить из дому, разве только по воскресеньям, и не зная ли написать с будущим воскресеньем; но все мальчики решили, что по воскресеньям грешно убивать и грабить, так что об этом не может быть и речи. Мы уговорились встретиться и назначить день как можно скорее, потом выжили Тома Сойера в атманы шайки, а Джо Гарпс — и помощники и разошлись по домам.

Я влез на крышу сарая, а оттуда — в окно уже перед самым рассветом. Мое новое платье было все закатано свечкой и вымазано в глице, и сам я устал как собака.

ГЛАВА III

Ну и пробада же меня утром старая мисс Уотсон да моя одежда! Зато вдова совсем не ругалась, только сказала, что я решил вести себя это время по-другому, если бы. Потом мисс Уотсон отвела меня в чулан и стала вынимать, но ничего не вышло. Она весела мне молвить каждый день — и чего я попрошу, то и дастся мне. Но не тут-то было! Я пробовал. Один раз вымолил себе уачку, только без крючков. А на что она мне сказала, без крючков-то! Раз три или четыре я пробовал вымолить себе и крючки, но ничего почему-то не вышло. Как-то на днях я попросил мисс Уотсон помолиться вместо меня, а она обещала меня дураком и даже не сказала, за что. Так я и не мог понять, в чем дело. Один раз я дошло сидел в лесу, все думал про это. Помню себе: если человек может вымолить все, что угодно, так отчего же дык Уинн не вымолил обратно свои деньги, когда проторговался на свининке? Почему и она не может вымолить серебряную табакерку, которую у нее украли? Почему мисс Уотсон не помолитесь, чтоб ей потолстеть? Нет, думаю, тут что-то не так. Поняла и спросила у вдовы, а она говорит: можно молиться только о «духовных благах». Этого я никак не мог понять: ну, она мне растолковала; это значит: я должен помогать другим и делать для них все, что могу, заботиться о них постоянно и совсем не думать о себе. И о мисс Уотсон тоже заботиться, — так я понял.

Я пошел в лес и долго раскидывал умом и так и этак и все не мог понять, какая же от этого польза, разве только другим людям; и решил в конце концов не ломать над этим голову, может, как-нибудь и так обойдется. Иной раз, бывало, вдова сама возмется за меня и начнет рассказывать о проклятом божьем, да так, что прямо ссаза прошибает; а на другой день, глядишь, мисс Уотсон опять за свое и опять собьет меня с толку. Я уж так и рассудил, что есть два брата с ботом вдовы несчастный грешник еще как-нибудь поладит, а уж если попадется в лапы боту мисс Уотсон, тогда спуску не жди. Все это я обдумал и решил, что лучше пойду под начало к боту вдовы, если я ему тогда жужь, хотя никак не мог понять, на что я ему нужен и какая от меня может быть прибыль, когда я совсем ничего не знаю, и веду себя неважно, и роду самого простого.

Моего отца у нас в городе не выдали уже больше года, и я совсем успокоился; я его и видеть-то больше не хотел. Трезвый, он, бывало, все меня колотит, понадишь только ему под руку; хотя я по большей части удираю от него в лес, как увижу, что он оказывается поблизости. Так вот, в это самое время его выловили из реки, минах в двенадцати выше города, — и самых это от людей. Во всяком случае, решил, что это он и есть: ростом утопленник был как раз с него, и в дотмоях, и волосы длинные-предлинные; все это очень на отца похоже, только лица никак нельзя было разобрать: он так долго пробыл в воде, что оно и на лицо не очень было похоже. Говорили, что он плавал по реке лицом вверх. Его выловили из воды и закопали на берегу. Но я немало радовался, потому что вспомнил одну шутку. Я отлично знал, что мужчина-утопленник должен плавть по реке не вверх лицом, а вниз. Вот поэтому-то я и догадался, что это был вовсе не отец, а какая-нибудь утопленница в мужской одежде. И я опять стал беспокоиться. Я все ждал, что старики вот-вот зайдутся, а мне вовсе этого не хотелось.

Почти целый месяц мы играли в разбойников, а потом я бросил. И все мальчики тоже. Никого мы не убрабили и не убили — так только, дурака навали. Выбегали из леса и бросались на потонщиков свиней или на женщин, которые ездили на рынок зеленъ и овощей, но



никогда никого не трогали. Том Соьер называл свиней «затками», а репу и зеленъ — «драгоценностями», и после, вернувшись в пещеру, мы хвастались тем, что лапали и сколько человек убили и ранили. Но я не знал, какая нам от этого прибыль. Раз Том послал одного мальчика бегать по всему городу с горючей палкой, которую он называл «пароль» (знак для всей шайки собираться вместе), а потом сказал нам, что он получил от своих лауучиков тайное сообщение, будто внутри около пещеры остановится целый караван богатых арабов и испанских купцов, с двумя сотнями слонов, шестью сотнями верблюдов и тысячей вьючных мулов, нагруженных алмазами, а охраняют их всего-навсего четверста солдат; так что мы устроим засаду, пережем их всех и захватим добычу. Он велел наготовить мечи, вычистить ружья и быть наготове. Он даже нарисовал с бровкой не мог напасть без того, чтобы не натопить мечи и не нацистить ружья, хотя какой толк их топить, когда это были простые палки и ручки от пещеры, — сколько ни топил, ни на волос лучше не будут. Мне как-то не верилось, что мы можем побить такую массу испанцев и арабов, поэтому на другой день, в субботу, и был тут как тут и сидел вместе с другими в засаде; и как только дали сигнал, мы выскочили из кулаков и скатились с горы вниз. Но никаких испанцев

и арабов там не было, верблюдов и слонов тоже. Оказалось, что это всего-навсего экскурсия воскресной школы, да и то один первый класс. Мы на них набросились и разогнали ребят по всей долине. Но только никакой добычи нам не досталось, кроме пряников и пряренья, да еще Бен Роджерс подобрал тряпичную куклу, а Джо Гарпер — молитвенник и душепастырьскую книжонку; а потом за нами погналась учительница, и мы все это побросали — и бежать. Никаких алмазов и не видали, так я и сказал Тому Соьеру. А он уверял, что они все-таки там были, целые горы алмазов, и арабы, и слоны, и много всего. Я спрашиваю: «Почему же тогда мы ничего не видели?» А он говорит: «Если бы ты хоть что-нибудь знал, хоть прочел бы книжку, которая называется «Дон Кихот», тогда бы не спрашивал. Тут, говорит, все дело в козловстве». А на самом деле там были сотни солдат, и слоны, и сокровища, и все прочее, только у нас оказались враги — чародей, как Том их называл, — и все это они превратили в воскресную школу нам назло. Я говорю: «Ах да, тогда нам надо напасть на этих самых чародеев». Том Соьер обозвал меня болваном.

— Да что ты! — говорит. — Ведь чародей может вызвать целое поднище духов, и они тебя вмиг изрубят, не успеешь «мама» выговорить. Ведь они вышиной с деревом, а толщиной с церковь.

— Ну, — говорю, — а если мы тоже вызовем духов себе на помощь, побьем мы тех, других, или и т.?

— Как же это ты их вызовешь?

— Не знаю. А те как вызывают?

— Как? Потрут старую жестяную лампу или железное колыцо, и тогда со всех сторон сбегаются духи, гром гремит, молнии крутом так и сверкают, дым клубится, и все, что духам ни прикажешь, они сейчас же делают. Им ничего не стоит вырвать с корнем дробилитную башню и трахнуть ею по голове директора воскресной школы или вообще кого угодно.

— Для кого же это они так стараются?

— Да для всякого, кто потрет лампу или колыцо, они повинуются тому, кто трет лампу или колыцо, и должны делать все, что он велит. Если он велит выстроить дворец в сорок миль длиной из одних бриллиантов и напоить его доверху жемчужной резной или

чем ты захочешь и похитить дочь китайского императора тебе в жены, — они все это должны сделать, да еще на одну ночь, прежде чем взойдет солнце. Мало того: они должны таскать этот дворец по всей стране, куда только тебе вздумается, понимаешь?

— Вот что, — говорю я, — по-моему, все они просто бешеные, если не оставят этот дворец себе, вместо того чтобы выдать дурака и упускать такой случай. Мало того: будь я дух, я бы этого, с лампой, послал к черту. Стану я отрываться от дела и лететь к нему из-за того, что он там потрет какую-то дрянью!

— Придумаю тоже, Гек Финн! Да ведь ты должен думать, когда он потрет лампу, хочешь ты этого или нет.

— Что? Это если я буду ростом с дерево и толщиной с церковь? Ну ладно уж, я к нему явлюсь; только ручность чем хочешь — я его загоню на самое высокое дерево, какое найдется в тех местах.

— А ну тебя, Гек Финн, что толку с тобой разговаривать! Ты уж, кажется, совсем ничего не понимаешь — будто круглый дурак.

Дни два или три я все думал об этом, а потом решил сам посмотреть, есть тут хоть сколько-нибудь прилавки или нет. Взял старую жестяную лампу и железное колыцо, пошел в лес и тер и тер, пока не вспотел, как индеец. Думаю себе: выстрою дворец и продам; только ничего не вышло — никакие духи не явились. Так что, по-моему, всю эту чепуху Том Соьер выдумал, как всегда выдумывает. Он-то, кажется, поверил и в арабов и в слонов, ну а я — дело другое: по всему было видно, что это воскресная школа.

ГЛАВА IV

Ну так вот, прошло месяца три или четыре, и зима уже давно наступила. Я почти что каждый день ходил в школу, научился складывать слова, читать и писать немножко и выучил таблицу умножения наизусть до шестидесяти — тридцать пять, а дальше, я так думаю, мне ничего не одолеть, хоть до ста лет учись. Да и вообще и математику не очень люблю.

Сперва я эту самую школу терпеть не мог, а потом ничего, стал привыкать понемножку. Когда мне, бывало, уж очень надоест, я удержу с уроков, а на следующую день учитель меня выпорет; это шло мне на пользу и здорово подбадривало. Чем дальше я ходил в школу, тем мне становилось легче. И ко всем порядкам у дворов я тоже мало-помалу привык — как-то привык пелся. Всего тяжелой было привычка жить в доме и спать на кровати; только до наступления холодов я все-таки иной раз удирал на волю и спал в лесу, и это было вроде отдыха. Старое житье мне было больше по вкусу, но и к новому я тоже стал привыкать, оно мне начало даже нравиться. Вдова говорила, что я не правдивость понемножку и веду себя не так уж плохо. Говорила, что ей за меня краснеть не приходится.

Как-то утром меня утормозило опрокинуть за дартраком солонку. Я поскорей схватила щепотку соли, чтобы перекинуть ее через левое плечо и ответить беду, но тут мисс Уотсон подоспела несклади и остановила меня. Говорит: «Убери руки, Гекзберн! Вечно ты насоришь кругом!» Вдова за меня заступилась, только поздно, беду все равно уже нельзя было ответить, это я отлично знала. Я вышел из дому, чувствуя себя очень неважно, и все ломал голову, где эта беда надо мной стряслась и какая она будет. В некоторых случаях можно ответить беду, только это был не такой случай, так что я и не пробовал ничего делать, а просто шатаюсь по городу и самом унылом настроении и ждал беды.

Я вышел в сад и перебрался по ступенькам через высокий деревянный забор. На земле было с дюйм только что выпавшего снега, и я увидел на снегу следы: кто-то шел от каменоломни, потоптася немного около забора, потом пошел дальше. Странно было, что он не завернул в сад, простояв столько времени у забора. Я не мог пойти, в чем дело. Что-то уж очень чудно... Я хотел было пойти по следам, но сперва нагнулся, чтобы разглядеть их. Сначала я ничего особенного не замечал, а потом заметил: на левом каблучке был набит крест из больших гвоздей, чтобы отводить нечистую силу. В одну минуту и кубарем скатился с горы. Время от времени я оглядывался, но никого не было видно. Я побежал к судне Тэтчеру. Он сказал:

— Ну, милый, ты совсем зашкварился. Ведь ты пришел за процентами?

— Нет, сэр, — говорю я. — А разве для меня что-нибудь есть?

— Да, вчера вечером я получил за полгода больше, чем принадлежишь долларов. Целый капитал для тебя. И лучше положу их вместе с остальными шестью тысячами, а не то ты истратишь их, если возьмешь.

— Нет, сэр, — говорю, — я не хочу их трогать. Мне на совсем не надо — ни шести тысяч, ничего. Я хочу, чтобы вы их взяли себе — и шесть тысяч, и все оставшееся.

Он, как видно, удивился и не мог понять, в чем дело, потому что спросил:

— Как? Что ты этим хочешь сказать?

— Я говорю: не спрашивайте меня ни о чем, пожалуйста. Возьмите лучше мои деньги... Ведь возьмете?

Он говорит:

— Право, не знаю, что тебе сказать... А что случилось?

— Пожадуйства, возьмите их, — говорю я, — и не раздражайте меня — тогда мне не придется врать.

Судьи задумались, а потом говорят:

— О-о! Кажется, понимаю. Ты хочешь уступить мне свой капитал, а не подарить. Вот это правильно.

Потом написал что-то на бумажке, перечел про себя и говорит:

— Вот видишь, тут сказано: «За вознаграждение».

Это значит, что я приобрел у тебя твой капитал и заплатил за это. Вот тебе доллар. Распишись теперь.

Я расписался и ушел.

У Джима, негра мисс Уотсон, была большой волосяной шар величиной с кулак; он его вынул из бычьего желудка и теперь гадал на нем. Джим говорил, что в шар будут бы сидит дух и этот дух все знает. Вот я и пошел вечером к Джиму и рассказал ему, что отец опять здесь, и видел его следы на снегу. Мне надо было знать, что он собирается делать и останется здесь или нет. Джим достал шар, что-то пощелкал над ним, а потом подбросил и уронил на пол. Шар упал, как камень, и откатился не дальше чем на дюйм. Джим попробовал еще раз и еще раз; получалось все то же самое. Джим стал на колени, приложив ухо к шару и прислушиваясь. Но

толку все равно никакого не было; Джим сказал, что шар не хочет говорить. Бывает иногда, что без денег шар ничем не станет говорить. У меня нашлась старая фальшивая монета в четверть доллара, которая никак не годилась, потому что медь просвечивала сквозь серебро; но даже и без этого ее нельзя было сбить с рук — такая она сделала скользкая, точно садовая на ощупь: сразу видать, в чем дело. (Я решил лучше не говорить про доллар, который мне дал судья.) Я сказал, что монета плохая, но, может, шар ее возьмет, не все ли ему равно. Джим понохал ее, покосал, потер и обещал сделать так, что шар примет ее за настоящую. Надо разрезать сырую картошку пополам, положить в нее монету на всю ночь, а наутро меди уже не будет заметно и на ощупь она не будет скользкая, так что ее и в городе кто угодно возьмет с удовольствием, а не то что волосяной шар. А ведь я и раньше знал, что картофель помогает в таких случаях, только позабыл про это.

Джим сунул монету под шар и лег и опять прислушался. На этот раз все оказалось в порядке. Он сказал, что теперь шар мне всю судьбу предскажет, если я захочу. «Валдай», — говорю. Вот шар и стал нащупывать Джиму, а Джим пересказывал мне. Он сказал:

— Ваш папаша сам еще не знает, что ему делать. Ты думаешь, что уйдет, а другой раз думает, что останется. Все же лучше ни о чем не беспокоиться, пускай старик сам решит, как ему быть. Около него два ангела. Один весь белый, так и светится, а другой — весь черный. Белый его поучит-поучит добру, а потом прилетит черный и все дело испортит. Пока еще нельзя сказать, который одолеет в конце концов. У вас в жизни будет много горя, ну и радости тоже порядочно. Иной раз и биты будете, будете болеть, но все обойдется в конце концов. В вашей жизни вам встретятся две женщины. Одна белонинка, а другая бронетка. Она богатая, а другая бедная. Вы сперва женитесь на бедной, а потом и на богатой. Держитесь как можно дальше от воды, чтобы чего-нибудь не случилось, потому что вы на роду написаны, что вы кончите жизнь на виселице.

Когда я вечером зажгел свечку и вошел к себе в комнату, оказалось, что там сидит мой родитель собственной персоной!

Я затворил за собой дверь. Потом повернулся, смотрю — вот он, папаша! Я его всегда боялся — уж очень надменно он меня драг. Мне показалось, будто я и теперь испугался, а потом я понял, что ошибся, то есть перепутал, конечно, встряска была порядочная, у меня даже дух захватило — так он неожиданно появился, только и сразу же опомнился и увидел, что вовсе не боюсь, даже и говорить не о чем.

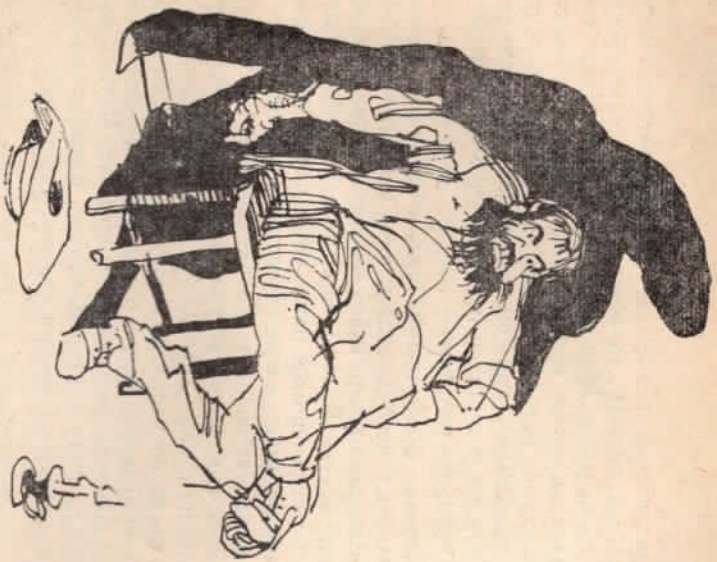
Очу было лет около пятидесяти, и на вид не меньше того. Волосы у него длинные, нечесаные и грязные, висят космами, и только глаза светятся сквозь них, словно сквозь кусты. Волосы черные, совсем без седина, и длинные свалившиеся баки, тоже черные. В лице, хоть его почти не видно из-за волос, нет ни кровинки — оно совсем бледное; но не такое бледное, как у других людей, а такое, что смотреть страшно и противно, — как гнилое брюхо или как лягу. А одежда — сплошная грязь, гадать не на что. Одну ногу он задрал на колене и опирался на этой ноге лопнул, оттуда торчали два пальца, и он ими пошевеливал время от времени. Шапка валялась тут же на полу — старая, черная, с широкими полями и провалившимся внутрь верхом, точно касторовая с крышечкой.

Я стоял и глядел на него, а он глядел на меня, слезами подмигиваясь на стуле. Свечу я поставил на пол. Я зажег, что окно открыто: значит, он забрался сначала на чердак, а оттуда в комнату. Он осматривал меня с головы до пят, потом говорит:

— Ишь ты как выросла! — фу-ты ну-ты! Небось думал, что ты теперь важная птица, — так, что ли? — Может, думаю, а может, и нет, — говорю я.

— Ты смотри, не очень-то груби! — говорит. — Попробуй дури, пока меня не было! Я с тобой живо развешусь, собою с тобой спешу! Тоже, образованный старик, — говорит, читать и писать умеешь. Думаешь, отец тебе и в подметки теперь не годится, раз он неграмотный? Это все я из тебя выколочу. Кто тебе велел напиваться дурацкого благодорождства? Скажи, кто это тебе велел?

— Водна весела.



— Вдова? Вот оно как! А кто это вдове позвонил совать нос не в свое дело?

— Никто не позвонил.

— Ладно, я ей покажу, как соваться, куда не просят! А ты, смотри, школу свою брось. Слыхишь? Я им покажу! Выучили мальчишку задиравать нос перед родным отцом, важность на себя напустил какую! Ну, если только я увижу, что ты околачиваешься возле этой самой школы, держись у меня! Твоя мать ни читать, ни писать не умеет, так неграмотная и померла. И все твои родные так и померли неграмотные. Я ни читать, ни писать не умею, а он, смотри ты, каким франтом вырядился! Не таковский я человек, чтобы это стерпеть, слышишь? А ну-ка, почитай, я послушаю.

Я взял книжку и начал читать что-то такое про генерала Вашингтона и про войну. Не прошло и поминуту,

как он хватил по книжке кулаком, и она полетела перед ним на пол.

— Правильно. Читать ты умеешь. А я было тебе не поверил. Ты смотри у меня, брось задаваться, я этого не потерплю! Сидеть за тобой буду, франт этаким, и если только поймал около этой самой школы всю школу спущу! Выпью тебе — опомниться не успеешь! Хорош сынок, нечего сказать!

Он взял в руки синюю с желтым картинку, где был изображен мальчик с коровами, и спросил:

— Это еще что такое?

— Это мне дали за то, что я хорошо учусь.

Он разодрал картинку и сказал:

— И тебе тоже дам кое-что: ремня хорошего!

Он долго бормотал и ворчал что-то себе под нос, потом сказал:

— Подумаешь, какой неженка! И кровать у него, и простыни, и зеркало, и ковер на полу, — а родной отец должен вальсировать на кожаном заводе вместе со свиньями! Хорош сынок, нечего сказать! Ну да и с тобой можно разделать, всю дурь повебью! Ишь напустил на твою важность — разбогатеет, говорит! А? Это каким же образом?

— Все врёт — вот каким.

— Саушай, ты как это со мной разговариваешь? И терпел, терпел, а больше терпеть не намерен, так что ты мне не груби. Два дни я пробываю в городе и только слышу что про твоё богатство. И ниже по реке я тоже про это слышал. Поэтому и приехал. Ты мне эти деньги достань к завтраму — они мне нужны.

— Нет у меня никаких денег.

— Врешь! Они у судьи Тэтчера. Ты их возьми. Они мне нужны.

— Говорят вам, нет у меня никаких денег! Спросите сами у судьи Тэтчера, он вам то же скажет.

— Ладно, я его спрошу; уж я его заставлю сказать! Он у меня раскошелится, а не то ему покажу! Ну-ка, позови у тебя в кармане? Мне нужны деньги.

— Всего один доллар, и тот мне самому нужен... — Мне какое дело, что он тебе нужен! Давай, и не тут.

Он взял монету и куснул ее — не фальшивая ли, потом сказал, что ему надо в город, купить себе виски, а

то у него целый день ни капли во рту не было. Он уже вышел на крышу сарая, но тут опять проснула голову и окно и принялся ругать меня за то, что я набрался искрой дурн и знать не хочу родного отца. После этого и уж думал было, что он совсем ушел, а он опять проснулся голову в окно и велел мне бросить школу, не то он меня подстережет и вздует как следует.

На другой день отец напился пьян, пошел к судье Татчеру, отругал его и потребовал, чтобы тот отдал мои деньги, но ничего из этого не вышло; тогда он пригрозил, что заставит отдать деньги по суду.

Вдова с судьей Татчером подали просьбу в суд, чтобы меня у отца отобрали и кого-нибудь из них назначили в опекуны; только судья был новый, он недавно приехал и еще не знал моего старика. Он сказал, что суду не следует без особой надобности вмешиваться в семейные дела и разлучать родителей с детьми, а еще ему не хотелось бы отнимать у отца единственного ребенка. Там что да все с судьей Татчером пришлось отступить.

Отец так обрадовался, что узнать его не было никакой возможности. Он обещал отодать меня ремнем до полусмерти, если я не достану ему денег. Я занял три доллара у судьи, а старик их отнял и напился пьян и в пьяном виде шатался по всему городу, ора, безобразничал, ругался и колотил в сквородаку чуть ли не до полуночи; его поймали и посадили под замок, а наутро повели в суд и опять засадили на неделю. Но он сказал, что очень доволен: своему сыну он теперь хозяин и покажет ему, где раки зимуют.

После того как он вышел из тюрьмы, новый судья объявил, что намерен сделать из него человека. Он привел старика к себе в дом, одел его с головы до ног во все чистое и приличное, посадил за стол вместе со своей семьей и завтракать, и обедать, и ужинать, — можно сказать, принял его, как родного. А после ужина он вел разговор насчет трезвости и прочего, да так, что старика слеза прошибла и он сознался, что столько лет вел себя дурак дураком, а теперь хочет начать новую жизнь, чтобы никому не стыдно было вести с ним знакомство, и надеется, что судья ему в этом поможет, не отнесется к нему с презрением. Судья сказал, что просто готов обнять его за такие слова, и при этом прослезился; и жена его тоже заплакала; а отец сказал, что никто



да сих пор не понимал, какой он человек; и судья ответил, что он этому верит. Старик сказал, что человек, которому в жизни не повезло, нуждается в сочувствии; и судья ответил, что это совершенно верно, и оба они опять прослезнились. А перед тем как идти спать, старик встал и сказал, протянув руку:

— Посмотрите на эту руку, господа и дамы! Возьмите ее и пожмите. Эта рука прежде была рукой грязной свиньи, но теперь другое дело: теперь это рука честного человека, который начинает новую жизнь и лучше знает, а уж за старое не возьмется. Помните мои слова, не забывайте, что я их сказал! Теперь это чистая рука. Пожмите ее, не бойтесь!

И все они один за другим, по очереди, пожали ему руку и прослезались. А жена судьи так даже поцеловала ему руку. После этого отец дал зарок не пить и вместе подпился крест поставил. Судья сказал, что это исторический, святой миг... что-то вроде этого. Старика отвели в самую лучшую комнату, которую берегли для гостей. А ночью ему вдруг до смерти захотелось выпить; он вышел на крышу, спустился вниз по столбику на крыльцо, обменял новый стюрок на бутылку сорочка-траусон, влез обратно и давай пировать; и на следующее утро пошел в окно, пьяный как стелька, скатился с крыши, сомадел себе левую руку в двух местах и чуть бы-ло не намерз насмерть; кто-то его подобрал уже на рас-свете. А когда пошел посмотреть, что делается в комна-те гостей, так пришлось мерить глубину лотом, прежде чем пускаться впасть.

Судья здорово разобиделся. Он сказал, что старика, понимая, можно исправить хорошей пудой из ружья, а другого способа он не видит.

Ну так вот, вскоре после того мой старик поправился и подал в суд жалобу на судью Тэтчера, чтоб он отдал мои деньги, а потом приниased и за меня, потому что и так и не бросил школу. Раз да он меня поймал и отпустил, только я все равно ходил в школу, а от него все время притаска или убега куда-нибудь. Раньше мне не было-то нравилось учиться, а теперь я решил, что непременно буду ходить в школу, отцу назло. Суд все откладывал; похоже было, что никогда и не начнут, так что я время от времени занимал у судьи Тэтчера доллара два-три для старика, чтобы избавляться от порки. Всякий раз, получив деньги, он напивался пьян; и всякий раз, написавшись, шатался по городу и буянил; и всякий раз, как он набезобразничает, его сажали в тюрьму. Он был очень доволен: такая жизнь была ему как рай по душе.

Он что-то уж очень повадился околачиваться вокруг дома вдовы, и наконец та ему пригрозила, что, если он этой привычки не бросит, ему придется плохо. Ну и взбеленился же он! Обещал, что покажет, кто Теку Финну хозяин.

И вот как-то весной он выследил меня, поймал и увез в лодке миди за три верха по реке, а там переправился на ту сторону в таком месте, где берег был лесистый и жидкий совсем не было, кроме старой бревенчатой хибарки в самой чаще леса, так что и найти ее было невозможно, если не знать, где она стоит.

Он меня не отпускал ни на минуту, и ударить не было никакой возможности. Жили мы в этой старой хибарке, и он всегда запирает на ночь дверь, а ключи клад себе под голову. У него было ружье,—украл, наверно, где-нибудь,—и мы с ним ходили на охоту, удили рыбу этими и кормились. Частенько он запирает меня на замок и уезжал в лавку миди за три, к перевозу, там меня рыбу и дичь на виски, привозил бутылку домой, пили вась, пел песни, а потом колотил меня. Вдова все-таки разузнала, где я нахожусь, и прислала мне на выручку человека, но отец прогнал его, пригрозив ружьем. А в скором времени я и сам привык тут жить, и мне даже нравилось—все, кроме ремня.

Жилось ничего себе—хоть целый день ничего не делай, зная покуривай да лови рыбу; ни тебе книг, ни ученья. Так прошло месяца два, а то и больше, и я весь обзавелся, ходил грязный и уже не понимал, как это мне нравилось жить у вдовы в доме, где надо было вылизываться и есть с тарелки, и причесываться, и ложиться и вставать вовремя, и вечно корпеть над книжкой, да еще старал мисс Уотсон, бывало, теби пилит все время. Мне уж больше не хотелось туда. Я бросил было ружье, потому что вдова этого не любила, а теперь опять начал, раз мой старик ничего против не имел. Вообще говори, нам в лесу жилось вовсе не плохо.

Но мало-помалу старик распустился, повадился драгаться палкой, и этого я не стерпел. Я был весь в рубцах. И дома ему больше не сиделось: уедет, бывало, а меня заперет. Один раз он запер меня, а сам уехал и не возвращался три дня. Такая была скушница! Я так и думал, что он потонул и мне никогда отсюда не выбраться. Мне стало страшно, и я решил, что как-никак, а надо будет ударить. Я много раз пробовал выбраться из дома, равно все не мог найти лазейки. Окно было такое, что и собла не пролезть. По трубе я тоже подняться не мог: она оказалась чересчур узка. Дверь была сколочена из палат и прочных дубовых досок. Отец, когда уезжал, ставился никогда не оставлять в хижине ножа и вообще ничего острого; я, должно быть, раз сорок обыскал все кругом и, можно сказать, почти все время только стел и занимался, потому что больше делать все равно было нечего. Однако на этот раз я все-таки нашел кое-что старую, ржавую пилу без ручки, засунутую между стеной и кровельной дражкой. Я ее смазал и прибил за работу. В дальнем углу хибарки, за столом, была прибита к стене гвоздями старая понона, чтобы ветер не дул в щели и не гасил свечку. Я залез под стол, прибил понону и начал отпидивать кусок толстого нижнего бревна—такой, чтобы мне можно было пролезть. Присели это отнюдь порядочно, но дело уже шло к концу, когда я услышал в лесу отпозво ружье. Я поскорей изничтожил все следы моей работы, опустил понону и спрыгнул пилу, а скоро и отец явился.

Он был сильно не в духе—то есть такой, как всегда. Рассказал, что был в городе и что все там идет черт знает как. Давокал сказал, что выигрывает процесс и по-

лучит деньги, если им удастся довести дело до суда, но есть много способов оттянуть разбирательство, и судья Татчер сумеет это устроить. А еще ходят слухи, будто бы затевается новый процесс, для того чтобы отобрать меня у отца и отдать под опеку вдове, и на этот раз надеются его выиграть. Я очень расстроился, потому что мне не хотелось больше жить у вдовы, чтобы меня опять притесняли да воспитывали, как это у них там называлось. Тут старик пошел ругаться, и ругал всех и каждого, кто только на язык попадется, а потом еще раз выругав всех подряд для верности, чтоб уж никого не пропустить, а после этого ругнул всех вообще для округления, даже и тех, кого не знал по имени, обозвала как невязю хуже и пошел себе чертыхаться дальше.

Он ора, что еще посмотрит, как это вдова меня отберет, что будет глядеть в оба, и если только они попробуют устроить ему такую пакость, то он знает одно место, где меня спрятать, минах в шести или семи отсюда, и пускай тогда ищут хоть сто лет — все равно не найдут. Это меня опять-таки расстроило, но ненадолго, думаю себе: не буду же я сидеть и дожидаться, пока он меня увезет!

Старик посадил меня к ялику перенести вещи, которые он привез: мешок кукурузной муки фунтов на пятьдесят, большой кусок копченой грудинки, порох и дробь, бутылки виски в четыре галлона, а еще старую книжку и две газеты для пыжей, и еще пакаю. Я вынес все это на берет, а потом вернулся и сел на носу доки отдохнуть. Я обдумал все как следует и решил, что, когда убегу из дому, возьму с собой в лес ружье и удили. Сидеть на одном месте я не буду, а пойду бродяжничать по всей стране — лучше по ночам; пропитание буду добывать охотой и рыбной ловлей; и уйду так далеко, что ни старик, ни вдова меня больше ни за что не найдут. Я решил вытпнать бревно и ударить нынче же ночью, если старик напьется, а уж напиться-то он обязательно! Я так задумался, что не заметил, сколько прошло времени, пока старик не оканкнул меня и не спросил, что я там — сплю или утону.

Пока я перетаскивал вещи в хибарку, почти совсем стемнело. Я стаа готовить ужин, а старик тем временем успел хаебнуть разок-другой из бутылки, духу у него прибавилось, и он опять разошелся. Он выпил еще в то-

гда, провалился всю ночь в канаву, и теперь на него просто смотреть было страшно. Ни дать ни взять Адам — сплошная глина. Когда его, бывало, развезет по деревнишки, он всегда принимался ругать правитель-ство. И на этот раз тоже.

— А еще называется правительством! Ну на что это похоже, полюбуйтесь только! Вот так закон! Отирают в канавку сына — родного сына, а ведь человек его работал, заработал, деньги на него тратил! Дал! А как только нафракстна в конце концов этого сына, думаешь: пора и отдохнуть, пускай теперь сын поработает, поможет мне чем-нибудь, — тут закон его и цап! И это называется правительством! Да еще мало того: закон помогает даже Татчеру оттягивать у меня капитал. Вот как этот закон поступает: берет человека с капиталом в шесть тысяч долларов, даже больше, пихает его вот в такую старую хибарку, продает западни, и заставляет носить такие штаны, что свинье было бы стыдно. А еще называется правительством! Человек у такого правительства своих прав добиваться не может. Да что, в самом деле! Иной раз думаешь: вот возьму и уеду из этой страны навсегда. Да и ни так и сказал, прямо в глаза старику Татчеру так и сказал! Многие слышали и могут повторить мои слова. Говорю: «Да я ни за грош бросаю бы эту проклятую страну и больше в нее даже не взглянул бы». Вот эти самые словами. — Выглядните, говорю, на мою шапку, если, по-вашему, это шапка. Верх отстал, а все остальное сползает ниже подбородка, так что и на шапку вовсе не похоже, голова сидит, как в печной трубе. Поглядите, говорю, вот какую шапку приходится носить, а ведь я из первых богачей в городе, только вот никак не могу добиться своих прав».

Да, замечательное у нас правительство, просто замечательное! Ты только послушай. Был там один вояцкий из Огйо — мулат, почти такой же бедный, как бедные люди. Рубашка на нем белой снега, шапка так и валяется, и одет он хорошо, как никто во всем городе: закон с цепочкой на нем золотые, пака с серебряным на-малашником — просто фу-ты ну-ты, важная персона! И ни бы ты думал? Говорит, будто он учитель в какой-то коледже, умеет говорить на разных языках и все на свете знает. Да еще мало того. Говорит, будто он имеет право голосовать у себя на родине. Ну, этого я уж

не стерпеть. Думаю, до чего ж мы так дойдем? Как раз был день выборов, я и сам хотел идти голосовать, но бы не хвэбнул лишнего, а когда узнал, что есть у нас в Америке такой штат, где этому негру позволяют голосовать, я взял да и не пошел, сказаа, что больше никогда голосовать не буду. Так прямо и сказаа, и все меня слышали. Да пропал пропадом вся страна — все равно я больше никогда в жизни голосовать не буду! И смотри ты, как этот негр нахально себя ведет: он бы и мне дороги не уступил, кабы я его не отпихнул в сторону. Спрашивается, почему этого негра не продадут с аукци она? Вот что я жалаа бы знать! И как бы ты думаа, что мне ответили? «Его, говорит, нельзя продать, пока он не проживет в этом штате полгода, а он еще столько не прожил». Ну, вот тебе и пример. Какое же это правительство, если нельзя продать вольного негра, пока он не прожил в штате шести месяцев? А еще называют правительство, и выдает себя за правительство, и ноо- ражает, будто оно правительство, а цылые полгода с места не может сдвинуться, чтоб забрать этого жувана, этого бродягу, вольного негра в белой рубашке и...

Папаша до того разошелся, что уж не замечал, куда его несут ноги, — а они его не боо-но-то саушались, так что он полетел вверх тормашками, наткнувшись на боочнок со свиной, обидрав себе коленки и приняв ругаться на чем свет стоит; больше всего досталось негру и правительству, ну и боочнику тоже, между прочим, ваетело поряаком. Он довольно долго скакаа по комнате, сначала на одной ноге, потом на другой, хватаясь то за одну коленку, то за другую, а потом как двинет ногой это ссакаа, потому что как раз на этой ноге сапог у него прорваа, и два пальца торчали наружу; он так взвыа, что у кого угодно поднялись бы волосы дыбом, повалился и стаа кататься по грязному полу, держаась за ушиленные пальцы, а ругаясь он теперь так, что пренная ругань просто в счет не шла. После он и сам это говорил. Ему прихотилось слышать старика Соуберри Хагана в его лучшие дни, так будто бы он и его пренваоша; но, по-моему, это уж он хватил через край.

После ужина отец взялся за бутылку и сказаа, что виски ему хватит на две попойки и одну белую гориллу. Это у него была такая поговорка. Я решил, что черев

какой-нибудь час он напьется вдребезги и уснет, а тогда и упряду ключ или выпилую кусок бревна и выберусь наружу! Либо то, либо другое. Он все пил и пил, а потом повалился на свое одеяло. Только мне не повезало. Он не уснул крепко, а все ворочался, стонаа, мычал и метался по все стороны; и так продолжалось очень долго. Под конец мне так захотелось спать, что глаза сами собой закрывались, и не успел я опомниться, как крепко спнул, а свеча осталась гореть.

Не знаю, сколько времени я проспал, как вдруг раздался страшный крик, и я вскочил на ноги. Отец как размахивавший метелась во все стороны и крича: «Змеи!» Он выговаривал, что змеи ползают у него по ногам, а потом вдруг подскочил да как взвизгнет, — говорит, будто она укусила его в щеку, — но я никаких змей не видел. Он начал бегать по комнате, все кругом, кругом, а сам кричит: «Сними ес! Сними ес! Она кусает меня в шею!» И не пилываа, чтобы у человека были такие дикие глаза! Скоро он выбился из сил, упал на пол, а сам зады- вавшись! Потом стаа кататься по полу быстро-быстро, раскидывая вещи во все стороны и молясь по воздуху буганам, кричаа и вопиаа, что его схватили черти. Мало-помалу он унылся и некоторое время лежал смирно, только стонаа, потом совсем затих и ни разу даже не вздохнул. Я услышала, как далеко в лесу ухает филин и этот шокки, и от этого тишина стаа еще страшнее. Отец навалился в углу. Вдруг он приподнялся на локте, приушавшись, наклонив голову набок, и говорит едва слышно:

— Топ-топ-топ — это мертвецы... топ-топ-топ... они за мной идут, только я-то с ними не пойду... Ох, вот они! Не троньте меня, не троньте! Руки прочь — они вывалились! Пустите... Ох, оставьте меня, несчастного, в покое!

Потом он стаа на четвереньки и пополз и все просит извинений, чтоб они его не трогали; завернувшись в одеяло и ползая под стол, а сам все просит, потом как заплакаа! Даже сквозь одеяло было слышно.

Скоро он сбросил одеяло, вскочил на ноги как пологиний, увидав меня и давай за мной гоняться. Он гоняа за мной по всей комнате со складным ножом, зваа меня Ангелом Смерти, кричаа, что он меня убьет, и тогда и уже больше не придумываа за ним. Я его просил успо-



контрься, говорил, что это я, Гек; а он только смеялся, да так страшно! И все ругался, ора и бегал за мной. Один раз, когда я завернулся и нырнул ему под руку, он схватил меня зади за куртку и... я уже думал бранить его тут мне и крышка, однако выскочил из куртки с бешеной силой и этим спасся. Скоро старик совсем издохся: сел на пол, привалившись спиной к двери, и сказал, что отдохнет минутку, а потом уж убьет меня. Но он подскочил под себя и сказал, что поспит сначала, наберется сил, а там посмотрит, кто тут есть.

Он очень скоро задремал. Тогда я взял старый стул с провалившимся сиденьем, влез на него как можно осторожнее, чтоб не наделять шуму, и снял со стены ружье. Я засунул в него шомпол, чтобы проверить, заряжено оно или нет, потом пристроил ружье на боковой с репой, а сам улегся за боюнком, нагнулся в папиру и стал дожидаться, когда он проснется. И до чего же медленно и тоскливо потянулось время!

ГЛАВА VII

— Вставай! Чего это ты выдумал?

Я открыл глаза и оглянулся, снисая понять, где же это я нахожусь. Солнце уже взошло, — значит, я спал долго. Надо мной стоял отец; лицо у него было довольно хмурое и к тому же опухшее. Он сказал:

— Что это ты затеял с ружьем?

Я сообразил, что он ничего не помнит из того, что вытворял ночью, и сказал:

— Кто-то к нам домился, вот я и подстерегал его. — А почему же ты меня не разбудил?

— Я попробовал, да ничего не вышло: не мог вас разбудить.

— Ну ладно... Да не стой тут без толку, нечего языком пачкаться! Поди погляди, не попалась ли на удочки рыба в джунглях. Я через минутку приду.

Он отпер дверь, и я побежал к реке. Я заметил, что вода по течению плавил обломки веток, всякий сор и даже куски коры, — значит, река начала подниматься. И подумал, что жила бы припеваючи, будь я теперь в городе. В июньское половодье мне всегда везло, потому что, как только оно начинается, вниз по реке плавут дрова и целые звенья плотов, иной раз бревен по двенадцати вместе; только и дела, что ловить их да продавать на аршинные склады и на лесопилку.

Я шел по берегу и одним глазом все высматривал от себя, а другим сзади, не принесет ли река что-нибудь интересное. И вдруг, гляжу, плавает челнок, да какой — прямо чудо! — футов тридцать или сорок, с четырьмя ватниками, несется воясю, как мишень. Я бросился в воду, толкнул вниз, по-двинулся, прямо в одежде, и попал в челнок. Я так и ждал, что кто-нибудь в нем догонит, — у нас часто так делают шутки ради, а когда подальше почти к самому челноку, вскакивают и подпрыгивают человека на смех. Но на этот раз вышло по-другому. Челнок и в самом деле был пустой, я влез в него и пригнал к берегу. Думаю, вот старик обрадуется, когда увидит: доладров десять такая штука стоит! Но когда я добрался до берега, отсюда еще не было видно, я даже челнок в устье речки, заросшее ивняком и диким виноградом; и тут мне пришло в голову другое: думаю, почему его подул, а потом, вместо того чтоб убежать и лезть, сплывший вниз по реке миль на пятьдесят и покинул подальше на одном месте, а то чего ради бездельничать, таскался пешком!

От хитрости это было совсем близко, и мне все казалось, будто лезет мой старик, но я все-таки спрятал челнок, а потом встал да и выгнул из-за куста; гляжу, отец уж спустился к реке по тропинке и целнался из ружья в какую-то птицу. Значит, он ничего не видел.

Когда он подошел, я усердно трудился, вытаскивая дрова. Он поругал меня немножко за то, что я так ко-

панось; но я ему наврал, будто бы сваялся в воду, оттого и провозился так долго. Я так и знал — папаша выметит, что я весь мокрый, и начнет расприпанивать. Мы сняли с удочек пять сомов и пошли домой.

Оба мы замаялись и легли после завтрака соснуть, и я принялся обдумывать, как бы мне отвалить вдову и отца, чтобы они меня не искали. Это было бы куда интересней, чем полагаться на удачу. Разве успеешь убегать далеко, пока они тебя хвостятся? — Мало ли что может случиться! Я долго ничего не мог придумать, а потом отец встал на минутку напиться воды и говорит:

— Если кто-нибудь в другой раз будет шататься по кругу дома, забудь меня, слышишь? Этот человек не добром сюда приходил. Я его застрелю. Если он еще придет, ты меня забудь, слышишь?

Он повалился и опять уснул: зато его слова надолго ли меня, что надо делать. Ну, думаю, теперь я так уверен, что никому и в голову не придет меня разыскивать.

Часам к двенадцати мы встали и пошли на берег. Река быстро поднималась, и по ней плыло много всякого ассы. Скоро показались зверо паота — девять бремен, связанных вместе. Мы взяли лодку и подтащили их к берегу. Потом победали. Всякий на месте папашин про сидел бы на реке весь день, чтобы наловить побольше, но это было не в его обычае. Девяти бремен на один раз для него было довольно; ему загорелось ехать в город продавать. Он меня запер, взял лодку и около полонны четвертого паотина плот на буксире в город. Я си обрзид, что в эту ночь он домой не вернется, подождал, пока, по моим расчетам, он отъедет подальше, потом вытащил пилу и опять принялся пилить то бревно. Прежде чем отец переправился на другой берег, я уже выбрался на волю; лодка вместе с паотом казалась просто пятнышком на воде где-то далеко-далеко.

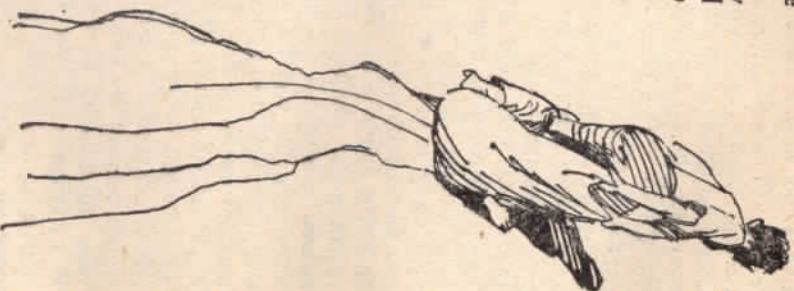
Я взял мешок кукурузной муки и отнес его туда, где был спрятан челнок, раздвинув ветви и спустив в него муку; потом отнес туда же свиную грудинку, потом бутылку с виски. Я забрал весь сахар и кофе и сколько нашлось пороха и дроби; забрал пыжи, забрал псадо и флягу из тыквы, забрал ковш и жестяную кружку, свою старую пилу, два осыда, котелок и кофейник. Я унес и удочки, и спички, и остальные вещи — все, что стояло хотя бы цент. Забрал все дочиста. Мне нужен был то

только, только другого топора не понадобится, кроме того, что лежал на аронах, а я уж знал, почему мне надо оставить на месте. Я вынес ружье, и теперь все было готово.

Я сильно подрыл стену, которая принадлежала в дыру и вытаскивал столько вещей. Сяды я хранил засыпан сверху землей, чтобы не видно было опилок. Потом вставил выпилсанный ствол бремена на старое место, подложил под него два камня, а один камень приткнул сбоку, потому что в этом месте бревно было выгнуто и не совсем доходило до земли. Шатов за пять ступеней, если не знать, что кукурузное бревно выпилсано, ни за что не было бы этого заметить, да еще и стена-то задняя — вряд ли кто-нибудь станет там шататься и разыскивать.

До самого челнока я шел по транше, чтобы не оставлять следов. Я постоял на берегу и посмотрел, что делается на реке. Все спокойно. Тогда я взял ружье и зашел поглубже в лес, хотел подстрелить какую-нибудь птицу, а потом увидел дикого поросенка: в задешних местах свиньи быстро дичают, если случайно забегут сюда с какой-нибудь луговой фермы. Я убил этого поросенка и понес его к хибарке.

Я взял топор и взломал дверь, причем постарался изрубить ее поспешнее; принес поросенка, подтащил его поближе к столу, перерубил ему шею топором и положил на землю, чтобы вытекла кровь (я говорю: «на землю», потому что в хибарке не было дощатого пола, а была старая земля — твердая, сильно утоптанная). Ну, потом я взял старый мешок, наложил в него больших камней, мешок мог снести, и поволок его от убитого поросенка к двери, а потом по лесу к реке и бросил в воду; он



пошел ко луну и скрылся из виду. Сразу бросилось в глаза, что здесь что-то таинично по земле. Мне очень хотелось, чтобы тут был Том Соьер: я знал, что таким делом он заинтересуется и сумеет придумать что-нибудь почуднее. В такого рода делах никто не сумел бы равняться лучше Тома Соьера.

Напоследок я вырвал у себя комок волос, хорошенько намочил топор в крови, прилепил волосы к дереву и зашвырнул топор в угол. Потом взял поросенка и пошел, завернув в куртку (чтобы не капала кровь), а когда отошел подальше от дома, вниз по течению реки, я бросил поросенка в реку. Тут мне пришла в голову еще одна штука. Я достал из чепанка мешок с мукой и стирнул пилу и отнес их в дом. Я поставил мешок на старое место и прорвал в нем снизу дыру пиллой, потому что ножом и вилок у нас не водилось, — отец, когда стригал, управлялся одним скальным ножом. Потом протянул мешок шагов сто по траве и через ивовые кусты к потоку от дома, где было мелкое озеро миль в пять шириной, все заросшее тростником, — уток там тоже под осень бывало очень много. С другой стороны из озера вытекала заболоченная речка или ручей, который тинулся на много миль — не знаю куда, только не впадав в реку. Муха селась всю дорогу, так что получила тоненькая белая стужка до самого озера. Я еще бросил там пилы и точильный камень, чтобы похоже было, будто бы это случайно. Потом завязал дыру в мешке веревочкой, чтобы мука больше не сыпалась, и отнес мешок вместе с пиллой обратно в чепанок.

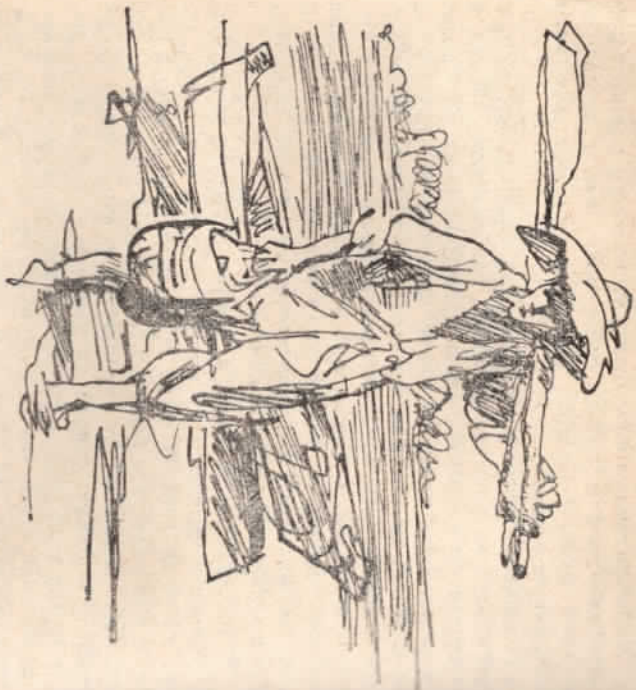
Когда почти совсем стемнело, я спустил чепанок вниз по реке до такого места, где нивы нависли над водой, и стал ждать, показой луну. Я привязал его покрепче к ниве, потом перекусил малость, а после того ушел на дно выкурить трубочку и обдумать свой план. Думаю себе: они пойдут по следу мешка с камнями до берега, а потом начнут искать мое тело в реке. А там пойдут по мучному следу до озера и по вытекающей из него речке искать преступников, которые убийли меня и украли вещи. В реке они ничего искать не станут, кроме моего мертвого тела. Скоро им это надоест, и больше они беспокоиться обо мне не будут. Ну и отдаленно, а я смогу жить там, где мне захочется. Остров Джерсона мне вполне подходит, и этот остров хорошо знаю, и

там никогда никого не бывает. А по ночам можно будет перебраться в город: пошатаюсь там и подтирю, что мне нужно. Остров Джерсона — самое для меня подходящее место.

Я довольно устал и не успел опомниться, как уснул. Проснувшись, я не сразу понял, где нахожусь. Я сел и взглянул по сторонам, даже испугался немного. Потом вспомнил. Река казалась очень широкой, во много миль шириной. Луна светила так ярко, что можно было рассмотреть все берега, которые плыли мимо, черные и с видоизмененными, очень далеко от берега. Кругом стояла мертвая тишина, по всему было выдать, что поздно, и было по-позднему. Вы понимаете, что я хочу сказать... не знаю, как это выразить словами.

Я хорошенько потянулся, зевнул и только хотел было отпавать чепанок и пуститься дальше, как вдруг по воде до меня донесся шум. Я прислушался и скоро понял, в чем дело: это был тот глухой ровный стук, какой слышишь, когда весла ворочаются в укучинах тихой воды. Я поглядел сквозь листву нивы — так и есть: далеко, около того берега, плывет лодка. Я не мог разглядеть, сколько в ней человек. Думаю, уж не отец ли, хоть и это не ждал. Он спустился ниже меня по течению, а потом подгреб к берегу по тихой воде, приняв проплывавшую лодку от меня, что я мог бы догнаться до него лодком ружья. И правда, это был отец — да еще трезвый, судя по тому, как он работал веслами.

Я не стал терять времени. В следующую минуту я уже лезла вниз по течению, без шума, но быстро, держась в тени берега. Я сделал миль две с половиной, потом выбрался на четверть мили ближе к середине реки, потому что скоро должна была показаться пристань и амбаны оттуда могли увидеть и окликнуть меня. Я стараясь держаться среди плывущих бревен, а потом лег на дно чепанка и пустил его по течению. Я лежал, отталкивая и покуривая трубочку, и глядел в небо, — ни облачка на нем. Небо кажется таким глубоким, когда лежишь на спине в лунную ночь; раньше я этого не знал. И как далеко слышно по воде в такую ночь! Я слышал, как люди разговаривают на пристани. Слышал даже все, что они говорят, — все до единого слова. Один сказал, что теперь дни становятся все длиннее, а ночи все короче. Другой ответил, что эта ночь, ему кажется, не из



коротких, — и тут они засмеялись; он повторил свои слова — и они опять засмеялись; потом разбудил третьего и со смехом пересказал ему; только он не засмеялся, — он буркнул что-то отрицательное и сказал, чтоб его оставили в покое. Первый заметил, что он непременно это расскажет своей старухе, — ей, наверно, очень понравится, но это суще пустяки по сравнению с теми шуточками, какие он отпускал в свое время. Я слышала, как один из них сказал, что сейчас около трех часов и он надеется — рассвет задержится не больше чем на неделю. После этого голода стали все удаляться и удаляться, и я уже не мог разобрать слов, слышал только некий говор для время от времени смех, и то, казалось, очень издавна.

Теперь я был много ниже пристани. Я привстал и увидел мидя в двух с половиной ниже по течению островов Джексона, весь заросший лесом, — он стоял посреди не реки, большой, темный и массивный, словно паровоз без огня. Выше острова не видно было и следов отмели — вся она была теперь под водой.

До острова я добрался в два счета. Я стрелой пролетел мимо верхней его части — такое быстрое было течение, — потом вошел в столбчую воду и пристал с той стороны, которая ближе к извилистому берегу. Я направил челнок в глубокому выемку берега, которую знал давно; мне пришлось раздвинуть ветви ивы, чтобы попасть туда; а когда я привлаз челнок, снаружи его ничего не было видно.

И вышла на берег, села на бревно в верхней части острова и стала смотреть на широкую реку, на черные паводковые бревна и на город в трех милях отсюда, где еще остались три-четыре оловья. Огромный паут павы погребли сейчас он был милье выше острова, и посредине паута горел фонарь. Я смотрел, как он подползает все ближе, а когда он поравнялся с тем местом, где я стоял, кто-то там крикнул: «Эй, на корме Вери правей!» И слышала это так ясно, как будто человек стоял со мной рядом.

Мне стало понемногу светать; я пошла в лес и легла отдохнуть перед завтраком.

ГЛАВА VIII

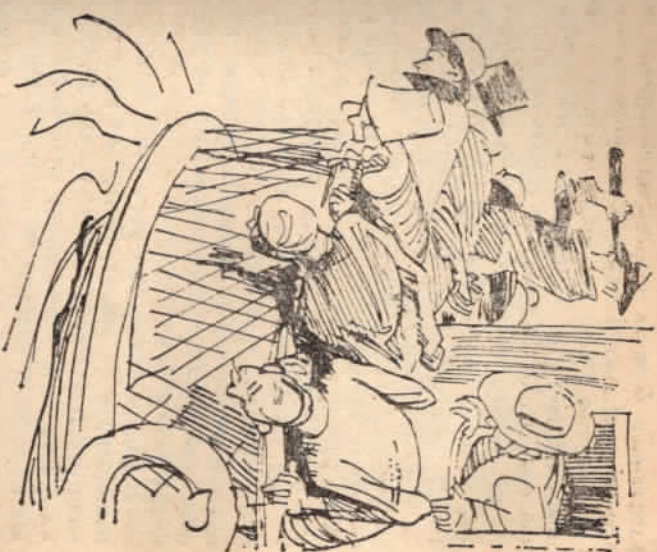
Когда я проснулся, солнце поднялось так высоко, что, наверно, было уже больше восьми часов. Я лежал на траве, в прохладной тени, думая о разных разностях, и чувствовал себя довольно приятно, потому что хорошо отдохнул. В просветы между аистовой видной было солнечно, но вообще тут росла все больше высокие деревья, и являлись очень мрачно. Там, где солнечный свет проникал сквозь аистов, на земле лежали пятнышки яркого желтого цвета, и эти пятнышки слегка двигались, когда шелестел ветерок. Две бабки усаживались на скамью, глядя на меня, затараторили очень дружелюбно.

И развешенясь, мне было очень хорошо и совсем не хотелось вставать и готовить завтрак. Я было опять за-спал, как вдруг мне послышалось, что где-то выше по реке раскатилось глухое «буль». Я проснулся, приподнялся на локте и прислушался; через некоторое время слышу опять то же самое. Я вскопич, побежал на берег и посмотрел сквозь туман; глужу, по воде расплывае-ся много дымка. Довольно далеко от меня, почти наравне с

пристанью. А вниз по реке идет пароходик, битком набитый народом. Теперь-то я понял, в чем дело! Бум! Смотрю, белый клуб дыма оторвался от парохода. Это они, понимаете ли, стреляли из пушки над водой, чтобы мой труп всплыл наверх.

Я здорово проголодался, только разводить костер мне было никак нельзя, потому что они могли увидеть дым. Я сидел, глядя на пороховой дым, и прислушивался к выстрелам. Река в этом месте доходила до мши и ширину, а в летнее утро смотреть на нее всегда приятно, так что я проводила бы время очень недурно, глядя, как ловят мой труп, если бы только было чего поест. И тут я вдруг вспомнил, что при этом всегда напивают ртуть в коврити хаеба и пускают по воде, потому что хаеб всегда плавает примехонько туда, где лежит утопленник, и останавливается над ним. Ну, думаю, надо смотреть и оба: как бы не прозевать, если какая-нибудь коврити подплывет ко мне поближе. Я перебрался на иланйонский край острова: думаю — может, мне и повезет. И не ошибся: гляжу, плавает большая коврити, и я уже было подцепил ее длинной палкой, да поскользнулся, и она проплыла мимо. Конечно, я стал там, где течение ближе всего подходит к берегу, — настолько-то я смыслил. Через некоторое время подплывает другая коврити, и на этот раз я ее не упустил. Я вытащил затычку, вытряхнул небольшой шарик ртути, запустил в коврингу зубом. Хаеб был белый, какой только господи едят, не то что простейшая кукурузная лепешка.

Я выбрал хорошенькое местечко, где листва была погуще, и уселся на бревно, очень довольный, жуя хаеб и поглядывая на пароходик. И вдруг меня осенило. Говорю себе: уж, наверно, вдова, или пастор, или еще кто-нибудь монался, чтобы этот хаеб меня отыскал. И что же, так оно и вышло. Значит, правильно: молитва доходит, — то есть в том случае, когда молятся такие люди, как вдова или пастор, а моя молитва не подействует. И, по-моему, она только у праведников и действует. Я закурил трубочку и довольно долго сидел — курить и смотрел, что делается. Пароходик шел вниз по течению, и я подумал, что, когда он подойдет ближе, можно будет разглядеть, кто там на борту, а пароход должен был подойти совсем банко к берегу, в том месте, куда пришло хаеб.



Как только пароходик подошел поближе, я выколол трубку и побежал туда, где я выловил хаеб, и дер за бревно на берегу, на открытом месте. Бревно было с развилкой, и я стал в нее смотреть.

Скоро пароходик поравнялся с берегом; он шел так близко от острова, что можно было перекинуть сходы и сойти на берег. На пароходе были почти все, кого я знал: отец, судья Татчер, Бекки Татчер, Джо Гарпер, Том Сойер со старухой тетей Полли, Сидом и Марии и еще много других. Все разговаривали про убийство. Но тут наехала капитан и сказала:

— Теперь смотрите хорошенько! Здесь течение поднимает неспо ближе к берегу; может, тело выбросило на берег и оно застряло где-нибудь в кустах у самой воды. Но в таком случае, будем надеяться.

Ну, а я надеялся совсем на другое. Все они стояли на борту и, наклонившись над перилами, старались хорошо — глядели чуть ли не в самое лицо мне. Я-то их отлично видел, а они меня нет. Потом капитан skoман-

дова: «От борта!» — и пушка выпалила прямо в меня, так что я оголох от грохота и чуть не ослеп от дыма: думал — тут мне и конец. Если бы пушка у них была даярена ядром, то они наверняка получили бы то самое мертвое тело, за которым гонялись. Ну, опоминись — гляжу, ничего мне не сделалось, цел, слава богу. Пароход прошел мимо и скрылся из виду, обогнув мыс. Времени от времени я слышал выстрелы, но все дальше и дальше; а после того как прошло около часа, и совсем ничего не стало слышно. Остров был в три миль дальней. Я решил, что они доехали до конца острова и махнули рукой на это дело. Оказалось, однако, что пока еще нет. Они обогнули остров и пошли под парами вверх по миссуринскому рукаву, изредка стреляя из пушки. Я перебрался на ту сторону острова и стал на них смотреть. Поравнявшись с верхним концом острова, пароходик перестал стрелять, повернул к миссуринскому берегу и пошел обратно в город.

Я понял, что теперь могу успокоиться. Больше никто меня искать не станет. Я выбрал свои пожитки из чеднока и устроил себе уютное жилище в чаще леса. Из одоиды соорудил что-то вроде палатки, для того чтобы пощип не мочило дождем. Я поймал сомненка, распорол ему брюхо пидой, а на закате развел костер и поужинал. Потом закинул удочку, чтобы наловить рыбы к завтраку.

Когда стемнело, я усеялся у костра с трубкой и чувствовал себя сперва очень недурно, а когда соскучился, то пошел на берег и слушал, как падает река, считая звезды, бремена и пидоты, которые падали мимо, а потом лег спать. Нет лучше способа провести время, когда соскучишься: уснешь, а там, глядишь, куда и скука денется.

Так прошло три дня и три ночи. Никакого разнообразия — все одно и то же. Зато на четвертый день и обошел кругом весь остров, исследовав его вдоль и поперек. Я был тут хозяин, весь остров принадлежал мне, так сказать, — надо же было узнать о нем побольше, а главное, надо было убить время. Я нашел много земляники, крупной, совсем спелой, зеленый виноград и зеленую малину, а ежевика только-только начала поспевать. «Все это со временем придется очень кстати», — подумал я.



Ну, я пошел шататься по лесу и забрел в самую гавбу, наконец, к нижнему концу острова. Со мной было ружье, и ничего не подстрелил: я его взял для защиты, и потому-нибудь дичь решила добыть побанке к дому. Тут и чуть не наступил на здоровенную змею, но она и уползла от меня, называясь среди травы и цветов, а потом — и вдруг наступил прямо на головни костра, который еще дымился.

Сразу у меня заколотилось. Я не стал особенно раздумывать, осторожно спустил курок, повернул и, прыгнув, побежал со всех ног обратно. Времени от времени я останавливался на минутку там, где листья была потуже, и прислушивался, но дышал так громко, что ничего не слышал, а там опять и опять. Если я видел пеню, то принимал его за человека, если сучок трещал у меня под ногой, я чувствовал себя так, будто дыхание мне кто-то переманил пополам и у меня осталась короткая половина.

Когда я добрался до дому, мне было здорово не по себе, душа у меня совсем ушла в пятки. «Однако, дурно сейчас не время валить дурака». Я поскорей собрал свои пожитки и отнес их в чеднок, чтобы они не попали на виду; затаскал огонь и разбросал золу кругом, чтобы костер был похож на прошлогодний, а потом зашел на дерево.

Я должен был, просидев в этом дереве часа два, но так ничего и не увидел и не услышал, — мне только чу-

дилось, будто я слышу и вижу много всякой всячины. Ну, не сидеть же там целый век! В конце концов и взяла да и слез, засела в чаще и все время держалась настороже. Поелась мне усталость только ягод да того, что осталась от завтрака.

К тому времени, как стемнело, я здорово проголодалась. И вот, когда стало совсем темно, я потихоньку спустилась к реке и, пока луна не взошла, переправилась на надинейский берег — за четверть миль от острова. Там я забралась в лес, сварила себе ужин и совсем было решила остаться на ночь, как вдруг слышу: «цок-цок, цок-цок»... и думаю: это лошади бегут, а потом слышу и голоса. Я поскорее собралась все опять в челнок, а сам, крадучись, пошла по лесу — не узнаю ли чего-нибудь. Отошла я не так далеко и вдруг слышу голос:

— Нам лучше остановиться здесь, если найдем удобное место; лошади совсем выдохлись. Давайте посмотрим...

Я не стал дожидаться, оттолкнулся от берега и тихонько переправился обратно. Челнок я привязала на старом месте и решил, что переночую в нем.

Спал я невнятно: почему-то никак не мог уснуть, все думал. И каждый раз, как просыпался, мне все чудилось, будто кто-то схватил меня за шиворот. Так что сон не пошел мне в пользу. В конце концов говорю себе: «Нет, так невозможно! Надо узнать, кто тут есть на острове вместе со мной. Хоть тресну, да узнаю!» И после этого мне сразу стало как-то легче.

Я взяла ведро, оттолкнулся шата на два и пошел челнок вдоль берега, держась все время в тени. Взошла луна; там, где не было тени, было светло, почти как днем. Я греб чуть ли не целый час; везде было тихо, и все спало мертвым сном. За это время я успел добраться до конца острова. Подула прохладный ветерок, поднимая рябь, — значит, ночь была на исходе. Я шевельнула носом и повернула челнок носом к берегу, потом вывел и крадучись пошла к опушке леса. Там я села на бревно и стала смотреть сквозь листву. Я увидела, как луна упала с вахты и реку начало заволакивать тьмой; потом на деревьях забледела светлая полоска, — и я поняла, что скоро рассветет. Тогда я взяла ружье и, на каждом шагу останавливаясь и прислушиваясь, пошла к тому месту, где

я спряталась на ялду от костра.

Видно мне что-то не везло: я никак не мог найти то место. Потом, смотрю, так и есть: на ялде деревья мешают огню. И стала подкрадываться, осторожно и не топились. Пошла поближе; смотрю — на ялде лежит человек. Я чуть не умер от страха. Голова у него была закутана одеялом и он уткнулся носом чуть не в самый костер. Я сидела за ветками футах в шести от костра и не сводила с него глаз. Теперь уже стало светлеть перед зарей. Скоро человек зашевелился, потянулся и сбросил одеяло. Гляжу — а это Даним, негр мисс Уотсон! Ну и обрадовалась же я! Говорю ему:

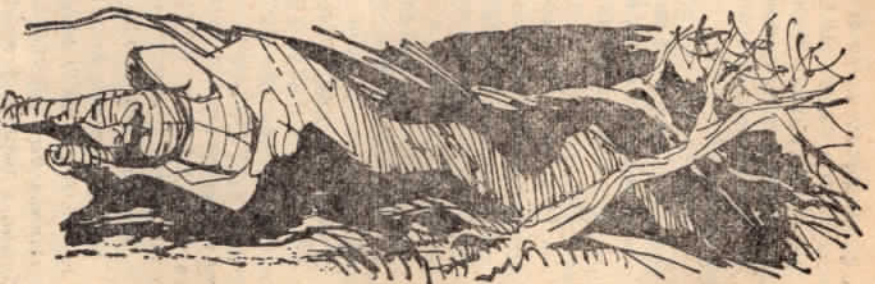
Здравствуй, Джими! — и вылез из кустов.

Он как подскокит да как закричит на меня глаза. Потом бросился на колени, сложил руки и начал упрашивать.

Не тронь меня, не тронь! И мертвецов никогда не обижал. Я их всегда любил, все, что мог, для них делал. Ступай обратно в реку, откуда пришел, оставь в покое старика Джима, он с тобой всегда дружил.

Ну, мне недолго пришлось ему объяснить, что я не мертвец. Уж очень я обрадовалась Джиму. Теперь мне надо не так тоскливо. Я не боялся, что он станет кому-нибудь рассказывать, где я скрываюсь, — я так ему и сказала. Я говорю, а он сидел и смотрел на меня, а сам все молчал. Наконец я сказала:

— Теперь уже совсем рассвело. Даним-ка завтракает. Раньше костер погас.



— А какой толк его разводить, когда варить все равно нечего, кроме земляники и всякой дряни! Да ведь у тебя есть ружье, верно? Значит, можно раздобыть чего-нибудь и поучше земляники.

— Земляника и всякая дрянь...— говорю я.— Эти ты и питаешься?

— Ничего другого не мог достать,— говорит он.

— Да с каких же пор ты на острове, Джим?

— С тех самых пор, как тебя убил.

— Неужто все время?

— Ну да.

— И ничего не ел, кроме этой дряни?

— Да, сэр, совсем ничего.

— Да ведь ты, верно, с голоду помираешь?

— Просто лошадь съел был Верно, съел был А ты давно на острове?

— С той ночи, как меня убил.

— Да ну! А что же ты ел? Ах да, ведь у тебя ружье! Да-да, у тебя ружье. Это хорошо. Ты теперь подстрелен что-нибудь, а я развею костер.

Мы с ним пошли туда, где был спрятан челнок, и пока он разводил костер на поляне под деревьями, и принес мукку, грудинку, кофе, кофейник, скороварку, сахар и жестяные кружки, так что Джим прямо ослеп от изумления: он думал, что все это кощавство. Да еще я поймал порядочного сома, а Джим выпотрошил его своим ножом и поджарил.

Когда завтрак был готов, мы развалились на траве и съели его с пылу горячим. Джим ел так, что за ушами трещало,— уж очень он изголодался. Мы насылись до отвала, а потом легли отдыхать.

Немного погодя Джим начал:

— Послушайте-ка, Гек, а кого ж это убили в той мис-барке, если не тебя?

Тут я рассказал ему все как есть, а он говорит:

— Ловко! Даже Тому Соьеру лучше не придумать.

Я спросил:

— А ты как сюда попал, Джим, зачем тебя при-несло?

Он замаялся и, должно быть, около минуты молчал, потом сказал:

— Может, лучше не говорить...

— Почему, Джим?

Мало ли почему... Только ты про меня никому не говори. Ведь не скажешь, Гек?

— Пропадет же мне, если скажу!

— Ну ладно, я тебе верю, Гек. Я... я убежден.

Джим!

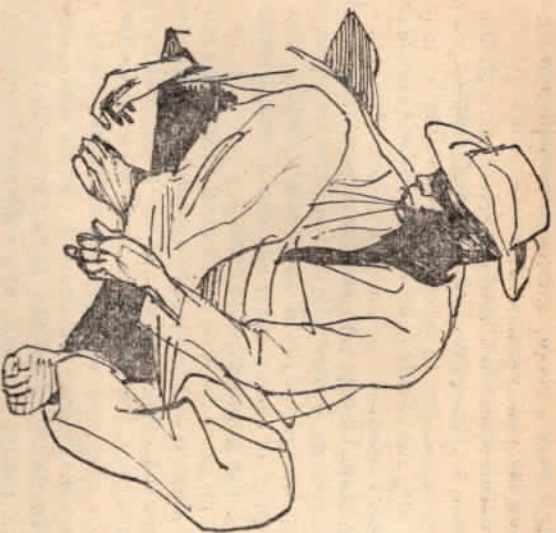
— Смотри же, ты обещал не выдавать,— сам знаешь, что обещал, Гек!

— Да уж ладно. Обещал не выдавать — и не выдам! Ничего ни-ей-е-е, не выдам! Пускай все меня назовут позатым аболдиционистом, пускай презирают за это — не выдавать. Я никому не скажу, да и вообще я туда больше не вернусь. Так что вадай рассказывать.

Так вот, видишь ли, как было дело. Старая хозяйка — это мисс Уотсон — все ко мне придиралась, просто этого не давала, а все-таки обещала, что в Орлеан меня ни за что не продаст. Но только я заметил, что послезавтра утром около дома все вертятся один работяга, и эта беспоконность. Поздно вечером я подкрался к двери, а дверь-то была не совсем прикрыта, — и слышу: народ колыбка говорит вдове, что собирается продать сына в Орлеан, на Юг; ей бы не хотелось, но только за сына дают восемьсот долларов, а против такой кучи денег так же устоять! Вдова начала ее уговаривать, чтобы она не продавала, только я-то не стал дожидаться, как у них кончится, взял да и дал тигу.

Потеснясь я с горы, думаю, стигну лодку где-нибудь на речке выше города. Народ еще не спал, вот я и спрятавшись в старой бочарне на берегу и стал ждать, пока все разойдется. Так и просидел всю ночь. Все время кто-нибудь потаскился поблизости. Часов около шести утра мимо лодки проплывали лодки, а в восемь или девять в какой-то лодке только про то и говорили, что твой папаша пришел в город и рассказывает, будто тебя убил. В лодке сидели дамы и господа, ехали осматривать место убийства. Много раз лодки приставали к берегу для отдыха, прежде чем перенравиться на ту сторону; вот из разговоров я и узнал про убийство. Мне было очень жаль, что тебя убил, Гек... Ну, теперь-то, конечно, не жаль.

И пролежал под стружками целый день. Есть очень хотелось, а бояться я не боялся: я знал, что вдова со старым хозяйкой сразу после завтрака пойдут на молитвенное собрание и там пробудут целый день, а про меня по-прежнему, что я еще на рассвете ушел пасти коров: хватят-



ся меня только вечером, как стемнеет. Остальная припуга меня тоже не хватит, это я знал: все улизнул гулять, пока старух дома нету.

Ну ладно... Как только стемнеет, я вылез и пошел на берег против течения, прошел, должно быть, миль две, а то и больше, — там уж и домов никаких нет. Тогда я решил, что мне дежать. Понимаешь, если бы я пошел пешком, меня выслали бы собаки; а украсть дождю и перебраться на ту сторону — дожди хватятся, узнают, где я пристаю на той стороне, и найдут мой след. Нет, думаю, дай меня самое подходящее дело — плот: он следов не оставляет.

Скоро, вижу, из-за поворота показался огонек. Я бросился в воду и поплыл, а сам только перед собою брел. Заплыл на середину реки, спрятался среди плавучих бревен, а голову держу пониже и гребу против течения — жаду, пока плот подойдет. Потом поплыл к берегу и уцепился за нее. Тут наши обака, стало совсем темно, я вылез и лег на плот. Люди там собрались на середине, поближе к фонарю. Река все поднималась, течение было сильное, и я сообщал, что к четверем часам приплыву с ними миль двадцать пять вниз по реке, а там

вода расступом, сдвину в воду, доплыву до берега и уйду в лес на противоположной стороне.

Только не повезло мне, мы уже поравнялись с островами и марут, смотрю, на корму идет человек с фонарем. Ничего, дождик нечего, спрягнул за борт, да и поплыл в сторону. Я думаю, что где угодно вылезу, да раз уж вылезешь — берег уж очень крутой. Пришлось поплыть до нижнего конца острова, пока не нашел подходящего места. Я спрятался в лесу, решил на плоты вылезать не садиться, раз там расхаживают с фонарями так и вперед. Трубка, пачка табаку и спички были у меня в кармане, они не промокли: все оказалось в порядке. Значит, все это время ты не ел ни хлеба, ни мяса? Что же ты не поймал себе черепаху?

Как же ее поймать? На нее ведь не бросишься и не сажу, а камнем ее разве убьешь? Да и как это можно их доить? А днем я на берег не выходил.

Да, это верно. Тебе, конечно, пришлось все время сидеть в лесу. Ты слышал как стреляли из пушки?

Видишь, я знаю, что это тебе шут. Я видел, как они палили мимо, — глядел на них из-за кустов.

Какие-то птицы порхнули мимо — пролетят два шара и свист. Джим сказал, что это к дождю. Есть такая примета: если выпадает перепархивают с места на место, значит, будет дождь; ну и с птицами, наверно, то же самое. Я хотел поймать несколько штук, только Джим не позволил. Он сказал, что это к смерти. У него отец был очень болен; кто-то из детей поймал птицу, и старуха ба-врина сказала, что отец умрет, — так оно и вышло.

А еще Джим сказал, что не надо пересчитывать, сколько чего готовиться к обеде, это не к добру. То же самое, как вытряхивать скатерть после захода солнца. А еще если у человека есть пчелы и этот человек умрет, то пчелы непременно нужно об этом сказать на следующее утро, до того как взойдет солнце, а не то они ослабеют, перестанут работать и передохнут. Джим сказал, будто пчелы не жалуют дураков, только я этому не верю: я сам несколько раз пробовал и они меня не кусали.

Все что из этого я слышал и раньше, только не все. Я знал много примет и сам говорил, что почти все правду. По-моему, выходило, что все приметы не к добру, а потому и спросил Джима, не бывает ли счастливых примет. Он сказал:

— Совсем мало, и то от них никакой нет пользы. Чем тебе знать, что скоро счастье привалит тебе? Чтобы избавиться от него?

А еще он сказал:

— Если у тебя волосатые руки и волосатая грудь — это верная примета, что разбогатеешь. Ну, от такой приметы еще есть какой-то прок, ведь когда-то оно будет! Понимаешь, может, ты сначала долго будешь бедный и, может, с горю возьмешь да и повесишься, если не будешь знать, что потом разбогатеешь.

— А у тебя волосатые руки и грудь, Джим?

— Что же ты спрашиваешь? Не видишь разве сам, что волосатые?

— Ну и что ж, ты богатый?

— Нет. Зато один раз был богатый и еще когда-нибудь разбогатею. Один раз у меня было четырнадцать долларов, только я стал торговать и разорился.

— Чем же ты торговал, Джим?

— Да сначала скотом.

— Каким скотом?

— Ну известно каким — живым. Купил за десять долларов корову. Но только больше я своими деньгами так бросаться не стану. Корову-то возьми да и съелкин у меня на руках.

— Значит, ты потерял десять долларов?

— Нет, потерял-то я не все десять, я потерял около девяти долларов, — шкуру и сало я продал за доллар девять центов.

— Стало быть, у тебя осталось пять долларов девять центов. Ну и что ж, ты опять их пустил в оборот?

— А то как же! Знаешь одного негра, еще у него хозяин старый мистер Брайли? Ну вот, он завел банк и сказал, что кто внесет один доллар, через год получишь еще четыре доллара. Все негры внесли, только денег у них было мало. У меня много. Вот мне и захотелось поучить больше четырех долларов, я ему и сказал, что, если он мне столько не даст, я сам открою банк. Ну, а этому негру, конечно, не хотелось, чтоб я тоже заводил банк, двум банкам у нас десять нечего, — он и сказал, что если я вложу пять долларов, то в конце года он мне выплатит тридцать пять.

Я и вложил. Думаю: сейчас же пушу и эти тридцать пять долларов в оборот, чтоб деньги зря не лежали.

Понимая, ловит его Боб, поймал большую плоскодонку, а его конин про это не знал; я ее купил и сказал, что был ему в конце года тридцать пять долларов; только плоскодонку украл в ту же ночь, а на другой день одного негра обманул, что банк лопнул. Так никто из нас не получил денег.

А куда же ты девал десять центов, Джим?

Сначала я хотел их истратить, а потом увидел сон, и во сне голос сказал мне, чтоб я их отдал одному негру, попросил его Вааам, а если попросту — Вааамов осеа. Он и приказал придурковатый, надо тебе сказать. Зато, говорят, он счастливый, а мне, вижу, все что-то не везет. Голос сказал: «Пускай Вааам пустит десять центов в рот, а придурок отдаст тебе!» Ну, Вааам деньги взял, и потом в церкви усаждал от проповедника, будто кто да-ет бедному, тот дает богу, и ему за это воздастся сторицей. Он взял и отдал деньги нищему, а сам стал ждать, что из этого выйдет.

Ну, и что же вышло, Джим?

Из ничего не вышло. Я никак не мог получить денег обратно, и Вааам тоже не получил. Теперь уж я знаю и долгу никому не дам, разве только под залог. А проповедник еще говорит, что непременно получишь из его раз больше! Мне бы хоть свои десять центов получить обратно, и я бы был рад, и то было бы дадно. Ну, Джим, это еще не беда, раз ты все равно когда-нибудь разбогатеешь.

Да и ведь и теперь богатый, коли рассудить. И ведь сам себе хозяин, а за меня дают восемьсот долларов. Кабы мне эти деньги, я бы и не просил больше.

ГЛАВА IX

Мне захотелось еще раз пойти взглянуть на одно место, которое я приметил посреднике острова, когда его осматривал, вот мы с Джимом и отправились и скоро туда добрались, потому что остров был всего в три мили длин и в четверть миль шириной.

Это был довольно длинный и крутой холм, или горка, футах в сорок высотой. Мы еле-еле вскарабкались на вершину — там были крутые склоны и непродолжительные скамейки. Мы исходили и излазили все кругом и

в конце концов наши хорошу, просторную пещеру почти на самом верху, на той стороне, что ближе к Мамнойсу. Пещера была бошная, как двести комнат в доме, и Джим мог стоять в ней выпрямившись. Внутри было прохладно. Джим решил сейчас же перенести туда наши вещи, но я сказал, что не знаем все время ладить вверх и вниз.

Джим думал, что если мы спрячем челнок в укромном месте и перетаскаем все пожитки в пещеру, то сможем прятаться здесь, когда кто-нибудь переправится на остров, и без собак нас никто не найдет. А кроме этого, теньцы недаром предсказывали дождь, так неудачно я хочу, чтобы все промокло?

Мы вернулись, взяли челнок, подплыли к самой пещере и перетаскали туда все наши вещи. Потом нанесли такое место поблизости, где можно было спрятать челнок под густыми ивами. Мы сняли несколько рыб с крючков, опять закинули удочки и пошли готовить обед.

Вход в пещеру оказался достаточно широк, для того чтобы вкатыть в нее бочонок; с одной стороны выхода под немощью приподнимался, и там было ровное место, очень удобное для очага. Мы развели там огонь и спарили обед.

Расстелив одеяла прямо на полу, мы улеглись на них и пообедали. Все оставшие вещи мы разместили в галерии пещеры так, чтоб они были под рукой. Скоро потемнело, и начала сверкать молния, загремел гром; انداخت, птицы-то оказались правы. Сейчас же пошла и дождик, сильный как из ведра, а такого ветра я еще никогда не видывал. Это была самая настоящая летняя гроза. Стало так темно, что все кругом казалось черно-синим и очень красивым; а дождь хлестал так сильно и так часто, что деревья чуть подавше виднелись смутно и как будто сквозь паутину; а то вдруг налетит вихрь, приплет деревья и вывернет листья светлой стороной, наизнанку; а после того поднимется такой зловонный ветер, что деревья машут ветвями, как бешеными; а когда тьма сделается всего черней и гуще, вдруг — фсс! — и стало светло, как днем; стало видно на сотни шагов дальше прелевого, стало видно, как гнутся на ветру верхушки деревьев; а через секунду опять сделалось темно, как в пропасти, и со страшной силой загрохотал гром, а потом раскатился по небу, все ниже, ниже, словно пыльные брызги.

на до лестнице, — знаете, когда лестница длинная, а бочонок можно подскатывать.

Вот это здорово, Джим! — сказал я. — Я бы никуда отсюда не ушел. Дай-ка мне еще кусок рыбы да хорошую кургузую лепешку.

Ну вот видишь, а без Джима тебе пришлось бы сидеть. Сидел бы ты в лесу без обеда да еще промок бы до костей. Да, да, сынок! Куры уж знают, когда дождик идет, и птицы в лесу тоже.

Дней десять или двенадцать подрыл вода в реке все вынималась и поднималась и наконец вышла из берегов. И низинах остров залив водой на три-четыре фута, и маннойский берег тоже. По эту сторону острова река стала шире на много миль, а миссурийская сторона была, так и осталась в подлинной ширине, потому что миссурийский берег — это сплошная стена утесов.

Днем мы ездили по всему острову на челноке. В галерии леса было очень прохладно и тенисто, даже когда солнце жарило во всю. Мы пробирались кое-как между деревьями, а местами дикий виноград заплел все так густо, что приходилось подаваться назад и искать другую дорожку. Ну, и на каждом поваленном дереве сидели крошечные, белые и прочая жинистость; а после того как вода поднялась лесом-дурой, они от голода сделались такие сморщенные, что подвезжай и прямо хоть руками их бери, кому хочешь! только, конечно, не жми и не черпахи — эти поединались в воду. На горе, где была наша пещера, они были кишели. Если бы мы захотели, то могли бы завести себе сколько угодно ручных зверей.

Как-то вечером мы поймали небольшое звено от плохой хорошие сосновые доски. Звено было в двенадцать футов шириной и в пятнадцать-шестнадцать футов длиной, а над водой выдавался дюймов на шесть, на семь пропел ровный настил. Иной раз мы видели днем, как звено проваливалось бревна, только не ловили их: при дневном свете мы носу не показывали из пещеры.

В другой раз, перед самым рассветом, мы причалили к первому концу острова — и вдруг видим: с западной стороны нависает к нам целый дом. Дом был двухэтажный и заросло накренился. Мы подвезали и забирались на него — влезли в окно верхнего этажа. Но было еще совсем темно, ничего не видно; тогда мы вылезли, привяли челнок и сели дожидаться, когда рассветет.

Не успели мы добратся до нижнего конца острова, как началось светать. Мы заглянули в окно. Мы разгадали кроватъ, стол, два старых стула, и еще на полу валялось много разных вещей, а на стене висела одежда. В диване угу лежало что-то вроде человека. Джим окликнул — Эй, ты!

Но тот не пошевелился. Тогда и я тоже окликнул его. А потом Джим сказал:

— Он не спит — он мертвый. Ты не ходи, я сам поведу погляжу.

Он влез в окно, подошел к лежащему человеку, нагнулся, поглядел и говорит:

— Это мертвец. Да еще к тому же и голый. Его застрелили сюда. Должно быть, дни два или три, как он умер. Поди сюда, Гек, только не смотри ему в лицо — уж очень страшно.

Я совсем не стал на него смотреть. Джим прикрыв его каким-то старым тряпьем, только это было, ни к чему: я и глядеть-то на него не хотел. На полу валялись старые, замасленные карты, пустые бутылки из-под напитков и еще две маски из черного сукна, а все стены были сплошь исписаны самыми скверными словами и разрываны углем. На стене висели два заношенных ситцевых плаття, соломенная шляпка, какие-то юбки и рубашки и мужская одежда. Мы много кое-чего снесли в чемодан — могло пригодиться. На полу валялась старая соломенная шляпа, какие носят мальчишки; я ее тоже захватил. А еще там лежала бутылка из-под молока, заткнутая тряпкой, чтоб ребенку сосать. Мы бы взяли бутылку, да только она была разбита. Были еще обшарпанный старинный сундук и чемодан со сломаанными застежками, и тут и другой стоял раскрытый, но ничего стоящего в них не осталось. По тому, как были разбросаны вещи, видно было, что хозяева убежали впорох и не могли унести с собой все пожитки.

Нам досталось: старый жестяной фонарь, большой нож без ручки, новенький карманный ножик фирмы Вирлоу (такой ножик ни в одной лавке не купишь дешевле, чем за полдоллара), много сабных свечей, жестяной подсвечник, фляжка, жестяная кружка, равное патное одеяло, дамская сумочка с иглоками, булавками, нитками, куском воска, пуговицами и прочей чепухой, топорик и гвозди, удочка потягившая моего мизинца, с болящими



ни прочими, свернутая в трубку оленья шкура, собачий ошейник, подкова, пугрышки из-под декарств, безвозможно причинную скребницу, а Джим — старый смирный от скрипки и деревянную ногу. Ремни вот только что потерялись, а так совсем хорошая нога, разве только что

мне она была длинна, а Джиму коротка. А другую шкуру так и не нашли, сколько ни искали.

Так что, вообще говоря, улов был неплохой. Когда мы собрались отчаливать от дома, совсем уже рассвело. Мы были на четверть мили ниже острова; я велел Джиму лечь на дно челнока и прикрыть его ватным одеялом, — а то, если б он сидел, издали было бы видно, что это негр. Я стал править к индийскому берегу с таким расчетом, чтобы нас отнесло на поминки вниз по течению, потом держался под самым берегом, в полосу сточной воды. Мы вернулись на остров без всяких приключений, никого не повстречав.

ГЛАВА X

После завтрака мне пришла охота поговорить про мертвеца и про то, как его убили, только Джим не хотел. Он сказал, что этим можно накликать беду, а кроме того, как бы мертвец не повалился к нам таскаться по чамам, — ведь человек, который не похоронен, скорей станет везде шалиться, чем тот, который устроен и лежит себе спокойно на своем месте. Это, пожалуй, было верно, так что я спорить не стал, только все думал об этом: мне было бы приятно было знать, кто же его застрелил и для чего.

Мы хорошенько осмотрели одежду, которая нам досталась, и нашли восемь долааров серебром, защитные и подкладку старого пальто из попона. Джим сказал, что эти люди, наверное, украли пальто: ведь если б они знали про защитные деньги, так не оставили бы его здесь. Я ответил, что, верно, они же убили и хозяйина, поэтому Джим не хотел про это разговаривать.

Я ему сказал:

— Вот ты думаешь, что это не к добру, а что ты не ворюга позавчера, когда я принес змеиную кожу, которую нашел на верху горы? Ты говорил, будто хуже нет примет, как взять в руки змеиную кожу. А что плохого случилось? Мы вот сколько всего набрали, да еще восемь долааров в придачу! Хотел бы я, чтоб у нас каждый день бывала такая беда, Джим!

— Ничего не значит, сынок, ничего не значит. Ты не огорчайся-то расходишься. Беда еще впереди. Попомни мои слова: она еще впереди.

Так оно и вышло. Этот разговор был у нас во вторник, а в пятницу после обеда мы лежали на травке у обрыва и нас вынесла весь табак, и я пошел в пещеру за табаком и наткнулся там на гремучую змею. Я ее убил, свернула кобальдом, и положил Джиму на одеяло: думаю, так будет потеша, когда Джим найдет у себя на постели черную! Но, конечно, к вечеру я про нее совсем позабыл. Джим бросился на одеяло, пока я разводил огонь, а там позавчера подруга убитой змеи и укусила Джима.

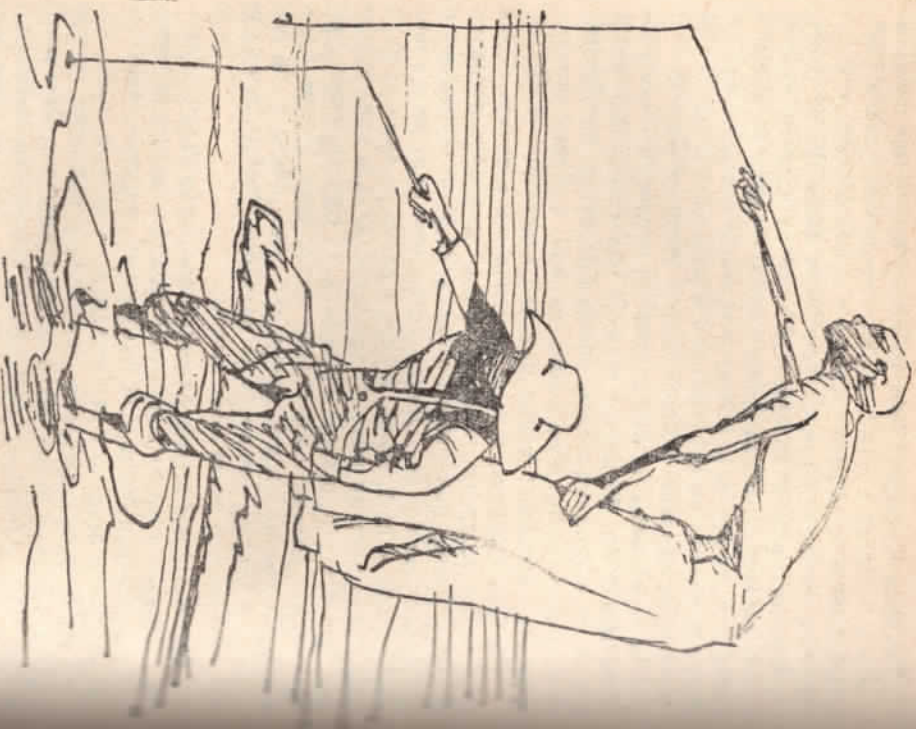
Джим вскопчил, да как заорет! И первое, что мы увидели при свете, была эта гадина: она свернулась кобальдом и уже приготовилась опять броситься на Джима. Мне в одну минуту укусила пакой, а Джим схватил палочку, бутылку с виски и давай хлестать.

Он был босиком, и змея укусила его в пятку. А все это, что я, дурак, позабыл: если где-нибудь оставить змею, подруга обязательно туда приползет и попытается покусить ее. Джим велел мне отрубить змеиную голову и выбросить, а потом снять со змеи кожу и привязать кусочек мяса. Я так и сделал. Он съел и сказал, что это его должно вылечить. И еще он велел мне вынуть с нее кобальца и привязать ему к руке. Потом я поспешно вышел из пещеры и забросил обеих змей по камням в кусты: мне вовсе не хотелось, чтобы Джим узнал, что все это из-за меня вышло.

Джим все потягивал да потягивал из бутылки, и в это время на него что-то находило: он вдруг начал вытесаться и орать, как полоумный, а потом опомнился и снова примется за бутылку.

С туши у него здорово распухла, и вся нога выше головы тоже; а потом мало-помалу начало действовать вино. Ну, думаю, теперь дело пойдет на поправку. Мое, по мне, лучше змеиный укус, чем папашина бутылка.

Джим пролежал четыре дня и четыре ночи. После того он начал спадать, и он выздоровел. Я решил, что ни за какие коврижки больше не дотронусь до змеиной кожи, ведь он что из этого получает. Джим сказал, что в следующий раз я ему, надо полагать, поверю: бить в руки змеиную кожу — это уж такая дурная привычка, что хуже не бывает; может, это еще и не конец. Он говорил, что во сто крат лучше увидеть молодой месяц через локтевое плечо, чем дотронуться до змеиной кожи.



Ну, я и сам теперь начал так думать, хотя раньше всегда считал, что нет ничего глупее и неосторожней, как раздаться на молодой месяц через левое плечо. Старый Хан Банкер один раз поглядывал вот так да еще и похвастался. И что жер? Не прошло двух лет, как он в пьяном нелепстве свалился с арободитной башни и расшибся, можно сказать, в лепешку; его всунули между двух дверей вместо гроба и, говорят, так и похоронили; сам я этого не видел, а слышал от отца. Но, уж, конечно, вышло это оттого, что он глядел на месяц через левое плечо, как другие.

286

Там вот дни проходили за днями, и река опять спала в пенал и берега. Мы тогда первым делом насадили на длинный крючок ободранного кролика, закинули лесу в воду и поймали сома ростом с человека; длинной он был в шесть футов и два дюйма, а весил фунтов двести. Мы, конечно, даже пытались его не могли: он бы нас задушил в Мидинис. Мы просто сидели и смотрели, как он рыскал и метался, пока не подох. В желудке у него мы нашли мелкую пугонцу, круглый шар и много всякой дряни. Мы разрубили шар топором, и в нем оказалась катушка. Джим сказал, что, должно быть, она пролежала у него в желудке очень долго, если успела так обрести и перепутаться в шар. По-моему, крупней этой рыбы никогда не ловили в Миссисипи. Джим сказал, что такого большого сома он еще не видел. В городе он продавал его за хорошие деньги. Такую рыбу там на рынке продают на фунты, и многие покупают: мясо у сома белое, как снег, его хорошо жарить.

На другое утро мне что-то стало скучно и захотелось переменить развлекаться. Я сказал Джиму, что, пожалуй, Джиму эта мысль пришлась по вкусу; он посоветовал пойти, чтоб я подождал до темноты, а в городе держал он уже остро. Подумав еще немножко, он сказал — не знаю ли мне что-нибудь из старых и не передаться ли вонючей. Это тоже была хорошая мысль. Мы укоротили наше шерстяное платье, я закатала штаны до колен и влез в него. Джим застегнул сады все крючки, и оно пришло мне как раз впору. Я надела соломенный капор, завила концы под подбородком, и тогда загладить мне в него стало не так-то просто — все равно что в печную трубу. Джим сказал, что теперь меня вряд ли кто узнает даже днем. Я практиковалась целый день, чтобы привыкнуть к женскому платью, и понежничку стала себя чувствовать в нем довольно удобно. Только Джим сказал, что у девочек походка не такая; а еще он сказал, что и бросила привычку задирать платье и засовывать ноги в штаны. Я послушалась, и дело пошло на лад.

Как только стемнело, я поехала в челноке вверх по течению, держась иллинойского берега.

И переправилась в город немного ниже пристани, и темным меня несло к окраине. Привлазав челнок, я пошла на берег. В маленькой хибарке, где очень давно никто

287

не жила, теперь горел свет, и мне захотелось узнать, что это там поселился. Я подкралась поближе и заглянула в окно. Женщина лет сорока сидела за простым сосновым столом и вязала при свече. Лицо было незаметное; она, должно быть, недавно сюда переехала, потому что всех родственников я знала. На этот раз мне повезло, потому что я уже начинала тосковать: зачем, думаю, я пошла? Ведь по голоду могут узнать, кто я такой. А если эта женщина хоть два дня прожидала в таком маленьком городишке, она, конечно, сможет рассказать все, что мне нужно. Я постучала в дверь, дав себе слово ни на минуту не давить, что я девчонка.

ГЛАВА XI

— Войдите,— сказала женщина; и я вошла.— Садись на этот стул.

Я села. Она оглядела меня с ног до головы своими маленькими блестящими глазами и спросила:

— Как же тебя зовут?

— Сара Уильямс.

— А где ты живешь? Здесь где-нибудь поблизости?

— Нет, в Гукервилле, это за семь миль отсюда, вниз по реке. Я всю дорогу шла пешком и очень устала.

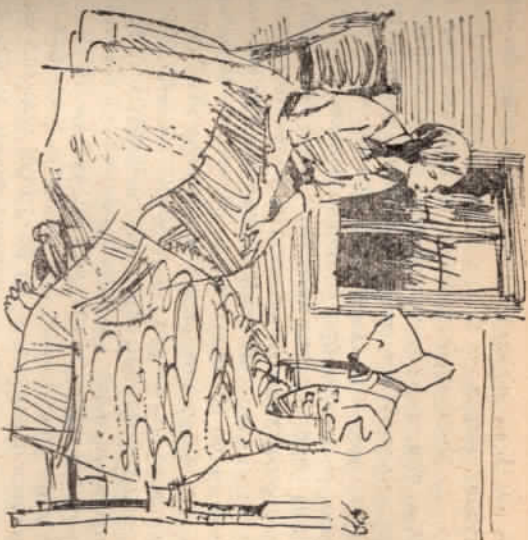
— И проголодалась тоже, я думаю. Сейчас поинтересуйся-нибудь.

— Нет, не надо. Я так проголодалась, что зашла на ферму, в двух милях отсюда, и сейчас мне есть не хочется. Вот почему я так поздно. Моя мать лежит больная, денег у нас нет, и ничего нет; я и пошла к моему дяде, Абиеру Муру. Мать сказала: он живет на том конце города. Я тут никогда еще не бывала. Вы его знаете?

— Нет, я еще не всех знаю. Мы тут и двух недель не прожили. До того конца города не так-то близко. Оставь у нас ночевать. Да сними шляпу.

— Нет, я лучше немного отдохну,— сказала я,— а потом пойду дальше. Я темноты не боюсь.

Она сказала, что одну меня не отпустит, а вот придет ее муж часика через полтора, тогда он меня проведет. Потом она начала рассказывать про своего мужа, про тех родственников, которые живут вверх по реке, и про тех, которые живут вниз по реке, и что раньше они с мужем жили гораздо лучше, и что напрасно они переехали в



этот город, надо было просто не обращать ни на что внимания, и так далее, и так далее; я уж начала думать, не обманул ли я надеялся у нее разузнать, что делается в этом городе, но в конце концов дело все-таки дошло до того отца и до того, как меня убили,— тут уж, думаю, от меня не богуется. Она рассказала мне и про то, как мы с Соьером наши двенадцать тысяч (только по ее словам вышло двадцать), про моего папашу, и про то, как он человек пропавший, и что я тоже пропавший, наконец, как же это сделал? Мы про это убийство сами-таки в Гукервилле, только вот не знаем, кто убил Тека Уильямса.

Ну, по-моему, и у нас тут найдется много таких, которые хотели бы узнать, кто его убил. Некоторые думают, что сам старик Финн убил.

— Да что вы?

Сначала почти все так думали. А он так и не узнал никогда, что его чуть-чуть не линчевали. Только к этому передушили и решивший, что убил беглый негр по имени Джон.

— Да ведь он...

И ошаташался. Решив, что лучше будет помолчать.

А она все говорила и говорила и даже не заметила, что что-то сказала.

— Этот негр бежал в ту самую ночь, когда убили Гека Финна. Так что за него обещают награду — триста долларов. И за старика Финна тоже назначили награду — двести долларов. Он, видите ли, явился в город утром, рассказал про убийство и вместе со всеми ездил покать тело, а после того взял да и скрылся. Это в тот же вечер собирался линчевать, только он, видите ли, ушел. Ну, а на другой день оказалось, что и негр тоже ушел: его никто не видел после десяти часов вечера в ту ночь, когда было совершено убийство, — так что стали думать на него. А на другой день, когда весь город только что в этом и говорили, вдруг возвращается старый Финн, идет прямо к судье Тэтчеру и поднимает шум: требует, чтобы тот дал денег и устроил обиду на этого негра по имени Иллинойсу. Судья дал немного, и старик в тот же вечер напился пьяным и до полуночи швырялся по улицам с какими-то двумя подозрительными личностями, а потом скрылся вместе с ними. Ну вот, с тех пор он не появлялся, и у нас тут думают, что он и не вернется, пока это не уляжется. Небось сам убил, а подстроил все так, чтобы думать на бандитов; а там, глядишь, задался еще Гековы денежки, и по судам таскаться не надо будет. Люди говорят: «Где ему убить, он даже и на это не пойдет!» А я думаю: ох, и хитер же! Если он еще год не вернется, то ничего ему за это не будет. Доказывать ведь, понятное дело, ничего нельзя: все тогда успокоится, и он заберет себе Гековы денежки без всяких хлопот.

— Да, пожалуй. Кто ж ему помешает!.. А теперь уже больше никто не думает, что это негр убил?

— Да нет, думают еще. Многие все-таки считают, что это он убил. Но теперь негра должны скоро похоронить, так что, может, и добьются от него правды.

— Как, разве его и сейчас ловят?

— Плохо же ты соображаешь, как я полагаю! Триста долларов на дороге не валяются. Некоторые думают, что негр и сейчас где-нибудь недалеко. Я тоже так думаю, только помалкиваю. На днях я разговаривал со стариком и старухой, что живут рядом, в бревенчатом сарае, и они сказали, между прочим, что никто никогда не бывал на том вон острове, который называется остров Джексона.

Разве там никто не живет? — спрашиваю я.

— Нет, говорят, никто не живет. Я больше ничего им не сказала, только пригадумалась. За день или за два до этого там как будто видела дым, на верхнем конце острова, думаю себе, этот негр скорее всего там прячется, во всяком случае, думаю, стоило бы весь остров обыскать. С тех пор я больше дыма не видела, так что, может, негр оттуда уже ушел, если это был он. Мой муж сейчас и посмотрит вместе с одним соседом. Он уезжал вчера по реке, а сегодня вернулся два часа назад, и я ему об этом рассказала.

Мне стало до того не по себе — просто не сиделось на месте. Надо было чем-нибудь занять руки: я взяла со стола платок и начала ваявать в нее нитку. Руки у меня дрожали, и дело не давалось. Женищина замолчала, и я взглянула на нее, она смотрела на меня как-то странно и слезка выкатилась. Я положила на место нитку с ниткой, будто бы очень заинтересовалась ее словами, — да так оно и было, — и сказала:

Триста долларов — это уйма денег. Хорошо бы им досталась моей матери. А ваш муж поедет туда нынче утром?

— Ну а как же! Он пошел в город вместе с тем соседом, про которого я говорила, за лодкой и за вторым инструментом, если удастся у кого-нибудь достать. Они поедут завтра поутру.

А может, будет лучше видно, если они подождут еще пару дней?

— Лучше бы! И негру тоже будет лучше видно. После этого они, наверно, заснет, а они прокрадутся в лес и в минуту сразу увидят костер, если негр его развел.

И об этом не подумала.

Женищина все так же странно смотрела на меня, и мне казалось очень не по себе. Потом она спросила:

Как, ты сказала, тебя зовут, деточка?

— Мэри Уильямс.

Какое-то, в первый раз я сказала не «Мэри», а как-то другому, так что я не смотрел на нее; я, кажется, сказала «Марри». Она меня вроде как приперла к стене, и по этому это, должно быть, было видно, — вот я и боялась ее не взглянуть. Мне хотелось, чтобы старуха еще что-нибудь сказала: чем больше она молчала, тем хуже я себя чувствовала.

Тут она и говорит:

— Деточка, по-моему, ты сначала сказала «Сара» когда вошла.

— Да, верно: Сара Мари Уиармас. Мое первое имя Сара. Одни зовут меня Сара, а другие Мари.

— Ах вот как?

— Да.

Теперь мне стало легче, но все-таки хотелось ударить Заглазину на нее и не решаясь.

Ну, тут она начала говорить, какие нынче тесные времена, и как им плохо живется, и что крысы обитали и разгуливают по всему дому, словно они тут копеца, и еще много рассказывала, так что мне совсем нечего было сказать. Насчет крыс это она верно сказала. Одна то и дело высовывала нос из дыры в углу. Женщина сказала, что она нарочно держит под рукой всякие вещи, чтобы бросать в крыс, когда останется одна, а то они ей повода не дают. Она показала мне свинополовую полосу, свернувшую узлом, заметив, что вообще-то она полагает метель только вывихнула руку на днях и не знает, попадет ли теперь. Выждав случая, она швырнула этой штукой в крысу, но не попала и охнула — так больно ей было руку. Потом попросила меня швырнуть еще раз, если крыса выскочит. Мне хотелось поскорей уйти, пока старуха не вернулась, но, конечно, я и виду не подавала, я взяла эту штуку и, как только крыса высунулась, нацелилась и швырнула, — и если б крыса сидела на месте, так ей бы не поздоровилось. Старуха сказала, что удар первокалассный, что в следующий раз я непременно попаду. Она встала и принесла обратно свинец, а потом достала моток пряжи и попросила, чтобы я ей помогла размотать. Я расставила руки, она надела на них пряжу, а сама все рассказывает про свои дела. Марта она прервала рассказ и говорит:

— Ты поглядывай за крысами. Лучше держи свинец на коленях, чтобы был под рукой.

И она тут же бросила мне кусок свинца; я санинко коленки и поймала его. А она все продолжала разговаривать, но не больше минуты, потом сняла пряжу у меня с рук, поглядела мне прямо в глаза, очень внимательно говорит:

— Ну, так как же тебя зовут по-настоящему?

— Т-то есть как это?

Как тебя по-настоящему зовут? Билл, Том, или что-нибудь еще как-нибудь?

И даже неслышавшись и прямо не зная, как мне быть. Она сказала:

— Пожалуйста, не смейтесь над бедной девочкой! Если вы мне мешаете, то...

Ничего подобного. Сядь на место и сиди. Я тебя ни о чем и никому про тебя не скажу. Только ты доверься мне, открой свой секрет. Я тебе не выдам; мало того, я тебе помогу. И мой старик поможет, если надо. Ты ведь, должно быть, бедный подмастерье, только и всего. Это ничего не значит. Что ж тут такого! С тобой переживай плохо, вот ты и решился ударить. Бог с тобой, давай, я про тебя не скажу никому. Ну, а теперь выходишь мне все, будь умником.

Тогда я решил, что не стоит больше притворяться, давай я уже все скажу наизусть, только пускай и она вернет свое слово. И я рассказал ей, что отец с матерью у меня умерли, а меня отдали на воспитание в деревню и старому скряге фермеру, в тридцати милях отсюда. Он обращается со мной так плохо, что я терпел, терпел и не выдержал: он уехал куда-то дня на два, вот я и воспользовался этим случаем, стащил старое платье у его дочки и удрал и в три ночи прошел эти двадцать миль до реки. Я шел ночью, а днем где-нибудь прятался и отсыпался; с собой у меня был мешок с хлебом и мясом, что я взял из дому, и это мне за глаза хватало на всю дорогу. Мой дядя, Абиер Мур, позаботился, наверно, обо мне, вот почему я и пришел сюда.

И Гошен, сынок? Это не Гошен. Это Сент-Питер-Гошен. Гошен стоит десятью милями выше по реке. А что тебе сказал, что это Гошен?

Сказал один человек; я его встретил сегодня на берегу, когда собирался свернуть в лес, чтобы выследить. Он мне сказал, что от перекрестка надо повернуть направо и через пять миль будет Гошен.

Пилин был, наверно. Он тебе сказал как раз наоборот.

Он и вед себя, как пьяный. Ну, да теперь уж все равно. Надо идти. Я буду в Гошене до рассвета.

Погоди минутку. Я дам тебе поесть, а то ты проголодаешься.

Она накормила меня и спрашивает:

— А ну-ка скажи мне: если корова лежит, то она поднимается с земли — передом или задом? Отвечай живей, не раздумывая: передом или задом?

— Задом.

— Так. А лошадь?

— Лошадь передом.

— С какой стороны дерево обрастает мхом?

— С северной стороны.

— Если питнадцать коров пасутся на косогоре, то сколько из них смотрят в одну сторону?

— Все питнадцать.

— Ну, кажется, ты действительно жив в деревне. Я думаю, может, ты опять меня хочешь надуть. Ты как же себя зовут по-настоящему?

— Джордж Питерс, сударыня.

— Так ты не забывай этого, Джордж. А то еще чего доброго, скажешь мне, что тебя зовут Александр, а потом, когда я тебя поймал, начнешь вывертываться и говорить, что ты Джордж Александр. И не покаявшись женщиной в этом ситуевном старье. Девочка у тебя получается паохо, но мужички ты, пожалуй, сумелся провести. Господь с тобой, сынок, разве так вдевают нитку в иглоу? Ты держишь нитку неподвижно и насадишь на нее иглоу, а надо иглоу держать неподвижно и совать в нее нитку. Женщины всегда так и делают, а мужичины — всегда наоборот. А когда швырнешь паакой в крысу или еще в кого-нибудь, встань на дышочки и занеси руку над головой, да постарайся, чтобы это вышло как можно нескладней, и промахнись атак шаго на пять, на шесть. Бросай, выткнув руку во всю длину, будто она у тебя на шарнире, как бросают все девочки, а не кистью и докетем, выставив левое плечо вперед, как мальчишки; и запомни: когда девочке бросают что-нибудь на колене, она их расставляет, а не сдвигает вместе, как ты сдвинула, когда ловила свиноец. Я ведь не метила, что ты мальчик, еще когда ты вдевал нитку, а все остальное я пустила в ход для проверки. Ну, те перь отправляйся к своему дяде, Сара Марн Уильямс. Джордж Александр Питерс, а если попадешь в беду, дай знать миссис Джудит Лофтес — то есть мне, а рега реки, а когда в следующий раз пустишься в беги

идеи с собой башмаки и носки. Дорога по берегу извилистая, — я думаю, ты все ноги собьешь, пока доберешься до Гошена.

И прошла по берегу шагов с полсотни, а потом повернула обратно и шмыгнула туда, где стоял мой челнок. Довольно далеко от дома, вниз по реке. Я вскочил в челнок и поскорее поднялся вверх по течению, а когда поравнялся с островом, пустился наперерез. И сию минуту — теперь он был мне ни к чему и только мешал. Когда я выскел на середину реки, то услышал, как начали бить часы; я остановился и прислушался; они донесли по воде хотя и слабо, но ясно — однанадцать. Добравшись до верхнего конца острова, я даже не почувствовал передохнуть, хотя совсем выбился из сил, а побежал в лес, где прежде была моя стоянка, и нашел там хороший костер на сухом высоком месте. Потом спрыгнул в челнок и давай изо всех сил гребсти в левую сторону, вниз по реке. Я приплыл к берегу, скорей пробрался сквозь кусты вверх по горе и вывалился в нашу пещеру. Джим лежал на земле в брешю сна. Я разбудил его:

— Вставай скорее и собирайся, Джим! Нельзя терять ни минуты! Нас ищут! За нами погоня!

Джим не стал ни о чем спрашивать, ни слова не говоря, но по тому, как он работал, видно было, до чего он перепугался. Через полчаса часа все наши пожитки были сложены на плоту, и плот можно было вывести из озера под плавки, где он был у нас спрятан. Первым делом мы потушили костер в пещере и после того даже огня не зажигали.

И отскочил от берега на челноке и оглядываясь по сторонам; но если где-нибудь поблизости и была лодка, то я ее не заметил, потому что в темноте при звездах из этого разглядеть было невозможно. Потом мы вывели плот из озера и поплыли в тени берега, оглядывая нижний край озера, не говоря ни единого слова.

ГЛАВА XII

Ничто, верно, уже около часа ночи, когда мы в конце озера миновали остров; нам все время казалось, что мы еще еще движется. Если бы нам навстречу попалась

лодка, мы пересели бы в челнок и попали бы к нильскому берегу; и хорошо, что ни одна лодка нас не повстречалась, потому что мы позавыли половить в челнок ружье, или удочку, или хоть что-нибудь из съестного. Мы так спешим, что обо всем этом нам и подумать было некогда. А держать вещи на плоту, конечно, не очень-то умно.

Если люди поехали искать Джима на остров, как я думал, то, наверное, нашли там разведенный мостик костер и всю ночь ждали бы Джима возле него. Но в таком случае, мы никого не видели, и если мой костер их не обманул, то я не виноват. Я изво всех сил стараюсь надувать их.

Как только показались первые проблески дня, мы пристали к косе в начале большой излучины на нильском берегу, нарубили топором зеленых веток и прикрыли ими плот так, чтобы было похоже на заросшую ямку в береговой косе. Коса — это песчаная отмель, прикрытая кустами так густо, словно борона зубьями.

По нильскому берегу шли горы, а по противоположной стороне — высокий лес, и фарватер здесь проходил ближе к нильскому берегу, поэтому мы не боялись кого-нибудь повстречать. Мы простояли там весь день, глядя, как плавнут по течению мимо нильского берега плоты и пароходы и как борются с течением по разговору со старухой, и он сказал, что это дождевые бегемоты, и если б она сама спустилась за нами в потоп, то не сидела бы всю ночь, глядя на костер. — «Нет, правда, — сказала я, — она не ведала мужу захватить собаку? Джим сказал, что это ей, должно быть, пришлось в тот вечер перед тем, как мужчины отправились за реку; но они, верно, и пошли в город за собакой и потеряли там много времени, а не то мы не сидели бы тут на отмели, в шестнадцати или семнадцати милях от города. — «Нет, не сидели бы, мы опять попали бы в этот самый город». А я сказала: «Не важно, почему им не удалось нас найти, главное — они нас не поймали».

Как только начало темнеть, мы высушили голыми руками кустов и погладили вниз и вверх по реке, а потом на чужую сторону. — Однако ничего не увидели; тогда Джим спускался несколько верхних досок с плота и устроил на нем уют-

ный шалаш, чтобы отсиживаться в жару и в дождь и чтобы вещи не промокли. Джим спускал в шалаше и под, на фут выше всего оставшего плота, так что теперь лодка и прочие пожитки не заливало волной, которую производил пароходы. Посредние шалаша мы положили на галеры лодок в шесть или семь толщин и обвели его бортом, чтобы галера держалась покрепче, — это для того, чтобы разводить огонь в холодную и сырую погоду и шалаше огня не будет видно. Мы сделали еще запасное весло, потому что те, которые были, всегда могли сломаться о корягу или еще обо что-нибудь. Потом укрепили на плоту короткую палку с развилкой, чтобы вешать на нее наш старый фонарь, — потому что опасность зажечь фонарь, когда увидишь, что пароход идет вниз по реке и может на тебя наскочить; а для пароходов, которые шли вверх по реке, не надо было зажечь фонарь, разве только если попадешь на то, что называется перекастом, — вода в реке стояла еще выше берега там, где пониже, были еще под водой, и пароходы, когда шли вверх по реке, не всегда держались фарватера, а искали, где течение не так сильно.

В эту вторую ночь мы плыли часов семь, а то и больше, при скорости течения больше четырех миль в час. Мы ударили рыбу, разговаривали и время от времени окунались в воду, чтобы разогнать сон. Так хорошо было плыть по широкой тихой реке и, лежа на спине, смотреть на звезды! Нам не хотелось даже громко разговаривать, да и смеялись мы очень редко, и то по-тихому. Погода в общем стояла хорошая, и с нами было ничего не случилось — ни в эту ночь, ни на другую, ни на третью.

Каждую ночь мы проплывали мимо городов; некоторые из них стояли высоко на темных берегах, только и видна была блестящая гряда огней — ни одного дома, ничего больше. На пятую ночь мы миновали Сент-Луис, на нем стояло целое зарево. У нас в Сент-Питерсберге, будто в Сент-Луисе живет двадцать, а то и тридцать тысяч человек, но я этому не верил, пока сам не увидел в два часа ночи такое множество огней. Ночь была тихая, из города не доносилось ни звука; все спало.

Командный вечер, часов около десяти, я вылезла на берег у какой-нибудь деревушки и покупал центов на де-

сать, на пятнадцать мук, копченной грудинки или еще чего-нибудь для еды; а иной раз я захватывала и курицу, которой не сиделось на насесте. Отец всегда говорил: «Если попадется под руку курица, бери ее, потому что если тебе самому она не нужна, то пригодится кому-нибудь другому, а доброе дело никогда не пропадет»,— это такая у него была поговорка. Но я ни разу не видывала, чтобы курица не пригодилась самому папаше.

Утром на рассвете я забирался на кукурузное поле и брал займы арбуз, или дыню, или тыкву, или молодую кукурузу, или еще что-нибудь. Папаша всегда говорил, что не грех брать займы, если собираешься отдать когда-нибудь; а от вдовы я слышал, что это то же поровство, только по-другому называется, и ни один порядочный человек так не станет делать. Джим сказал, что участки прав папаша, а участки вдова, так что нам лучше выбросить какие-нибудь два-три предмета из списка и никогда не брать их займы,— тогда, по его мнению, не грех будет заимствовать при случае все оставшееся. Мы обсуждали этот вопрос целую ночь напролет, плавая по реке, и все старались решить, от чего нам лучше отказаться: от дынь-кантауп, от арбузов или еще от чего-нибудь? Но к рассвету мы это благополучно уладили и решили отказаться от десных яблок и финиговых хорошо, а теперь нам стало куда легче. Я радовался, что так ловко вышло, потому что десные яблоки вообще нигде не годятся, а финиговые салны постигают еще не скоро — месяца через два, через три.

Время от времени нам удавалось подстрелить утку, которая просыпалась слишком рано утром или отпиралась на ночлет слишком поздно вечером. Вообще говоря, нам жилось очень неплохо.

На пятую ночь ниже Сент-Луиса нас захватывала сильная гроза с громом, молнией и ливнем как из ведра. Мы забралась в шалаш, а папаша предостерегал собственноручно воле. Когда вспыхивала молния, нам видна была широкая прямая река впереди и высокие скалистые утесы по обеим ее сторонам.

Вдруг я сказал:

— Эй, Джим, поглядь-ка вон туда!

Впереди был пароход, который разбился о скалы.

Нам несло течением прямо на него. При свете молнии пароход был виден очень ясно. Он сильно накренился; вместо верхних палуб торчала над водой, а при каждой волне всплывали как на ладони видно было каждый маленький шпенец возле большого колокола и кресло с поперечной на его спинку старой шлюпки.

Ночь была такая густая и непогожая и все выглядело так таинственно, что мне, как и всякому другому мальчишке на моем месте, при виде разбитого парохода, который торчал так утромом и одиноко посредине реки, хотелось на него забраться и поглядеть, что там там. Я сказал:

— Давай пригласим к нему, Джим.

Джим сначала ни за что не хотел. Он сказал:

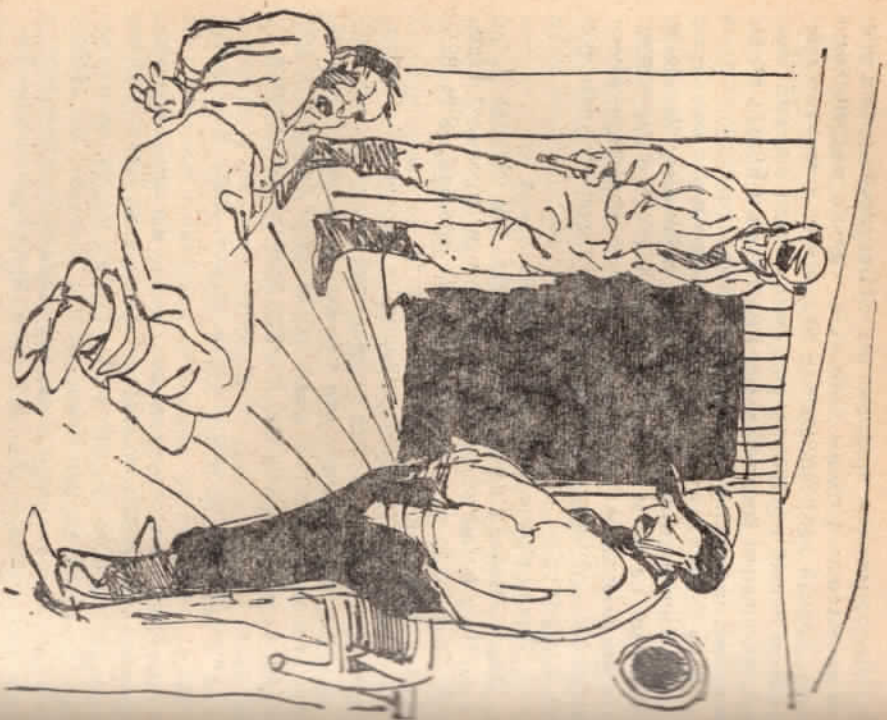
— Чего я там не видал, на разбитом пароходе? Нам и тут неплохо; и лучше уж его не трогать, оставить в покое. Да там, наверно, и сторож есть.

Выбушке бы твоей сторожал! — говорю я. — Там и сторож-то нечего, кроме дойманской будки да каюты; а ну-ка ты думаешь, что кто-нибудь станет в такую ночь рисковать жизнью ради дойманской будки и каюты, когда пароход каждую минуту может развалиться и потонуть?

Джим на это ничего сказать не мог, даже и не проинчал.

А кроме того, — говорю я, — мы могли бы позаниматься что-нибудь стоящее из капитанской каюты. Сидеть небось есть — центов по пять за штуку наличных. Пароходные капитаны всегда богачи, получают по сто долларов в месяц: им напаивать, сколько бы выпили ни стояла, — они все равно купят, если она им понравится... Сунь в карман свечку, Джим: я не успокоюсь, пока мы не обьем весь пароход. Неужели ты думаешь, что Том Сойер упустил бы такой случай? Да ни за какие коврижки! Он бы это назвал «приключением» — вот как, и хоть помирал бы, да заез на разбитый пароход. И еще проделал бы это с шиком, уж постарался бы переманить что-нибудь атакое... Ты бы подумал, что это Том Христопор Колумб открывает царство небесное. Да, жаль, что Тома Сойера здесь нету!

Джим поворочал немножко, однако сдавался. Он сказал, что поговорить надо как можно меньше, и то потихоньку. Молния как раз вовремя показала нам разбитый пароход.



ход; мы причалили к подъемной стреле с правого борта и привязали к ней паут.

Пауба тут здорово накренилась и была очень покачивая. В темноте мы кое-как перебрались по укладу на левый борт, к капитанской рубке, осторожно нащупывая дорогу ногами и растопыривая руки, чтобы не напороться на таан, потому что выпотых не было видно ни зги. Скоро мы наткнулись на застекленный лок и повесились; еще один шаг — и мы очутились перед дверью, открытой настежь, и — вот вам самое честное слово — увидели в глубине салона свет и в ту же минуту услышали голоса.

Джим шепнул мне, что ему что-то не по себе и нам лучше отсюда уйти. Я сказал: «Адино», — и уже хотел было вернуться на паут, как вдруг слышу — кто-то заговорил:

— Ох, не троньте меня, ребята! Я, ей-богу, не допущу.

Другой голос ответил ему очень громко:

— Прости, Джим Тернер! Это мы и раньше слышали. Тебе всегда надо больше других, и ты всегда поучаешься, сколько хочешь, — а то, мол, донесу на вас, если не дозвоните. Но на этот раз мы тебе не поверим, напрасно ты суешься. Во всей стране не сыщется предателя и не подаст тебя.

К этому времени Джим добрался до паута. Я просто выскочил от любопытства; небось, думаю, Том Соьер так же, что не ушел бы теперь, ну так и я тоже остался — подожду, что такое тут делается. Я стал на четвереньки в узеньком коридорчике и подошел к корме — и попал до тех пор, пока между мной и салоном не осталась всего одна канота. Визжу, в салоне лежит на полу человек, связанный по рукам и ногам, а над ним стоят какие-то двое; один из них держит в руке тусклый фонарь, а другой — револьвер, целясь в голову человека на полу и говорит:

— Эх, руки чешутся! Да и следовало бы пристрелить тебя, подлеца!

Человек на полу только ежился и все повторял:

— Не надо, Билл, я же не донесу.

И каждый раз человек с фонарем смеялся и отвечал на это:

— Верно, не донесешь! Вот уж это ты правду говорить можно ругаться.

А один раз он сказал:

— Смотри ты, как каинчить! А ведь если бы мы его не схватили да не связали, он бы нас обоих убил. А за что? Так, зря. Потому только, что мы своего упустили не хотели, — вот за что! Но теперь, я полагаю, ты никогда больше грозить не станешь, Джим Тернер... Убери свой револьвер, Билл!

Билл ответил:

— И не подумаю, Джейк Паккард. Я за то, чтоб его бить. Так ему и надо! Разве он сам не убил старика Котфида?

— Да я-то не хочу его убивать; уж я знаю почему.
— Спасибо тебе за такие слова, Джейк Паккард! Я их не забуду, пока живя,— сказал человек на полу и врозь как бы всхлипнул.

Паккард, не обращая на него внимания, повесил фонарь на стенку и пошел как раз туда, где я лежал в темноте, а сам следом Виллу знак идти за ним. Я поскорей попытался назад шаг на два, только падаю уж очень накрепко, так что я не успеваю посторониться вовремя и, чтобы они на меня не наткнулись и не помяли, задеваю каноту, как раз над тем местом, где они стояли. Тот, другой, двигаясь ощупью, хватаясь за стенки в темноте, а когда Паккард добрался до моей каноты, сказал ему:

— Сюда, входи сюда.

Он и вошел, а Билл за ним. Но не успели они войти, как я уже забрался на верхнюю койку, забился в самый угол и очень ждал, что я тут. Они стояли совсем рядом, ухватившись руками за край койки, и разговаривали. Я их не видел, но знал, где они стоят, потому что они пили виски и от них пахло. Я поразовался, что ничего не пил, только разницы была несильная: они били меня все равно не чувствовали, потому что я даже не дышал. Уж очень я перекутался. Да и кто бы мог дышать, слушая такой разговор? Они говорили тихо и серьезно. Билл хотел убить Тернера. Он сказал:

— Он говорит, что донесет, и обязательно донесет. Даже если мы оба отдадим ему нашу долю, это все равно не поможет, после того как мы поссорились да ты здорово его утосишь. Он нас выдаст, это уж вернее верного, я тебе говорю. По-моему, лучше его убить.

И по-моему тоже,— очень тихо сказал Паккард. — Прах тебя возьми, а ведь я думаю, что ты протини!

Ну что ж, тогда все в порядке. Идем прикончим его. — Пороги минутку, я еще не все сказал. Выслушай меня. Стрелять хорошо, но можно сделать дело и без шума, если надо. Вот что я тебе скажу: нечего так уж гоняться за веревкой на шею, когда можно сделать то, что ты затеял, по-другому, насколько не хуже и в то же время ничем не рискуя. Ведь верно?

— Еще бы не верно! А как же это устроить?

— Вот что я думаю: мы пошарим тут по канотам и заберем вещи, какие еще останутся, а потом — на берег

и спрячем товар. А после того — поождем. Я вот что говорю: пройдет не больше двух часов, как пароход развалится и затонет. Понял? Тернер тоже утонет, и никто не будет в этом виноват, кроме него самого. По-моему, это куда лучше, чем убивать. К чему убивать человека, когда можно обойтись и без этого? Убивать и грешно, и глупо. Ну как, прав я или нет?

— Да, пожадуй, ты прав. А вдруг пароход не развалится и не затонет?

— Что ж, мы можем подождать часа два, там видно будет... Так, что ли?

— Ну ладно, пошли.

Они отправились, и я тоже вышел, весь в холодном поту, и пошел к носу. Там было темно, как в погребе, но еда и выговорная хриплым шепотом: «Джим!» — как он охнул возле моего доктя, и я сказал ему:

— Скорей, Джим, некогда валить дурака да охаты! На пароходу цесая шайка убиит, и если мы не отыщем, где у них дойка, и не пустим ее вниз по реке, чтоб они не могли сойти с парохода, одному из шайки придется пахать. А если мы найдем дойку, то им всем крышка — широк их заберет. Живей поворачивайся! Я обыщу левый борт, а ты правый. Начиная от пюта и...

— Ох, господи, господи! От пюта? Нету больше пюта, он отвалился и упал! А мы тут остаемся!

ГЛАВА XIII

У меня дух захватило и ноги подкосились. Остатся на разбитом пароходу с такой шайкой! Однако распухать сапоги было некогда. Теперь уж во что бы то ни стало надо было найти эту дойку — нам самим она была нужна. И вот мы стали пробираться по правому борту, а сами трясемся, дрожим, езе-еде добравшись до кормы; и наконец, что прошло не меньше недела. Никаких и признаков дойки. Джим сказал, что дальше он, кажется, идти не может; он так бонится, что у него и сил больше нет,— совсем ослаб. А я сказал: все равно надо идти, потому что если мы тут останемся, то нам придется пахать, это уж верно. И мы пошли дальше. Мы стали нешто кормовую часть рубки, наши езе, а потом насили пробравшись ощупью к световому люку, цепляясь за выступы, потому что одним краем он был уже в воде.

Только мы подобралась вплотную, к двери, смотрим — и лодка тут как тут. Я едва разглядела ее в темноте. Ну и обрадовалась же я! Еще секунда, и я бы в нее забралась, но тут как раз открылась дверь. Один из бандитов высунул голову в двух шагах от меня; я уж думала, что теперь мне крышка, а он опять убрал голову и говорит:

— Перевесь подальше этот чертов фонарь, Бина, чтоб его не было видно.

Он бросил в лодку мешок с какими-то вещами, встал в нее сам и ушелся. Это был Паккард. Потом вышла Бина и тоже села в лодку. Паккард сказал тихим голосом:

— Готово, отчаливай!

Я едва удержалась за выступ — до того вдруг ослабела. Но тут Бина сказала:

— Погоди, а его ты обыскала?

— Нет. А ты?

— Тоже нет. Значит, его доля при нем и осталась.

— Ну, так пойдем; какой толк брать барахаю, а деньги оставлять!

— Послушай, а он не догадается, что у нас на уме?

— Может, и не догадается. Но надо же нам забрать эти деньги. Идем!

И они вылезли из лодки и пошли обратно в каноту. Дверь за ними захлопнулась, потому что крен был как раз в эту сторону. Через полсекунды я очутился в лодке, и Джин тоже вывалился вслепую за мной. Я схватил нож, перерезал веревку, и мы отчалили.

До весла мы и не дотронулись, не промолвив ни слова даже шепотом, боялись даже вздохнуть. Мы быстро скользили вниз по течению, в мертвой тишине, проплыли мимо козюха и мимо паровой кормы; еще секунда-другая, и мы очутились шагов за сто от разбитого парохода, тьма поглотила его, и ничего уже сейчас было разглядеть; теперь мы были в безопасности и сами знали это.

Когда мы отплыли по течению шагов на триста — четверста, в дверях рубки на секунду сверкнула искрой фонарь, и мы поняли, что мошенники хватились своей лодки и теперь начинают понимать, что им придется так же плохо, как и Тернеру.

Тут Джин взялся за весла, и мы пустились влосону за своим плотом. Только теперь я в первый раз по-

знавал таких мошенников — раньше мне, должно быть, было некогда. Я подумал, как это страшно, даже для меня, очутившись в таком безвыходном положении. Думая ночью спать, может, я и сам когда-нибудь буду в таком, — небось мне такая штука тоже не понравится! И потому я сказал Джину:

Как только увидим огонек, то сейчас же и причалим к берегу, повыше или пониже шагов на сто, в таком месте, где можно будет хорошо спрятать тебя вместе с лодкой, а потом я придумаю что-нибудь; пойду к этим людям — пускай заберут эту шайку и спасут их так, чтобы можно было повесить потом, когда придет их время.

Но это была неудачная мысль. Скоро опять началась гроза, на этот раз пуще прежнего. Дождь так и хлестал, и огней не видно было ни огонька, — должно быть, все скрыло. Мы неслись вниз по реке и гадали, не покажется ли где-то огонек или наш плот. Прошло очень много времени, и дождь наконец перестал, но тучи все не рассасались, и молния все поблескивала; как вдруг, во время такой вспышки, видим — впереди что-то черное на воде; мы — скорее туда.

Это был наш плот. До чего же мы обрадовались, когда опять перебрались на него! И вот впереди, на самом берегу, замигал огонек. Я сказала, что сейчас же туда и отправлюсь. Лодка была до половины завалена оружием, которое воры нагнали на разбитом пароходе. Мы свалили все в кучу на плоту, и я велела Джину спрятать потихоньку дабыше и зажечь фонарь, когда он поймет, что уже пропала мина две, и не гасить огня, пока я не вернусь; потом я взялась за весла и направилась туда, где горел свет. Когда я подплыла ближе, потихоньку еще три-четыре огонька повыше, на горе. Это был пароход. Я перестала грести немного выше того места, где горел огонь, и меня понесло по течению.

Промолвив мимо, я увидела, что это горит фонарь на самом пароме. Я обвела паром вокруг, отыскивая, где он спит сторож; в конце концов я нашла его на биге при тоакину его в плечо и начал рыдать. Он всколыхнул как встрепающийся, потом вынул, что это и потушил хорошенько, зевая и говорит:

Ну, что там такое? Не плачь, мальчик... Что случилось?

Я говорю:

— Папа, и мама, и сестрица, и...— Тут я опять всхлинула.

Он говорит:

— Ну, будет тебе, что ты так расплакалась? У нас бывают неприятности, обойдется как-нибудь. Что же с ними такое случилось?

— Они... они... Это вы сторож на пароме?

— Да, я,— говорит сторож очень довольным тоном.— Я и капитан, и вальсец, и первый помощник, и лоцман, и сторож, и старший матрос; а иной раз бываю, что я же и груз и пассажиры. Я не так богат, как старший Джим Хорнбек, и не могу швырять деньги направо и налево, каждому встречному и поперечному, как вы швыряете; но я ему много раз говорил, что не поминать бы с ним местами: матросская жизнь как раз по моему и не с кем слова сказать, я ничем не стану, даже за все его милости. Я говорю...

Тут я перебила его и сказала:

— Они попали в такую ужасную беду...

— Кто это?

— Да они: папа, мама, сестренка и мисс Гукер. И если бы вы подъехали туда со своим паромом...

— Куда это «туда»? Где они?

— На разбитом пароходе.

— На каком это?

— Да тут только один и есть.

— Как, неужто на «Вальтере Скотте»?

— Да.

— Господи! Как же это они туда попали, скани на минах?

— Ну, разумеется, не нарочно.

— Еще бы! Господи ты мой боже, ведь им не быть живыми, если они оттуда не выберутся как можно скорее! Да как же это они туда попали?

— Очень просто. Мисс Гукер была в гостях в родне...

— А, в Бутс-Лендинге! Ну, а потом?

— Она была там в гостях, а к вечеру поехала со своей негринкой на конском пароме ночевать к своим друзьям, мисс... Как ее... забыла фамилию; они потеряли кормовое ведро, и их отнесло течением миль за две, прямо на разбитый пароход, кормой вперед, и пароничи

негринкой и лошадыми потонули, а мисс Гукер зашла в уединенный и влезла на этот самый пароход. Чем же после захода солнца мы поехали на нашей шлюпе, но было уж так темно, что мы не заметили разбитого парохода и тоже налетели на него; только мы все заметили, кроме Билла Уиппла... такой был хороший вечер! Лучше бы я утонула вместо него, право...

Господи боже, я в жизни ничего подобного не испытывала! А потом что же вы стали делать?

— Ну, мы кричали-кричали, только река там такая широкая — никто нас не слышал. Вот папа и говорит: «Нужно-нибудь добраться до берега, чтоб нам поплыть». И только один умел плавать, поэтому я бросилась в воду и поплыла, а мисс Гукер сказала: если я никогда раньше не найду, то здесь у нас есть дядя, так чтоб я никогда не просила встречных что-нибудь сделать, а они говорят: «Как в такую темноту, и течение такое сильное? Мы сплывем и попробуем ступать к парому». Так если вы не можете...

И бы и поехал, ей-богу, да и придется, пожалуй, и мне, прах возьми, заплатит за это? Как ты думаешь, может, твой отец?..

Не беспокойтесь. Мисс Гукер мне сказала, что ее зовут Хорнбек...

Ах ты черт, так он ей дядя? Послушай, ступай на этот пароход, где горит огонь, а оттуда свернешь к западу — увидишь минах будет харчевня; скажи там, чтобы они тебя поскорей к Джиму Хорнбеку, он за все заплатит. И не копайся — он захочет узнать, что случилось. Скажи ему, что я его племянницу выручу и доставлю в безопасное место, раньше чем он успеет добраться до города; а я побежал будить нашего мейстера.

И пошел на огонек, а как только сторож скрылся за углом, и повернула обратно, села в лодку, проехала вверх по течению шатов шестьсот около берега, а потом спрятавшись между дровяными баржами; я успокоилась только тогда, когда паром отошел от пристани. Но вообще-то пароничи мне было очень неприятно, что я так хлопочу за этих бандитов: ведь мало кто стада бы о них заботился. Мне хотелось, чтобы вдова про это узнала. Нет, пароничи, гордились бы тем, что я помогаю таким

мерзавцам, потому что вдова и вообще все добрые люди любят помогать всяким мерзавцам да мошенникам.

Ну, в конце концов в тумане стало видно и разбитый пароход — он медленно погружался все глубже и глубже. Меня сначала даже в холодный пот брызнула потом, и я сразу увидел, что едва ли кто тут остался живой. Я объехал кругом парохода, pokrивая неминуемо никто мне не ответил — все было тихо, как в музее.

Мне стало жалко бандитов, но не очень; я подумала: если они никого не жалеют, то и я не буду их жалеть.

Потом пароход

Прошло много-много времени, прежде чем появился фонарь на патуу у Джиния; а когда показались, мне все чудилось, будто он от меня мняв за тень. Когда я добрался до патуа, небо начинало уже светлеть на востоке; мы причалили к острову, спрятанн патуу, по топливи долку, а потом легли и заснули как убитые.

Проснувшись, мы пересмотрели все добро, парадное шайкой на разбитом пароходе; там оказались сапоги, и одежда, и плащ, и всякие другие вещи, а много книг, подзорная труба и три ящика сигар. Там же богачами мы с Джинном еще никогда в жизни не видели. Сигары оказались первый сорт. До вечера мы пились в ассу и разговаривали; я читал книжки; и вообще мы недурно провели время. Я рассказал Джинну всем, что произошло на пароходе и на пароме, и сообщил ему кисти, что это и называется приключением. Он ответил, что не ждет больше никаких приключений. Джинн рассказал, что в ту минуту, когда я зашел в кабину, а он прокрался обратно к плоту и увидел, что паром больше нет, он чуть не умер со страха: так и решил, что ему теперь крышка, чем бы дело ни кончилось, потому что если его не спасут, так он утонет; а если бы

— Если это спасет, так отвезет домой, чтобы получить за него награду, а там минс Уотсон, наверно, продаст его кому-нибудь. Что ж, он был прав; он почти всегда бывал прав. Тогда у него работала здорово. — для негра, ко-

А ни не зная, что их так много. Я даже ни про них и не слышивал никогда, кроме как про царя Василия, да еще, пожалуй, видел королей в карточной игре, если только они идут в счет. А сколько король может мажоранить?

Но, это здорово! А что ему надо давать, Гек?
А ничего не надо! Тоже выдумал! Сидит себе
и жует, пот и все.

— Как бы не верно! Просто сидит на троне; ну, пусть, пусть война, так поедет на войну. А в остальное время ничего не делает — или охотится, или... Ш-ш!

А что больше прохладается в гареме.

А что это такое — гарем?

— Это такое место, где король держит своих жен. Ты не слыхала про гарем? У Соломона он тоже был. И у него было чуть не миллион.

говорят, что Соломон был первый мудрец на свете! Я этому ни на грош не верю. И вот почему. Да разве умный человек станет жить в таком кавардаке? Нет, не станет. Умный человек возьмет и построит какой-нибудь завод, а захочется ему тишины и покоя — он уйдет да и закроет его.

— А все-таки он был первый мудрец на свете! Это я от самой двоясь сама.

— Мне все равно, что бы там двоя ни говорили. Не верю я, что он был мудрец. Поступал он иной раз совсем глупо. Помнишь, как он бежал разубить малаенца пополам?

— Ну да, мне двоя про это рассказывала.

— Вот-вот! Глупей ничего не придумаешь! Ты только посмотри, что получается: пускай этот пень будет одна женщина, а ты будешь другая женщина, а я — Соломон, а вот этот долаар — малаенец. Вы оба говорите, что он ваш. Что же я сделаю? Мне бы надо спросить у соседей, чей это долаар, и отдать его настоящему владельцу в целостности и сохранности. — Умный человек так и поступает. Так нет же: я беру долаар и разубиваю пополам; одну половину отдаю тебе, а другую той женщине. Вот что твой Соломон хотел сделать с ребенком! Я тебя спрашиваю: куда годится половинка долаара? Ведь на нее ничего не купишь. А на что годится половинка ребенка? Да я и за милашом половинкой ничего бы не дал.

— Ну, Джим, ты совсем не понял, в чем суть, милому, не понял.

— Кто? Я? Да ну тебя! Что ты мне толкуешь про твою суть! Когда есть смысл, так я его вижу, а в таком поступке никакого смысла нет. Спорил-то ведь не за половинки, а из-за целого малаенца; а если человек думает, что он этот спор может уладить одной половинкой, так, значит, в нем ни капли мозгу нет. Ты мне не рассказывай про твоего Соломона, Гек, я его и без тебя знаю.

— Говорят тебе, ты не понял, в чем суть.

— А ну ее, твою суть! Что я знаю, то знаю. Мне моему, настоящая суть вовсе не в этом — давай мне гадать. Суть в том, какие у этого Соломона привычки. Возьми, например, человека, у которого всего один ребенок или два, — неужто такой человек станет детьми бро-

шен? Нет, не станет, он себе этого не может позволить. Он знает, что детьми надо дорожить. А если у него пять милашонов детей бегает по всему дому, тогда, конечно, дело другое. Ему все равно, что малаенца разубить надвое, что котенка. Все равно много останется. — Моему ребенку больше, одним меньше — для Соломона это все один черт.

И еще не видывал таких негров. Если взберется ему на голову и голову, так этого уж ничем оттуда не вышибешь. И от одного негра Соломону так не доставалось. Когда я пересел разговор на других королей, а Соломон остался в покое. Рассказал ему про Людовика XVI, которому в давние времена отрубили голову во Францию, и про его маленького сына, так называемого дофина, который должен был царствовать, а его взяли да и казнили в тюрьму; говорит, он там и умер.

А другие говорят — он убежал из тюрьмы и спасся. Было бы ухаж в Америку.

Вот это хорошо! Только ему тут не с кем дружить, король у нас ведь нет. Правда, Гек?

Нет.

Значит, и должности для него у нас нет. Что же он будет делать?

А я почему знаю! Некоторые из них поступают иначе, а другие учат людей говорить по-французски.

Что ты, Гек, да разве французы говорят не по-французски?

Да, Джим; ты бы ни слова не понял из того, что они говорят, ни единого слова!

Вот это да! Отчего же это так получается?

Но знаю отчего, только это так. Я в книжке читал про некоего тарабаршину. А вот если подойдет к тебе человек и спросит: «Парле ву франсе?» — ты что ответишь?

Ничего не подумаю, возьму да и тресну его по голове, — то есть если это не белый. Позволю и негру так меня ругать!

Да что ты, это не ругань. Это просто значит: «Парлите ли вы по-французски?»

Так почему же он не спросит по-человечески?

Он так и спрашивает. Только по-французски. Смейся ты, что ли? Я и слушать тебя больше не хочу. Чувствуй какая-то!

— Саушай, Джим, а кошка умеет говорить по-человечески?

— Нет, не умеет.

— А корова?

— И корова не умеет.

— А кошка говорит по-коровьему или корова по-кошачьему?

— Нет, не говорят.

— Это уж само собой так полагается, что они говорят по-разному, верно ведь?

— Конечно, верно.

— И, само собой, так полагается, чтобы кошка и корова говорили не по-нашему?

— Ну еще бы, конечно.

— Так почему же и француз не умеет говорить по-другому, не так, как мы говорим? Вот ты мне что скажи!

— А кошка разве человек?

— Нет, Джим.

— Так зачем же кошке говорить по-человечески? А корова разве человек? Или она кошка?

— Конечно, ни то, ни другое.

— Так зачем же ей говорить по-человечески или по-кошачьи? А француз человек или нет?

— Человек.

— Ну вот видишь! Так почему же, черт возьми, он не говорит по-человечески? Вот ты что мне скажи!

Тут я понял, что нечего попусту толковать с ним. И я сказал ему, что нечего попусту толковать с ним. И я сказал ему, что нечего попусту толковать с ним. И я сказал ему, что нечего попусту толковать с ним.

ГЛАВА XV

Мы думали, что за три ночи доберемся до Канар на границе штата Иллинойс, где Огайо впадает в Миссисипи, — только этого мы и хотели. Паут мы продали, сидим на пароходе и поедем вверх по Огайо: там свободные штаты, и бояться нам будет нечего.

Ну а на вторую ночь спустился туман, и мы решили причалить к заросшему кустами островку, — не ехать ведь давай в тумане! А когда я подбежал в челноке и пристам, держа наготове веревку, галжу — не к чему было и привязывать паут: торчат одни тоненькие прутики

И обмотав веревку вокруг одного куста поближе к воде, не торопясь давай было такое сильное, что куст вырвало с корнем и паут понесло дальше. Я заметил, что туман становится все гуще и гуще, и мне стало так неприятно и жутко, что я, кажется, с поминуты не мог двинуться с места, да и паута уже не было видно: в двадцати шагах ничего не было видно. Я вскочил в челнок, перебежал на корму, схватил весло и начал отпихиваться. Челнок не поддавался. Я так спешил, что позабыл его отпихивать. Поднявшись с места, я начал развешивать веревку, только руки у меня тряслись от волнения, и я долго ничего не мог поделать.

Однако, я сейчас же пустился догонять паут, держась надолго отменя. Все шло хорошо, пока она не кончилась, но в ней не было и шестидесяти шагов в длину, а паут того я встал в густой бесый туман и потерял видное представление о том, где нахожусь.

Грести, думаю, не годится: того галди, напечу на лодке или на берегу: буду сидеть смиренно, и пускай меня ветер по течению; а все-таки немноготу было сидеть сложа руки. Я крикнула и прислушалась. Откуда-то издали слышался едва слышимый крик, и мне сразу стало веселее. И криком подала в ту сторону, а сам прислушиваясь, не раздается ли крик снова. Опять слышу крик, и оканчивается, я еду совсем не туда, а забрала вправо. А в следующем раз, галжу, я забрала влево и опять нечаянно уехала, потому что все кружила то в одну, то в другую сторону, а крик-то был слышен все время при мне.

Думаю: хоть бы этот дурак догадался бить в скобелу да колотил бы все время; но он так и не догадался, и эти промежутки тишины между криками сбивали меня с толку. А я все греб и греб — и вдруг слышу крик подала себя. Тут уж я совсем запуталась. Или это кто-нибудь другой кричит, или я повернула кругом.

И бросила весло. Слышу, опять кричат, опять позади меня, только в другом месте, и теперь крик не умолкает, только все меняет место, а я отключалась, пока крик не перестал опираться вперед меня; тогда я поняла, что додала пауту, если это Джим кричит, а не какой-нибудь индейский. Когда туман, я пахо разбираюсь в голосах, потому что в тумане не видно и не слышно по-настоящему, не кажется другим и звучит по-другому.

Крик все не умолкал, и через какую-нибудь минуту я наделся на крутой берег с большими деревьями, полами в тумане на каубы дыма; меня отбросило вправо и понесло даьше, между корягами, где бурная вода — такое быстрое там было течение.

Через секунду-другую я снова попал в густой белый туман, крутом стояла тишина. Теперь я сидел неподвижно, слушая, как бьется мое сердце, и, кажется, даже не дышал, пока оно не отступало сотню ударов.

И вдруг я понял, в чем дело, и махнул на все руки. Этот крутой берег был остров, и Джим теперь был по другую его сторону. Это вам не отмах, которую можно обогнуть за десять минут. На острове рос настоящий большой лес, как и полагается на таком острове; он был, может, в пять-шесть миль длиной и больше чем в полмили шириной.

Минут, должно быть, пятнадцать я сидел тихо, не сдвигая ушей. Меня, разумеется, уносило вниз по течению со скоростью четыре-пять миль в час, но этого обидно совершенно не замечалось; — напротив, кажется, будто вода стоит на воде неподвижно; а если мелькнет мимо коряга, то даже дух захватывает, думаешь: вот здорово лопнул коряга! А что сам летишь, это и в голову не приходит. Если вы думаете, что ночью на реке, в тумане, ничуть не страшно и не одиноко, попробуйте сами хоть тогда узнаете.

Около полудня я все кричал время от времени; наконец слышу, откуда-то издали доносится отклик, и попробовал плыть на голос, только ничего не слышал. Тут же попал, должно быть, в целое гнездо остронков, потому что смутно видел их по обеим сторонам челнока — то мелькала узкий проток между ними, а то, хотя и не видно было, я знал, что отмах банко, потому что слышно было, как вода пашется о сушняк и всплыв мусор, прибитый к берегу. Тут-то, среди отмахов, я сбился и не слышал больше крика; сначала попробовал догнать его, но это было хуже, чем гоняться за булавой дающим огнем. Я еще никогда не видел, чтобы друг так метался и менял место так быстро и так часто.

Я стараясь держаться даьше от берега, и раз пять-шесть мне пришлось сильно оттолкнуться от него, чтобы не налететь на островки; я подумал, что и паут, должно быть, то и дело натакаивается на берег; а не то

он давно утонул бы вперед и крика не было бы слышно: это было быстрое челнок.

Помного потрес меня как будто опять вынесло на старое место, только никаких криков я больше не услышал не слышал. Я так и подумал, что Джим налетел на вырост и теперь ему крышка. Я здорово устал и решил идти на дно челнока и больше ни о чем не думать. Заплавать я, конечно, не собирался, только мне так хотелось спать, что глаза сами собой закрывались; ну, говорю себе, задремать хоть на минутку.

И, должно быть, задремал не на одну минутку, потому что, когда я проснулся, звезды ярко сияли, туман рассеялся, и меня несло кормой вперед по большой излучине реки. Сначала я никак не мог понять, где я; мне казалось, что все это я вижу во сне; а когда начал это припоминать, то смутно, словно прошлую неделю.

Рона тут была страшно широка, и лес по обоим берегам рос густой-прегустой и высокий-превысокий, и стояла тишина, насколько я мог рассмотреть при звездах.

И поглядев вниз по течению и увидев черное пятно на воде, я потянулся за ним, а когда догнал, то это оказалась всего-навсего связанные вместе два бревна. Потом плыва еще пятно и за ним тоже потянулся, потом еще пятно, и на этот раз угадал правильно: это был паут.

Когда я добрался до паута, Джим сидел и спал, держа голову на коленях, а правую руку положив на бедро. Другое весло было сложено, и весь паут занесло ветви, листьями и сучьями. Значит, и Джим тоже попал в переделку.

Я приглядел челнок, удержав на пауту под самым носом. Джима, начал звать, потягиваться, потом говорю: — Эй, Джим, разве я уснул? Чего ж ты меня не разбудил?

Господи помилуй! Никак это ты, Гек? И ты не спишь и не уснул — ты опять здесь? Даже не верится, просто не верится! Дай-ка я погляжу на тебя, Джим, потрогаю. Нет, в самом деле ты не помер! Верно, ты живой и здоровый, такой же, как был, все такой же самый богу!

Что это с тобой, Джим? Вышла ты, что ли?

Вышла? Где же я вышла? Когда это я мог выплыть?

Так отчего же ты несешь такую чепуху?

Как чепуху?



— Как? А чего же ты богаешься, будто я только что вернулся и будто меня тут не было?

— Гек... Гек Финн, поглядь-ка ты мне в глаза, погляди мне в глаза! Разве ты никогда не уходила?

— Я уходила? Да что ты это? Никогда я не уходила. Куда мне ходить?

— Послушай, Гек, тут, ей-ей, что-то не ладно, да-да! Может, я не я? Может, я не тут, а еще где-нибудь? Вот ты что мне скажи!

— По-моему, ты здесь, дело ясное, а вот мозги у тебя набекрень, старый дурачек!

— У кого — у меня? Нет, ты мне ответь: разве ты не ездила в чепанке с веревкой привязывать плот и плотам на отмани?

— Нет, не ездила. К каким еще кустам? Никаких плотов я не видал.

— Ты не видал кустов на отмани? Ну как же, ведь веревка сорвалась, плот понесло по реке, а ты остался в чепанке и пропал в тумане...

— В каком тумане?

— В каком? В том самом, который был всю ночь. И ты кричал, и я кричал, а потом мы запутались среди островков и один из нас сбился с дороги, а другой не равно что сбился, потому что не знал, где находится, ведь так было дело? Я же наткнулся на целую кучу этих самых островов и еле оттуда выбрался, чуть-чуть не потонул! Разве не так было дело, сынок, не так разве? Вот что ты мне скажи!

— Ну, Джим, я тут ничего не понимаю. Никогда

я не видал тумана, ни островов и вообще никакой путаницы не было — ровно ничего! Мы с тобой сидели всю ночь и разговаривали, и всего-то прошло минут десять, как ты ушла, да, должно быть, и я тоже. Напиться ты в это время не мог, значит, тебе все это приснилось.

— Да как же все это могло присниться в десять минут?

— А все-таки приснилось же, раз ничего этого не было.

— Да как же, Гек, ведь я все это так ясно вижу... Не все ли равно, ясно или не ясно. Ничего этого не было. Я-то знаю, потому что я тут все время был.

Джим молчал минут пять, должно быть, обдумывая. Потом говорит:

— Ну ладно, Гек, может, мне это и приснилось, только убей меня бог, если я когда-нибудь видел такой фантастический сон. И никогда я так не уставал во сне, как на этот раз.

— Что ж тут такого! Бывает, что и во сне тоже уставать. Только это была вещий сон... Ну-ка, расскажи мне все по порядку, Джим.

Джим пустился рассказывать и рассказал все, как было, до самого конца, только здорово прикрасил. Потом сказал, что теперь надо «постояковать» сон, потому что он послан нам в предостережение. Первая отмазка — это человек, который хочет нам добра, а течение — это другой человек, который нас от него старается отвести.

Кривин — это предостережения, которые время от времени посылаются нам свыше, и если мы не постараемся понять их, они нам принесут несчастье, вместо того чтобы избавить от беды. Куча островков — это неприятности, которые грозят нам, если мы свяжемся с плохими людьми и вообще со всякой дрянью; но если мы будем советоваться не в свое дело, не будем с ними разговаривать и раздражать их, тогда мы выберемся из тумана на светлую, широкую реку, то есть в свободные воды, и больше у нас никаких неприятностей не будет.

Когда я пересел на плот, было совсем темно от туч, и теперь небо опять расчистилось.

— Ну, ладно, Джим, это ты все хорошо растолковал, — говорю я, — а вот эта штука что значит?

И показал ему на сор и листья на плоту и на сломанное весло. Теперь их отлично было видно.

Джим поглядел на сор, потом на меня, потом опять на сор. Вещный сон так крепко засел у него в голове, что он никак не мог выбить его оттуда и сообразить, в чем дело. Но когда Джим сообразил, он поглядел на меня приставно, уже не улыбаясь, и сказал:

— Что эта штука значит? Я тебе скажу. Когда я устаю грести и звать тебя и засну, у меня просто сердце разрывалось: было жалько, что ты пропал, а что будешь со мной и с плотом, я даже и не думал. А когда я проснулся и увидел, что ты опять тут, живой и здоровый, я так обрадовался, что чуть не заплакал, готов был стать на колени и ноги тебе целовать. А тебе он только брат да морочить голову старику Джиму! Это все мусор, дрянь; и дрянь те люди, которые своим друзьям сыплют грязь на голову и поднимают их на смех.

Он встал и пошелся в шалаш, зашел туда и болящие со мной не разговаривал. Но и этого было довольно. Я почувствовал себя таким подлецом, что готов был доложить ему ноги, лишь бы он взял свои слова обратно. Прошло, должно быть, минут пятнадцать, прежде чем я переломил себя и пошел унизиться перед негрочком. Однако я пошел и даже ничуть об этом не жалел, и ни когда не жалею. Болящие я его не раздвирывал, да и на этот раз не стал бы морочить ему голову, если бы знал, что он так обидится.

ГЛАВА XVI

Мы проспали почти целый день и тронулись в путь поздно вечером, пропустив сначала вперед длинный длинный плот, который тащился мимо без конца, словно похоронная процессия. На каждом конце плота были по четыре длинных весла, значит, плотовщиков должно было быть никак не меньше тридцати человек. Мы насчитали на нем пять больших шалашей, довольно далеко один от другого; посредине горел костер, на обоих концах стояло по шести с флагом. Выглядел он просто замечательно. Это не штука — работать плотовщиком на таком плоту!

Нас донесло течением до большой излучины, и тут набежали обаака и ночь сделалась душная. Река здесь была очень широкая, и по обоим ее берегам стеной стоя

листый лес; не видно было ни одной прогалины, ни одного огонька. Мы разговаривали насчет Каира: узнаем ли его или нет, когда до него доплывем. Я сказал, что, верно, не узнаем; говорю, там всего около десятка домов, и если они потащатся, то как узнать, что просящийся мимо города? Джим сказал, что там свиваются только две большие реки, вот поэтому и будет видно. А в смысле, что нам может показаться, будто мы проезжаем мимо острова и опять попадаем в ту же самую реку, это невозможно. Джима и меня тоже. Спрашивается, что же нам делать? По-моему, надо было причалить к берегу, как только покажется огонек, и сказать там, что мой отец остался на шаланде, по реке он плавает первый раз и послал меня узнать, далеко ли до Каира. Джим наша, что это неодолая мысль, так что мы выжидали по трубочке и стали ждать.

Десять было нечего, только глядеть в оба, когда показится город, и не прозевать его. Джим сказал, что уж было наверно не прозевает: ведь как только он увидит Каир, так и ту же минуту станет свободным человеком; а если прозевает, то опять очутится в рабовладельческих штатах, а там прощай, свобода! Чуть ли не как-то минуту он вскакивал и кричал:

Вот он, Каир!

Но это был все не Каир. То это оказывались блуждающие огоньки, то светлячки, и он опять усаживался терпеливо. Каир, Джим говорил, что его бросает то в жар, то в холод оттого, что он так скоро будет на свободе. И меня тоже, скажу я вам, бросало то в жар, то в холод; я только теперь сообразил, что он и в самом деле скоро будет свободен, а кто в этом виноват? Я, конечно. Совет у меня была нечиста, и я никак не мог успокоиться. Я так замучился, что не находил себе покоя, не мог даже усидеть на месте. До сих пор я не понимаю, что я такое делал. А теперь вот понял и не мог на минуту забыть — меня жгло, как огнем. Я ставил себе вину, что не виноват; ведь не я увел Джима от его законной хозяйки. Только это не помогло, совесть все твердила и твердила мне: «Ведь ты знаешь, что он беглый, мог бы добратся в лодке до берега и сказать кому-нибудь». Это было правдиво, и от этого я и никак не мог. Вот в чем была заповедка! Совесть шептала мне: «Что тебе сделала бедная мисс

Уотсон? Ведь ты видел, как удирает ее негр, и никому не сказал ни слова. Что тебе сделала бедная старуха, за что ты ее так обидел? Она тебя учила грамоте, учила, как надо себя вести, была к тебе добра, как умная. Ничего плохого она тебе не сделала».

Мне стало так не по себе и так стыдно, что хоть помереть. Я бегал взад и вперед по плоту и ругал себя, и Джим тоже бегал взад и вперед по плоту мимо меня. Нам не сиделось на месте. Каждый раз, как он подвигивал и кричал: «Вот он, Каир!» — меня прошибало надежда, что точно пущей, и я думал, что, если это и в самом деле окажется Каир, я тут же умру со стыда.

Джим громко разговаривал все время, пока я думал про себя. Он говорил, что в свободных штатах он перестит зря ни единого цента; а когда находит сколько нужно, то выкупит свою жену с фермы в тех местах, где иногда мисс Уотсон, а потом они вдвоем с ней будут работать и выкупят обоих детей; а если хозяин не захочет их продать, то он подготовит какого-нибудь абангонию, ниста, чтобы тот их выкрад.

От таких разговоров у меня по спине мурашки бега. Прежде он никогда не посмел бы так разговаривать. Вы посмотрите только, как он переменялся от старой мысли, что скоро будет свободен! Недаром говорил старая пословица: «Дай негру палец — он заберет всю руку». Вот что, думало, выходит, если действовать спокойно, без соображения. Этот самый негр, которому я все равно что помог бежать, вдруг набрался храбрости и начал заявляет, что он украдет своих детей, а я даже не знаю их хозяина и никакого худа от него не видал.

Мне было обидно слышать это от Джима — тонна с его стороны низость. Совесть начала меня мучить еще прежде, пока наконец я не сказал ей: «Да оставь ты меня в покое! Ведь еще не поздно: я могу поехать на берег, как только покажется огонек, и займусь. Я сразу успокоюсь и повеселюсь, и на душе стало куда легче. Все мои огорчения словно рукой сняло. Я стал глядеть, не покажется ли где огонек, и даже что-то начал петь про себя. Наконец замигнул огонек, и Джим крикнул:

— Мы спасены, Гек, спасены! Скачи и павши от радости! Это добрый старый Каир, я уж знаю!



И НАЧАЛ:

И поеду в чепанке, поглажу сначала. Знаешь, дядя, это может, еще и не Каир.

Он кончил, приготовив чепанок, положил на дно свою старую куртку, чтобы было мягче сидеть, подавал вино, а когда я отчаянно крикнул всласть:

Скоро я прямо пойду плавать от радости, буду кричать, что это все из-за Гек! Я теперь свободный чепанок, а где ж мне было освободиться, если бы не он?

Это все Гек сделал! Джин никогда тебя не забудет, Гек! Такого друга у Джима никогда не было, а теперь ты и вовсе единственный друг у старика Джима.

Я гроб, стараясь изво всех сил, спешил донести на него. Но как только он это сказал, у меня и руки опустелись. Теперь я гроб едешь и сам не знал, рад ли, что поехал, или не рад. Когда я отъехал шагов на пятьдесят, Джин крикнул:

— Вон он едет верный старый Гек! Единственный белый джентльмен, который не обманул старика Джима!

Ну, мне просто нехорошо стало. Однако, думаю, надо же это сделать. Нельзя откладывать. А тут как раз плавет ялик, и в нем два человека с ружьями; они очень наваливаются, и я тоже. Один из них и спрашивает:

— Что это там такое?

— Паот,— говорю я.

— А ты тоже с этого паота?

— Да, сэр.

— Мужчины на нем есть?

— Всего один, сэр.

— Видишь ли, нынче ночью сбежало пятеро негров, вон оттуда, чуть повыше палатки. У тебя кто там? Белый или черный?

Я не сразу ответил. Хотел было, только слова никак не шли с языка. С минуту я снисся собраться с духом и все им рассказать, только храбрости не хватало. Струсил хуже зайца. Но вижу, что ничего у меня не выйдет, махнул на все рукой и говорю:

— Белый.

— Ну, мы сами поедем посмотрим.

— Да, уж покажу! — говорю я. — Ведь там мой папаша. Помогите мне — возьмите паот на буксир до того места, где фонарь горит на берегу. Он болел, и мама тоже, и Мари Эйн.

— Ах ты черт возьми! Нам некогда, мальчик! Ну, да и думаю, помочь надо. Цепайся своим вездом поедем.

Я прицепился, и они налегали на веза. Посадил их как они сделали два-три везах везами, я сказал:

— Папаша будет вам очень благодарен. Все уезжают, как только попросишь дотянуть паот до берега, а мне самому это не под силу.

Подлость какая! Нет, все-таки чудно что-то... А слышишь, мальчик, что такое с твоим отцом?

С ним... у него... да нет, ничего особенного. Они перестали грести. До паота теперь оставалось совсем немного. Первый сказал:

Мальчик, ты врешь. Что такое у твоего отца? Говори правду, тебе же будет лучше.

Я сказал, сэр. Честное слово, скажу, только не вранье нас, ради бога! У него... у него... Вам ведь не надо подвезать близко к паоту, вы только возьмете его на буксир... Покажу! — я вам брошу веревку.

Поворачивай обратно, Джон, поворачивай живее! — говорит один.

Они повернули назад.

Держись подальше, мальчик,— против ветра. Черт возьми, боюсь, как бы не нанесло заразу ветром. У твоего папы черная оспа — вот что, мальчик, и ты это непременно знаешь. Что ж ты нам сразу не сказал? Ходишь, чтобы мы все пересаразались?

Да,— говорю я, а сам всхлипываю,— я раньше так и говорил, а они тогда уезжали и бросали нас.

Ведь я, а ведь это, покажи, правда. Нам тебя совсем мало, только вот какая штука... Понимаешь, нам очень боюсь не хочется. Саушай, я тебе скажу, что делал. Ты сам и не пробуй причалить к берегу, а не то разобьешь все вдребезги. Проплывешь еще миль двадцать вниз по реке, там увидишь город на левом берегу. Когда будет уже светло; а когда станешь просить, чтобы нам помогли, говори, что у твоих родных озноб и жар. Не будь дураком, а то опять догадаются, в чем дело. Мы тебе добра хотим, так что ты уж отъезжай от нас еще миль на двадцать, будь любезен. Туда, где фонарь горит, не стоит ехать — это всего-навсего лесной чаща. Саушай, твой отец, наверно, бедный, я уж вижу, что ему не повезло. Вот, смотри, я кааду золотую монету и двадцать долларов на эту доску — возьмишь, когда подплывешь поближе. Конечно, с нашей стороны подлость тебя оставлять, да ведь и с оспой тоже шутить опасно, сам знаешь.

Погоди, Паркер,— сказал другой,— вот еще двадцать от меня, положи на доску... Прощай, мальчик! Ты так и едешь, как мистер Паркер тебе говорит, тогда все будет в порядке.

— Да, да, мальчик, верно! Ну, прощай, всего хорошего. Если где увидишь берлого негра, зови на помощь и хватай его — тебе за это денег дадут.

— Прощайте, сэр, — говорю я, — а берлог негров уж постараюсь не упустить.

Они поехали дальше, а я перелез на плот, чувствуя себя очень скверно; ведь я знал, что поступаю некорректно, и понимал, что мне даже и не научиться никогда не наступать так, как надо; если человек с малых лет этому не научился, то уж после его не заставишь никак; и надо бы, да он не может, и ничего у него не получится. Потом я подумал с минуту и говорю себе: постой, а если и ты поступишь, как надо, и выдашь бы Джима, было бы тебе лучше, чем сейчас? Нет, говорю себе, все равно было бы плохо; я так же плохо себя чувствовал бы, как и сейчас. Какой же тоак стараться драть все как полотно, когда от этого тебе одно только беспокойство; а когда поступиешь, как не надо, то беспокойства никакого, а награда все равно одна и та же. Я стал в тупик и ответа не нашел. Ну, думаю, и голову больше ломать не стану, а буду всегда действовать, как покажется сподручней. Я заглубил в шалаш Джима там не было. Я отдал весь плот — его не было нигде. Я крикнул:

— Джим!

— Я здесь, Гек! Их больше не видно? Говори потише.

Он сидел в реке за кормой, один только нос торчал из воды. Я сказал ему, что их больше не видно, и он влез на плот.

— Я ведь все слышал и скорей соскочилу в воду, хотел уже плыть к берегу, если они причалят к плоту. А потом, думаю, опять припылыву, когда они уедут. А здорово ты их надул, Гек! Ловкая вышла штука! И тебе вот что скажу, сынок: по-моему, только это и спасло старика Джима. Джим никогда этого тебе не забудет, голубчик!

Потом мы стали говорить про деньги. Очень неудачно заработали — по двадцати долларов на брата. Джим сказал, что теперь мы можем ехать на пароходе третьим классом и денег нам вполне хватит на дорогу до свободных штатов и что двадцать миль для плота сущие пустяки, только ему хотелось бы, чтобы мы были уже там.

На рассвете мы причалили к берегу, и Джим все еще

хотел спрыгнуть с плота поутру. Потом он целый день улавливал наши пожитки в уады и вообще готовился к тому, чтобы совсем расстаться с плотом.

Вечером, часов около десяти, мы увидели огни какого-то города и издали на левом берегу.

Мы поехали в челноке узнать, что это за город. Очень мне повстречался человек в ланке, который ловил рыбу. Я подвезла поближе и спросил:

— Скажите, мистер, это Канр?

— Канр? Нет. Олуреа ты, что ли?

— Так какой же это город?

Если тебе хочется знать, поезжай да спроси. А дальше тут окопываться да надоедать, так смотри у меня получишь!

Мы повернули обратно к плоту. Джим ужасно расстроился, но я ему сказал, что следующий город, наверное, будет Канр.

Перед рассветом нам попался еще один город, и я опять хотел поехать на разведку, только берег тут был пустынный, и я не поехал. Джим сказал, что Канр не на этом берегу. А я про это позабыл. Для дневной остановки мы выбрали заросший кустами островок, поближе к левому берегу. Я начал кое о чем догадываться. И Джим тоже. Я сказал:

— Может, мы прозвевали Канр в тумане тогда утром?

Джим ответил:

— Не будем говорить про это, Гек. Бедным неграм не везет. Я так и думаю, что змеиная кожа еще не успела анат.

Лучше бы я ее в глаза не видел, Джим, лучше бы ты мне и не попадалась!

— Ты не виноват, Гек: ты не знал. Не ругай себя за это.

Когда совсем рассвело, так оно и оказалось: поблизко к берегу текла светлая вода реки Огайо, а дальше в тумане начиналась мутная вода — сама Старая Миссисипи! Так что с Канром все было кончено.

Мы потаковали, как нам быть. На берег нечего было и соваться; вести плот против течения мы тоже не могли. Только и оставалось, дожидаясь темноты, отниматься обратно в челноке: будь что будет. Мы привалили весь день в кустах, чтоб набраться сил, а когда

да после сумерек вышли к плоту, оказавшись, что челнок исчез!

Мы долго молчали. Да и говорить-то было нечего. Оба мы отлично знали, что это змеяная кожа действует, да и какой толк может быть от разговоров? Опыть, пожалуй, накинешь беда, как будто нам этого мало, а там оно и пойдет одно за другим, пока не научимся дергать язык за зубами. Потом мы обдумали, что нам делать, и решили, что ничего другого не остается, как плыть вниз по течению на плоту, пока не подвернется случай купить челнок и ехать на нем обратно. Отец взял бы челнок, а мы, если б поблизости никого не случилось, по моему мнению, этого делать не собирались, чтобы за нами не бегали погоня.

Когда стемнело, мы пустились в путь на плоту. Плотный, кто еще не верит, как опасно брать в руки змеяную кожу, даже после всего, что с нами случилось, обидительно повернул, когда почтывает дальше, что она с нами натворила.

Челноки обыкновенно покупают с плотов, стоящих на причале у берега. Но пока что мы таких плотов не видели и ехали себе да ехали, — должно быть, больше трех часов подряд. И ночь сделалась какая-то серая, очень густая, а это тоже гадость, не лучше тумана: не разберешь, какие берега у реки, и вдалеке тоже ничего не видно. Было уж очень поздно и совсем тихо; вдруг слышим — вверх по реке идет пароход. Мы зажгли фонарь, думали, что с парохода нас заметят. Обыкновенно индусы пароходы проходили далеко от нас: они обходят от мели и, чтобы не бороться с течением, плывут тихой водой под высоким берегом, но в такие ночи они идут прямо по фарватеру против течения.

Мы слышали, как плывет пароход, но не видели его, пока он не подошел совсем близко. Он шел прямо на нас. Пароходы часто так делают, чтобы посмотреть, насколько близко можно пройти от плота, не заден его: иногда колесо откусывает конец весла, а потом дощечки высовываются и хохочет, хватается: вот он какой дощечки! Мы так и думали, что пароход постарается пройти поближе, не заден плота, но он шел прямохонько на нас. Он был большой и несся быстро, словно черная туша, усевшая рядами светлячков по бокам; и вдруг он навалился на нас, большой и страшный, и длинный ряд его

протек тонкой засверкала, как раскаленные докрасна зубья, а огромный нос и кожухи нависли прямо над нами. Между паром и нами, заволакивая в колокол, чтобы остановить машину, поднялась ругань, зашлепала пар — и в вода. Длинный спрыгнуть в воду с одной стороны, а я с другой, как пароход с треском прошел прямо по плоту.

И нырнул — и нырнул как можно глубже, так, чтобы дождаться до дна, потому что надо мной должно было пройти тридцатифутовое колесо, и я старался оставить под собой место. Обыкновенно я мог просидеть под водой минуту, а тут, должно быть, пробыл минуты полторы. Потом скорей вынырнул наверх, и то чуть не задохнулся. Я нырнула из воды до подмышек, отфыркивая и выдыхая воду. Течение здесь, конечно, было именно сильное, и, конечно, пароход тронулся секунд тридцать после того, как остановился, потому что на зацепившихся они обычно не обращают внимания; теперь он плыл где-то выше по реке, и в темноте мне он не было видно, хоть я и слышала плыть.

И раз двадцать окликал Джима, но не мог добиться ответа: тогда я ухватилась за первую доску, какая попала под руку, и поплыла к берегу, толкая эту доску перед собой. Но скоро я разобрада, что течение здесь поворачивает к левому берегу, а это значило, что я попал на перекат; и потому я свернула влево.

Это был один из тех перекатов, которые идут наводилом и танутся на целых две мили, так что и перекаты очень долго. Я благополучно доплыла до берега и вышла. Вперед почти ничего нельзя было разглядеть, но я пошел напрямик, без дороги, и, пройдя около четверти мили, наткнулся в водах на большой старинный бревенчатый дом. Я хотел было потихоньку пройти мимо и свернуть в сторону, но тут на меня выскочили собаки, завывая и лаяли; и у меня хватило догадки не двигаться с места.

ГЛАВА XVII

Прошло около минуты, и кто-то крикнул из окна, не слышишь головы?

— Тини, вы!.. Кто там?

И сказала:

— Это я.

— Кто это «я»?

— Джордж Джексон, сэр.

— Что вам нужно?

— Мне ничего не нужно, сэр, я только хочу пройти мимо, а собаки меня не пускают.

— Так чего ради ты шатаешься тут по ночам, а?

— Я не шатаюсь, сэр, а я упал за борт с парохода.

— Ах, вот как, упал? Ну-ка, выскените огонь кто-нибудь. Как, ты сказал, тебя зовут? Повтори.

— Джордж Джексон, сэр. Я еще мальчик.

— Послушай, если ты говоришь правду, то тебе нечего бояться: никто тебя не тронет. Только не шатайся, стой спокойно, где стоишь... Разбудите Боба и Тома, кто-нибудь и принесите ружья... Джордж Джексон, есть еще кто-нибудь с тобой?

— Никого нет, сэр.

Я усадила, как в доме забегали люди, и утонула свет. Тот же человек крикнул:

— Убери свечу, Бетси, старая ты дура, в уме ли ты? Поставь ее на пол за дверью... Боб, если вы с Томом готовы, займите свои места.

— Мы готовы.

— Ну, Джордж Джексон, знаешь ты Шепердсонов?

— Нет, сэр, никогда про них не слышал.

— Что ж, может, это и правда, а может, и нет. Ну, все готово. Входи, Джордж Джексон. Да смотри не уронишь — или медленнее. Если с тобой кто-нибудь есть, пусть останется позади; если он покажется, его застрелят. Подходи теперь. Подходи медленно, отвори дверь сам — ровно настолько, чтобы пролезть, слышишь?

Я не спешила, да и не мог бы спешить при всем недовольстве. Я осторожно подошла к двери, в полной тишине; только слышно было, как бьется мое сердце — так мне казалось. Собаки молчали, так же как и люди, но шли за мной по пятам. Дойдя до крыльца с тремя вытесанными из бревен ступеньками, я усадила, как и дома отпирают дверь и отодвигают засов. Я взяла за ручку и тихонько нажала на дверь — еще и еще, пока кто-то не сказал:

— Так, теперь довольно, просунь голову в дверь. Просунуть я просунула, а сама думаю: сейчас ее отрубят. Свеча стояла на полу, и все они собрались вокруг и с четверть минуты глядели на меня, а я на них. Тогда

какой-то мужчина вскрикнул в меня из ружья, так что я даже замигала, сказала по правде; самый старый, лет шестидесяти, уже седой, двое других лет по тридцати или больше, — все трое представительные, красивые, и еще очень милая седовласая старушка, и позвали нас две молодые женщины, которых я плохо разглядела.

Старик сказал:

— Ну, так... я думаю, все в порядке. Входи.

Как только я вошла, старый джентльмен сам запер дверь, махнул засов и велел молодым людям с ружьями идти в комнаты; все пошел в большую гостиную с двумя доскутыми коврами на полу, собралась в угол, чтобы их не видно было из окон фасада, — в боковой стене окон не было. Свечу подлила повыше, все стали тихо разглядывать и говорили: «Нет, он не из Шепердсонов, в нем нет ничего шепердсоновского».

Потом старик сказал, что я, верно, ничего не буду иметь против обыска, — он не хочет меня обидеть, только проверить, нет ли при мне оружия. Он не стал лезть во карманы, а только провел руками поверх платья и пальто, что все в порядке. Он велел мне не стесняться, идти как дома и рассказать, кто я такой; но тут вмешалась старушка:

— Господь с тобой, Саул! Бедняжка насквозь промокла, а может быть, он и голоден. Как ты думаешь?

— Ты права, Рачел, — я и позабыла.

Тогда старушка сказала:

Бетси (это негритинке) сбегай и принеси ему, бедняжке, чего-нибудь поесть, поскорей! А вы, девочки, разбудите Бака и скажите ему... Ах, вот он и есть. Бак, возьми этого чужого мальчика, сними с него мокрое платье и дай ему что-нибудь из своего, сухое. Были на вид казались столько же, сколько и мы, — лет тридцать-сорок, тридцать или около того, хотя он был немножко выше меня ростом. Он был в ночной рубашке, весь взлохмаченный. Он вышел, зевая и проворно кулаком глаза, а другой рукой тащила за собою платье. Он спросил:

— Раньше Шепердсонов тут не было?

Бак ответил, что нет, это была ложная тревога.

— Ну ладно, — сказал он, — А если б сунулись, я бы хоть одного подстрелял.

Все рассмеялись, и Боб сказал:

— Где тебе, Бак! Они успеют бы спать с нас спать, пока ты там раскачивался.

— Конечно, никто меня не позвал, это просто синтетическое! Всегда меня затирают — так и никогда себя не покажу! — Ничего, Бак, — сказал старик, — еще успеешь себя показать! Все в свое время, не беспокойся. А теперь ступай, делай, что мать тебе велела.

Мы с Баком поднялись наверх в его комнату, он дал мне свою рубашку, куртку и штаны, и я все это надел. Пока я переодевался, он спросил, как меня зовут, но прежде чем я успел ему ответить, он пустился мне рассказывать про соню и про кролика, которых он поймал в лесу позавчера, а потом спросил, где был Монсей, когда погасла свечка. Я сказал, что не знаю, никогда даже и не слышал про это.

— Ну так угадай, — говорит он.

— Как же я угадаю, — говорю я, — когда я первый раз про это слышу?

— А догадаться ты не можешь? Ведь это совсем просто.

— Какая свечка? — говорю я.

— Не все ли равно какая, — говорит он.

— Не знаю, где он был, — говорю я. — Ну, скажи где?

— В темноте — вот где!

— А если ты знала, что же ты меня спрашивала?

— Да ведь это же загадка, неужто не понимаешь? Скажи, ты у нас долго будешь гостить? Оставшись совсем. Мы с тобой здорово повеселимся, уроков у нас сейчас нет. Есть у тебя собачка? У меня есть; брошишь в нее ду щепку — она лезет и достаёт. Ты любишь по посредине присесть и всякие там глупости? Я-то, конечно, не люблю, только мать меня заставляет. Черт бы побрал эти штаны! Пожалуй, надо надеть, только не хочется — уж очень жарко. Ты готов? Ну ладно, пошла, старик.

Холодная кукурузная лепешка, холодная солонина, свежее масло, пахтанье — вот чем они меня угощали внизу, и ничего вкуснее я никогда в жизни не едал. Бака, его мама и все остальные курилы коротенькие трубочки, кроме двух молодых девушек и неритянки, которая ушла. Все курилы и разговаривали, а я ел и тоже разговаривал. Обе девушки сидели, завернувшись в одеяла.

распущенными волосами. Все они меня спрашивали, а я им рассказывала, как мы с папашей и со всем семейством жили на маленькой ферме в самой глуши Арканзаса и как сестра Мари Энн убежала из дому и вышла замуж и больше мы про нее ничего не слышали. А Бака пошла ее разыскивать и тоже пропала без вести. — Том и Морт умерли, и больше никого не осталось, кроме нас с отцом, и он так и сошел на нет от забот и горя, а и после его смерти собрали какие останки погребли, потому что ферма была не наша, и отпавшая земля по реке падабным пассажирам, а потом свалилась в реку с парохода; вот каким образом я попала сюда. Они мне сказали тогда, что я могу у них жить, сколько захочу. После этого начало светать, и все разошлись по своим спальням, и я тоже пошла спать вместе с Баком; а когда проснулся поутру, то — поди ж ты! — совсем пропала, как меня зовут. Я лежал около часа и все припоминал, а когда Бак проснулся, я спросил.

— Ты умеешь писать, Бак?

— Умею, — говорит он.

— А вот мое имя небось не знаешь, как пишется! — говорю я.

— Знаю не хуже твоего, — говорит он.

— Ладно, — говорю я, — валяй.

— А-ж-о-р-д-ж М-е-к-с-о-н — вот тебе! — говорю я.

— Правильно знаешь, — говорю я, — а я думал, что это не такое имя, чтобы всякий мог его правильно написать, не выучив наперед.

И я сам записал его потихоньку; вдруг спросит, как оно пишется, а я и отбарабано без запинки, будто для меня это дело привычное.

Семья была очень хорошая, и дом тоже был очень хороший. Я еще никогда не видал в деревне такого хорошего дома, с такой приятной обстановкой. Парадная дверь закрывалась не на железный засов и не на деревянный с кожаным ремешком, а надо было повертывать маленькую шишку, все равно как в городских домах. В гостиной не стояло ни одной кровати, ничего похожего на кровать, а ведь даже в городе во многих гостиницах стоят кровати. Камин был большой, выложенный кирпичом; а чтобы кирпич был всегда чистый, их полагали водой и терли другим кирпичом; иногда их по-

крывали, на городской манер, слоем красной краски, которая называется «испанская коринчевая». Таган был медный и такой большой, что и бревно выдержал бы. Посредине каменной доски стояли часы под стеклом, и на нижней половине стекла был нарисован город с кружком вместо солнца, и видно было, как за стеклом ходит маятник. Приятно было слушать, как они тикают; а иногда в дом заходила бродячий часовщик, чистил их и приводил в порядок, и тогда они били раз двести подряд, пока не выйдутся из сил. Хозяева не отдали бы этих часов ни за какие деньги.

Справа и слева от часов стояло по большому заморскому попугану из чего-то вроде меда и самой пестрой раскраски. Рядом с одним попуганом стояла глянцевая кошка, а рядом с другим — глянцевая собака, и если их нажать, они пищали; только рот у них не раскрывался и морда была все такая же равнодушная. Они пищали снизу. Сзади всех этих штук был засунуты два больших развернутых веера из крыльев дикого индюка. На столе посредине комнаты стояла большая корзина с целой грудой яблок, апельсин, персиков и винограда, гордадо красней и румяней настоящих, только видно было, что они ненастоящие, потому что местами они обвалились и под краской белел гипс или мед — из чего там они были сделаны.

Стол был покрыт красивой клеенкой с нарисованным красной и синей краской ораом и каймой вокруг. Мне сказали, что эту клеенку привезли из самой Филадельфии. По всем четырем углам стола ровными стопками были разложены книги. Одна из них была большая семейная Библия с картинками; другая — «Путь папиника»; про одного человека, который бросил свою семью, только там не говорилось почему. Я много раз за нее принимался, в разное время. Написано было интересно, только не очень понятно. Еще там были «Дары друзей», со всякими интересными рассказами и стихами, только стихов я не читал. Еще были «Речи» Генири Касел и «Домашний лечебник» доктора Ганна; из него можно было узнать, что надо делать, если кто-нибудь заболел или умрет. Был еще моштивеник и разные другие книжки. А еще там стояли красивые пластмассовые статуи, совсем крепкие — не то чтобы какие-нибудь пролазненные или дырявые, вроде старой корзинки.

На стенах у них висели картины — больше всего Лангитоны, да Лафайеты, да всякие битвы, да шотландская королева Мария Стюарт, а одна картина наивналась «Подписание Декларации». Были еще такие картины, которые у них назывались «пастель»; это одна из дочерей сама нарисовала, когда ей было пятнадцать лет; теперь она уже умерла. Таких картинок я еще никогда не видел — уж очень они были черные. На одной была нарисована женщина в узком черном платье, туго подпоясанная под мышками, с рукавами вроде совьих когтей и в большой черной шляпе вроде совьих когтей, а из-под платья видны были тоненькие белые ножки в черных, узеньких, как дождот, туфельках, с черными тесемками крест-накрест. Она стояла под плакущей ивой, задумчиво опираясь правым локтем на могильный памятник, а в левой руке держала бедный плачущий и сумочку, и под картинкой было написано: «Ах, неужели я больше тебя не увижу?». На другой — изображала девушка с волосами, зачесанными на макушку, и в тесном в причёске, большим, как спинка стула, платьем и платок, держа на ладони мертвую птичку лапками вверх, а под картинкой было написано: «Ах, и никогда больше не услышу твоего несеклого шибетанья!». Была и такая картинка, где молодая девушка стояла у окна, глядя на луну, а по щекам у нее текли слезы; в одной руке она держала распечатанный конверт, с черной пестрой, другой рукой прижимала к губам медальон на цепочке, а под картинкой было написано: «Ах, неужели тебя больше нет? Да, увы, тебя больше нет!». Картина была хороша, но мне они как-то не очень нравились, потому что если, бывало, загрустится немножко, то от них делалось еще хуже. Все очень жалели, что эта девочка умерла, потому что у нее была начата еще не такая такая картинка, и уже по готовым картинкам всякому было видно, как много потерял ее родители. А по имени, с ее характером ей, наверное, куда веселей на казачище. Перед болендью она начала еще одну картину — говорит, самую лучшую — и днем и ночью сидела о том и молилась, чтобы не умереть, пока не кончит ее, но ей не повезло: так и умерла — не кончила.

На этой картинке молодая женщина в длинном белом платье собиралась броситься с моста; волосы у нее были распущены, она глядела на луну, по щекам у нее

текли слезы; две руки она сложила на груди, две противила перед собой, а еще две простирала к луне. Худощавица хотела сначала посмотреть, что будет лучше, а потом стереть лишние руки, только, как я уже говорил, она умерла, прежде чем успела на чем-нибудь окончательно остановиться, а родные повесили эту картину у нее над кроватью и в день ее рождения всегда убирали цветы. А в другое время картину задерживали маленькой занавесочкой. У молодой женщины на этой картине было довольно приятное лицо, только рук уж очень много, и от этого она, по-моему, смахивала на паука.

Когда эта девочка была еще жива, она завела себе альбом и наклеивала туда из «Пресвитерианской газеты» объявления о похоронах, заметки о несчастных случаях и долготерпеливых страдальцах и сама сочиняла про них стихи. Стихи были очень хорошие. Вот что она написала про одного мальчишку по имени Стивен Дуанг Ботс, который упал в колодезь и утонул:

ОДА НА КОНЧИНУ СТИВЕНА ДУАНГА БОТСА

Хворал ли юный Стивен,
И умер ли он от хвори?
И рыдали ли друзья и родные,
Не помни себя от горя?
О нет! Судьба послала
Родным иное горе,
И хоть они рыдали,
Но умер он не от хвори.
Не свинкой его раздуло,
И сыпью не корь покрывала —
Нет, повеяло корь и не свинка
Беднугу Ботса стубила;
Несчастною любовью
Не был наш Ботс сражен;
Обвешившись сырой морковью,
От колик не умер он.
К судбе несчастного Ботса
Скажете печальный слух:
Снавшись на дно колодезя,
К небесам воспарил его дух.
Доставил его, откачали,
Но уже поздно было:
Туда, где нет печали,
Душа его поспаривала.

Если Эмелина Гранджерфорд умела писать такие стихи, когда ей не было еще четырнадцати лет, то что бы могло из нее получиться со временем! Как говорил,

яко бы написать стихи для нее было плевое дело. Она давала им на минуту не задумывалась. Бывало, придумав одну строчку, а если не может подобрать к ней рифму, то зачеркивает, напишет новую строчку и жарит давай. Она особенно не разбиралась и с удовольствием писала стихи о чем угодно, лишь бы это было что-нибудь приятное. Стоило кому-нибудь умереть, будь это мужчина, женщина или ребенок, покойник еще и остыть не успевает, а она уж тут как тут со своими стихами. Она называла их «Данью покойному». Соседи говорили, что первым выдалась доктор, потом Эмелина, а потом уже профессор; один только раз гробовщик опередил Эмелину, и то она задержалась из-за рифмы к фамилии покойного, а звали его Уистлер. От этого удара она так и не могла оправиться, все чахла да чахла и прожила еще этого немало. Бедняжка, сколько раз я заходила к ней в комнату! И когда ее картины расставляли мне передо мной и начинала на нее сердиться, то доставала ее старинный альбом и читала.

Мне вся эта семья нравилась, и покойники и живые, и я вовсе не хотел ни с кем из них ссориться. Когда бедная Эмелина была жива, она сочиняла стихи всем покойникам, и казалось справедливым, что никто не напишет стихов для нее теперь, когда она умерла: я попробовал сочинить хоть один стишок, только у меня ничего не вышло.

Комнату Эмелины всегда чистенько убирала, и все вещи были расставлены так, как ей нравилось при жизни, и никто никогда там не спал.

Старушка сама наволочила порядок в комнате, хотя в них было много негров, часто сидела там с шитьем и свободно тоже почти всегда читала там.

Так вот, я уже рассказывала про гостиную; на окнах там висели красивые занавески, белые, с картинками; лампа, сплошь обвитые паучком, и стола на водопое. Там стояло еще старенькое пианино, набитое, по-моему, тысячами сквородками, и для меня первое удовольствие было слышать, как дочки поют «Расстались мы» или играют на нем «Витну под Прагой». Стены во всех комнатах были оштукатурены, на полу почти везде лежали ковры, а снаружи весь дом был выбелен. Он был в два этажа, а между флигелями были насажены плоды и садовая крыша, так что иногда там накрывали стол в

середине дня, в место это было самое уютное и прохладное. Ничего не могло быть лучше! Да еще стриптиз у них очень вкусно, и еда подавалась славные горы!

ГЛАВА XVIII

Покровник Гранджерфорд был, что называется, джентльмен, настоящий джентльмен с головы до пят, и вся его семья была такая же благородная. Как говорится, в нем была видна порода, а это для человека очень важно, все равно как для лошади; я самах это от вдовы Дуглас, а что она была из первых аристократок у нас в городе, с этим никто даже и не спорил; и мой папаша тоже всегда так говорил, хотя сам-то он не породистей дворян. Покровник был очень высокого роста, худой, смуглый, но бодный, без единой капли румянца; каждое утро он брил начисто все лицо; губы у него были очень тонкие, тонкий нос с горбинкой и грубые брови, а глаза черные-пречерные, и сидели они так глубоко, что смотрел на вас как будто из пещеры. Люб у него был высокий, а волосы седые и длинные, до самых плеч. Руки — худые, с длинными пальцами. И каждый божий день он надевал чисто рубашку и полотняный костюм такой беленький, что смотреть больно. А по воскресеньям одевался в синий фрак с медными пуговицами. Он носил трость красного дерева с серебряным набадашником. Шутить он не любил, ни-ни, и говорил всегда тихо. А доброты была такой, что и сказать нельзя, — всякий сразу это видел и чувствовал и ему доверие. Улыбался он редко, и улыбка была приятная. Но уж есан, бывало, выпрямится, как майский шест, и начинает метать молнии из-под густых бровей, то сначала хотела поскорей заехать на дерево, а потом уже узнавать, в чем дело. Ему не приходилось никого одергивать; при нем все ведали себя как следует. Все любил его общество, когда он бывал в духе; и кому сказать, что при нем было хорошо, как при солнышке. Когда он хмурился, как грозная туча, то гроза продолжалась какие-нибудь полминуты — и этим все кончалось, и потом целую неделю все было спокойно.

Когда он вместе со своей старушкой входил утром в столовую, все дети вставали со стульев, ждали им доб-

рого стула и не сдвигались до тех пор, пока не сядут старушка. После этого Том с Бобом подходили к буфету, где была графин, смешивали с водой стаканчик виски и подавали отцу, а он ждал со стаканом в руках, пока они не дадут себе, потом они кланялись и говорили: «За ваше здоровье, сударь! За ваше здоровье, сударь!» — а старушка ели кивала головой и благодарили, и все это проделывали. А потом Боб и Том наливали ложку воды на ладонь и каталку виски или яблочной на дно всех стаканов и давали нам с Бобом, и мы тоже пили за здоровьем стариков.

Боб был самый старший, а Том — второй, оба высокого, широкоплечие молодцы, загорелые, с длинными черными волосами и черными глазами. Они одевались с головы до ног во все белое, как и покровник, и носили широкое панталы.

Еще была мисс Шарлотта (лет двадцати пяти), высокая, гордая, величественная, но такая добрая, что и сказать нельзя, если ее не сердили. А когда рассердилась, то падались, бывало, не хуже отца — просто душа идет в пятки. С собой она была красавица.

Ее сестра, мисс София, тоже была красавица, только совсем в другом роде: кроткая и тихая, как голубка; ей было всего двадцать лет.

У каждого из них был свой негр для усаут, и у Боба тоже. Моему негру делать было нечего, потому что я не прихотник, чтобы мне прислуживали, зато негру Бака приходилось сидеть сложа руки.

Мой и все, что оставалось теперь от семьи, а прежде было еще три сына — их всех тронх убили; и была еще женщина, которая умерла.

У старика было много ферм и около сотни негров. Иногда приезжали целой толпой гости верхом, за десерт, за пивом, за мидь, гостили пять-шесть дней, пировали, пились по реке, днем устраивали пикники в лесу, а вечером танцевали в доме. По большей части это были все родственники. Мужчины приезжали в гости с женами. Господа все были видные, можно сказать, в этих местах жила и еще один аристократический род семьи: пить или шест; почти все они были по фамилии Шенерасоны. Это были такие же благородные, воспитанные, богатые и знатные господа, как и Гранджерфорды. У Шенерасонов и Гранджерфоров была обща-

пароходная пристань, двумя мильми выше нашего дома, и я, когда бываю с нашими на пристани, частенько вижу там Шеперасонов, гарчущих на красивых лошадей. Как-то днем мы с Баком пошли в лес на охоту и вдруг слышим конский топот. А мы как раз переходили дорогу. Бак закричал:

— Скорей! Беги в лес!

Мы побежали, а потом стали смотреть из-за кустов на дорогу. Скоро показался красивый молодой человек, похожий на военного; он ехал рысью по дороге, отпуская поводья. Поперек села у него лежало ружье. Я его и раньше видел. Это был молодой Гэрни Шеперасон. Варуг ружье Бака выстрелило над самым моим ухом, и с головы Гэрни слетела шляпа. Он схватился за ружье и поспежал прямо к тому месту, где мы притаились. Но мы не стали его дожидаться, а пустились бежать через лес. Лес был не густой, и я то и дело оглядывался, чтобы увернуться от пуль; я два раза видел, как Гэрни прицелился в Бака из ружья, а потом повернул обратно, в ту сторону, откуда приехал, — должно быть, за своей шапкой; так я думаю, только этого я не видел. Мы не останавливались, пока не добежали до дому. Сначала гавкал у старого джентльмена загорелась — я думаю, от радости, — потом лицо у него как будто разгладилось, и он сказал довольно ласково:

— Мне не нравится эта стрельба из-за куста. Почему ты не вышел на дорогу, мой мальчик?

— Шеперасоны никогда не выходят, отец. Они пользуются всяким преимуществом.

Мисс Шарлотта поднимала голову, как королева, слушая рассказ Бака; позари у нее раздувались, глаза сверкали. Молодые люди нахмурились, но не сказали ни слова. Мисс София победоносно, а когда усмешливо, что Гэрни остался цел, опить порозовеяла.

Как только мне удалось вызвать Бака к кормушке под деревьями и мы остались с ним вдвоем, я спросил:

— Неужто ты хотел его убить, Бак?

— А то как же!

— Что же он тебе сделал?

— Он? Ничего он мне не сделал.

— Так за что же ты хотел его убить?

— Ни за что — из-за того только, что у нас кровная вражда.

— А что такое кровная вражда?

— Чему же тебя учили? Неужели ты не знаешь, что такое кровная вражда?

— Первый раз слышу. Ну-ка, расскажи.

— Ну вот, — сказал Бак, — кровная вражда — это то, что бывает, что один человек поссорится с другим и убьет его, а тогда брат этого убитого возьмет да и убьет первого, потом их братья поубивают друг друга, потом на них вступаются двоюродные братья, а когда все перебьют, тогда и вражде конец. Только это довольно медленно, времени проходит много.

— А наша вражда давно началась?

— Еще бы не давно! Лет тридцать или около того. Наша напад-то ссора, а потом из-за нее судились; и тот, который проиграл процесс, пошел и застрелил того, который выиграл, — да так оно и следовало, конечно. Всякий на его месте сделал бы то же.

— Да из-за чего же вышла ссора, Бак? Из-за чего?

— Я не знаю. Может быть.

— Ну, а кто же первый стрелял? Гранджерфорд или Шеперасон?

— Господи, ну почему я знаю! Ведь это так давно было.

— И никто не знает?

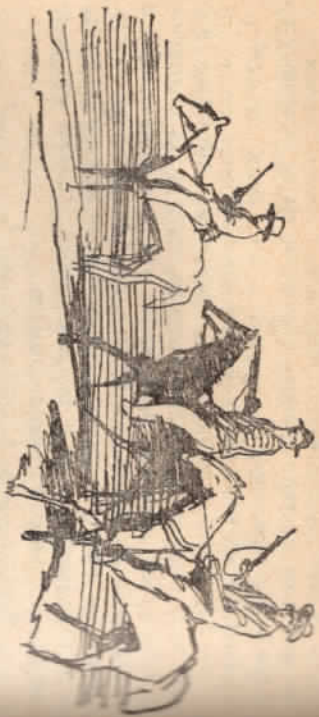
— Нет, папа, я думаю, знает, и еще кое-кто из стариков знает; они только не знают, из-за чего в самый первый раз началась ссора.

— И много было убитых, Бак?

— Да! То и дело кого-нибудь хоронят. Но не всех же убивают. У папы в ноге сидит крупная дробь, только он не обращает внимания, не думает об этом, и все. Баба тоже здорово полоснула ножом, и Том был ранен раза два.

— А в этом году кого-нибудь убили, Бак?

— Да, у нас одного и у них одного. Месяца три назад мой кузен Бад поехал через лес на ту сторону реки, в дружки с собой не захватил — такая глупость! — и варуг в одном глухом месте слышит за собой топот; выстрел — за ним скачет плашивый Шеперасон с ружьем в руках, скачет, а седлые волосы развеваются по ветру. Баду надо было соскочить с лошади да спрятаться в кусты, а он решил, что старик его не догонит, и так



они скакали миль пять во весь дух, а старик все нагонял; наконец Бад видит, что дело плохо, остановил лошадей и повернулся лицом к старнику, чтобы пуга погнался не в спину, а в грудь, а старик подвезал поближе и убил его наповал. Только недавно ему пришлось раздобывать: не прошло и недели, как наши его уложили.

— По-моему, этот старик был трус, Бак.

— А по-моему, нет. Вот уж нет! Среди Шепердсонов нет трусов, ни одного нет! И среди Гранджерфордов тоже их нет. Один раз этот старик честно дрался с тремя Гранджерфордами и в полчаса одолев их. Все они были на верхом, а он соскочил с лошади и засел за кучей дров, а лошадей поставил перед собой, чтобы загорождать от пуга. Гранджерфорды с лошадей не слезли, все тарцевали вокруг старика и падали в него, а он падал в них. И он и его лошади вернулись домой израненными и в крови, зато Гранджерфордов принесли домой одного убитым, а другого раненым, он умер на следующий день. Нет, сэр, если кому нужны трусы, так нечего и время тратить искать их у Шепердсонов — там таких не водятся!

В следующее воскресенье мы все поехали в церковь, минал за трои, и все верхом. Мужчины взяли с собой ружья, — Бак тоже взял, — и держали их между коленями или ставили к стенке, чтобы были под рукой. И Шепердсоны тоже так делали. Проповедь была самая обыкновенная — насчет братской любви и прочего тому подобно, такая все скучища! Говорили, что проповедь хороша, и когда ехали домой, всё толковали про веру да про добрые дела, про благодать и предопределение

и все знали еще про что, так что мне показалось, будто какого-нибудь поскресеши у меня еще никогда в жизни не было.

Через час после обеда или около того все задремали, и в конце, кто у себя в комнате, и стало еще скучней. Я же со своей собакой улетел на траву и крепко уснул на траве. Я пошел в нашу комнату и сам хотел было поспать. Смотрю, тихая мисс София стоит на пороге своей комнаты, что рядом с нашей; она позвала меня к себе в комнату, тихонько затворила дверь и спрашивает, люблю ли я ее, а я сказал, что люблю; а потом она спросила, могу ли я исполнить одну ее просьбу. Я потому об этом не говорил, и я сказал, что могу. Тогда она сказала, что забыла свое Евангелие в церкви, и попросила его на скамье между двумя другими книгами, так не схожу ли я потихоньку за этой книгой, и я принесу ли ее сюда, только никому ничего не говорю. И сказала, что принесу. И вот я потихоньку выбрался из комнаты и побежал по дороге; смотрю — в церкви никого нет, кроме одной или двух свинок: дверь никогда не закрывалась, а свиньи летом любят валяться на тесовом полу, потому что он прохладный. Если вы заметили, большинство людей ходит в церковь только по необходимости, ну а свиньи — дело другое.

Ох, думаю, тут что-то неладно; не может быть, чтобы она так расстроилась из-за Евангелия. Я потренировался, смотрю — на нее высочина маленький ключок висит, а на нем написано карандашом: «В половине третьего». Я стал еще искать, но ничего больше не нашел. И так ничего и не понял, взял и положил бумажку обратно, а когда вернулся домой и поднялся наверх, мисс София стояла в дверях своей комнаты и ждала меня. Она взглянула меня в комнату и закрыла дверь, потом стала переизвещать Евангелие, пока не нашла записку, а когда прочла ее, то очень обрадовалась, и не успев и опомниться, как она схватила меня за плечи, обняла и сказала, что я самый лучший мальчик на свете и чтобы и никому ничего не говорил. Газа у нее загорелась, она вся покраснела и от этого стала очень приятной. Меня сильно разбирало любопытство, и, пережив дух, и сейчас же спросила, о чем была записка; а она спросила, читал я ее или нет, а я сказал, что не читал. Тогда она спросила, умею ли я читать по-писанному.

ному, а я сказаа, что не умею, разве только если напишано печатными буквами, и она тогда сказаа, что в списке ничего особенного не было, это просто закарманная и чтобы я шел играть.

Я пошел к реке, раздумывая обо всем этом, и вдруг заметил, что за мной идет мой негр. Когда мы отошли от дома настолько, что нас нельзя было увидеть на она, он оглянулся по сторонам, а потом подбежал ко мне и говорит:

— Мистер Джордж, не хотите ли пойти со мной на болото? Я вам покажу целую кучу водяных змей.

Думаю, тут что-то дело нечисто, он и вчера то же говорил. Ну кому нужны водяные змеи, чтобы за ними бегать? Не знает он этого, что ли? Интересно, что у него на уме? Говорю ему:

— Конечно, ступай вперед.

Я прошел за ним около полумили, потом он пустился наперерез через болото и еще полмили брел по цинковой катушке в воде. Скоро мы подошли к небольшому островку сухой земли, густо заросшему деревьями, кустами и папирусом, и тут негр сказаа:

— Вы ступайте туда, это всего два шага — они там и есть. А я их и раньше видел, на что они мне!

Он повернул обратно, опять зашагал по болоту и скрылся за деревьями. А я пошел напрямик и скоро наткнулся на маленькую полянку, с коим-то величественным, всю увитую папирусом; вдруг вижу — прямо на земле спит человек, и, честное слово, это был мой старик Джин!

Я его разбудил и думаа, что он очень удивится, когда меня увидит, но не тут-то было. Он чуть не заплакаа — до того мне обрадовался, но ни капли не удивлялся. Сказаа, что в ту ночь он все время плакаа позади меня и слышаа, как я кричаа, только боялся откатиться и не хотел, чтобы его подобрали и опять продали в рабство.

— Я, — говорит, — немножко ушибся и не мог быстро ро павить, так что здорово отстал от тебя под конец! Я когда ты вылез на берег, я подумала, что на берегу surely мею как-нибудь тебя догнать и без крика; а когда увидела тот дом, то перестала спешить и пошла медленнее. Я была еще далеко и не слышаа, что они тебе говорят, и собак тоже боялся; а когда все успокоилось, я поняла, что ты теперь в доме, и ушла в лес дожидаться, пока рассветет. Рано утром негры проходили мимо на рабство

и я пошел, видел меня с собой и показав мне это место — тут вода, и собаки не могут меня учуять; и каждый вечер они приносят мне чего-нибудь поесть и развлекают, как ты там живешь.

Почему же ты не сказаа раньше моему Джеку, чтобы он принес меня сюда?

Зачем же было тебя беспокоить, Гек, пока мы там ничего не слышали? А теперь у нас все готово. Прилагаю и покупаю кастрюльки и сковородки, а по ночам зажигаю паут...

Какой паут, Джин?

Наш старый паут.

А разве его не расшибло вдребезги?

Нет, не расшибло. Его здорово потрепало, это верно, — один конец совсем оторвался. А все-таки беда не так велика, только наши вещи почти все потонули. Если бы нам не пришлось нырять так глубоко и павить по болоту под водой, да еще ночь не была бы такая темная, мы бы увидели паут; мы с тобой перепутались, да в такую потеряли, как говориться. Ну да это ничего, теперь он опять стал как новый, и вещей у нас много больше, вместо тех, которые потонули.

А откуда же у тебя взялся паут, Джин? Ты его поймал, что ли?

Как же я его поймал тут, в лесу? Нет, негры его поймали — он тут недалеко зацепился за корягу в излучине, — и они его спрятали в речке под ивами, а потом продавали такой крик из-за того, кому он достанется, что и до меня скоро дошло, и я все это сразу прекратил — сказаа им, что паут никому из них не достанется, потому что он наш с тобой. Спрашиваю: неужто они хотят возмущать имущество у бедного джентльмена, чтоб им за это платило? Потом даа им по десять центов на брата, и они были довольны-предовольны: думааут, почаше пауты прибавили, чтобы им разбогатеть. Они все же мне очень добры, и если мне что нужно, то два раза приходят не приходить, сынок. Этот Джек — хороший негр, совсем не глупый.

Да, не дурак. Он ведь мне не говорил, что ты здесь! Просто повад сюда, будто хочет мне показать водяных змей. Если что-нибудь случится, так он ни в чем не замешан: может сказаа, что он нас вместе не видал, и это будет правда.

Мне не хочется много рассказывать про следующий день. Постарайтесь покороче. Я проснулся на рассвете и хотел было перевернуться на другой бок и опять уснуть, как вдруг обратил внимание, что в доме очень тихо — никого не видно и не слышно. Этого иногда еще не бывало. Потом я заметил, что и Бак уже встал и ушел. Ну, я тоже встал, а сам не знаю, что и думать. Иду вниз — никого нет, и везде тихо, как в мышиной норке. То же самое и на дворе. Думаю себе: что бы это могло значить? Около дров встречаю своего Джона и спрашиваю:

— Что такое случилось?

Он говорит:

— А вы разве не знаете, мистер Джордж?

— Нет, — говорю, — не знаю.

— Мисс София бежала! Ей-богу, не вру. Сбежала среди ночи, и никто хорошенько не знает когда; бежала, чтобы обвенчаться, знаете, с молодым Гарри Шепердсоном. — по крайней мере все так думают. Раньше то узнали об этом всего полчаса назад, может, немножко раньше, и, надо сказать, времени терять не стали. Сейчас же за ружья, да и на лошадей. — Мы и отыскались не успели. Женщины кинулись поднимать родню, а старый хозяин с сыновьями поскакал к реке, чтобы перехватить по дороге молодого человека и убить его, а то как бы он не переправился за реку с мисс Софией. Думаю, что передарта будет боольшая.

— Бак ушел и не стал меня будить.

— Ну еще бы! Они не хотели впускать вас в это дело. Мистер Бак зарядил ружье и говорит: хоть треснет, да застрелит кого-нибудь из Шепердсонов! Ну, и думаю, их там много будет, — уж одного-то наверняка застрелит, если подвернется случай.

Я побежал к реке, не медля ни минуты. Скоро я уже вышла издалека ружейные выстрелы. Как только я увидела лавочку у пароходной пристани и штабеля дров, я стала пробираться под деревьями и кустами, пока не нашел удобное место, а там залез на развилку вершинского тополя, куда не доходят пуды, и стал смотреть перед тополем, совсем близко, была другой штабел дров, в четыре фута высотой, и я хотел сначала спрятаться за ним, но, пожадуй, лучше сяду, что не спрятася.

На открытом месте перед лавкой, с криком и руганью, разбежались четверо или пятеро верховых, стараясь попасть в двух молодых Гренджерфоров, сидевших за повозницей, рядом с пароходной пристанью, но им это не удавалось. Каждый раз, как кто-нибудь из верховых вылезал из-за штабеля дров к реке, в него стреляли. Мальчики сидели за дровами спиной к спине, так это им было в обе стороны.

Скоро всадники перестали скакать и вопить. Они подошли ближе к лавке; тогда один из мальчиков встал, прицелился хорошенько из-за штабеля и выбил одного всадника из седла. Верховые соскочили с лошадей, похрюкивали раненого и понесли его в лавку, и в ту же минуту оба мальчика пустились бежать. Они были уже на подворье к тому дереву, на котором я сидел, когда их заметили. Как только мужчины их увидели, они опять вскочили на лошадей и погнались за ними. Они стали их нагонять, только ничего из этого не вышло: мальчики все-таки выбежали намного раньше, успели добежать до того штабеля, который был перед моими деревьями, засели за ним, и, значит, у них опять была возможность перед Шепердсонами. Один из мальчиков был уже, а другой, лет двенадцати, худенький, — его двоюродный брат.

Всадники повернулись тут некоторое время, потом уехали куда-то. Как только они скрылись из виду, я окрикнул Бака и рассказал ему все. Сначала он ничего не мог понять, когда услышал мой голос с дерева, и только удивился. Он велел мне смотреть в оба и сказать ему, когда всадники опять покажутся; они, верно, застреляют какую-нибудь пощасть и уехали ненадолго. Мне захотелось убраться с этого дерева, только я позволил себе сказать. Бак начал плакать и браниться и сказал, что они с Джо (это и был другой мальчик, его двоюродный брат) еще отплатят за этот день. Он сказал, что его отец и двое братьев убиты и двое или трое Шепердсонов тоже. Шепердсоны подстергали их в засаде. Бак сказал, что его отец и братьям надо было бы погонять других родственников — Шепердсонов было много. Я спросил его, что стало с молодыми Гарри и мисс Софией. Он ответил, что они успели переправиться за реку и теперь в безопасности. Но до чего же Бак выходил из себя, что ему не удалось убить

Гарни тот раз в лесу, — я просто ничего подобного не самхивал!

И вдруг — бах! бах! бах! — раздались три или четыре выстрела: Шепердсоны оббежали кругом через лес, спешившись и подкрались сзади. Мальчики бросились к реке — оба они были ранены — и попалили вина по течению, а Шепердсоны бежали за ними по берегу, стреляли и кричали: «Убейте их, убейте!» Мне сделалось так нехорошо, что я чуть не свалился с дерева. Все я рассказывать не буду, а то, если начну, мне опять станет нехорошо. Уж лучше бы я тогда ночью не вылезал здесь на берег, чем такое видеть. До сих пор все это стоит у меня перед глазами, даже снилось сколько раз. Я сидел на дереве, пока не стемнело: все боялся свалиться. Время от времени я слышал далеко в лесу выстрелы, а два раза маленькие отряды верховых с ружьями проносились мимо давки; я это видел и понял, что еще не все кончилось. Я сильно приуныл и решил больше не показывать к этому дому: ведь, по-моему, все это из-за меня вышло, как ни верти. Каючок бумажки, должно быть, для того и был вложен, чтобы мисс София где-нибудь встретила с Гарни в половине третьего и убежала с ним; а мне надо было рассказать ее отцу про эту бумажку и про то, как странно вела себя мисс София! Тогда он, может, посадил бы ее под замок и не случилось бы такого ужасного несчастья.

Я съез с дерева, осторожно прокрался к реке и скоро нашел в воде у самого берега два мертвых тела; долго возился, пока не вытащил их на песок, потом прикрыл ими лица и ушел поскорее. Я даже заплакал, когда прикрывал лицо Бака: ведь он со мной дружка и был ко мне очень добр.

Теперь совсем стемнело. К дому я и близко не подходил, а обошел его лесом и побежал на болото. Джима на острове не было, так что я побегал через болото к речке и пролез через кусты; мне не терпелось поскорей заехать на плот и выбраться из этого страшного места. Плот не было! Ой, до чего же я испугался! С минуты я даже дышать не мог. Потом как закричу! Голос шагал в двадцати от меня отозвался:

— Господи, это ты, сынок? Только не шуми.

Это был голос Джима — я в жизни не слышал ничего приятней. Я побежал по берегу и перескочил на

плот, а Джим схватил меня и давай обнимать — до того он мне обрадовался. Он сказал:

— Садись богу, сынок, а я уж было думал, что ты тоже умер. Джек сюда приходил, сказал, что, должно быть, тебя убили, потому что домой ты не вернулся; я это минутку собрался спуститься на плоту к устью речки, чтобы быть наготове и отчалить, как только Джек придет опять и скажет, что ты и вправду умер. Господи, до чего я рад, что ты вернулся, сынок!

И сказал:

Ну ладно, это очень хорошо. Они меня не найдут и подумают, что меня убили и мой труп упал вниза по реке, — там, на берегу, кое-что наведет их на такую мысль. Так смотри же, не теряй времени, Джим, поскорее приводи плот на большую воду!

И не мог успокоиться до тех пор, пока плот не очутился на середине Миссисипи, двумя милями ниже приплоты. Тут мы вывесили наш сигнальный фонарь и решили, что теперь мы опять свободны и в безопасности. То мрачного дня у меня ни крошки во рту не было; Джим достал кукурузные лепешки, пахташе, свинину с индейкой и зелень — ничего нет вкусней, если все это приготовить как следует, — и покуда я ужинал, мы разговаривали, и нам было очень хорошо. Я был рад-рады убраться подальше от кровной вражды, а Джим — в болото. Мы так и говорили, что нет лучше дома, чем плот. Ведь кажется душно и тесно, а на плоту — нет. На плоту чувствуешь себя и свободно, и легко, и радостно.

ГЛАВА XIX

Прошло два или три дня и две или три ночи; можно сказать, что они пропадали, — так спокойно, так легко и приятно они шли. Вот как мы проходили реку, здесь была необъятной ширины, такая громадная — местами шириной миль в полторы. Мы плыли по ночам, а днем отдыхали и прятались. Бывало, как только ночь подходит к концу, мы останавливались и поднимались на плот — почти всегда там, где нет течения, вода отстала, потом нарежем новых и тополиных веток и спрячем плот под ними. После того закинем удочки и

лезем в реку, чтобы освежиться немножко, а потом идем на песчаное дно, где вода по колено, и смотрим, как светает. Нигде ни звука, полная тишина, весь мир только уснул, редко-редко заикается где-нибудь лягушка. Первое, что видишь, если смотреть вдалеке над рекой, это темная полоса, лес на другой стороне реки, а бокаше сначала ничего не разберешь; потом светает край неба, а там светлая полоска расплывается все шире и шире, и река, если смотреть вдале, уже не черная, а серая; видишь, как далеко-далеко плывут по ней небольшие черные пятна — это шакалы и всякие другие суда, и длинные черные полосы — это плоты; иногда слышится скрип весел в уключинах или несный топор, когда так тихо, звук доносится издалека; мало-помалу становится видна и рыба в воде, и по этой рыбе узнаешь, что тут быстрое течение разбивается о корягу, оттого в этом месте и рыбят, потом видишь, как клубится туман над водой, краснеет небо на востоке, краснеет река и можно уже разглядеть далеко-далеко, на том берегу, бревенчатый домик на опушке леса, — должен быть, сторожка при лесном складе, а сколочен домик кое-как, щепки такие, что кошка пролезет; потом поднимаются мягкий ветерок и вест тебе в лицо прохладный и свежий лес и запахом леса и цветов, а иногда и чем-то хуже, потому что на берегу валежится дохлая рыба и от нее зловоние несет тухлятиной; а вот и светлый день, и все вокруг словно сместилось на солнце; и первые птицы заливается во всю!

Теперь уже легкий дымок от костра совсем незаметен, и мы снимаем с уключки рыбу и готовим себе горячий завтрак. А после того отдыхаем и добуемся на речной простор; отдыхаем, отдыхаем, а там, глядишь, и заснем. Проснемся после и смотрим — что же нас разбудило? И иной раз видишь — поднимаются против течения и пылят паром, далеко у противоположного берега — только и можно разобрат, кормовое у него колесо или боковое; и после того целый час ничего не слышно и не видно: настоящая водная пустыня. Потом видишь, как далеко-далеко по реке тянется плот и на кой-нибудь разния колес на плоту дрова, — они всегда норовят колоть дрова на плоту, — видишь, как сверкает опускающийся топор, но ничего не слышишь; видишь, как опять поднимается топор, и только когда он зане-

т над головой, слышится: «Трах!» — так много веселия нужно, чтобы звук долетел по воде. Вот так мы и проходим лес, валясь на травке и прислушиваясь к тишине. Один раз была густой туман, и на плоту и на реке, проходивших мимо, колотили в сквороды, что-то паром не наскочил на них. Одна шакалда, а может, и плот, проплыла так близко, что мы слышали топот, смех и брань, — хорошо слышали, а видеть не могли, так что мороз по коже пролился: похоже было, будто это духи разговаривают. Джим так и решил, что это духи, а с ним не согласился.

Ну нет, духи так не станут говорить: «Черт бы прогнал этот проклятый туман!»

Мы отчаливали, как только стемнеет; выведем плот на середину реки, бросим весла, он и плывет по течению, нас ему вздумается. Потом закурим трубки, спустим ноги в воду и разговариваем обо всем на свете. Мы все время ходили голышом, и днем и ночью, если бы не допекали москиты; в новой одежде, которую подарил мне родные Бака, я чувствовала себя как-то неуютно, оттого что она была очень хорошая, да я и вообще не охотник наряжаться.

Случалось, что на всей реке долго-долго не было никого, кроме нас. Вдали, у того берега, виднелась отшельничья острок, да кое-где мелькнет иной раз огонек — и видишь искорку-другую — на плоту или на шакалке или услышишь, как там поют или играют на скрипке. Хорошо нам жилось на плоту! Бывало, все небо над головой усено звездами, и мы лежим на спине, глядя на них и спорим: что они — сотворены или сами собой появились? Джим думал, что сотворены; а я — что сами появились. Уже очень много понадобилось бы времени, чтобы наладить столько звезд. Джим сказал, может, лучина мечет, как лягушка икру; что ж, это было похоже на правду, я и спорить с ним не стал; а видал, скользя у лягушки бывает икры, так что, разумеется, это тоже возможная. Мы заснули и за падающими звездами, так они чертят небо и летят вниз. Джим думал, что это те звезды, которые испортились и выкинуты из гнезда. (Один или два раза в ночь мы видели, как мимо в темноте проходила паром, время от времени рассыпая на трубы тучи искр; они дождем падали в реку, и это

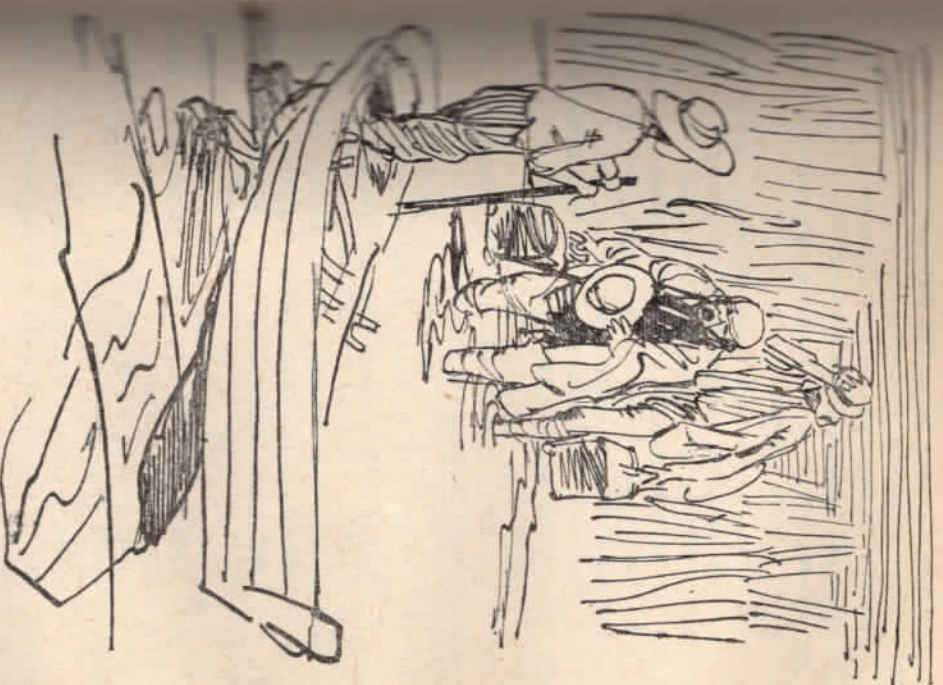
было очень красиво; потом пароход скрывался за поворотом, огни мигали еще раз и гасли, шум замедлялся, и на реке опять становилось тихо; потом до нас докатывались и волны — долго спустя после того, как проедет пароход, — и показывали плот, а потом бог знает сколько времени ничего не было слышно, кроме кваканья лягушек.

После полуночи жители в домах на берегу укладывались спать, и часа на два или на три становилось совсем темно — в окнах домишек ни огонька. Эти огоньки слышали нам вместо часов: как покажется первый огонек, значит, утро близко, и мы начинаем искать место, где бы спрятаться и привязать плот.

Как-то утром, перед зарей, я нашел пустой челнок, перебрался через перекат на берег — он был от острова всего в двухстах ярдах — и поднялся вверх по реке среди кипарисового леса на милю или около того — посмотреть, не наберу ли я там ягод. Как раз в том месте, где через речку шел коровий брод, смотрю — по тропке к броду бегут опростельто какие-то двое мужчин. Я так и думал, что мне крышка; бывало, если да комунибудь гонятся, мне всегда кажется, что это или за мной, или за Джинном. Я хотел было ударить от них поскорей, да они со мной поравнялись, окликнули меня и стали просить, чтобы я их спас, — говорят, они ничего такого не делали, потому за ними и гонятся с собаками. Они собралась уже прыгнуть ко мне в челнок, только и им сказал:

— Погодите, не прыгайте. Я еще не слышу ни лая, ни собачьих лап; у нас есть время пробраться сквозь кусты и пройти немножко дальше вверх по реке, — вот тогда лезьте в воду и ступайте вброд ко мне, это собьют собак со следа.

Они так и сделали; и как только они влезли ко мне в челнок, я сейчас же пустился обратно к нашему островку, а минут через пять или десять мы услышали на дальних крики и собачий лай. Мы слышали, как потом прискакала к реке, но не видели ее: верхом, доминирующим, потоптались на берегу, поискали, а потом стало плохо слышно — мы отъезжали все дальше и дальше, а когда лес остался позади и мы выбрались на большую реку, все было уже тихо; тогда мы подгребли к островку, спрыгнули в тополиных зарослях, и опасность миновала.



Одному из бродяг было на вид лет семьдесят, а больше, и больше, он был лысый и с седыми баксами. На нем была старая, рваная шляпа, синяя грязная шерстяная рубашка, рваные холщовые штаны, заправленные в высокие сапоги, и подтяжки домашней вязки, — нет, подтяжки у него были всего-навсего одна. На руке старик еще долгополую старую хламиду из синей шерсти, с медными пуговицами, а кроме того, оба они вооружены: битком набитые кодовые саковязки.

Другому бродяге было лет тридцать, и одет он был тоже неважно. После завтрака мы все легли отдохнуть, и из разговора первым делом выяснилось, что оба они молодчика друг друга совсем не знают.

— Из-за чего у вас вышел неприятности? — спросил дысый у того, что помоложе.

— Да вот, продавал я одно снадобье, для того что бы считать винный камень с зубов,— считашь-то оно положим, считашь, но только и амаль вместе с ним сдвигнут,— и задержался на один вечер дольше, чем саму ест; и только-только собрался улизнуть, как повстречал вас на окраине города и вы мне сказали, что за вами погоня, и попросили вам помочь. А я ответил, что у меня тоже неприятности, и предложила удирать вместе. Вот и вся моя история... А у вас что было?

— Я тут около недела проповедовал трезвость, и все женщины мною хвалялись не могли — и старухи и молодыенки,— потому что пьяницам я таки задавал жару, могу вам сказать: я набирал каждый вечер долааров пять, а то и шесть — по десять центов с носа, дати и негры бесплатно,— и дело у меня шло все лучше да лучше, как вдруг вчера вечером кто-то пустился дауче, и сам потихоньку прикардывалось к бутылочке. Один негр разбудил меня нынче утром и сказал, что здешний народ собирается потихоньку и скоро они сюда идут с собаками и дошадьми, дадут мне подчас, чтобы я отошел подальше, а там пустятся за мной в погоню; и если поймут, то вымажут в дегте, обвалят в пуху и перьях и прокатят на шесте. Я не стал дожидаться завтрака — что-то аппетит пропал.

— Старина,— сказал молодой человек,— мы с вами, пожалуй, могли бы объединиться и орудовать вместе. Как по-вашему?

— Я не прочь. А вы чем промышляете главным образом?

— По ремеслу я наборщик; случается, торгую некоторыми лекарствами; выступаю на сцене,— вы знаете ли, трагик; при случае занимаюсь вышением мыслей, утаиваю характер по руке, для разнообразия даю уроки пения и географии; бывает, и лекцию прочту,— да мало ли что еще! Берусь за все, что ни подвернется, лишь бы не работать. А вы по какой части?

В свое время я много занимался врачеванием. Искусства познанием рук паралич, раковые опухоли и прочие — это мне всего лучше удавалось; могу не думать, если развину от кого-нибудь всю подноготную. Промежуток тоже, обращаю в христианство; ну, и воспитание собраний по моей части.

Давно было дошло они оба молчали, потом молодой человек раздохнул и сказал:

Увы!

— Это вы насчет чего? — спросил дысый.

Подумать только, что я довел себя до такой жизни и унылся до такого общества! — И он принялся протирать уголок глаза тряпкой.

Скажите, пожалуйста, чем же это общество для нас плохо? — спрашивает дысый этак свысока и надменно.

Да, для меня оно достаточно хорошо, ничего другого я не заслужил, кто виноват в том, что я пал так низко, когда стою так высоко! Никто, кроме меня самого. И все не вино, господа, вовсе нет; я никого не вино, и все это заслужил. Пусть равнодушный свет доконает меня, и знаю одно — где-нибудь я найду себе могилу. Первый свет довершит свое дело, пускай отнимет у меня всех близких, мое достоинство, все, все решительно, из этого он отнять не сможет! Когда-нибудь я лягу в гробу, лябугу обо всем, и мое бедное, разбитое сердце в гробу успокоится.

А сам все трет глаза тряпкой.

А, подите вы с вашим разбитым сердцем! — говорит ему дысый. — Чего вы нам тычете под нос ваше разбитое сердце? Мы-то тут при чем?

— Да, я знаю, что вы тут ни при чем. Я не вино, господа, я сам так низко пал — да, сам довел себя до этого. Мне и следует страдать — по справедливости страдать, и вовсе не жалуюсь.

Откуда же это вы так низко пали? Значит, были откуда падать?

Вы мне не поверите... Люди никогда мне не верили, но довольно об этом... не стоит! Тайна моего рождения...

Тайна вашего рождения? Это вы про что?

— Господа,— очень торжественно начал молодой,—

я вам открою мою тайну, я чувствую к вам доверие! По происхождению я — герцог!

Джим вытаращил глаза, услышав это; да и я, довлея над ним, тоже. А дымский сказал:

— Да что вы! Быть не может!

— Да, да! Мой прадед, старший сын герцога Бриджутерского, в конце прошлого века бежал в Америку, чтобы дышать чистым воздухом свободы. Он женился тут и умер, оставив единственного сына; и почти в то же время умер его отец. Второй сын покойного герцога захватил титул и поместье, а малолетний наследник остался в забвении. Я прямой потомок малолетнего герцога, я законный герцог Бриджутерский, но вот я здесь — одинокий, лишенный сана, гонимый людьми, презираемый холодным светом, в рубище, измученный, с разбитым сердцем, принужден являться с какими-то жуликами на пауту!

Джиму стало очень его жаль, и мне тоже. Мы попробовали его утешить, но он сказал, что это бесполезно, — утешить его невозможно, но если мы согласны признать его за герцога, это будет для него всего дороже и отраднее. Мы сказали, что согласны, пусть только он нас научит, как это сделать. Он сказал, что мы не должны обращаться к нему с поклоном и называть его «ваша светлость», «минорда» или «ваша милость», но если даже назовем его просто «Бриджутер», он не обидится, потому что это титул, а не фамилия; и чтобы избавить нас должен подавать ему кушанье за обедом и вообще оказывать разные услуги, какие потребуются. Ну, все это было нетрудно, и мы согласились. За обедом Джим прислуживал герцогу стоя и все время спрашивал: «Не хочет ли ваша светлость того или другого?» — и всякий мог сразу заметить, что герцогу это очень нравится.

Зато старик надулся — совсем перестал разговаривать, и давольно было, что вся эта возня с герцогом ему очень не по вкусу. Видно было, что он чем-то расстроен. Вот немного погодя, после обеда, он и говорит:

— Послушайте-ка, герцог, мне, конечно, вас очень жаль, но только не вы один претерпели такие несчастия.

— Да?

— Да, не вы один. Не вас одного судьба жестоко низвергла с высоты.

Ум!

— Да, не у вас одного имеется тайна рождения. И старик тоже начинает рыдать, честное слово.

— Погодите! Что это вы?

— Герцог, можете вы сохранить мою тайну? — говорит старик, а сам все рыдает.

— До самой смерти! — Герцог взял старика за руку, похлопал ее и говорит: — Расскажите же мне тайну вашей жизни!

— Ваша светлость, я покойный дофин!

Ну, уж тут мы оба с Джимом вытаращили глаза.

А герцог говорит:

— Вы... кто вы такой?

— Да, мой друг, это истинная правда — вы видите перед собой несчастного, без вести пропавшего дофина Антоника Семнадцатого, сына Людовика Шестнадцатого и Марии Антуанетты.

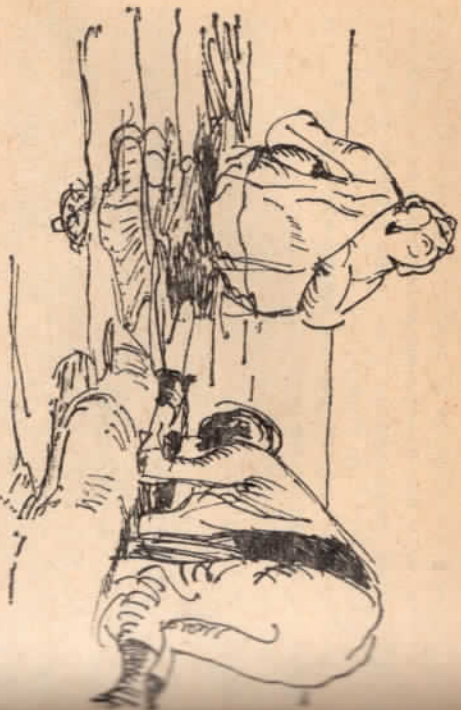
— Вы! В ваши-то годы! Да нет! Вы, верно, покойный Кара Велкий, вам самое меньшее лет шестьсот — лет семьсот.

— Все это от несчастий, герцог, все от несчастий! Несчастья породили эти седые волосы и эту преждевременную плешь. Да, джентльмены, вы видите перед собой законного короля Франции, в синей холстине и в лацете, изгнанника, страдающего и презираемого всеми!

И тут он разрыдался, да так, что мы с Джимом прямо не знали, что делать, — до того нам было его жаль. Принимаясь было утешать его, как раньше утешали герцога, но он сказал, что это ни к чему, одна только смерть положит всему конец и успокоит его, хотя только да ему все-таки делается как-то легче, если с ним обращаются соответственно его сану: становятся перед ним на одно колено, называют «ваше величество», за столом подают ему первому и не садятся в его присутствии, пока он не позвонит.

Ну вот мы с Джимом и начали звать его «величество», подавали ему то одно, то другое и не садились, пока он сам не велит. Это ему очень помогло — он скоро совсем развеселился и утешился.

Зато герцог обиделся и, как видно, был не очень-то доволен таким оборотом дела; но все-таки король обратился с ним по-дружески и даже рассказал, что его па-



паша-король был очень хорошего мнения о преданности герцога и вообще обо всех герцогах Бриджвотерских и часто приглашал их во дворец; однако герцог долгов еще дулся, пока наконец король не сказал ему:

— Похоже, что нам с вами долго придется просидеть на этом пауту, герцог, так что какой вам смысл обижаться? Только хуже будет. Я ведь не виноват, что не родился герцогом, и вы не виноваты, что не родились королем, — зачем же расстраиваться? Надо всегда пользоваться случаем и устраиваться получше — вот и про что говорю, такое у меня правило. Неплохо, что мы с вами сюда попали, — еды тут много, жизнь привольная. Будет вам, герцог, давайте вашу руку, и помиримся!

Герцог пожал ему руку, и мы с Джинком очень этому обрадовались. Вся недовольность сразу пропала, и нам стало гораздо легче, потому что нет ничего хуже, как ссориться на пауту; самое главное, когда павешь на пауту, — это чтобы все были довольны, не ссорились и не занимались друг на друга.

Я довольно скоро сообразил, что эти бродяги инские не герцог и не король, а просто-напросто обманщики и мошенники самого последнего разбора. Но то было и ничего им не сказав, даже и виду не подав, а помогая кивать, и все. Это всего лучше — так и врагов не нанемишь, и в беду не попадешь. Хотят, чтобы мы их знали королями и герцогами, ну и пускай себе, лишь бы

пока собой не ссорились; даже и Джинку говорить про это не стоило, так что я ему ничего и не сказал.

Вам и не научился от отца ничему хорошему, зато научился ладить с такими, как он: самое разумное — это не мешать им, пускай делают, что хотят.

ГЛАВА XX

Они стали нам задавать разные вопросы — все допытывались, для чего мы так укрываем паут и почему стоим днем, вместо того чтобы павть дальше, — может, джунглы бегавый? Я им сказал:

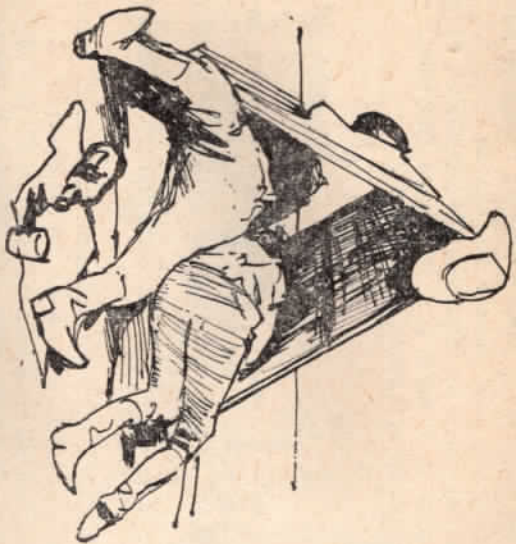
Господь с вами! Да разве бегавый негр побежит за юр?

Они согласились, что не побегит. Мне надо было еще побудь вывернуться, и я начал рассказывать:

Мои родные жили в округе Пайк, в штате Миссисипи, там я и родился, только все они умерли, кроме меня, папаша и брата Айк. Папаша решил все бросить и перебраться на житье к дяде Бень; у него маленькая ферма в сорока четырех милях ниже Нового Орлеана. Папаша совсем обеднел, и долгов у него тоже было по-прежнему, так что, когда он окончательно со всеми рассчитался, у него осталось всего-навсего шестнадцать долларов да наш негр Джинк. С такими деньгами никак нельзя было доехать за тысячу четыреста миль, хотя бы и третьим классом. Ну, а когда река поднялась, папаша начал повезло: он поймал вот этот самый паут, и мы решили добратсь на нем до Орлеана. Только папашино здоровье недолго продержалось — ночью парохол наскочил на передний конец паута, и мы все попрыгали в воду и нырнули под колеса; мы-то с Джинком ничего — выжили, а пьяный папаша и братец Айк, которому было всего четыре года, — они оба так и потонули. Ну, следующие два дня у нас было много хлопот, потому что много людей подлаживали к нам в лодках и хотели забрать у меня Джинку, говорили, что он, должно быть, бегавый негр. Теперь мы днем все больше стоим, а ночью все ничего не трогает.

Герцог сказал:

— Предоставьте это мне — я найду какой-нибудь индеек, чтобы нам павть днем, если понадобится. Я все



обдумано и решу, как это устроить. На сегодня пускать все останется так, как есть: мы, разумеется, не собираемся павить днем мимо города — нам от этого может не поздоровиться.

К вечеру нахмурилось: похоже было, что соберется дождь; зарницы то и дело вспыхивали на краю неба, и листы затрепетали — сразу было видно, что идет гроза. Герцог и король отправились с ревнивей в шадаш — потягивать, какие у нас там постели. У меня была соломенный тюфик — лучше, чем у Джима; он спал на мансовом, а в мансовом тюфике всегда попадают ко черыжки и больно колют бока, а когда перевертываешься, то мансовая солома шуршит, словно катаешься по куче сухих листьев, и шум такой, что поневоле просыпашься. Так вот, герцог решил, что он возьмет себе мой тюфик, но король ему не позволил. Он заметил:

— Мне кажется, вы бы сами должны были понять, что мой сан выше и потому мне не подобает спать на мансовом тюфике. Ваша светлость возьмет себе мансовый тюфик.

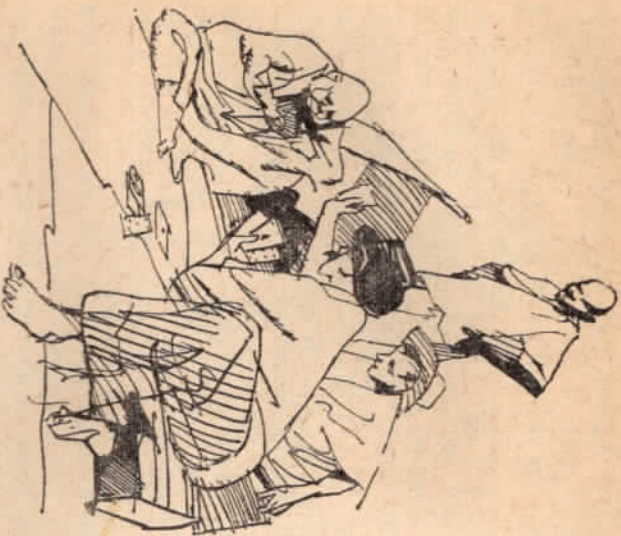
Мы с Джимом опять было испугались, думали — вдруг они снова поссорятся, и очень обрадовались, когда герцог сказал:

— Мои судья быть втоптаным в грязь железной пятой десютезма. Несчастья сокрушили мой некогда прекрасный дух: я уступлю и покорюсь — таков мой жребий. Я один на всем свете обречен страдать; что ж, я и это перенесу.

Мы двинулись в путь, как только совсем стемнело. Король велел нам держаться поближе к середине реки и не зажигать фонарей, пока мы не пройдем мимо города. Скоро мы увидели маленькую кучку огней — это и был город — и в темноте благополучно проехали мимо него. Пролив еще три четверти миль, мы услышали наш сигнальный фонарь, а часам к десяти поднялся ветер, пошел дождь, загремел гром, и молния заиграла всюду; а король велел нам обом стоять на месте, пока гроза не пройдет. Потом они с герцогом заехали в шадаш и улеглись спать. Я должен был стоять после полуночи, только я все равно не лег бы, даже если бы у меня была постель, потому что не каждый дичь приходится видеть такую грозу.

Городи, как бушевал ветер! И каждую секунду над лесом вспыхивала такая молния, что становились видны белые гребешки волн на полях крутом, и острова — словно пыльные сквозь сетку дождя, и деревья, которые гнулись от ветра, а потом как трахнут — бум! бум! бах! тра-та-та-та! — гром ударит, раскатится и затихнет, а потом — р-раз! — опять вспыхнет молния, и опять удар грома. Меня несколько раз чуть не смыло волной в паша, но я раздвинулся догада, и теперь мне все было известно. Насчет коряг нам беспокоиться тоже не приходило; молния то и дело сверкала и освещала все кругом, так что коряги нам довольно хорошо были видны, и мы всегда успевали повернуть плот в ту или другую сторону и обойти их.

У меня, видите ли, была ночная вахта, но только в этом времени мне здорово захотелось спать, и Джим решил, что посторожит за меня первую половину ночи; на этот счет он всегда был молодец, говорил нечего. И задрал в шадаш, но герцог с королем так развлеклись и раскинули ноги, что мне куда было деваться; я лег перед шадашом, — на дождь я не обращал никакого внимания, потому что было тепло и волны теперь были уже не такие высокие. Часов около двух, однако,



опять поднялась волнение, и Джим хотел было меня разбудить, а потом передумал; ему показалось, что поды стали ниже и беда от них не будет; но он ошибся, потому что вдруг нахлынула высоченная волна и смыла меня за борт. Джим чуть не помер со смеху. Уж очень он был смешливый, другого такого негра я в жизни не видал.

Я стаа на вахту, а Джим уелся и захрапел; скоро гроза совсем прошла, и как только в домиках на берегу зажегся первый огонек, я разбудил Джима, и мы с ним ввели палат в укромное место на дневную стоянку.

После завтрака король достал старую, замызганную колоду карт, и они с герцогом усаелись играть в попер по пяти центов за партию. А когда им надоело играть, они принялись «составлять план кампании», как это у них называлось. Герцог порылся в своем саквояже, вытащил целую кипу маленьких печатных афиш и стаа читать нам вслух. В одной афише говорилось, что «знаменитый доктор Арман де Монтальбан из Парижа прочтет лекцию «О науке френологии» — там-то и там-то,

такого-то числа, такого-то месяца. Вход десять центов. — Я взял «составить определение характера за двадцать пять центов с человека». Герцог сказаа, что он и есть этот самый доктор. В другой афише он именовался «всемирно известным трагиком, исполнителем шекспировских пьес, Гарриком Младшим из лондонского театра «Арти-Лейн». В остальных афишах он под другими именами тоже проделывал разные удивительные вещи: например, отыскивал воду и золото с помощью орехового прутика, снимал заклятия и так далее. В конце концов он сказаа:

А все-таки трагическая муза мне всего милей. Нам не приходилось выступать на сцене, ваше величество?

Нет, — говорит король.

Ну, так придется, ваше величество, и не дадите как через три дня, — говорит герцог. — В первом же подходе к городу мы снимем зад и представим пьесу из «Ричарда Третьего» и сцену на балконе из «Дон-Жуана» и «Джуветты». Как вам это нравится?

И, конечно, стою за всякое прибыльное дело, но только, знаете ли, я ведь ничего не смыслю в актерской игре, да и видеть актеров мне почти не приходилось. Когда мой папа пригласил их во дворец, я был еще совсем мальчишкой. А вы думаете, вам удастся меня разучить?

Еще был! Это легче легкого.

Ну, тогда ладно. У меня давно уже руки чешутся — хочется попробовать что-нибудь новенькое. Давайте сейчас же и начнем.

Ут герцог рассказал ему все, что полагается: кто такой был Ромео и кто такая Джуветта, и прибавил, что сам он привык играть Ромео, так что королю придется быть Джуветтой.

Так ведь если Джуветта совсем молоденькая, не выкажется ли все-таки странно, что у нее такая лысина и такие баклы?

Ну что вы! Не беспокойтесь — этим деревенским людям и в голову не придет усомниться. А потом, вы же будете в костюме, это совсем другое дело: Джуветта на балконе, вышла перед сном пообноваться на лулу, она в ночной рубашке и чепчике с оборками. А вот костюмы для этих ролей.

Он вытащил два-три костюма из занавесочного шкафа и сказал, что это средневековые доспехи для Ричарда Третьего и его противника, и еще длинную ночную рубашку из белого коленкора и чепец с оборками. Король успокоился. Тогда герцог достал свою книжку и начал читать роли самым вышительным и торжественным голосом; расхаживая по полу, он показывал, как это надо играть; потом отдал королю книжку и начал ему выучивать роль наизусть.

Милли трижды ниже излучины стола какой-то маленький городишко, и после обеда герцог сказал, что он придумал одну штуку и теперь мы можем павить в диет, насколько не опасаясь за Джима; надо только съездить в город и все подготовить. Король решил тоже поехать и посмотреть, не повернется ли что-нибудь подходящее. У нас вышел весь кофе, поэтому Джима сказал, чтоб и я поехал с ними и купил.

Когда мы добрались до города, там все словно вымерло. На улицах было пусто и совсем тихо, будто в воскресенье. Мы разрыскали где-то на задворках большого негра, который греся на солнышке, и узнали от него, что весь город, кроме больных да старых и малых, отправился за две мили в лес, на молитвенное собрание. Король спросил, как туда пройти, и сказал, что собирается выколотить из этого молитвенного собрания нечто можно, и мне тоже позволили пойти с ним.

Герцог сказал, что ему нужно в типографию. Мы вскоре нашли в маленьком помещении над плотничьей мастерской; все плотники и наборщики ушли на молитвенное собрание и даже двери не заперли.

Помещение было грязное, заставленное всяким хламом, на стенах везде были чернильные пятна и обильные насчет беглых негров и продажных лошадей. Герцог снял пиджак и сказал, что больше ему ничего не нужно. Тогда мы с королем отправились на молитвенное собрание.

Мы попали туда часа через полтора, мокрые как выжимки, потому что день был ужасно жаркий. Там собралось не меньше тысячи человек со всей округи, многие приехали миль за двадцать.

В лесу было полным-полно лошадей, запряженных в повозки и привязанных где придется; они жевали солому из кормушек и били копытами, отгоняя мух. Под нами



земли, сооруженными из кольев и покрытыми зелеными ветвями, продавались имбирные пряники, лимонад, пестрые горы арбузов, молодой кукурузы и прочей зелени. Проповеди слушали под такими же навесами, только они были побольше и битком набиты народом. Скамейки там были сколочены из горбылей, с нижней, круглой, стороны в них провертены дыры и вбиты туда паки этого же дерева. Спинки у скамей не было. Для проповедников под каждым навесом устроили высокий помост. Монахи были в содомениных шапках, некоторые — в полушерстяных патах, другие — в бумажных, а кто пришел босиком, а ребятишки бегали в одних холщовых рубашках. Старухи ввязали, молодежь потихоньку перешептывалась.

Под первым навесом, к которому мы подошли, проповедник читал молитву. Прочтет две строчки, и все поднимает их хором, и выходило очень торжественно — сначала было народу и все пели с таким воодушевлением, потом проповедник прочтет следующие две строчки, и хор их повторит, и так далее. Молящиеся воодушевлялись все больше и больше и пели все громче и громче, и под конец некоторые застонали, а другие завопили. Тут проповедник начал проповедовать, и тоже не без энтузиазма, а с увлечением: сначала перенулся на одну сторону помоста, потом на другую, потом наклонился вперед, двинув руками и всем туловищем и выкрикивая каждое слово во все горло. Время от времени он поднимал кверху раскрытую Библию и повертывал ее

то в одну сторону, то в другую, выкрикивая: «Вот медный змей в пустыне! Возверите на него и исцелитесь!» И все откликались: «Слава тебе, боже! А-а-минь!»

Потом он стал проповедовать дальше, а слушающих кто рыдал, кто плакал, кто восклицал «аминь».

— Придите на скамью, кающись! Придите, омерзительные грехом! (Аминь!) Придите, больные и страждущие! (Аминь!) Придите, хромые, слепые и увечные! (Аминь!) Придите, нуждающиеся и обремененные, привраженные в стыде! (А-а-минь!) Придите, все усталые, немощные и обиженные! Придите, падшие духом! Придите, сокрушенные сердцем! Придите в рубище, не омывшие от грехов! Хамнуди воды очищения! Брата райские открылись перед вами! Войдите в них и успокойтесь! (А-а-минь! Аамнуди, аамнуди, слава тебе!)

И так далее.

Из-за криков и рыданий уже нельзя было разобрать, что говорит проповедник. То там, то здесь люди поднимались со своих мест и изо всех сил старались пробраться к скамье кающихся, заглядываясь слезами; а когда не могли, выкрикивая и бросаясь плащом на солому, кидались полумертвые.

Не успев я опомниться, как король тоже присоединился к кающимся и кричал громче всех, а потом повел на помост. Проповедник попросил его поговорить с пиратом, и король изложил согласие. Он рассказал, что была пиратом, тридцать лет был пиратом и плавал в Индийском океане, но этой весной большую часть его шипов перебил в стычке, вот он и приехал на родину набрать новых людей, да, слава богу, его обокрали вчера ночью и высадили с парохода без единого цента в кармане, и он очень этому рад; лучше этого с ним ничего не мог случиться, потому что он стал теперь новым человеком и участвует первый раз в жизни. Как он ни беден, он постарается опять добратся до Индийского океана и всю свою жизнь потратит на то, чтобы обрабатывать пиратов на путь истинный; ему это легче, чем кому-либо другому, потому что все пиратские шайки на Индийском океане он знает наперечет; и хотя без денег он доберется туда не скоро, все же он туда попадет непременно и каждый раз, обратив пирата, будет говорить: «Не бейте меня, я этого не заслужил, все это сделал

добрые жители Покинда, братья и благодетели рода человеческого, и их добрый проповедник, верный друг и брат пирата».

И тут он заглянул слезами, а вместе с ним заплакали и все прочие. Потом кто-то крикнул:

— Устроим для него сбор, устроим сбор!

Человек десять сорвались было с места, но кто-то остановил их.

— Пускай он сам обойдет всех со шляпой!

Все согласилось на это, и проповедник тоже.

И вот король пошел в обход со шляпой, утирая слезы, а по дороге благословляя всех, благодарил и расхваливал да то, что они так добры к бедным пиратам в дальних морях; и самые хорошие девчонки то и дело останавливали с места и со слезами на глазах просили позволения поцеловать его — просто так, на память, а он когда соглашался и некоторых обнимал и целовал раз и в городе еще не делал, все его приглашали погостить у них и говорили, что сочтут это за честь, но он отвечал, что ничем не может быть похуже, раз сегодня кончается молитвенное собрание, а кроме того, ему не терпится поскорей добратся до Индийского океана и там обрабатывать пиратов на путь истинный.

Когда мы вернулись на палат и король стал подсчитывать выручку, оказалось, что он собрал восемьдесят два доллара семьдесят пять центов. Да еще по дороге привадила большую бутылку виски в три галлона, которую нашел в лесу под повозкой.

Король сказал, что ежели все это сложить вместе, то за один день он еще никогда столько не добывал пропитания. Он сказал, что тут и разговаривать нечего; пиратинки просто никуда не годятся по сравнению с пиратом, когда нужно обрабатывать молитвенное собрание. Пират не явился король, герцогу тоже казалось, что он заработал недурно, но после того он переменял мнение. Он набрал и отпечатал в типографии два маленьких объявления для фермеров — о продаже лошадей и пиратинки денгиз; четыре доллара. Кроме того, он привадил еще на десять долларов объявлений для газет и пиратинки, что напечатает их за четыре доллара, если ему понадобится интерес, и они согласились. Подписавшись на газету стоило два доллара в год, а он взял с трех подпис-

чиков по доллару, с тем что они ему заплатят вперед; подписчики хотели заплатить, как всегда, ароматом и луком, но герцог сказал, что только что купил типографию и снискал расценки сколько мог, а теперь собирается вести дела за наличный расчет. Он набрал еще стихи, которые сочинил сам из своей головы, — три куплета, очень грустные и трогательные, а начинались они так: «Разбей, холодный свет, мое больное сердце!» — набрал, оставил им набор, готовый для печати, и ничего за это не взял. Так вот, за все это он получил деньги с половиной доллара и сказал, что ради этих денег ему пришлось на совесть попотеть целый день.

Потом он показал нам другое маленькое объявление, за которое он тоже ничего не взял, потому что напечатал его для нас. На картинке был нарисован богатый негр с узлом на плече через плечо, а внизу было написано: «200 долларов награды». Дальше рассказывалось про Джима, и все его приметы были описаны точно в точку. Там говорилось, что он убежал прошлой зимой с плантации Сент-Жак, в сорока милях от Нового Орлеана, и надо подлатать, что бежал на Север, а кто его поймает и доставит обратно, тот получит награду, и расходы ему будут оплачены.

— Ну вот, — сказал герцог, — теперь, если попадусь, мы можем плавать и днем. Как только мы увидим, что кто-нибудь к нам подъезжает, сейчас же свинем Джима по рукам и по ногам веревкой, положим его в шалаш, покажем вот это объявление и будем говорить, что мы его поймали выше по реке, а на пароход денно у нас нет, вот мы и взяли этот плот взаимки, по знакомству, и теперь едем получать награду. Кандавы и цени были бы на Джима еще лучше, только это нам не в лицу при нашей бедности, вроде как золота и серебра. А веревки — это как раз то, что требуется: надо выдирать живаль стибль, как говорится у нас на сцене.

Все мы наши, что герцог очень ловко придумал, теперь нам без всякой помощи можно будет ехать и днем. За эту ночь мы успеем проехать достаточно, чтобы убраться подальше от шума, который поднимется в этом городе после работы герцога в типографии; а потом нам можно будет и не прятаться, если захотим.

Мы притановились и сидели на одном месте часов до десяти вечера, а потом потихоньку отчалили и выплыли

на северную реку, подальше от города, и не вывешивали флагов, пока город совсем не скрылся из виду.

Когда Джим стал будить меня в четыре часа утра на полу, он спросил:

— Гек, как ты думаешь, попадутся нам еще короли на дороге?

— Нет... Думаю, что вряд ли.

— Ну, тогда еще ничего, — говорит он. — Один или два уда-ся, этого нам за глаза хватит. Наш всегдашний как стелька, да и герцог тоже хорош.

Оказывается, Джим просил герцога сказать что-нибудь по-французски — так только, чтобы послушать на что это похоже, но тот сказал, что так давно живет в Америке и столько перенес несчастий, что совсем позабыл французский язык.

ГЛАВА XXI

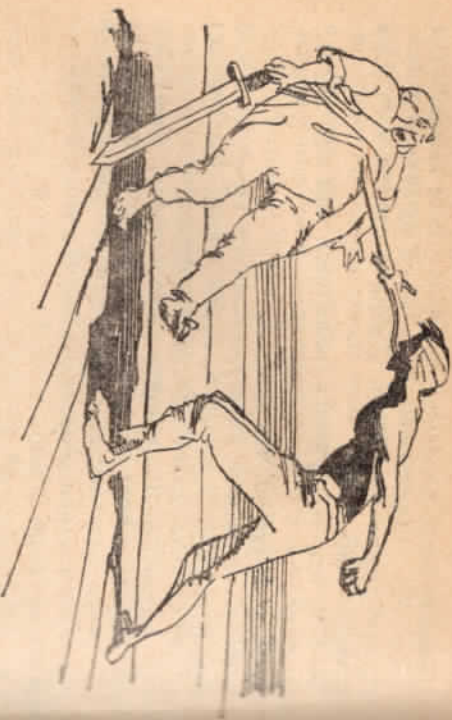
Солнце уже взошло, но мы плыли все дальше и не останавливались на привал.

Скоро встали и король с герцогом, кислые и хмурые в помятых, но после того как они окунулись в воду и вынырнули, им стало много легче.

После завтрака король усеялся на краю плота, разувшись, закинул штаны до колен, опустил ноги в воду про-валялся ради и, закутив трубочку, стал учить наизусть «Ромео и Джульетту». После того как он вытвердил свою роль, они с герцогом стали репетировать вместе. Герцог учил короля и заставляла его повторять как-то реплику, вздыхать, прикладывая руку к сердцу и в конце концов сказал, что получается недурно. «Голь-го, — говорит, — напрасно вы ревете, как бык: «Ро-мео!» — вот так; вы должны говорить нежно и тожно: вот так: «Ро-о-мео!» Ведь Джульетта кроткая, милая девушка, совсем еще ребенок, она не может реветь, как бык».

А потом они вытащили два длинных меча, которые герцог выстрогал из дубовых досок, и начали репетировать поединки; герцог сказал, что он будет Ричард III. И право, стоило посмотреть, как они топали по плоту и прыжки и наскакивали друг на друга.

Должно скоро король остушился и упал в воду: после этого они сдвинули передышку и стали друг другу



расказывать, какие у них бывали в прежние время приключения на этой самой реке.

После обеда герцог сказал:

— Ну, Капет, представление, знаете ли, у нас должно получиться первокассное, поэтому надо, я думаю, что-нибудь к нему добавить. Во всяком случае, надо приготовить что-нибудь на «бис».

— А что это значит — на «бис»?

Герцог объяснил ему, а потом говорит:

— Я исподню на «бис» шотландскую или матросскую паяску, а вы... стойте, надо подумать... Ага, вот оно!.. Вы можете прочесть монолог Гамлета.

— Чего это — Гамлета?

— Монолог Гамлета! Ну как же — самое прославленное место из Шекспира! Высокая, высокая пещера! Всегда захватывает зрителей. В книжке у меня его нет — у меня всего один том, — но, пожалуй, я могу восстановить его по памяти. Похожу немножко по палату, посмотрю, нельзя ли выдать эти строки из глубин воспоминаний...

И он принялся раскачивать по палату взад и вперед, страшно хмурясь, и то поднимал брови кверху, то прижимал руку ко лбу, отшатываясь назад со стоном, то вздыхал, то ронял слезу.

Смотреть на него было просто занятно.

В конце концов он все вспомнил и позвал нас слушать. Ста в самую величественную позу, одну ногу

выдвинул вперед, руки поднял кверху, а голову откинул назад, глядя в небо, и пошел вальсировать: он и зубами скрипел, и валился, и била себя в грудь, и декламировал, — и в результате ему не годилось.

Пот этот монолог. Мне ничего не стоило его запомнить — столько времени герцог натаскивал короля:

Быть или не быть? Вот в чем затрудка!
Терпеть ли безделье столь долгой жизни,
Иль, Вырнамский лес пойдя на Дунсинан,
Над против моря волн вооружиться?
Маркет зарезал сон, невинный сон,
Вот отчего беда так догнала!
И мы скорей несем зноемное горе,
Чем убежим к безвестности за гробом.
Дункан ты разбудил! Что ж, пускай:
Кто б стал терпеть обиды, злобу света,
В одеждах траурных, как подобает,
Когда в ночи разнервнелся мотыль,
Страна безвестная, откуда нет пришельцев,
И расцвет цвет решимости природной,
Выдвигая пера пистолет размышленья,
И тучи, что над кровлями нависли,
Уходят, словно кони в потоворке,
Улет живых... Такой исход достоин
Медальон жарких. Умереть — уснуть.
О милая Офелия! О нинифа!
Сожми ты челюсть, тяжеле, как мрамор,
И в монастырь ступай!

Ну, старик эта штука понравилась, он очень скоро привык ее наизусть и читал так, что лучше и не надо. Он особенно нарочно для этого родился, а когда набил руку и разошелся вовсю, то можно было замечать, как у него это получается: когда он декламировал, он рывал и метал, просто из кожи лез.

Потом первым же удобным случае герцог напечатал театральные афиши, и после того у нас на палату дня два или три была сущая неразбериха — все время только и слышалось, что сражались на мечах да репетировали, как это вышло у герцога.

Самым утром, когда мы были уже в самой глухой шата Арканзас, вперед, в излучине реки, вдруг появилась какой-то захудалый городишко. Не доезжая до него трех четвертей мили, мы спрятали плов в устье реки, то реки, так густо обросшей кипарисами, что она

походила больше на тунисав. Все мы, кроме Дини, сели в лодку и отправились в город — поглядеть, не там ли тут дать представление.

Нам здорово повезло: нынче днем в городе должен был выступить цирк, и из деревень уже начали съезжаться народ — и верхом, и на дребезжащих поножах. Цирк должен был уехать к вечеру, так что наше представление пришлось кстасти и могло иметь успех. Грохот сиял заду суда, и мы пошли расклеивать афиши. Вот что на них было напечатано:

ВОЗРОЖДЕНИЕ ШЕКСПИРА И ИЗУМИТЕЛЬНОЕ ЗРЕЛИЩЕ!

Только один спектакль!

ЗНАМЕНИТЫЕ ТРАГИКИ

Дэвид Гаррик Младший из театра «Друри-Лейн» в Лондоне и Дэвид Кин Старший из Королевского театра «Уайтчепел», Пудинг-лейн, Пиккадилли, Лондон, и из Королевских театров в Европе в своем непревзойденном шекспировском театре под названием

СЦЕНА НА БАЛКОНЕ

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЫ»

Ромео — мистер Гаррик,
Джюльетта — мистер Кин.

При участии всей труппы!

Новые костюмы, новые декорации, новая постановка!

А также

захватывающий, неподражаемый и попергающий в уши

ПОЕДИНОК НА МЕЧАХ

из

«РИЧАРДА III»

Ричард III — мистер Гаррик,
Ричмонд — мистер Кин.

А также

(по просьбе публики)

БЕССМЕРТНЫЙ МОНОЛОГ ГАМАМЕТА

в исполнении знаменитого КИНА!

Выдержавший 300 представлений в Париже!

Только один спектакль!

По случаю отъезда на гастроли в Европу!

Вход — 25 центов; для детей и прислуги — 10 центов.

Мы пошли шататься по городу. Почти все лавки и дома здесь были старые, раскопанные и испокон веку переделанные; все это едва держалось от ветхости. Дома стояли точно на ходулях, фута на три, на четыре от земли, чтобы река не затопила, когда разольется. При этом были и садики, только в них ничего не росло, кроме аурмана и подсолнуха, да на кучах золы валялись развалившиеся сапоги и башмаки, битые бутылки, тряпье и прочие жалкие жестянки. Заборы, сколоченные из разнокалиберных досок, набитых как попало одна на другую, покрывались в разные стороны, и калитки в них держались всего на одной петле — да и та была кованная. Кое-где они были даже выбелены, — видно, в какие времена, может, еще при Колумбе, как сказала Марко. Обыкновенно в садиках рылись свиньи, а хозяева на отутуда выгоняли.

Все городские лавки выстроились вдоль одной улицы. Над ними были устроены полотняные навесы на столбиках, и приезжие из деревни покупатели привлазили в эти столбики своих лошадей. Под навесами, на жестких ищках из-под товара, целыми днями сидели давние лодыри, строгали палочки карманными ножиками фирмы Барлоу, а еще жевали табак, зевали и потягивались, — сказать по правде, все это был препустой народ. Все они ходили в желтых соломенных шляпах, что не с зонтик величиной, зато без шнурков и жилетов, а надвигали друг друга попросту: Билл, Бак, Ханк, Джо и Эдди, говорили лениво и врасстыжку и не могли обойтись без ругани. Почти что каждый столбик подпирал какой-нибудь лодырь, засунув руки в карманы штанов; понимая он их отутуда только для того, чтобы почесать-ся или одолжить кому-нибудь жвачку табаку. Все время так было и слышно было:

— Одолжи мне табачку, Ханк!

— Не могу, у самого только на одну жвачку осталось, Попроси у Билла.

Может, Билл ему и даст, а, может, соврет и скажет, что у него нет. Бывают такие лодыри, что за душой у них нет ни цента, даже табачку ни крошки. Эти точно и пробаиваются займами, иначе им и табачку выиграть не видать. Лодырь обыкновенно говорит при-

— Ты бы мне одолжил табачку, Джек, а то я только что отдал Бену Томпсону последнюю порцию.

И ведь всегда врет; разве только чужак попался бы на эту удочку, но Джек эдакий и потому отвечает:

— Ты ему дал табачку? Неужто? Кошкина бабунка ему дава, а не ты. Отдай то, что брад у меня, Аелф Бакнер, тогда, так уж и быть, я тебе одолжу тонны две и расписки с тебя не возьму.

— Да ведь я тебе один раз отдал долг!

— Да, отдал,— жвачек шесть. Занимал-то ты хороший табак, покупной, а отдал самосад.

Покупной табак — это пресловутый пилотичный табак, но эти парни жуют больше простой аистовой, скрученный в жгуты. Когда они занимают табак, то не отрезают, как полагается, ножом, а берут всю пачку в зубы и грызут и в то же время рвут ее руками до тех пор, пока пачка не перервется пополам; тогда вылезает пачки, глядя с тоской на возвращенный ему остаток, говорит иронически:

— Вот что: дай-ка ты мне жвачку, а себе возьми пачку.

Все улицы и переулки в городе — сплошная грязь; ничего другого там не было и нет, кроме грязи, черной, как дерготь, местами габубиной не меньше фута, а умиравшиеся и хрюкают свиньи. Глядишь, какая-нибудь свинья, вся в грязи, бредет лениво по улице вместе со своими поросятами и паюхается как раз посреди дороги, так что людям надо обходить ее кругом, и девицы, растынувшись во всю длину, зажимая глаза и пощипывая ушами, а поросята сосут ее, и вид у нее такой довольный, будто ей за это жалованье платят. А до дьябл уж тут как тут и орет во все горло:

— Эй, пес! Возьми ее, возьми!

Свинья уапетывает с оглушительным визгом, а две три собаки треплют ее за уши, и сзади ее догоняют еще дюжины три-четыре; тут все домыри вскакивают с места и смотрят вслед, пока собаки не скроются из виду; им смешно, и вообще они очень довольны, что вывели такой шум. Потом они опять усаживаются и сидят до тех пор, пока собаки не начнут драться. Ничем неведая их так расшевеливать и пораздавать, как собачьей дракой.

Безе таково есан смязать бездомную собачонку скипипаром и поджечь ее или навязать ей на хвост жестилику, дабы она бежала, пока не околает.

На берегу реки некоторые домикши едва лепились на обрывом, все кривые, кособокые,— того и гляди, рухнет в воду. Хозяева из них давно выехали. Под другим берег обвалился, и угол дома повис в воздухе. Ах, еще жили в этих домах, но это было довольно давно, иногда вдут разом сползала полоса земли с той стороны. Случалось, что начинала оседать полоса земли в целую четверть миль шириной, оседала да оседала понемножку, пока наконец, как-нибудь летом, вся она сползла в реку. Таким городам, как вот этот, приходится все время пятиться назад да назад, потому что река их все время подтачивает.

Чем ближе к полудню, тем все больше и больше становилось на улицах поводов и дощадей. Семейные дюды приносили с собой обед из деревни и съедали его тут же, на подносе. Виски тоже вынито было порядком, и в окнах три драки. Вдут кто-то закричал:

Пот ишет старик Бос! Он всегда приезжает из деревни раз в месяц, чтобы наизнаться как следует. Вот и попал!

Все домыри обрадовались; я подумала, что они, должно быть, привыкли потешаться над этим Босом. Один из них заметил:

Интересно, кого он ныне собирается исколотить в штерет и порошок? Есан б он расколотил всех тех, как собрался расколотить за последние двадцать лет, так предсказанья бы!

Другой сказал:

Хорошо бы, старик Бос мне пригрозила, тогда бы я узнала, что прожину еще лет тысячу.

Тут этот самый Бос промчался мимо нас верхом на конике, в криком и вопалами, как нидеу:

Прочь с дороги! Я на военной тропе, скоро гро-ва шадоукают!

Он был здорово выпивши и едва держался в седле; на него было за пятьдесят, и лицо у него было очень красное. Все над ним смеялись, кричали ему что-то и подталкивали его, а он отругивался, говорил, что дойдет и до них очередь, тогда он ими займется, а сейчас ему не-



когда. Он приехал в город для того, чтобы убить повесника Шерборна, и девица у него такой: «Сперва давай пустяки потом».

Увидев меня, он подвезла поближе и спросил:

— Ты откуда, мальчик? К смерти приговорили нас нет?

Потом двинулся дальше. Я было испугался, но какой-то человек сказал:

— Это он просто так; когда напьется, он всегда такой. Первый дурак во всем Арканзасе, а вонсе не знай, — мухи не обидит ни пьяный, ни трезвый.

Богс подвезла к самой большой из городских дамок, нагнувшись, заглядывая под навес, и крикнула:

— Выходи сюда, Шерборн! Выходи, давай встретимся лицом к лицу, обманщики! Ты мне нужен, собака, и так я не уеду, вот что!

И пошел и пошел: ругал Шерборна на чем свет стоит, говорил все, что только на ум взбредет, а вся уличная публика и смеялась и подзадоривала его. Из дамок вышла человек лет этак пятидесяти пяти, с гордой осанкой, и одет он был хорошо, лучше всех в городе; тогда расступившись перед ним и давая ему пройти. Он сказал Богсу очень спокойно, с расстановкой:

Мне это надоело, но я еще потерпела до часу дня. До часу дня — заметьте, но не дольше. Если вы держите меня хотя бы один раз после этого, я вас отыщу так угодно.

Потом он повернулся и ушел в давку. Тогда, видно, сразу протрезвевшись: никто не шелохнулся, и смеху больше не было. Богс проехался по улице, все так же ругал Шерборна, но довольно скоро повернул обратно; остановился перед давкой, а сам все ругается. Вокруг него собрался народ, хотели его унять, но он никак не поддавался; ему сказали, что уже без четверти час и лучше ему ехать домой, да поживее. Но толку из этого не вышло. Он все так же ругался, бросил свою шляпу в грязь и проехался по ней, а потом опять поскакал по улице на несей опор, так что развевалась его седая грива. Все, кто только мог, старались сманить его с лошади, чтобы посадить под замок для вырезывания, но никто не вышло — он все скакал по улице и ругал Шерборна. Наконец кто-то сказал:

Сходите за его дочерью! Скорей приведите его сюда! Иной раз он ее слушается. Если кто-нибудь может его уговорить, так это только она.

Кто-то пустился бегом. Я прошел немного дальше по улице и остановился. Минут через пять или десять мне вылезли опять, только уже не на лошади. Он шел по улице шатаясь, с непокрытой головой, а двое приятелей держали его за руки и подталкивали. Он присмирел, и вид у него был встревоженный; он не то чтобы кричал — наоборот, словно сам себя подталкивал. Навер кто-то крикнул: «Богс!»

И обернулся поглядеть, кто это крикнул, а это был тот самый повесник Шерборн. Он стоял неподвижно посреди улицы, и в руках у него была двусторонний пистолет со введенными курками, — он не псулся, а просто так держал его дулом вверх. В ту же минуту я увидел, что к нам бежит молоденькая девушка, а за ней двое мужчин. Богс и его приятели обернулись посмотреть, кто это его зовет, и как только увидели пистолет, оба прыгали отскочили в сторону, а пистолет медленнее опускался, так что оба ствола со введенными курками глядели в псу. Богс вскинул руки вверх и крикнул:

— О господи! Не стреляйте!

Бах! — раздался первый выстрел, и Бог зашатался, хватая руками воздух. Бах! — второй выстрел, и он раскинул руки, повалился на землю, тяжело и немилосердно. Молодая девушка вскрикнула, бросилась к отцу и упала на его тело, рыдая и крича:

— Он убил его, убил!

Толпа сожнулась вокруг них; люди толкали и толкали друг друга, вытягивали шею и старались поближе все рассмотреть, а стоявшие внутри круга оттапкивали и кричали:

— Назад! Назад! Посторонитесь, ему нечем дышать! Поковник Шерборн бросил пистолет на землю, повернулся и пошел прочь.

Богса понесли в аптеку поблизости; толпа все там же теснилась вокруг, весь город шел за ним, и в протиснувшись вперед и заняв хорошее местечко под окном, откуда мне было видно Бога. Его положили на пол, поднесли ему под голову толстую Библию, а другие раскрыли и положили ему на грудь: только случайно растеряли ему рубашку, так что я видел, куда попал одна пучка. Он вздохнул раз десять, и Библия у него на груди поднималась, когда он вдыхал воздух, и опять опускалась, когда выдыхал, а потом он затих — умер. Тогда оторвали от него дочь — она все рыдала и плакала — и увели ее. Она была лет шестнадцати, такая тихая и кроткая, только очень бедная от страха.

Ну, скоро здесь собрался весь город, толкались, толкались и сбились пробираться поближе к окну и взглянуть на тело убитого, но те, кто раньше занял место, не уступали, хотя люди за их спиной твердили все время: — Сдвигайтесь, ведь вы же посмотрели, и будет с вами. Это несправедливо! Правое, нехорошо, что вы там стоите все время и не даёте другим взглянуть! Другим тоже хочется не меньше вашей!

Они начали переругиваться, а я решил улизнуть думая, как бы чего не вышло. На улицах было полно народу, и все, видно, очень встревожилось. Все, кто видел, как стрелял поковник, рассказывали, как было дело: вокруг каждого такого рассказчика собралась целая толпа, и все они стояли, вытягивая шею и прислушиваясь. Один долговязый, худой человек с длинными волосами и в белом плащевом плащом, сдвинутым на

зад, отметил на земле палкой с загнутой ручкой то место, где стоял Бог, и то, где стоял поковник, а люди из толпы копали за ним от одного места к другому и старались всем, что он делает, и кивали головой в знак того, что все понимают, и даже нагибались, утерев руки о бинт, и гавкали, как он отмечает эти места палкой. Потом он выпрямился и стал неподвижно на том месте, где стоял Шерборн, нахмурился, нагнув шапку на глаза и крикнул: «Бог!» — а потом прицелился палкой: бах! — и пошатнулся, и опять бах! — и упал на спину. Те, которые все видели, говорили, что он изобразил толпу и толку, как было, говорили, что именно так все и произошло. Человек десять вытащили свои бутылки с вином и принялись его утощать.

Ну, тут кто-то крикнул, что Шерборна надо бы линчевать. Через какую-нибудь минуту все повторили то же и толпа повалила дальше с ревом и криком, обрывая по дороге веревки для бая, чтобы повесить на них поковника.

ГЛАВА XXII

Они повалили к дому Шерборна, воля и беснуясь, как индейцы, и сбивали бы с ног и растоптали в лепешку любого, кто попался бы на дороге. Мальчишки с визгом прыгали вперед, ища случая свернуть в сторону; все кругом окон высовывались женские головы; на всех лицах сидели непритворная из-за заборов выглядывали женщины и девичьи, а как только толпа подходила поближе, они очертя голову бросались кто куда. Многие женщины и девушки дрожали и плакали, перепугавшись до смерти.

Толпа сбивалась в кучу перед забором Шерборна, и там стояла такая, что самого себя нельзя было расслышать. Аворик был небольшой, футов в двадцать. Кто-то крикнул:

— Домайте забор! Домайте забор!

Повалились скрип, треск и грохот, ограда рухнула, и в течение ряда виаом повалили во двор.

Тут Шерборн с двухстволкой в руках вышел на крыльцо, нагнеткой веранды и стал, не говоря ни слова, такой спокойный, решительный! Шум утих, и толпа отхлынула обратно.

Шерборн все еще не говорил ни слова — просто стоя и смотрел вниз. Тишина была очень неприятная, как-то жуткая. Шерборн обвеса толпу взглядам, и, как бы этот взгляд ни остановился, все трусало от одного глаза, ни один не мог его выдержать, сколько не старался. Тогда Шерборн засмеялся, только не посмея так, что сдвигать этот смех было нехорошо, все равно что есть хлеб с песком.

Потом он сказал с расстановкой и презрительно:

— Подумать только, что вы можете кого-то Линчевать. Это же курам на смех. С чего это вы воображаете будто у вас хватит духу Линчевать мужчину? Уж не оттого ли, что у вас хватает храбрости вывалить в пучок какую-нибудь несчастную азаскую побродяжку, вы изображая, будто можете напасть на мужчину? Да настоящий мужчина не побойлся и десяти тысяч таких как вы, — пока на дворе светло и вы не прыгаете у него за спиной.

Неужели я вас не знаю? Знаю как свои пять пальцев. Я родился и вырос на Юге, жила на Севере, так что среднего человека я знаю нанзуст. Средний человек всегда трус. На Севере он позволяет всякому поныкать собой, а потом идет домой и молится богу, чтобы тот послал ему терпения. На Юге один человек, без всякой помощи, среди беда дня останавливал диалог, поиндй пассажиров, и отграбид его. Ваши газеты так часто называли вас храбрецами, что вы считаете себя храбрей всех, — а ведь вы такие же трусы, ничуть не лучше. Почему ваши судьи не вешают убийц? Потому что боятся, как бы притяли осужденного не пустым им пулю в спину, — да так оно и бывает. Вот почему они всегда оправдывают убийцу: и тогда настоящий мужчина выходит ночью при поддержке сотни замаскированных трусов и Линчует негодяя. Ваша ошибка в том, что вы не захватили с собой настоящего человека, — это одна ошибка, а другая та, что вы пришли днем и без масок. Вы привели с собой полулюдовика — вон он, Бак Гаркнес, и если б он вас не подзадорничал, то вы бы пошумели и разошлись.

Вам не хотелось идти. Средний человек не любит хаотот и опасности. Это вы не любите хаотот и опасности. Но если какой-нибудь полулюдовик вроде Бак Гаркнеса крикнет: «Линчевать его! Линчевать его!»

и вы боитесь отступить, боитесь, что вас назовут, и вы бежите, трусами, и вот вы поднимаете вой, цепляете за фалды этого полулюдовика и, беснуясь, бежите и каинестесь, что совершите великие подвиги.

Каинестесь, что есть на свете, — это толпа; вот и толпа — толпа: идут в бой не оттого, что в них вспыхивает храбрость, — им придает храбрости сознание, что да много и что ими командуют. Но толпа без человека не стоит. Теперь вам остается только оставаться крот, идти домой и забиться в угол. Если бы вы настоящие Линчевание, то оно состоялось ночью, как происходит на Юге: толпа придет в масках и захватит с собой человека. А теперь уходите прочь и заберите вашего полулюдовика. — С этими словами он вскинул два пальца и надел курок.

Толпа сразу отхлынула и бросилась врассыпную, кто куда, и Бак Гаркнес тоже поспешил за другими, причем у него была довольно жалкий. Я бы мог там остаться, но мне не захотелось.

И пошел к цирку и слонялся там на задворках, а одна сторож прошла мимо, я взял да и нырнул под забор. Со мной была золотая монета в двадцать долларов и еще другие деньги, только я решил их беречь. Потому знать — деньги ведь всегда могут понадобиться на дороге от дома, да еще среди чужих людей. Остопенившись не мешает. Я не против того, чтобы тратить деньги на цирк, когда нельзя пройти задаром, а только бегать их зря тоже не приходится.

Цирк оказался первый сорт. Просто загаденье было, когда все артисты выехали на лошади, пара за парой, толпа и дамы бок о бок. Мужчины в карбонах и в рубашках, без сапог и без шпор, подобоченьсь все дажно и свободно, — всего их, должно быть, было около двадцати; а дамы такие румяные, просто красавицы, ни дать ни взять настоящие королевы, и на всех были дорогие платья, сполнь усыпанные брильянтами, уи, верно, каждое стоило не дешевле миллиона. Когда доктор посмотрел, а мне так и вообще ничего крапавши выдать не приходилось. А потом они вскочили на скаки, выпримались во весь рост и поехали вереницей вперед арены, тихо и плавно покачиваясь, и все мужчины, упрямив на скаку головой чуть не в потолок, казались такими высокими, ловкими и стройными, а у дам

пять шурами и ковыкались легко, словно ровные лестники, так что каждая дама походила на самый рядный зонтик.

А потом они поскакали вокруг арены все быстрее и быстрее и отпыхивали на седе так ловко: то одна была в воздухе, то другая; а распорядитель расхаживал по середине, вокруг шеста, шедши бичом и покрикивая «Гип, гип!», а коуи за его спиной отпускала шутливыми потом все они бросали поводья, и дамы уперлись пачками в бока, мужчины скрестили руки на груди, а лошади у них гарцевали и становились на козени. А потом все они один за другим соскочили на песок, отделили самый что ни на есть изысканный поклон и убежали в кулисы, а публика хаопала в ладоши, кричала, пропела бесновалась.

Ну вот, и до самого конца представления они проделывали разные удивительные штуки, а этот коуи все время так смешил, что публика едва жила от смеха. Чего ему распорядитель ни скажет, он за словом в карман не лезет: не успеешь мигнуть — ответит, и всегда что-нибудь самое смешное; и откуда у него что бралось, да так сразу и так скадло, и просто понять не мог. И он и в год ничего такого не придумал. А потом как-то в прыноу вздумалось проехать на арену, — он сказал, что ему хочется прокатиться, а ездить верхом он умел не хуже всякого другого. Его уговаривали, не пускали на арену, только он и слушать ничего не хотел, так что пришлось сделать перерыв. Тут публика стала на него кричать и насмехаться над ним, а он разозлился и начал скандалить; зрители тогда не вытерпели, вскочили со скамеек и побежали к арене; многие кричали: «Судите его хорошенько! Вышвырните его вон!», а одна-две женщины павизгнули. Тут выступила распорядительница и сказала несколько слов насчет того, что он надеется, что беспорядка никакого не будет, — пускай только этот не стодин обещает вести себя прилично, и ему разрешат прокатиться, если он думает, что удержится на лошади.

Все засмеялись и закричали, что согласны, и прыноу влез на лошадь. Только он сел, лошадь начала бить по вых служителям повисли на поводьях, стараясь ее удерживать; прыноу ухватился за гриву, и пятки у него влезли кверху при каждом скачке. Все зрители подивились.

Вот, кричали и хохотали до слез. Но в конце концов спавало цирковые служители ни старались, лошадь была востановилась и почалаась во всю прыть кружиться за шестом, и то одна нога у него бодается чуть не в землю, то другая, а публика просто с ума сходила, так все то носе не было смешно; я весь дрожал, боюсь, как бы с ним чего не случилось. Однако он побавлял и побавлялся, сел верхом и ухватился за поводья, а сам шатается из стороны в сторону; еще минуту смотрю, он вскопича на ноги, бросил поводья и упал на седе. А лошадь-то мчитя во весь опор! Он упал на седе так спокойно и свободно, словно и прыноу не был; потом, смотрю, начал срыпывать с себя кулисы и шипрять ее на песок. Одно за другим, одно за другим — до того быстро, что ожеда так и мскакало в воздухе, а всего он сбросил семнадцать костюмов. Потом стройный и красивый, в самом ярком и нарядном трини, какое можно себе представить. Потом подпрыгнул лошадь хлыстиком так, что она завертелась по кругу, и наконец, соскочил на песок, расклаваясь и убежал в кулисы, а все зрители просто вой подняли от удивления и удивления.

Тут распорядитель увидел, что его провели, и, по-моему, доробило разозлился. Оказалось, что это его же прыноу! Сам все придумал и никому ничего не сказал. Но мне тоже было не особенно приятно, что я так поехал, а все-таки не хотел бы я быть на месте этого распорядителя даже за тысячу долларов! Не знаю, может, где-нибудь есть цирк и лучше этого, только я что-то ни разу не видел. Во всяком случае, по мне и этот прыноу, и где бы я его ни увидел, непременно пойду в цирк.

Ну, а вечером и у нас тоже было представление, но прыноу пришлось немного, человек двенадцать, — ехал-ехал прыноу онаплатить расходы. И они все время смеялись, а прыноу залезла, просто на себя выходя, а потом они начали да уши еще до конца спектакля, все, кроме одного мальчика, который заснул. Герриот сказал, что эти прыноуские олухи еще не доросли до Шекспира, что им нужна только самая пошлая комедия — даже хуже, чем прыноу комедия, вот что. Он уже знает, что им придется из по прыноу. На другое утро он взял боашие листы

оберточной бумаги и черную краску, намазавал афишу и раскрасил их по всему городу. Вот что было в афишах

В ЗАЛЕ СУДА!
ТОЛЬКО ТРИ СПЕКТАКЛА!
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЕ ТРАГИКИ
ДЭВИД ГАРРИК МЛАДШИЙ
И

ДАМУНД КИН СТАРШИЙ

Из лондонских и европейских театров
в захватывающей трагедии

«Королевский жираф»

или

Царственное совершенство»!!!

Вход 50 центов.

А внизу стояло самыми крупными буквами:

ЖЕНЩИНЫ И ДЕТИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ!

— Ну вот,— сказал он,— если уж этой строчкой не заманишь, тогда я не знаю Арканзаса!

ГЛАВА XXIII

Весь этот день герцог с королем возникли не покладая рук: устраивали сцену, вешали занавес, нативная свечей вместо лампы; а вечером мы и мигнуть не успели, как зад был битком набит мужчинами. Когда боины уже нельзя было втиснуться ни одному человеку, герцог бросил проверить билеты, обошла здание кругом и появилась на сцену. Там он стал перед занавесом и произнес коротенькую речь: сначала похвалил трагедию, сказала, будто она самая что ни на есть замечательная, и пошла дальше распространяться насчет трагедии и Дамунда Кина Старшего, который в ней исполняет самую главную роль; а потом, когда у всех зрителей глаза разгорелись от любопытства, герцог поднял занавес, и король выбежал из-за кулис на четвереньках, совсем голый! Он был весь кругом размазан разными цветными порошками и свертка, как радуга. Ну, обо всем остальном и говорить не стоит — сущая чепуха, а все-таки очень было смешно. Публика чуть не надорвалась от смеха; а когда король кончил прыгать и усакакал за кулисы, зрители все падали, кричали, хохотали и бесновались до тех пор, пока

и не вернулись и не продолжали его командно стоять, да в конце того его заставили повторить все сначала. Тут зрители не удержались бы от смеха, галдя, какие штуки он выдумывает наш старый король.

Потом герцог опустил занавес, раскрасившись перед публикой и объявив, что эта замечательная трагедия будет исполнена только еще два раза, по три раза неотложных гостей в Лондоне, где все

идет на предстоящие спектакли в театре «Друри-Лейн» уже проданы; потом опять раскрасившись и сказав, что если почтеннейшая публика наша представитесь заинтересованным и поучительным, то ее покорнейше просим рекомендовать своим знакомым, чтобы они пошли посмотреть.

Наонек двадцать закричали разом:

Как, да разве уже кончилось? Разве это все?

Герцог сказал, что все. Тут-то и началась скандал. Начался крик: «Надули!» — обозлившись, повскакали с мест и повскаки было ломать сцену и бить актеров. Но тут наонек-то высокий осанистый господин вскочил на сцену и закричал:

Потодите! Только одно слово, джентльмены!

Они остановились послушать.

Нас с вами надули — здорово надули! Но мы, я думаю, не желаем быть посмешищем всего города, чтобы нам всю жизнь издевались. Вот что: давайте уйдём потихоньку спокойно, будем хвалить представление и обмываем весь город! Тогда все мы окажемся на равных правах. Так или нет?

Конечно, так! Молодец судья! — закричали все в один голос.

Ах, тогда ни слова насчет того, что нас с вами надули. Считайте домой и всем советуйте пойти посмолить представление.





На другой день по моему городу только и было разговоров что про наш замечательный спектакль. Завтра была опять битком бит зрительнями, и мы опять так же надули и этих. Марнувшись с королем и герцогом к себе на паут, мы поужинали все вместе, а потом, около полуночи, они везли нам с Джинном вести паут на середину реки, спуститься миди на две ниже города и там где-нибудь его спрятать.

На третий вечер завтра была опять переполнен, и в этот раз пришел не новички, а все те же, которые были на первых двух представлениях. Я стоял в дверях оттого, что у каждого из зритель отгоняется карман или под полой что-нибудь пафюмерии, а сразу понял, что это не какая-нибудь пафюмерия, а совсем даже наоборот. Несомненно, тухлыми ийдами, как будто их тут были сотни, и гнилой капустой; и если только я знаю, как пахнет дохлая кошка, — а я за себя ручусь, — то их пронесли мимо меня шестьдесят четыре штуки. Я потопкался минутку в зале, а больше не выдержал — уж очень там крепко пахло. Когда пубанья набилась столько, что больше никому нельзя было ни шутиться, герцог дал одному молодичку двадцать пачетов и велел ему пока постоять в дверях, а сам пошел крутом, будто бы на сцену, и я за ним; но как только мы повернули за угол и очутились в темноте, он сказал:

— Иди теперь побыстрей, а когда отойдешь подашь от домов, беги к пауту во все лапки, будто за тобой черти гонятся!

Я так и сделал, и он тоже. Мы прибежали к пауту и одно и то же время и меньше чем через две секунды упали вниз по течению в полной тишине и темноте, прелев наискось к середине реки и не говоря ни слова. Я было думал, что бедняге королю не поздоровится, а оказалось — ничего подобного: скоро он выплал из шаша и спросил:

Ну, герцог, сколько мы загребли на этом деле?.. Он, оказывается, вовсе и не был в городе.

Мы не выжидали фонаря, пока не отплыли миди на паут от города. Тогда мы застали свет и поужинали, а герцог с герцогом просто надрывались со смеху, вспоминая, как они провели пубанку. Герцог сказал:

— Простой, олухи! Я так и знал, что первая партия будет помахивать, чтобы остальные тоже попали в паут, так я и знал, что в третий раз они нам собираться устроили сюрприз: думают, что теперь их черед. Это верно — черед их; но я бы дорожал, чтобы ушло много ли им от этого проку. Хотелось бы все-таки знать, как они воспользовались таким случаем. Могут прийти шикики, если им вздумается: провианы у них в пауте довольно.

Эти мошенники собрали в три вечера чистых похлебают пить долааров. Я еще никогда не видел, чтобы пауты загребали такими кучами.

Ничего погодя, когда оба они уснули и захрапели, Джинн и говорит:

Гек, а ты не удивляешься, что король так себя ведет?

Нет, — говорю, — не удивляюсь.

А почему ты не удивляешься, Гек?

Да потому, что такая уж это порода. Я думаю, они все одинаковы.

Гек, ведь эти наши король — сущие мошенники! Нет, они что такое — сущие мошенники!

Ну, а я что тебе говорю: почти что все король — мошенники, дело известное.

Да что ты!

А ты почитай про них, вот тогда и узнаешь. Возьми вот Генриха Восьмого: наш против него прямо училась интересной школы. А возьми Карла Второго, Людовика Четнадцатого, Людовика Пятнадцатого, Наполеона Второго, Эдуарда Второго, Ричарда Третьего и еще много других; а еще были король в старые времена — пауты, и саксы, и норманны — так они только и занимались что грабежом да разбоем. Поглядя бы ты на старика Генриха, когда он был во цвете лет. Вот это был паут! Вынало, каждый день женится на новой жене, а пауты несут рубить ей голову. Да еще так равнодушно, пауты паутину заказывает. «Подать сюда Неа

Гвини!» — говорит. Приводят ее. А наутро: «Отрубите ей голову!» И отрубают. «Подать сюда Джейн Шор!» — говорит. Она приходит. А наутро: «Отрубите ей голову!» И отрубают. «Позовите прекрасную Розамунду! Прекрасная Розамунда является на зов. А наутро: «Отрубите ей голову!» И всех своих жен заставляла расчленивать ему каждую ночь по сказке, а когда сказок не брадось тысяча и одна штука, он из них составила книгу и назвал ее «Книга Страшного суда», — ничего еще название, очень подходящее! Ты королей не знаешь, Джим, зато я их знаю; этот наш заблудыга все так много лучше тех, про кого я читал в истории. Повелевай хоть Генриха. Вздумалось ему затеять свару с Америкой. Как же он за это взялся! Предупредил? Даа, он братился с сиаами? Как бы не так! Ни с того ни с сего взял да и пошвырнул за борт весь чай в Бостонской гавани, а потом объявил Декларацию независимости, теперь, говорит, войдите. Всегда такой был, никому не спускал. Были у него подозрения насчет собственного папаша, герцога Веллингтона. Так что же он сделал! Расспросил его хорошенько? Нет, утопил в бочке мазута, как котенка. Бывало, зазевается кто-нибудь, вытаскивает денги на виду — так он что ж? Обязательно прокарманит. Обещается что-нибудь сделать, и денги помет, а если не сидеть тут же и не глядеть за ним и он так обязательно надуется и делает как раз наоборот. Стоит ему, бывало, только рот раскрыть — и если тут же не закроет покрепче, так непременно сохнет. Вот какой был этот Генрих! И если бы с нами была он вместо наших королей, он бы еще почище обжуливал этот город. Я ведь не говорю, что наши какие-нибудь невинные барашки, тоже ничего себе, если разобратся; ну а все-таки им до этого старого греховодника далеко. Я один скажу: король — он и есть король, что с него возьмешь. А вообще все они дряннь порядочная. Так уж воспитаны — уж очень от нашего спиртного разит, Гек.

— Ну что ж, они все такие, Джим. От всех королей разит, с этим ничего не поделаешь, так и в истории поворачивается.

— А герцог, пожалуй, еще ничего, довольно приличный человек.

— Да, герцог — другое дело. А все-таки разница не велика. Тоже не первый сорт, хоть он и герцог. Когда

иногда, так от короля его не отличишь, ежесан ты блан-шан!

Ну их совсем, Гек, мне больше таких не требуется. И от них-то сада терпю.

И я тоже, Джим. Но если они уж сели нам на шею, не надо забывать, кто они такие, и принимать это к вниманию. Конечно, все-таки хотелось бы знать, есть ли где-нибудь страна, где короли совсем перевелись. Какой то-то был говорить Джиму, что это не настоящий король и герцог? Ничего хорошего из этого не может выйти, а кроме того, так оно и было, как я говорил: им ничем не отличались от настоящих.

И вот спать, и Джим не стал будить меня, когда пришла моя очередь. Он часто так делал. Когда я провалился на расвете, он сидел и, опустив голову на колени, стоял и плакал. Обыкновенно я в таких случаях не обращал на него внимания, даже виду не подавал. И знал, в чем дело. Это он вспоминал про жену и детей — вспоминал по дому, потому что никогда в жизни не расставался с семьей; а детей и жену он, по-моему, любил не меньше, чем всякий белый человек. Может, это показывало странненьким, только так оно и есть. По ночам он плакал, бывало, только так оно и есть. По ночам он плакал, бывало, и притворялся.

Бедняжка Лизабет, бедненький Джонни! Ох, как им горло Верно, не видеть мне вас больше, никогда не увижу!

Он очень хороший неро, этот Джим!

Но тут я разговорила с ним про его жену и ребят — вот отчего мне сейчас так тяжело: я только что сказала, как на берегу что-то шепнуло или хлопнуло, — и этого и мне вспомнилось, как я обидел один раз мою бедненькую Лизабет. Ей было тогда всего четыре года, она сидела скаматину и очень тяжело болела, потом она зашла в постель, и вот как-то раз стоит она рядом со мной, и я ей говорю: «Закрой дверь!»

Она не закрывает, стоит себе и стоит, да еще глядит на меня и улыбается. Меня это разозлило; я опять ей говорю, громко так говорю: «Не слышишь, что ли? Закрой дверь!»

А она стоит все так же и улыбается. Я взбесилась и прикрикнула:

«Ну, так я же тебя заставаю!» Да как шагнула по головам, так она у меня и полетела на пол. Потом упала в другую комнату, пробыв там минут десять и прикованная обратно; смотрю, дверь все так же открыта настежь, а вочка стоит около самой двери, опустила голову и плачет, слезы так и текут; разозлился я — и к ней, а тут как раз — дверь эта отворилась наружу — налетела на тер и — трах! — захопнула ее за спинной у девочки, и они с места не тронулись. Я так и обмер, а уж что я почувствовал, просто и сказать не могу. Подкрался, а сам весь дрожу, — подкрался на цыпочках, открыл тихоньку дверь у нее за спиной, просунул осторожно голову да как крикну во все горло! Она даже не пошевелилась! Да, Гек, тут я как заплачу! Схватила ее на руки и говорю: «Ох ты, моя бедняжка! Прости, господин, старика Джима, а сам он никогда себе не простит!» Вот она отлохда, Гек, совсем отлохда, а я так ее обнимаю!

ГЛАВА XXIV

На другой день, уже под вечер, мы пристали к другому ивняком островку посредине реки, а на том и на другом берегу стояли городишки, и герцог с королем на чинах раскидывать умом, как бы их обойти. Джим свеза герцогу, что, он надеется, это не займет много времени, — уж очень ему надоело и трудно лежать по целым дням связанным в шалаше.

Понимаете, нам приходилось все-таки связывать Джима веревкой, когда мы оставляли его одного; ведь если бы кто-нибудь на него наткнулся и увидел, что ни кого с ним нет и он не связан, так не поверил бы, что он беглый негр. Ну и герцог тоже сказал, что, конечно, не легко лежать целый день связанным и что он признает какой-нибудь способ обойтись без этого.

Голова у него работала здорово, у нашего герцога, по-живно соорудили, как это устроить. Он одел Джима в костюм короля Лира — длинный халат из занавесочной ситца, седой парик и борода из конского волоса; потом взял свои театральные краски и вымазал Джиму щеки, лицо, руки и все сплошь густой синей краской такого тусклого и неживого оттенка, что он стал похож на утопленника, пролежавшего в воде целую неделю. Провод

или мне, но только страшной этого я ничего не видел. Наш герцог взял дощечку и написал на ней:

Коварный араб. Когда в себе, на людей не бросается —

и принаотитла эту дощечку к палке, а палку поставил перпендикулярно, шагах в четырех от него. Джим был доволен тем, что это куда лучше, чем лежать связанного по целым дням и трястись от страха, как только герцог захочет. Герцог советовал ему не стесняться и вести себя поразвязнее: а если кто-нибудь вздумает пошевелить нос не в свое дело, пускай Джим выскопыт из шалаши и понапугает немножко, пускай вызовет разика два, да и инний зверь, — небось тогда живо уберутся и оставят его в покое. Это он в общем рассудил правильно; но герцог не всякий стал бы дожидаться, пока Джим пошевелит. Если бы еще он был просто похож на покойника, а не на трупа там — много хуже!

Нашим жуликам хотелось опять пустить в ход «Ивняком» — уж очень прибыльная была штука, только они задумались: а вдруг слухи за это время дошли уже и сюда? Больше ничего подходящего им в голову не пришло, и в конце концов герцог сказал, что пошевелит и выйдет часа два, нельзя ли как-нибудь окопачить принадлежский городок; а король решил загнать в городок на другом берегу — без всякого пана, просто так, погнавшись в смысле прибыли на провинение, а по-модному — на сатану. Все мы купили новое платье там, где останавливались прошлый раз; и теперь король сам вышел по все новое и мне тоже велел одеться. Я, конечно, пасел. Король был во всем черном и выглядел очень мрачно и торжественно. А я до сих пор и не знал, что герцог так меняет человека. Раньше он был похож на сапожника, что ни на есть распоследнего забулдыгу, а теперь, как снимет новую белую шапку да раскланяется с этой унылой, — ну будто только что вышел из ковчега: такой на вид важный, благочестивый и добродетельный, по-доброму ни пальца — сам старик Ной.

Нашим вымыла челнок, и я сел в него с веслом наготове у берега, чуть пониже мыса, мылах в трех от городка, стоя большой пароход; он стоял уже часа два: грудались. Король и говорит:

— Раз я в таком костюме, то мне, пожалуй, лучше пройтись на Сент-Луиса, или Цинциннати, или еще из

какого-нибудь большого города. Гребни к пароходу Гекльберри: мы на нем доедем до городка.

Ему не пришлось повторить, чтобы я поехал вместе с ним на пароходе. Я подбежал к берегу в полуфинале от парохода и повел лодку вдоль крутого обрыва по тихой воде. Довольно скоро мы наткнулись на этакое саднистое простоватое с виду деревенского паренька, который сидел на бревне, утирая пот с лица, потому что было очень жарко; рядом с ним лежали два коварных сапленка.

— Поверни-ка челнок к берегу, — сказал король (Я повернул). — Куда это вы направляетесь, молодой человек?

— В Орлеан, жду парохода.

— Садитесь ко мне, — говорит король. — Прочтите минутку: мой сауга поможет вам внести вещи... Выдадите, помоги джентльмену, Адальфус! (Это, вижу, он мне говорит.)

Я помог, потом мы втроем поехали дальше. Молодой человек был очень благодарен, сказал, что ему простили немалому было тащить вещи по такой жаре. Он спросил короля, куда он едет, и тот ему сказал, что едет вниз по реке, нынче утром высадился у городка на той стороне, а теперь хочет подняться на несколько миль вверх, повидаться там с одним старым знакомым на ферме. Молодой человек сказал:

— Как только я вас увижу, я сразу подумаю: верно, мистер Уиакс, и запоздал-то он самую малость. И опать-таки думаю: нет, должно быть, не он — зачем бы ему ехать вверх по реке? Вы ведь не он, верно?

— Нет, меня зовут Бюаджет, Александр Бюаджет, кажется, мне следует прибавить: его преподобие Александр Бюаджет, — ведь я смиренный служитель божи. Но как бы то ни было, мне все-таки прискоробило слышать, что мистер Уиакс опоздал, если из-за этого он пропустил чего-нибудь существенного. Надеюсь, этого не случится?

— Да нет, капитала он из-за этого не пропустил. Не следство он все равно получит, а вот своего брата Питера он в живых не застанет. Ему это, может, и ничего, кто ж его знает, а вот брат все на свете отдал бы, лишь бы повидаться с ним перед смертью: бедняга ни о чем другом говорить не мог последние три недели; они с детства не видались, а брата Уиакса он и вовсе никогда

не видал — это глухонемого-то, — Уиаксу всего лет двадцать — тридцать пять. Только Питер и Джордж были приехали; Джордж был женат, он умер в прошлом году, и жена его тоже. Теперь остались в живых только Гави и Уиаксом, да и то, как я уже говорил, они опоздали приехать.

— А кто-нибудь написал им?

— Ну как же, месяц или два назад, когда Питер узнал что заболел, он так и говорил, что на этот раз ему не поправиться. Видите ли, он уже совсем состарился, а дочка Джорджа еще молоденькие и ему не компаша, кроме разве Марии Джейн, — эта та, рыженькая; ну и выкидывает, что, как умерли Джордж и его жена, старики не в кем было слова сказать, да, пожалуй, и жить им не хотелось. Уж очень он рвался повидать Гави и Уиакса тоже, само собой: не охотник он был до завешивания — бывалют такие люди. Он оставил Гави письмо, наглядно, где он спрятал свои деньги и как разделить оставшее имущество, чтобы девочки Джорджа не остались ни в чем, — сам-то Джордж ничего не оставил. А кроме этого письма, он так-таки ничего и не написал, не хотел его заставить.

— Почему же Гави не приехал вовремя, как вы думаете? Где он живет?

— О, живет-то он в Англии, в Шеффилде, он там преподаватель, и в Америке никогда не бывал. Может, не придет собираться, а может, и письма не получил совсем, не знает!

— Жаль, жаль, что он так и не повидался с братьями перед смертью, бедняга! Так, значит, вы едете в Орлеан?

— Да, но только это еще не все. В среду я уезжаю на пароходе в Рио-де-Жанейро, там у меня дядя живет. Долгое, очень долгое путешествие! Зато какое приятное! Я бы и сам с удовольствием поехал. Так Мария Джейн старшая? А другим сколько лет?

— Мария Джейн девятнадцать лет. Созанне — пятнадцать, а Джоанне еще нет четырнадцати — это та, что сидит в задней галерее и хочет заниматься добрыми делами.

— Великийки! Каково им остаться одним на свете! — Да нет, могло быть и хуже! У старика Питера есть друзья, они не дадут девочкам в обиду. Там и Гоббс — баптистский проповедник, и дьякон Лот Хови, и

Бен Ракер, и Эбнер Шекафорд, и адвокат Леви Брайан, доктор Робинсон, и их жены, и вдова Барухи... Но да много еще, только с этими Питер был всего больше и больше о них на родину, так что Гарви знает, где еще искать друзей, когда сюда придет.

А старик все расширявал да расширявал, пока не выткнул из паренька все дочиста. Провалиться миром он не разузнав всю подготовленную про этот самый род и про Уиксов тоже: и чем занимался Питер — он был кожевник, и Джордж — а он был плотник, и Гарви — а он проповедник в какой-то секте, и много еще чего. Потом и говорят:

— А почему это вы шли пешком до самого парохода? Потому что это большой ораеанский пароход и в глубокую, он не останавливается по требованию. Пароходы из Цинциннати останавливаются, а этот нет на Сент-Луиса.

— А что, Питер Уикс был богатый?

— Да, очень богатый: у него были и дома, и дома говорят, после него остались еще тысячи три-четыре денгями, спрятанные где-то.

— Когда, вы сказали, он умер?

— Я ничего не говорил, а умер он вчера ночью.

— Похороны, верно, завтра?

— Да, после полудня.

— Гм! Все это очень печально; но что же делать всем нам придется когда-нибудь умереть. Так что нам остается только готовиться к этому часу: тогда мы можем быть спокойны.

— Да, сэр, это самое лучшее. Мать тоже всегда так говорила.

Когда мы причалили к пароходу, погрузка уже начиналась, и скоро он ушел. Король ничего не говорил насчет того, чтобы подняться на борт; так мне и не удалось прокатиться на пароходе. Когда пароход ушел, король заставил меня грести еще с милю, а там вышел на берег в пустынном месте и говорит:

— Поезжай живей обратно да доставь сюда герцога и новые чемоданы. А если он поехал на ту сторону, верни его и привези сюда. Да скажи ему, чтобы оделся нам можно лучше. Ну, теперь ступай!

И уже понял, что он затевает, только, само собой, этого не сказал. Когда я вернулся вместе с герцогом, мы спрыгали лодку, а потом они усаелись на бревно, и когда ему все рассказал — все, что говорил молодой человек, от слова до слова. И все время, пока рассказывал, он старался выговаривать, как настоящий англичанин; рассказывал очень даже неплохо для такого неуча. У меня так не выйдет, я даже и пробовать не хочу, а у него в первую полукалось очень хорошо. Потом он спросил:

— А как вы насчет глухонемых, ваша светлость? Герцог сказал, что в этом можно на него положить.

И мы стали ждать парохода.

Около середины дня прошли два маленьких парохода, но они были не с верховьев реки, а потом подошел большой, и король с герцогом его остановили. За нами пошел ялик, и мы поднялись на борт; оказалось, что пароход шел из Цинциннати, и когда капитан узнал, что нам нужно проехать всего четыре или пять миль, то про это забесился и принялся ругать нас на чем свет стоит, кричал даже, что высадит. Но король не растерялся, он сказал:

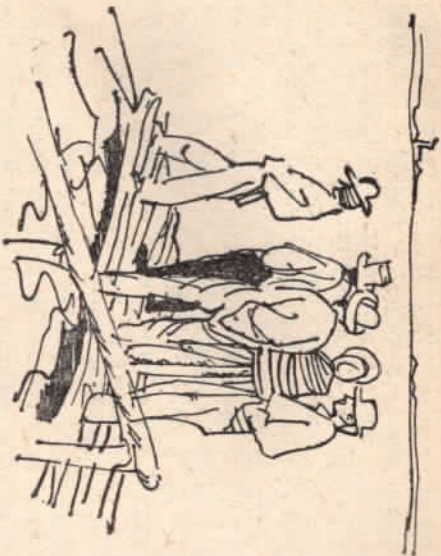
— Если джентльмены могут заплатить по доллару за милю, с тем чтобы их взяли на пароход и потом доставили на берег в ялике, то почему же пароходу не довести их, верно?

Когда капитан успокоился и сказал, что да, доведет, а когда мы поравнялись с городом, то спустились вниз и переправили нас туда. Человек двадцать собрался на берег, завидев ялик. И когда король спросил: «Может ли кто-нибудь из вас, джентльмены, покажите мне, где живет мистер Питер Уикс?» — они стали прививаться и кивать друг другу головами, словно соглашались: «А что я вам говорил?» Потом один из них сказал очень мило и деликатно:

— Мне очень жаль, сэр, но мы можем только показать вам, где он жил вчера вечером.

Никто и мигнуть не успел, как негодный старикашка встал раскис, прислонился к тому человеку, уперся ему подбородком в плечо и давай поднимать ему спину сзади, а сам говорит:

— Увы, увы! Бедный брат! Он скончался, а мы так и не поняли с ним! О, как это тяжело, как тяжело!



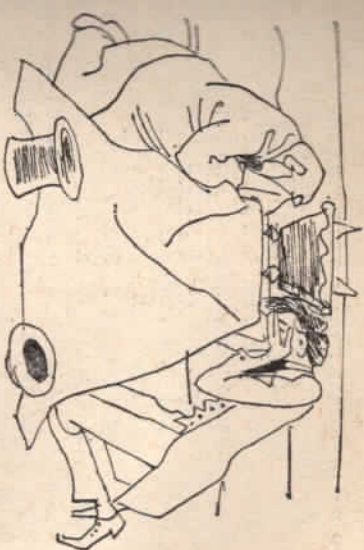
Потом оборачивается, всхлипывая, и делает какие-то наивотские знаки герцогу, показывая ему что-то на пальцах, и тот тоже роняет чеподан и давай плакать, еп-фу-гу! Я таких пройдох еще не видал, и если они не сами отъявленные жулики, тогда я уж не знаю, кто жулик.

Все собралось вокруг, стали им сочувствовать, утешали их разными ласковыми словами, потащили в гору их чеподаны, позволяли им цепляться за себя и обвивать сазами, а королю рассказывали про последние минуты его брата, и тот все пересказывал на пальцах герцогу, и оба они так горевали о покойном кожевнике, будто потеряли двенадцать апостолов. Да будь я негр, если когда-нибудь видел хоть что-нибудь похожее! Простое дело: стыдно за род человеческий.

ГЛАВА XXV

В две минуты новость облетела весь город, и со всех сторон опростелу стали сбегаться люди, а ныне даже надевали на бегу сюртуки. Скоро мы оказались в самой гуще толпы, а шум и топот были такие, словно пошел наест. Из окон и дверей торчали головы, и каждую минуту кто-нибудь спрашивал, выслушавшись из-за забора:

— Это они?



А кто-нибудь из толпы отвечал:

Они самые.

Когда мы дошли до дома Уясов, улица перед ним была полным-полна народа, а три девушки стояли в дверях. Марин Джейн и выпавду была рыженькая, только что ничего не значило: она все-таки была красавица, и это и глаза у нее так и сияли от радости, что наконец встретили двоюродных. Король распорестер объятия, и Марин Джейн бросилась ему на шею, а Заячья Губа бросилась на шею герцогу. И какая тут была радость!

Все — по крайней мере, женщины — прослезилась от того, что девочки наконец увиделись с родными и что у них в семье такое радостное событие.

Потом король толкнула потихоньку герцога, — я-то не замечал, — оглянулся по сторонам и увидел гроб в изголовье двух стульев, и тут они с герцогом, обняв друг друга за плечи, а свободной рукой утирая глаза, медленными и торжественно направились туда, и толпа расступилась, чтобы дать им дорогу: всякий шум и разговоры прекратились, все шептали: «Т-с-с-с!» — а мужчины сняли шапки и опустили головы; муха пролетит — и то бы-ла слышно. А когда они подошли, то наклонились и за-глянули в гроб; посмотрели один раз, а потом такой странной реп, что, должно быть, слышно было в Новом Орлеане; потом обнялись, положили друг другу подобо-рочно на плечо и минуты три, а то и четыре заглядывали в гроб, да как! Я никогда в жизни не видел, чтобы женщины так ревели. А за ними и все прочие ударились

в слезы. Такую разведи сырость, что я ничего подобного не видывал! Потом один стал по одну сторону гроба, а другой — по другую, и оба опустились на колени, а обоими уперлись в гроб и начали молиться, тоando вслух, а про себя. Ну, тут уж все до того расчувствовались — просто несмысленное депо; никто не мог удержаться от слез, все так прямо и зарыдали во весь голос. Подходила к девочкам и, не говоря ни слова, целовала им голову, поднимала глаза к небу, потом, положив руку на щеки, плакала и утиралась платочком, отходя в сторону, чтобы другая могла тоже покрываться на ее месте. Я в жизни своей не видел ничего противней.

Немного погодя король поднялся на ноги, выступил вперед и, собравшись с силами, начал мямлить речь, а попросту говоря — молоть всякую слезливую чепуху. В насчет того, какое это тяжкое испытание для них с братьями, проехав четыре тысячи миль, но что это испытание святым слезам, и потому он благодарит их от имени всех, от всего сердца и за себя и за брата, потому что словами этого нельзя выразить, все слова слишком малы и слабы, и дальше нес такой же вздор, так что противно было слушать; потом, захлебываясь слезами, провозгласил самый что ни на есть благочестивый «аминь» и начал так рыдать, будто у него душа с телом раставалась.

И как только он сказал «аминь», кто-то в толпе сразу вскакал, и все его подхватили громкими голосами, и когда выходили из церкви. Хорошая штука мушкетера! А после всего этого пustosловия мне показалось, что не когда еще она не действовала так освежительно и не звучала так искренне и хорошо.

Потом король снова начал распространяться насчет того, как ему с племянниками будет приятно, если сами главные друзья семейства поужинают с ними нынче вечером и помогут им похоронить останки покойного; и если бы его бедный брат, который лежит в гробу, мог говорить, то известно, кого бы он назвал: это все явные имена, которые были ему дороги, и он часто упоминал их.

В своих письмах; вот он сейчас назовет их всех по очереди, а именно пот кого: его преподобие мистер Гобсон, доктор Робинсон, мистер Бен Ракер, Эбнер Шеклтон, Ален Бедд, доктор Робинсон, их жены и вдова Бедд.

Его преподобие мистер Гобсон и доктор Робинсон в эти время охотились вместе на другом конце города — в Ботли и хочу сказать, что доктор отправаля больного да тот свет, а пастор показывал ему дорогу. Адвокат Бедд уехал в Ливерпуль по делам. Зато остальные были тут, поблизости, и все они подходили по очереди и подавали руку королю, благодарили его и беседовали с ним; потом пожимали руку герцогу; ну, с ним-то они не разговаривали, а только улабылись и мотали головой, как болванчики, а он выдеывал руками всякие штуки и делал все время, точно мададенец, который еще не умеет говорить.

А король все болтал да болтал и ухитрился распространить чуть ли не про всех в городе, до последней собачки, название каждого по имени и упомянул разные происшествия, какие случались в городе, или в семье Джорджа, или в доме у Питера. Он, между прочим, всегда давал понять, что все это Питер ему писал в письмах, только это было правде: все это, до последнего словечка, он вынул у молодого дурака, которого мы подвезли к парому.

Потом Мари Джейн принесла письмо, которое оставил ей дядя, а король прочел его вслух и расплакался. Из этого письма женой дом и три тысячи долларов зозлом доставались девочкам, а кожевенный завод, который давал хороший доход, и другие дома с землей (все это тысячи на семь) и три тысячи долларов зозлом — Марии и Уильяму; а еще в письме было сказано, что эти три тысячи зарыты в погреб.

Она молчаливо сказала, что сейчас же пойду и достану эти деньги и поделю все, как полагается, по-честному, а мне велели нести свечку. Мы заперлись в погреб, а когда они нашли мешок, то высыпали деньги тут же на пол, и было очень приятно глядеть на такую кучу монет. Ох, и разгорелась же глаза у короля! Он вынул герцога по плечу и говорит:

— Вот так здорово! Нет, вот это ловко! Небось это будет пошнее «Жирафа», как по-вашему?

Герцог согласился, что это будет почище. Они тогда залезли руками, пропустили сквозь пальцы, со своим ронаном на пол, а потом король сказал:

— О чем тут разговаривать, раз подошла такая анция! Мы теперь братья умершего богача и преставились живых наследников. Вот что значит полагаться на себя да на волю божию! Это в конце концов самое лучшее, да все на свете перепробовав, но лучше этого ничего быть не может.

Всякий другой на их месте был бы доволен такой нулей денжиком и принял бы на веру, не считая. Так не задось, что не хватает четырехсот пятаццати долларов король и говорит:

— Черт бы его побрал! Интересно, куда он мог девать эти четырехста пятаццати долларов?

Они потогривали-потогривали, потом стали искать, перерыли все кругом. Потом герцог сказал:

— Ну что ж, человек больной, очень может быть, что и ошибся. Самое лучшее — пускай так и останется, и говорить про это не будем. Мы без них как-нибудь обойдемся.

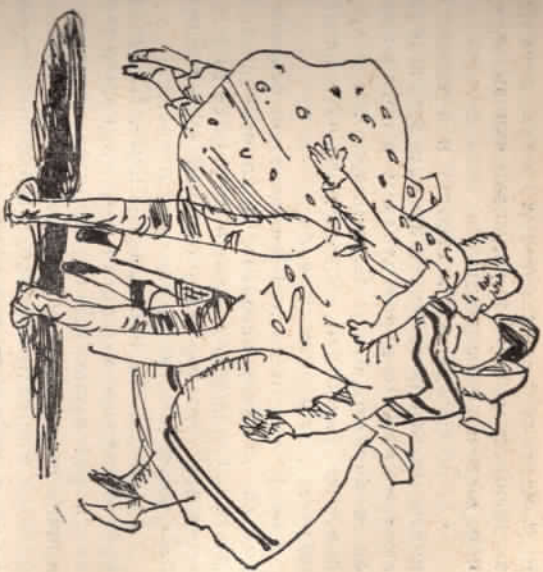
— Чепуха! Конечно, обойдемся! На это мне никак вать, только как теперь быть со счетом — вот я про что думаю. Нам тут нужно вести дело честно и аккуратно, что называется — начистоту. Надо притащить эти самые денжки наверх и пересчитать при всех, чтобы никаких подозрений не было. Но только если покойник сказал, что тут шесть тысяч, нельзя же нам...

— Постойте! — говорит герцог. — Давайте-ка посмотрим дефицит. — И начинает выгребать золотище из своего кармана.

— Замечательная мысль, герцог! Ну и голова у вас, право! — говорит король. — А ведь, ей-богу, опять нам «Жирав» помог! — И тоже начинает выгребать золотище и ставить их столбиками.

Это их чуть не разоридо, зато все шесть тысяч былин налицо, поаностью.

— Послушайте, — говорит герцог, — у меня есть еще одна идея. Давайте поднимемся наверх, пересчитаем эти денжки, а потом возьмем да и отдадим их девицам! — Нет, ей-богу, герцог, позвольте вас обидеть! Очень удачная идея, никто бы до этого не додумался! Замеча-



тели у вас голова, я такую первый раз вижу! О, это была ловкая, тут и сомневаться нечего. Пускай теперь выкапывают нас подозревать — это им заткнет рты.

Как только мы поднялись наверх, все столпились во-круг стола, а король начал считать денжки и ставить их столбиками, по триста долларов в каждом, — двадцать перепончатых маленьких столбиков. Все гадали на них глазами и облизывались; потом все денжки переложил в мешок. Вижу — король опять охорашивается, начинает произнести еще речь и говорит:

Друзья, мой бедный брат, который лежит вон там на гробе, проявил щедрость к тем, кого покинул в этой жизни юдоли. Он проявил щедрость к бедным девицам, которых при жизни любил и берет и которые остались теперь сиротами, без отца и без матери. Да! И мы, которые знали его, знаем, что он проявил бы к ним еще больше великодушия, если б не боялся обидеть своего дорогого брата Уильяма, а также и меня. Не правда ли? Конечно, у меня на этот счет нет никаких сомнений. Так вот, какие мы были бы братья, если бы помешали ему в таком деле и в такое время? И какие мы были бы дяди, если б обообрали — да, обообрали! — в такое время бед-

ных, кротких овечек, которых он так любил? Насколько я знаю Уильяма,— а я думаю, что знаю,— он... Впрочем, я сейчас его спрошу.

Он оборачивается к герцогу и начинает ему делать знаки, что-то показывает на пальцах, а герцог сначала смотрит на него дураком дураком, а потом вдруг бросается к королю, будто бы понял, в чем дело, и глумится восторженно от радости и обнимает его чуть не двадцать раз подряд. Тут король обьявлял:

— Я так и знал. Мне кажется, всякий может угадаться, какие у него мысли на этот счет. Вот, Марк Джейн, Сюзанна, Джозанна, возьмите эти деньги, поделите все! Это дар того, который лежит вон там во гробе, бесчувственный, но полный радости...

Марк Джейн бросилась к нему, Сюзанна и Завтра Губа бросились к герцогу, и опять пошло такое обнимание и целование, какого я никогда не видел. А все прочие столпились вокруг со слезами на глазах и чужие руки не оторвали этим двум мошенникам — все помнили их, а сами приговаривали:

— Ах, какая доброта! Как это прекрасно! Но как же это вы?..

Ну, потом все опять пустились разговаривать про покойника — какой он был добрый, и какая это утрата, и прочее тому подобное, а через некоторое время с удивлением в комнату протолкался какой-то высокий человек в квадратной челюкосте и стоит слушает; ему никто не сказал ни слова, потому что король говорит, — с чего он занят тем, что слушал. Король говорит, — с чего он занят, не помню, а это была уже середина.

— ...ведь они близкие друзья покойного. Вот почему их пригласили сюда сегодня вечером; а завтра мы хотим, чтобы пришли все, все до единого: он всех в городе уважал, всех любил, и потому мы желаем, чтобы на его похоронной оргии был весь город.

И пошел пасти дальше, потому что всегда любил сам себя слушать, и нет-нет да и припадет опять снова «похоронную оргию», так что герцог в конце концов не выдержал, написал на бумажке: «Похоронная церемония, старый вы дурак!» — сложила бумажку, задувала и протыкает ее королю через головы впереди стоящих людей. Король прочел, сунул бумажку в карман и говорит:

— Бедный Уильям, как он ни огорчен, а сердце у него

тогда болит о других. Просит, чтобы я всех пригласил на похоронную церемонию, — ему хочется, чтобы все пришли. Только напрасно он беспокоится, я и сам соби- рая всех позвать.

И раздается дальше самым преспокойным образом и неистово да и вставит свою «похоронную оргию», буди- те так и надо. А как только вкленя ее в третий раз, сей- час же и огорчился:

И сказал «оргия» не потому, что так обыкновенно говорят, вовсе нет, — обыкновенно говорят «церемо- ния», а потому, что «оргия» правильней. В Англии больше не говорят «церемония», это уже не принято. У нас и Англия теперь все говорят «оргия». Оргия да- же лучше, потому что вернее обозначает предмет. Это слово состоит из древнегреческого «орго», что значит «наружный», «открытый», и древнееврейского «ти- нит» — «сказать», «зарывать»; отсюда — «хоронить». Так что, вы видите, похоронная оргия — это открытые похороны, такие, на которых присутствуют все.

Дальше, по-моему, уже и ехать некуда. Тот высокий, квадратной челюкостю, засмеялся прямо ему в лицо. Было стало очень неловко. Все зашептали:

— Что вы, доктор!

А доктор Шексфорд сказал:

— Что с вами, Робинсон, разве вы не знаете? Ведь это Гэри Уилкс.

Король радостно заулыбался, тычет ему свою лапу и говорит:

— Так это вы и есть дорогой друг и врачеватель моего бедного брата? Да...

Уверите руки прочь! — говорит доктор. — Это дело англичанин? Да это дрянная поделка, хуже я не видывал. Вы брат Питера Уилкса? Мошенник, вот вы кто такой!

Ох, как все переполошились! Окружили доктора, ста- ли его унимать, уговаривать, стали объяснять ему, что Гэри это раз успел доказать, что он и вправду Гэри, и что он всех знает по именам, знает даже клички всех со- баки в городе, и уж так его упрямивали помолчать, чтобы Гэри не обиделся и чтобы девочки не обиделись. Тогда все равно ничего не вышло: доктор не унимался и го- ворил, что человек, который выдает себя за англичани- на, а сам говорит, как англичанин, не умеет, — просто

враль и мошенник. Бедные девочки не отходили от кровати и плакали; но тут доктор повернулся к ним и сказал: — Я был другом вашего отца, и вам и тоже этот век, который хочет вам помочь, чтобы вы не попали в беду и не нажили себе хлопот: отвернитесь от этого негодяя, не имейте с ним дела, это бродяга и нуля, дарю, что он бормочет чепуху по-гречески и по-еврейски! Сразу видно, что это самозванец, — набрал где-то ничего не значащих имен и фактов и явился с ними сюда; а вы обман ваши ласковые друзья, да еще вас вводят в бред умире. Мари Джейн Уилкс, вы знаете, что я ваш друг, и бескорыстный друг к тому же. Так вот, пожайте меня: гоните вы этого подлого мошенника, пришлите вас! Согласны?

Мари Джейн выпрямилась во весь рост — и первая же она сделалась красивой! — и говорит:

— Вот мой ответ! — Она взяла мешок с деньгами, передала его из рук в руки королю и сказала: — Возвратите эти шесть тысяч, поместите их для меня и моих детей куда хотите, и никакой расписки нам не надо.

Потом она обняла короля, а Сюзанна и Зайчье Губой подошли к нему с другой стороны и тоже обняли. Была буря, а король задрал голову кверху и гордо уныл.

Доктор сказал:

— Хорошо, тогда я умываю руки. Но предупредите вас всех: придет время, когда вам тошно будет вспоминать про этот день!

И он ушел.

— Хорошо, доктор, — сказал король, как бы презирая его, — уж тогда мы постараемся — уговорить их послать за вами.

Все засмеялись и сказали, что это он ловко поддел доктор.

ГЛАВА XXVI

Когда все разошлись, король спросил Мари Джейн, найдутся ли у них свободные комнаты, и она сказала, что одна свободная комната у них есть, она подойдет для

дяди Уильяма, а дяде Гарви она уступит свою комнату, которая немножко побольше, а сама она поместится с сестрами и будет спать там на койке; и еще на чердаке есть намерка с соломенным тюфяком. Король сказал, что эта намерка пригодится для его лакея, — это для него.

Мари Джейн повела нас вверх и показала дялюшину комнату, очень простенькую, зато уютную. Она сказала, что уберет из своей комнаты все патлы и разные другие вещи, если они мешают дяде Гарви; но он сказал, что насколько не мешают. Патлы висели на стене под естественной занавеской, спускавшейся до самого пола. В одном углу стоял старый сундук, в другом — стул с гитарой, и много было разных пустяков и финтифлюшек, которыми девушки любят украшать свои комнаты. Король сказал, что с ними комната выглядит гораздо уютнее и милей, и не велел их трогать. У герцога была очень маленькая, зато удобная, и моя комната тоже.

Вечером у них была званый ужин, и опять пришли те же гости, что и утром, а я стоял за стульями короля и прислуживал им, а оставшим прислуживали Мари Джейн сидела на хозяйском месте, рядом с Сюзанной, и говорила всем, что печенье не удалось, а каша никуда не годится, и куры попались плохие, и т.д. и т.д. — словом, все те пустяки, которые обыкновенно говорят хозяйки, когда напрашиваются на компанию; а гости отвлеченно выслушивали, что все удалось как нельзя лучше, и все хвалили, — спрашивали, например: «Как это вам удается так подругивать печенье?», или «Как вы, ради бога, где вы достали такие замечательные курицы?» — и все в таком роде; ну, знаете, как обыкновенно да ужином — перебивают из пустого в пустое.

Когда все это кончилось, мы с Зайчье Губой поужинали в кухне остатками, пока другие помогали неграм убирать со стола и мыть посуду. Зайчье Губа начала меня раздражать про Англичан, и ей-богу, я каждую минуту так и думал, что, того гляди, проворюсь. Она спрашивала:

— Ты когда-нибудь видел короля?
— Какого? Вильгельма Четвертого? Ну, а то как же! Он живет в нашу церковь.

Я-то знал, что он давно помер, только ей не стало до
ворить. Вот, после того как я сказал, что он ходит в на-
шу церковь, она и спрашивает:

— Как? Постоянно ходит?

— Ну да, постоянно. Его скамья как раз напротив
нашей — по другую сторону кафедр.

— А я думала, он живет в Лондоне.

— Ну да, там он и живет. А где ж ему еще жить!

— Да ведь ты живешь в Шеффилде!

Ну, вижу, я влип. Пришлось для начала прини-
мать, будто я подавился куриной костью, чтобы выждать
время, — надо же придумать, как мне вывернуться! По-
том я сказал:

— То есть он ходит в нашу церковь всегда, когда
бывает в Шеффилде. Это же только летом, когда он при-
езжает брать морские ванны.

— Что ты мешешь, ведь Шеффилд не на море!

— А кто сказал, что он на море?

— Да ты же и сказал.

— И не думал говорить.

— Нет, сказал!

— Нет, не говорил!

— Сказал!

— Ничего подобного не говорил.

— А что же ты говорил?

— Сказал, что он приезжает брать морские ванны

вот что я сказал.

— Так как же он берет морские ванны, если там нет
моря?

— Послушай, — говорю я, — ты видала когда-нибудь
английский эль?

— Видала.

— А нужно за ним ездить в Англию?

— Нет, не нужно.

— Ну так вот, и Вильгельму Четвертому не надо
ездить к морю, чтобы брать морские ванны.

— А откуда же тогда он берет морскую воду?

— Оттуда же, откуда люди берут эль: из бочен
В Шеффилде во дворце есть котлы, и там ему эту воду
греют. А в море такую уйму воды не очень-то нагреешь,
никаких там приспособлений для этого нет.

— Теперь поняла. Почему же ты сразу не сказала,
только время даром тратил.

Ну, тут я поняла, что выпутался благополучно, и мне
стало много легче и веселее. А она опять пристаёт:

— Ты тоже ходишь в церковь?

— Конечно, постоянно хожу.

— А где ты там сидишь?

— Как где? На нашей скамейке.

— На чьей?

— На нашей, то есть твоего дяди Гави.

— На его скамье? А зачем ему скамья?

— Да тем, чтобы сидеть. А ты думала — зачем?

— Но ведь ты, а ведь я думала, что его место на ка-
федре.

— Да, чтоб ему, я и позабыл, что он проповедник! Ну,
онит, опять я засыпался; пришлось еще раз давиться
куриной костью и опять думать. Потом я сказал:

— Что же, по-твоему, в церкви бывает только один
проповедник?

— А на что же больше?

— Как! Это чтобы королю проповедовать? Ну,
вот, ах, я таких, как ты, еще не выдвигал! Да их
вот тебе семнадцать не бывает.

— Семнадцать проповедников! Господи! Да я бы ни
за что не присладе столько времени, даже для спасения
души. Это их в неделю всех не переслушаешь.

— Пустяки, они не все в один день проповедают, а
по очереди.

— А что же тогда делают остальные?

— Да ничего особенного. Сидят, отдыхают, ходят
в церковь — да мало ли что! А то и совсем ничего
не делают.

— Для чего же они тогда нужны?

— Как для чего? Для фасона. Ну жто ты этого не
поняла?

— Даже и знать не хочу про такие глупости! А как
в Англии обращаются с прислугой? Лучше, чем мы
в Германии?

— Какое! Саулу там и за человека не считают. Об-
ращаются хуже, чем с собакой.

— А на праздники разве их не отпускают, как у
нас на рождество, на Новый год, на Четвертое июля?

— Скажет тоже! Сразу видно, что ты в Англии ни-
когда не была. Да знаешь ли ты, Зайч... знаешь ли,
Англичане, что у них никогда и праздников-то не бывает.

их круглый год нигде не пускают: ни в цирк, ни в театр, ни в негритянский балаган, ну просто нигде!

— И в церковь тоже?

— И в церковь.

— А ведь ты ходишь в церковь?

Ну вот, опять я запутался! Я позабыла, что слышу старика. Но в следующую минуту я уже пустынна обняв ее, что даkiej совсем не то, что простой сауи, обязан ходить в церковь, хочет он этого или нет, и сидеть там вместе с хозяевами, потому что так полагается. Только поучилась у меня не очень-то скандально; кончила объяснить и вижу, что она мне не верит.

— Скажи, — говорит, — «честное индейское», что ты не наврал мне с три короба.

— Честное индейское, нет, — говорю я.

— Совсем ничего не приврада?

— Ровно ничего. Как есть ни единого сонечина, говорю я.

Положи руку вот на эту книжку и скажи еще раз я вижу, что это просто-напросто словарь, подолни на него руку и скажи. Она как будто поверила и говорит:

— Ну дажно, кое-что тут, может, и верно; только уж извини, никогда этого не будет, чтобы я всему оставалась поверю.

— Чему это ты не хочешь верить, Джо? — сказала Мари Джейн, входя вместе с Сюзанной. — Нехорошо и невежливо так с ним разговаривать, он здесь чужой и от родных далеко. Тебе ведь не понравилось бы, если бы с тобой так обращались?

— Вот ты всегда так, Мари, — заступаешься за него, когда их никто еще и не думал обижать. Ничего и ему не сделала. Он тут мне наврал, по-моему, а я сказала, что не обязана всему верить. Вот и все, больше ничего не говорила. Я думаю, такие-то пустяки он может стерпеть?

— Мне все равно, пустяки это или нет; он гостит у нас в доме, и с твоей стороны нехорошо так говорить. Ведь на его месте тебе было бы стыдно; вот и не надо говорить ничего такого, чтобы человеку было стыдно.

— Да что ты, Мари, он же сказал...

— Это не важно, что бы он там ни сказал, — не в том дело. Важно, чтобы ты была с ним ласкова, и не то...

...и даже ничего такого, а то он вспомнит, что он был чужой и далеко от родины.

А я думаю про себя: «И такую-то девушку я позволю обижать этому старому крокодилу!»

И Сюзанна вмешалась: такую задавала гонку За-... Губа, что мое почтение!

А я думаю про себя: «И эту тоже я позволю ему так обижать!»

Когда Мари Джейн заговорила с ней совсем по-другому, мягко и ласково, как она всегда говорила; только из этого бедная Заячья Губа стала тише воды, ниже травы и уларилась в слезы.

Ну вот и хорошо, — сказали ей сестры, — теперь можешь у него прощенья.

Она и прощенья попросила, да еще как вежливо! Она дакнула, что приятно было слышать; мне даже понравилось еще больше ей наврать, чтобы она еще раз пошла прощенья.

А после того как она попросила прощенья, все мы принялись хлопотать и стараться, чтобы я почувствовала себя как дома и понял бы, что я среди друзей. А я устроила себя такой дрянью, таким мерзавцем и грязью, что решила твердо: украду для них эти деньги, а там будь что будет.

И я ушла — будто бы спать, а сам думаю: потяну себя, оставшись один, я стал это дело обмозговывать. Думаю себе: пойти, что ли, к этому доктору и довести на моих мошенников? Нет, это не годится.

А вдруг он расскажет, кто ему сказал? Тогда мне от ко-... с герцогом солено придется. Сказать потихоньку Мари Джейн? Нет, лучше не надо. По ее лицу они, конечно, сразу поймут, в чем дело; мешок с золотом у них — они, не долго думая, возьмут да и удерут с день-

гами. А если она позовет кого-нибудь на помощь, меня тоже в это дело запутают, когда-то еще там разберутся! Нет, только и есть одно верное средство: надо мне как-нибудь украсть эти деньги, и украсть так, чтобы на меня никто не подумал.

У короля с герцогом тут выгодное дело, они отсюда не уедут, пока не оборут дочиста и вся ерунда, и весь город, так что я еще сумею выбрать удобное время. Украду деньги и спрячу, а потом, когда буду идти по реке, напишу Мари Джейн письмо и рас-

скажу, где я их спрятал. А красть все-таки лучше ночью, потому что доктор, наверное, не все знает; как бы он их отсюда не спустился.

Ну, думаю, пойду-ка обыщу их комнаты. Наверное в коридоре было темно, но я все-таки отыскала комнаты герцога и начала там все подряд ощупывать; потом же обнаружила, что вряд ли король отдаст кому-нибудь из денгиги на сохранение, на него что-то не похоже. Поняв, что комната короля и там тоже начала шарить. Внизу, под свечки ничего не выходит, а зажечь, конечно, боюсь. Тогда я решила сделать по-другому: думаю, подслушать их и подслушаю. И в это самое время вдруг слышу, что они идут.

Только я хотел залезть под кровать — сунулся, а они повсюду не там стоят, где я думал; зато мне под руку попалась занавеска, под которой висели плащи Марс Джейн; я скорей нырнул под нее, зарылся в плащ и стою, не дышу.

Они вошли, закрыли за собой дверь, и первым делом герцог нагнулся и заглянул под кровать! Вот когда я обрадовалась, что не нашла вовремя кровати! А ведь надо было само собой подслушаться, что лезешь под кровать, пока дело у тебя секретное.

Оба они усеялись, и король сказал:

— Ну, что у вас? Только покорооче, потому что надо скорее идти вниз, рыдать вместе со всеми, а то они там начнут сплетничать на наш счет.

— Вот что, Капет. Я все беспокоюсь: не нравится мне этот доктор, не выходит он у меня из головы! Хотелось бы знать, какие у вас планы, у меня есть одна мысль, и как будто она правдивая.

— Это какая же, герцог?

— Хорошо бы нам убраться отсюда пораньше, чем к трем утра, да покорорей ударить вниз по реке с тем, что у нас уже есть. Достаешь-то оно нам уж очень дешево, сами, можно сказать, отдали в руки, а ведь мы думали, что придется красть. Я стою за то, чтобы сматывать дочку и удирать покорорей.

Мне прямо-таки стало нехорошо. Какой-нибудь чужаки два назад было бы совсем другое дело, но теперь я прицелился. Король выругался и сказал:

— Что? Оставь свое имущество так и не продавай! Уйдем, как дураки, и оставим на восемь, на девять ты

ты дураки, которое только того и дожидается, чтобы его продали в руки? Да какой все ходкий товар-то!

Герцог начал ворчать, сказал, что довольно и мешка в котомке, а дальше этого он не пойдет — не хочет отходить от своего последнего.

— Что вы это выдумали? — говорит король. — Ничего у них не отнимем, кроме этих денег. Пострадали бы по неопытности: как только выяснится, что имущество наше, — а это выяснится очень скоро после того, как мы уйдем, — продажа окажется недействительной, и все имущество вернется к владетельцам. Вот ваши сироты и живут дом обратно, и довольно с них: они молодые, красивые, что им стоит заработать себе на кусок хлеба! Пострадали они не пострададут. Господь с вами, им жалко, а не на что.

Король так его заговорил, что в конце концов герцог сдался и сказал, что да, только добавив:

Все-таки глупо оставаться в городе, когда этот дурацкий доктор торчит тут, как бельмо на глазу!

А король сказал:

Наврать нам на доктора! Какое нам до него дело? Ведь все дураки в городе за нас стоят! А дураков во всем городе куда больше, чем умных.

И они собрались опять идти вниз. Герцог сказал: Не знаю, хорошо ли мы спрятали денгиги! Место незаметное.

Тут и обрадовалась. Я уж начал думать, что так поздно и не узнаю, даже и намека не услышу.

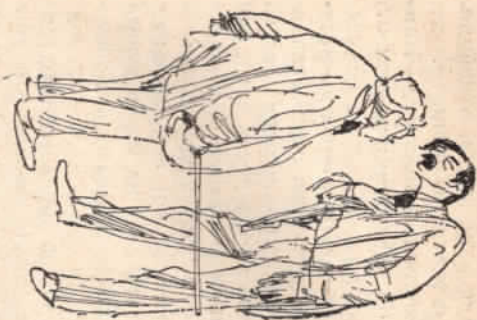
Король спросил:

— Это почему же?

Потому что Марс Джейн будет теперь носить плащ того и гляди, она веет неприятке, которая убивает комнаты, уложит все эти тряпки в сундук и спрячет куда-нибудь подальше. А что же вы думаете, несправедливо неграмотка увидит денгиги и не позарится на них?

А, голова у вас работает здорово, — говорит король и начинает шарить под занавеской, в двух шагах от того места, где я стою.

И прижался к стене вплотную и замер, а сам весь дрожит. Думаю, что-то они скажут, если поймут меня! Надо придумать, что же мне все-таки делать, когда меня подслушивают. Но не успел я додумать эту мысль и до подо-



вини, как король нашел мешок с деньгами; ему даже и в голову не приходило, что я тут стою. Потом они взяли да и засунули мешок с золотом в дупло в содомном тюфяке, который лежал под периной; загнули его поглубже в солому, и решили, что теперь все в порядке, потому что негрятенка набивает одну только перину, а тюфяк переворачивает раза два в год, не чаще, так что теперь деньги в сохранности, никто их не украдет.

Ну, а я раскудлакала по другому. Не успел король ощупью добраться до своей каморки и спрятать мешок, пока не подвернется случай перепрятать в другое место. Я решила, что лучше всего спрятать мешок где-нибудь во дворе, потому что король с герцогом, как только хватятся денег, прежде всего обшуют весь дом. Это я отлично знала. Потом я лег не раздеваясь, только заснувшие все равно не мор — до того мне не терпелось покончить с этим делом. Скоро, слышу, король с герцогом опять поднимаются по лестнице; я кубарем скатилась с постели и залез на верху чердачной лестницы — дожидаться, что будет дальше. Только ничего не было.

Я подождала и, когда все ночные звуки затихли, а утренняя еще не начиналась, потихоньку спустилась в нижний этаж.

ГЛАВА XXVII

Я подкралась к дверям и прислушалась: оба хранителя тогда я на цыпочках двинулись дальше и благополучно спустились вниз. Нигде не слышно было ни звука. Я взглянула через дверную щельку в столовую и увидела, что все бодрствовавшие при гробе крепко заснули, сиди-

ли в стульях. Дверь в гостиную, где лежал покойник, была открыта, и в обеих комнатах горело по свечке. Я прошла мимо открытой двери; вижу — в гостиной никого нет, кроме останков Питера, и я двинулась дальше, но переданная дверь оказалась заперта, а ключ из нее вылетел. Тут как раз слышу — кто-то спускается по лестнице за моей спиной. Я скорей в гостиную, оглянувшись по сторонам — внизу, мешок спрятать некуда, кроме гроба. Вспомнила немного сдвинулась, так что видно было лицо покойника, закрытое мокрой тряпкой, и саван. Я сунула руку в мешок, и так как там было холодно, чуть ниже перчаточных рук, и такие они были холодные, что даже дрожали забегали у меня по спине, а потом выскользнула потихоньки и спряталась за дверью.

Это была Мари Джейн. Она тихо подошла к гробу, прислонилась на колени и стала глядеть на покойника, потом подняла платок к глазам, и я понял, что она плачет, хотя ничего не было слышно, а стояла она как в ступоре. Я выбралась из-за двери, а когда проходила мимо столовой, дай, думаю, погляжу, не видел ли меня кто-нибудь из бодрствующих; заглянула в щельку, но все было спокойно. Они даже и не пошевеливались.

Я нырнула наверх и улетела в кровать, чувствуя себя довольно неважно из-за того, что после всех моих трудов и такого риска вышло совсем не так, как я думала. Ну, говорю себе, если деньги останутся там, где они есть, это еще куда-сюда; как только мы отведем милая на гроб, на лестнице вниз по реке, я напишу Мари Джейн, она передаст покойника и возмет себе деньги; только так, наверно, не получится, а получится, что деньги найдут, тогда станут заминчивать крышку. И выйдет, что деньги опять заберет король, а другого такого случая, пожалуй, и не дождешься, чтобы он дал еще раз их стащить. Мне, лично собой, очень хотелось прокрасться вниз и взять их тайком, только я не посмел: с каждой минутой становилось все светлей, скоро зашевелятся все эти бодрствующие при гробе и, того и гляди, поймут меня — поймут и шесть тысячам на руках, а ведь никто меня не признал об этих деньгах заботиться. Нет уж, говорю себе, я вовсе не желаю, чтобы меня припутали к такому делу. Когда я сошла вниз утром, дверь в гостиную была открыта и все посторонние ушли. Остались только свои да ямама Бартан и наша компания. Я стаа смотреть,

может, по лицам замечу, не случалось ли чего-нибудь особенного, — только ничего не мог разобрать.

В середине дня пришел гробовщик со своим помощником: они поставили гроб посреди комнаты на две стулья, а все остальные стулья расставили рядами, а еще признаны у соседей, так что и в гостиной, и в столовой, и в передней — везде было полно стульев. И не метла, что крышка гроба лежит так же, как вчера, только не посмел заглянуть под нее, раз крутом была парадника вместе с девушками уселась в переднем ряду, а изголовья гроба; и целых полчаса люди вереницей налегонно проходили мимо гроба и глядели на покойника, а некоторые роняли слезы; и все было очень тихо и торжественно, только девушки и оба мошенника припадали платки к глазам и, опустив голову, потихоньку всхлипывали. Ничего не было слышно, кроме шарканья ног по полу да сморканья, — потому что на похоронах всегда сморкаются чаще, чем где бы то ни было, кроме церкви.

Когда в дом набилось полно народу, гробовщик в черных перчатках, этаким мягким и обходительным осмотрел все крутом, двинулся неслышно, как кошка, в порядке, чинно и благородно. Он ничего не говорил, развела гостей по местам, втискивая куда-нибудь опоздавших, раздвигая толпу, чтобы даан пройти, и встала на свое место у стенки. Я отродясь не видывал такого тихого, незаметного и вкрадчивого человека, а удивился он не чаще копченого окорока.

Он заняли у кого-то фистармонку, совсем расстроившаяся, и, когда все было готово, какая-то молодая женщина села и заиграла на ней; хрипу и визгу было слышно ко угодно, да еще все запели хором, — так что, по-моему, одному только Питеру и было хорошо. Потом его притворились мистер Гобсон приступил к делу — медленно и торжественно начал говорить речь; но только он начал как в подвале поднялся страшнейший визг, просто не она подняла невыносимый и давая не умолака, так что пастору пришлось замолчать и дожидаться, стои покая гроба, — ничего нельзя было расслышать, даже что он

думавши. Получилось очень неважно, и никто не мог тут быть. Однако доловый гробовщик пришел первый и закивал пастору, словно говоря: «Величайший, а все устрою». Он стал пробираться сзади и выдохнул, весь согнувшись, так что над головами собравшихся видны были одни его плечи. А пока пробирался, шум и лай становились все громче и нестерпимей! наконец, обойдя комнату, гробовщик скрывался за гробом, секунды через две мы услышали сильный стук, собака оглушительно вывела еще раз два, и за стеною — наступила мертвая тишина, и пастор продолжал свою торжественную речь с того самого места, а вторым остановился. Минуту-другую спустя возвратился гробовщик, и опять его плечи пробираются по стене, он обошел три стороны комнаты, потом выпрыгнул, прикрыв рот рукой и, вытянув шею, хриплым шепотом сообщил пастору через головы толпы: «Она покойница приснула!» После этого он опять согнулся и по стенке пробрался на свое место. Заметно было, что всем это казалось большое удовольствие — им, само собой, хотелось узнать, в чем дело. Такие пустяки человеку равно не стоят, зато как раз такими пустяками и приобретается общее уважение и любовь. Никого другого не было так не любил, как этого самого гробовщика.

Пасторское слово было хорошее, только уж очень длинное и скучное; а там и король полз туда же: наступила с речью и понес, как всегда, цепуху; а потом гробовщик стал подкрадываться к гробу с отверткой. Сначала как на иглоках и смотрел на него во все глаза. Он даже и не заглянул в гроб: просто нагнувшись, без всякого шума и крепко-накрепко зашнуровал его, с тем и и остался! Так и не узнав, там ли деньги или на больше там нет. А что, думаю, если кто-нибудь еще пер потихоньку? Почему я знаю — писать теперь Марк Джейн или нет? Вдруг она его откопает, а денег не найдет, что она тогда обо мне подумает? Ну его в ад! думаю, а то еще погонятся за мной, да и посалят в тюрьму; лучше уж мне держать язык за зубами и ничего ей не писать; все теперь ужасно запуталось; я стараюсь слышать лучше, а вышло во сто раз хуже; нечего мне было за это и браться, провалилось оно совсем!

Пастора похоронили, мы вернулись домой; и я опять стал смотреть, не замечу ли чего-нибудь по лицам, —



никак не мог удержаться и успокоиться тоже не мог! Но Андам ничего не было заметно.

Вечером король ходил по гостям и всех утешал и во всем навязывался со своей дружбой, а между прочим давал понять, что его паства там, в Англии, ждет его и дожидается, так что ему нужно поторопиться: уладить все дела с имуществом, да и ехать домой. Он очень надеялся, что придутся так спешить, и всем другим тоже было очень жалко: им хотелось, чтобы он поторопился и поскорее, только бы они не знали, как это устроится. Он, конечно, говорил, будто бы они с Уильямом собираются взять девочек с собой в Англию; и все этому рады были, потому что девочки будут с родными и хорошо устроены; девочки тоже были довольны и так этому радовались, что совсем позабыли про свои несчастия, одно только и говорили: пускай король продаст нас поскорее, а они будут собираться. Бедняжки так были довольны и счастливы, что у меня сердце разрывалось, глядя, как их опьяняют и обманывают, но только и не видав никакой возможности вмешаться и что-нибудь в этом деле переменить.

Провалившись мне, если король тут же не назначил дом и негров к продаже с аукциона — через два дня после похорон! Но кто хотел, тот мог купить и ранние частным образом. И вот на другой день после похорон,

были в Аннамблати, радость девочек в первый раз омрачилась. Миндаль двое торговцев неграми, и король продавал им негров за хорошую цену, с уплатой по чеку в определенный срок, — так это полагалось, — и они увезли своих стюпеней вверх по реке, в Мемфис, а их мать — вниз по реке, в Новый Орлеан. Я думал, что и у бедных девочек, и у негров сердце разорвется от горя; они же плакали и так обнимались, что я и сам расстроился, и они плакали. Девочки говорили, что им даже и не снится, чтобы семью разделили или продали куда-нибудь далеко, не тут же, в городе. Никогда не забуду, как последние девочки и эти негры обнимали друг друга в плач, все это так и стоит у меня перед глазами; и им наперика не вытерпеть, не стал бы молчать и до сих пор нашу шайку, если бы не знал, что продажа неграминтереса и негры через неделю-другую вернутся назад.

Эта продажа наделала в городе много шума; боюсь, что было решительно против: говорили, что просто так — разлучать мать с детьми. Нашим мошенникам это сильно подорвало репутацию, но старый дурак все равно гнул свою линию, что ему ни говорил герцог, а герцог, по всему было видно, сильно встревожился. На следующий день был аукцион. Утром, как только рассвело, король с герцогом поднялись ко мне на балкон и разбудили меня; и по одному их виду я сразу понял, что дело неладно. Король спросил:

— Ты был у меня в комнате позавчера вечером?

Нет, ваше величество. (Я всегда его так называл, и ни одного чужих не было.)

А вчера вечером ты там был?

Нет, ваше величество.

Только по-честному — не врать!

По-честному, ваше величество. Я вам правду говорю. Я даже и не подходил к вашей комнате, после того как мисс Марин Джейн показывала ее вам и герцогу.

Герцог спросил:

А ты не видел — входил туда кто-нибудь или

Нет, ваша светлость, что-то не припомню.

Так подумай, вспомни!

Я гадалась и вижу, что случай подходящий; потом говорю!

— Да, я видел, как негры туда входили, и не один раз.

Оба так и подскокнули на месте, и вид у них был еще чада такой, будто бы они этого не ожидали, а потом будто бы ожидали именно этого. Герцог спросил:

— Как? Все сразу?

— Нет, не все сразу... то есть я, кажется, не видел, чтобы они все оттуда выходили, вот только, помню один раз...

— Ну-ну? Когда же это было?

— В тот день, когда были похороны. Утром. Тогда не очень рано, потому что я тогда проспал. Я только что хотел сойти вниз по лестнице — и увидел их.

— Ну, дайте, дайте! Что они делали? Как себя держали?

— Ничего не делали. И, по-моему, никак особенно себя не держали. Они вышли отсюда на цыпочках; должно быть, ходили убирать комнату вашего величества и еще зачем-нибудь, — думали, что вы уже встали; а мне увидел, что вы еще спите, решил убратися поскорее от греха, чтобы не разбудить вас, не потревожить.

— Ах черт, вот так штука! — сказал король, и оба они с герцогом смотрели растерянно и довольно-таки глупо.

С минуту они стояли в раздумье, почесывая головы, а потом герцог засмеялся таким скрпичным смехом и говорит:

— Нет, вы только подумайте, как эти негры должны разыграть комедию! Прикинувшись, будто им жалею уезжать из этих мест! И я тоже поверил, что им жалею, и вы поверили, да и все остальные. И не говорите мне после этого, что у негров нет актерского таланта! Нет, вот какие комедианты, просто кого угодно одурачить был! На мой взгляд, мы их дешево отдали. Будь у меня капитал и свой театр, мне бы и не надо лучших актеров, — а тут мы взяли да и продали их чуть не даром за какие-то гроши. Да еще и гроши-то пока не платят! Послушайте, а где же эти гроши, где этот самый черт?

— В банке лежит, дожидается срока. А где же еще быть?

— Ну, тогда все в порядке, слава богу.

Я прикинулся, будто бы оробел, а сам спрашивал:

— Что-нибудь случилось?

416

Король набросился на меня с руганью:

— Не твое дело! Знай помалкивай и заботься о своих делах, если они у тебя есть! Да смотри помни это, когда ты дашь, в городе, — слышишь? — А потом говори герцогам: — Ничего не подозревай, придется стерпеть; надо держать язык за зубами, вот и все.

Оба стали спускаться по лестнице, и тут герцог тоже засмеялся и говорит:

— Быстро продали, да мало нажили! Выгодное дело — ничего сказать!

Король огрызнуся на него:

— Я же старался, думал, что лучше будет поскорей продать! А если прибыли никакой не оказалось и денег большой, а в итоге — нуль, то я виноват не больше нашего.

Да, а если бы послушался моего совета, то негры остались бы в доме, а нас бы тут не было.

Король огрызнуся, однако соблюдая осторожность, в этом перемена направлении и опять набросился на меня. Он давал мне хорошую трепку: я не доложил ему, что негры вышли из его комнаты на цыпочках, — и знал, что всякий дурак на моем месте догадался бы, что это оттого и вышло, что он поднялся в то утро ни во что и вышел, что он поднялся в то утро ни во что и вышел, даже не отдохнул как следует, и будь он король, если когда-нибудь еще встанет рано. И они ведь, переругиваясь; а я очень обрадовался, что удалось так легко свалить на негров, да еще так ловко, что им не понадобится не повредить.

ГЛАВА XXVIII

А там, гляжу, пора и вставать. Я спустился с чердака и пошел было вниз; но когда проходил мимо комнаты Жюльетты, то увидел, что дверь в нее открыта, а Мари-Луиза сидит перед своим раскрытым сундуком и укладывает в него вещи — собирается в Англию. Только в эту минуту она не укладывала, а сидела со сложенным лицом на козлах и плакала, закрыв лицо руками. Я опять расстроился, глядя на нее, да и всякий на том месте расстроился бы. Я вошел к ней в комнату и спросил:

11 M. Toul.

— Мисс Мари Джейн, вы не можете видеть Анни в несчастье, и я тоже иной раз не могу. Скажите, что такое случилось?

И она рассказала. Конечно, это было из-за порты так я и знала. Она говорила, что теперь и поездка в Англию для нее все равно что прощание: как она может там веселиться, когда знает, что мать никогда больше не увидится со своими детьми! А потом расплакалась пуще прежнего, всплеснула руками и говорит:

— Ах, боже мой, боже! Подумать только, что вы больше никогда друг с другом не увидите!

— Увидится, еще и двух недель не пройдет, — это знаю! — говорю я.

Вот тебе и на! Сорвалась с языка, я и подумала не успела. И не успела я пошевеливаться, как она бросилась ко мне на шею и говорит:

— Повтори это еще раз, и еще, и еще!

Вижу, я проговорилась сторукая да еще наговорил лишнего, а как выпутаться — не знаю. Я попробовала, чтобы она дада мне подумать минутку; а ей не терпится сидит такая взволнованная, краснея и такая радостная и довольная, будто ей зуб вырвали. Вот я и приняла раскидывать умом. Думаю: по-моему, человек, который возьмет да и скажет правду, когда его принрут и стеске, здорово рискует; ну, сам я этого не испытываю, но что наверняка сказать не могу, но все-таки похоже на то; а тут такой случай, что, ей-богу, лучше сказать правду, да оно и не так опасно, как соврать. Надо было запомнить это и обдумать как-нибудь на свободе! Чужой уж очень трудно, против всяких правил. Такого мне еще видеть не приходилось. Ну, думаю, была не была, возьму да и скажу на этот раз правду, хотя это совершенно равно что сестра на боценок с порохом и наорать его из любопытства — куда полетишь? И я сказала: — Мисс Мари Джейн, нет ли у вас знакомых в родом, куда вы могли бы поехать погостить денечка или три, на четыре?

— Да, к мистеру Лотропу. А зачем?

— Пока это не так важно зачем. А вот если вы скажу, откуда я узнала, что ваши негры упилились в своей матерью неделями через две здесь, в этом самом доме, и докажу, что я это знаю, — поедете вы гостить к мистеру Лотропу дня на четыре?

Анна на четыре! — говорит она. — Да я год там пролежу!

Хорошо, — говорю я, — кроме вашего слова, мне ничего не нужно. Другой бы поклялся на Библии, и то я ему не так поверила бы, как одному вашему слову.

Она улыбнулась и очень мило покраснела, а я сказала:

С вашего позволения, я закрою дверь и запиру ее. Потом я вернусь, опять сел и сказала:

Только не кричите. Сидите тихо и выслушайте меня, моя мужнина. Я должен вам сказать правду, а вам надо понять себя в руки, мисс Мари, потому что правда не перепутанная и слушать ее будет тяжело, но ничего не боитесь. Эти ваши дядюшки вовсе не дядюшки, а мошенники, настоящие бродяги. Ну вот, хуже этого ничего не будет, оставьте вам уже легко будет вытерпеть. Само собой, это ее здорово потрясло; только я-то была связана с мели и даьше валяла напрямик и все делала ей выложила, так что у нее только глаза засверкали, все рассказала, начиная с того, как мы повстречали этого молодого дурака, который собирался на пароход, и так, как она бросилась на шею королю перед своим лицом, и он поцеловал ее раз двадцать подряд. Тут лицо ее все испыхнуло, словно небо на закате, она вскопичилась и закричала:

Ах он скотина! Ну что ж ты? Не трать больше минуты, ни секунды — вымазывать их смолой; обвалять в горячем масле и бросить в реку!

И говорю:

Ну конечно. Только вы когда хотите это сделать:

завтра, как вы поедете к мистеру Лотропу, или...

Ах, — говорит она, — о чем я только думаю! — И опять садится. — Не слушаю меня, пожадуйства... Ну, хорошо? — и кладет свою шекаловистую руку мне на руку, да так ласково, что я растаяла и на нее полагалась. — Я и не подумала, что вы взволнована, — говорит она, — а теперь продолжай, я больше не буду. Скажи мне, что делать, и как ты скажешь, так я и сделаю.

Так вот, — говорю я, — они, конечно, настоящие мошенники, оба эти проходивца, только так уж вышло, что вы и они вместе придется ехать и даьше, хочу я или нет, — а почему, лучше не спрашивайте; а если

вы про них расскажете, то меня, конечно, вырвут у нас из лап: мне-то будет хорошо, только есть один недостаток,— вы про него не знаете,— так вот он попал в большую беду. Нам нужно его спасти, верно? Ну разберемся. Так вот и не будем про них ничего говорить.

И тут мне в голову пришла неплохая мысль. Я себе образил, как мы с Джинном могли бы избавиться от наших мошенников: засадить бы их здесь в тюрьму, а за ним убекать. Только мне не хотелось плыть одному на плоту днем, чтобы все ко мне приставали с вопросами, поэтому я решил подождать с этим до вечера, когда совсем стемнеет. Я сказал:

— Мисс Мари Джейн, я вам скажу, что мы сделаем, и вам, может быть, не придется так долго гостить у мистера Лотропа. Это далеко отсюда?

— И четырех миль не будет — сейчас же за городом на этой стороне.

— Ну, это дело подходящее. Вы теперь поезжайте туда и сидите спокойно до девяти вечера или до половины десятого, а потом попросите отвезти вас домой, будто бы забыли что-нибудь. Если вы вернетесь домой до одиннадцати, поставьте свечку вот на это окно, и если я после этого не приду,— значит, я благодарно уехал и в безопасности. Тогда вы пойдите и расскажите все, что знаете: пускай этих жуликов засадят в тюрьму!

— Хорошо,— говорит она.— Я так и сделаю.

— А если я все-таки не уеду и меня заберут вместе с ними, то вы возмите и скажите, что я это все вам уже рассказывал, и заступитесь за меня как за адвоката. Заступитесь! Конечно, я заступлюсь! Тебя и пацаном никто не посмеет тронуть! — говорит она, и вижу, ноздри у нее раздуваются, а глаза так и сверкают.

— Если меня здесь не будет,— говорю я,— то я не смогу доказать, что эти жулики вам не родня, да если и я и был здесь, то я все равно не мог бы. Я могу, конечно, присягнуть, что они мошенники и бродяги,— вот и все, хотя и это чего-нибудь да стоит. Ну что ж, пойдет и другие, они не то, что я,— это такие люди, которые никто подозревать не будет. Я вам скажу, где их найти. Дайте мне карандаш и клочок бумаги. Вот: «Корольский Мирраф», Брискиналл. Спрячьте эту бумажку, да не потеряйте ее. Когда суду понадобится узнать, кто такие эти двое бродяг, пускай пошлют в Брискиналл и она

вы там, что поймали актеров, которые играли «Корольский Мирраф», и попросят, чтобы прислали свисток,— ведь город сюда явится, мисс Мари, не успеет в лапках моргнуть. Да еще явится-то дабы-презавыл! И решим, что теперь мы обо всем договорились как следует, и прощай!

Пускай аукцион идет своим порядком, вы не беспокойтесь. Никто не обязан платить за купленные вещи в этот же день, а они не собираются уезжать отсюда, пока не получат денег; но мы все так устроили, что продавец не будет считаться действительной и никакие деньги они не получат. Выйдет так же, как с неграми: продавец недействителен, и негры скоро вернутся домой. Да за негра они тоже ничего не получат. Вот вапалась мисс Мари, хуже некуда!

— Ну, хорошо,— говорит она,— я сейчас пойду позвать, а оттуда уж прямо к мистеру Лотропу.

— Нет, это не дело, мисс Мари Джейн,— говорю я, — ничего не выйдет; поезжайте до завтрака.

Почему же?

А как по-вашему, мисс Мари, почему я вообще не уеду, чтобы вы уехали?

И как-то не подумала; да и все равно не знаю.

Да потому, что вы не то, что какие-нибудь толстокожие. У вас по лицу все можно прочесть, как по книжке. Минуту сразу разберет, точно крупную печать. И вы знаете, что можете встретиться с вашими дядюшками? Они подойдут пожелать вам доброго утра, поцелуют вас в нос...

Довольно, довольно! Ну-ну, не надо! Я уеду до завтрака, с радостью уеду! А как же я оставалось с ними?

Ничего, не беспокойтесь. Им придется потерпеть немножко. А то как бы эти мошенники не пронохали, и чем дело, если вы все сразу уедете. Не надо вам самим влиять, и с сестрами тоже, да и ни с кем в комнате, если соседка спросит, как ваши дядюшки себя чувствуют нынче утром, по вашему лицу все будет видно. Нет, вы уж поезжайте сейчас, мисс Мари Джейн, а я тут с ними как-нибудь улажу дело. Я скажу мисс Сю-анне, чтобы она от вас кланялась дядюшкам и передаст, что вы уехали ненадолго, отдохнуть и переменить

обстановку или повидаться с подругой, а вернетесь и не черу ни завтра утром.

— Повидаться с подругой, — это можно, но и не надо, чтобы им от меня каньянсы.

— Ну, не хотите, так и не надо.

Отчего же и не сказать ей этого, ничего плохого нет. Такие пустяки сделать нетрудно, и хлопот никаких, а ведь пустяки-то и помогают в жизни больше всего! И Мари Джейн будет спокойна, и мне это ничего не стоит. Потом я скажу:

— Есть еще одно дело: этот самый мешок с донгами.

— Да, он теперь у них, и я ужасно гауто себя чувствую, когда вспоминаю, как он к ним попал.

— Нет, вы ошибаетесь. Мешок не у них.

— Как? А у кого же он?

— Да я теперь и сам не знаю. Был у меня, потому что я его украл у них, чтобы отдать вам; и куда я спрятал мешок, это я тоже знаю, только боюсь, что там его больше нет. Мне ужасно жалко, мисс Мари Джейн, просто не могу вам сказать, до чего жалко! Я старался сделать как лучше — честное слово, старался! Меня чуть не поймали, и пришлось спрятать мешок в первое попавшееся место, а оно совсем не годится.

— Ну, перестань себя винить, это не нужно, и я этого не позволяю; ты же иначе не мог — и, значит, ты не виноват. Куда же ты его спрятал?

Мне не хотелось, чтобы она опять вспоминала про свои несчастья, и язык у меня никак не поворачивался. Думаю, начну рассказывать, и она представит себе не койника, который лежит в гробу с этим мешком на шее, а я, должно быть, с минуту молчала, а потом сказала ей:

— С вашего позволения, мне бы не хотелось говорить, куда я его дева, мисс Мари Джейн. Я вам лучше напишу на бумажке, а вы, если захотите, прочтите мои записку по дороге к мистериу Лотропу. Ну как, не гласны?

— Да, согласна.

И я написала: «Я положил его в гроб. Он был там, когда вы плакали возле гроба поздно ночью. Я тогда стоял за дверью, и мне вас было очень жалко, мисс Мари Джейн».

И я сам чуть не заплакал, когда вспоминал, как она лежала у гроба одна, поздней ночью; а эти мерзавцы — эти тупые, убогие в доме, и ее же собираются опрашивать! И вот сложил записку, отдал ей и вижу — у нее тоже слезы выступили на глазах. Она пожала мне руку крепко и говорит:

Всего тебе хорошего! Я все так и сделаю, как ты говоришь; а если мы с тобой больше не увидимся, я тебя никогда не забуду, часто-часто буду о тебе думать и молиться за тебя! — И она ушла.

Молиться за меня! Я думаю, если б она меня знала, так взялась бы за что-нибудь подержать, себе на память. И все равно, должно быть, она за меня молится — вот какая это была девушка! У нее хватило бы сил молиться и за Иуду; захочет — так ни перед чем не испугается! Говорите, что хотите, а я думаю, характера у нее было больше, чем у любой другой девушки; я думаю, по характеру она сущий кремль. Это похоже на то, только дести тут нет ни капельки. А уж что касается красоты, да и доброты тоже, куда до нее всем другим! Как она вышла в ту дверь, так я и не видел ее больше, ни разу не видел! Ну, а вспоминала про нее много раз — миллионы раз! — и про то, как она лежала молиться за меня; а если б я думал, что от этой молитвы ей может быть какой-нибудь прок, то, вот так крест, стаб бы за нее молиться!

Мари Джейн вышла, должно быть, с черного хода, потому что никто ее не видел. Как только я наткнулся на Говарду и Задью Губу, я сейчас же спросил их: Как фамилия этих ваших знакомых, к которым вы приглашаете в гости, еще они живут за рекой?

Они говорят:

У нас там много знакомых, а чаще всего мы знаем к Прокторам.

Фамилия эта самая, — говорю, — а я чуть ее не забыл. Так вот, мисс Мари велела вам сказать, что она к ним уехала, и страшно спешит — у них кто-то забавался.

— Кто же это?

— Не знаю, что-то позабыл; но как будто это...

— Господи, уж не Ханна ли?

— Очень жалко вас огорчать, — говорю я, — но только это она самая и есть.

— Боже мой, а ведь только на прошлой неделе она была совсем здорова! И опасно она больна?

— Даже и сказать нельзя — вот как больна! Мисс Мари Джейн говорила, что родные сидели около нее всю ночь, — боялся, что она и дня не проживет.

— Подумать только! Что же с ней такое?

Так сразу я не мог придумать ничего подходящего и говорю:

— Свинка.

— У бабушки твоей свинка! Если б свинка, так не стали бы около нее сидеть всю ночь!

— Не стали бы сидеть? Скажет тоже! Нет, знаешь ли, с такой свинкой обязательно сидят. Эта свинка со всем дружит. Мисс Мари Джейн сказала — как-то новая.

— То есть как это — новая?

— Да вот так и новая, со всякими осложнениями.

— С какими же это?

— Ну, тут и корь, и кокаш, и рожа, и чакотка, и желтуха, и воспаление мозга, да мало ли еще что!

— Ой, господи! А называется свинка?

— Так мисс Мари Джейн сказала.

— Ну, а почему же все-таки она называется свинкой?

— Да потому, что это и есть свинка. С нее и начинается.

— Ничего не понимаю, чувствую какая-то! Полюбки, да ловек ушибет себе палец, а потом отравится, а потом свалится в колодезь и ломает себе шею и кто-нибудь придет и спросит, отчего он умер, так какой-нибудь дуралей может сказать: «Оттого, что ушиб себе палец». Будет в этом какой-нибудь смысл? Никакого. И тут же же никакого смысла нет, просто чувствую. А она заразна!

— Заразна? Это все равно как борона: пройдеши мимо в темноте, так непременно зацепишься — не за один зуб, так за другой, ведь верно? И никак не отцепишься от этого зуба, а еще всю борону за собой потащишь, верно? Ну так вот эта свинка, можно сказать, хуже всякой бороны: прицепится, так не скоро отцепишься.

— Это просто ужас, что такое! — говорит Занне Губа. — Я сейчас пойду к дяде Гарви и...

Ну конечно, — говорю, — как не пойти! Я бы на месте пошел. Ни минуты не стал бы терять.

А почему же ты не пошел бы?

Подумай, может, сама сообразишь. Ведь твоим делам нужно уезжать к себе в Англию как можно скорее. А как же ты думаешь: могут они сделать такую глупость — уехать без вас, чтобы вы потом всю дорогу сидели один? Ты же знаешь, что они станут вас дожидаться. Генерл давайше. Твой дядя Гарви проповедник. Очень хорошо. Так неужели проповедник станет обманывать пароходного агента? Неужели он станет обманывать агента, для того чтобы они пустили мисс Мари на пароход? Нет, ты знаешь, что не станет. А что он сделает? Скажет: «Очень жаль, но пускай церковь дела обходятся как-нибудь без меня, потому что моя миссия зарплата этой самой множественной зарплатой и теперь мой священный долг — сидеть здесь и ждать и дожидаться, заболит она или нет». Но ты же не что не обращай внимания, если, по-твоему, надо ехать дяде Гарви...

Еще чего! А потом будем сидеть тут, как дураки, ждать, пока выяснится — заболит Мари Джейн или нет, — место того чтобы всем вместе веселиться в Англии. Глупость какую выдумал!

А все-таки, может, сказать кому-нибудь из соседей?

Скажет тоже! Такого дурака я еще не видывала! Как же ты не понимаешь, что они пойдут и все выболтуют. Одно только и остается — совсем никому не говорить.

Что ж, может, ты и права... да, должно быть, так надо.

Только все-таки, по-моему, надо сказать дяде Гарви, что она уехала ненадолго, а то он будет беспокоиться.

Да, мисс Мари Джейн так и хотела, чтобы вы ей сказали. «Передай им, говорит, чтобы кланялись дяде Гарви и Уильяму и поцеловали их от меня и скажи, что я поехала за реку к мистеру... к мистеру...» — так фамилия этих богатей, еще ваш дядя Питер очень уважал! Я говорю про тех, что...

Ты, должно быть, говоришь про Алтпорнов?



— Да, да, верно... Ну их совсем, эти фамини, не когда их почему-то не вспомнишь вовремя! Так вот, все ведала передать, что уехала к Анторпам — попросить не чтобы они непременно приехали на аукцион и вернуть этот дом; дядя Питер так и хотел, чтобы дом достался им, а не кому-нибудь другому; она сказала, что не выжестся от них, пока не согласятся, а после того, как она не устанет, вернется домой: а если устанет, то поедет домой утром. Она не ведала ничего говорить иначе

Питеру, а про одних только Анторпов — и это сущая беда, потому что она и туда тоже заедет сказать на-дому! И-то это знаю, потому что она сама мне так сказала.

Ну, хорошо, — сказали девочки и побежали ско-рее слышать своих дядюшек да передавать им поклоны, и всякие поручения.

Которь все было в порядке. Девочки ничего не ска-зали, потому что им хочется в Англию; а король с гер-цогиней очень довольны, что Мари Джейн уехала в Англию для аукциона, а не осталась тут, под рукой Робинсона. Я и сам радовался. «Вот, — ду-маю, обдела дельце! Пожауй, у самого Тома короля так не вышло бы. Конечно, он бы еще чего-ни-будь продала для фасада, да я по этой части не ма-ло не получила такого образования».

Ну, и концу дня на городской площади началась ярмарка и тинулся долог-долго, а наш старикашка тоже остался после аукционера и то и дело вставала какое-то озабоченное слово или что-нибудь из Писания, и терпеть тоже гутукал в знак сочувствия, как умел, и еще старался всем угодить.

Но время помадельку шло, аукцион тинулся да тя-нулся, и в конце концов все было распродано, — все, кроме маленького участка земли на каадибише. Они ста-ли думать и его сбыть с рук — этому королю хотелось все-гда заготовить, точно какому-нибудь верблюду. Ну, а как они этим занялись, подошла парочка, а минуты через две, смотрю, с пристани валит толпа с ревом, с хо-дом, с шумом и выкрикивает:

Пот вам и конкуренты! Вот вам и еще парочка выдалинков Питера Уинкса! Платите деньги, выбирай-те, кто больше нравился!

ГЛАВА XXIX

Они были очень приятного на вид старичка и друго-го, тоже очень приятного джентльмена, помоложе, с ру-кави на перевязи. Господи, как же они вопили и хохота-лись! И вообще потешались ужасно. Я-то в этом ничего смешного не видел, да и королю с герцогом тоже было до смеха; я, признаюсь, думал, что они струсят. Гер-цогиня не тут-то было: нисколько они не струсил. Гер-

цог прикинулся, будто бы он знает не знает, что делется, расхаживая себе, веселый и довольный, да глумясь словно куштин, в котором болается пахтанье! А король — тот все гадает и гадает на них с такою скорбью, будто сердце у него обливается кровью одной мысли, что на свете могут существовать такие мерзавцы и негодни. Это у него получалось замечательно. Все, кто поважней, собирались вокруг короля, давят понять, что они на его стороне. Этот старичок, который только что приехал, видно, совсем растерялся. Потом он начал говорить, и я сразу же увидел, что он выговаривает, как англичанин, а не так, как король, хотя и у короля тоже для подделки получалось неплохо. Тогда передать его слова я не берусь, да у меня так и не выйдет. Он повернулся к толпе и сказал что-то приданное в таком роде:

— Я не предвидел такой неожиданности и, признаюсь прямо и откровенно, пахо к ней подготовился потому что нам с братом очень не повезло! Он самодурку, и наш багаж по ошибке выгрузили прошлой ночью в другом городе. Я брат Питера Уинакса — Гарви, а это — его брат Уинам, глухонемой; он не говорит и не слышит, а теперь, когда у него действует только одна рука, не может деять и знаков. Мы — те самые, за кого себя выдаем; и через день-другой, когда мы вселучшим багаж, я сумею доказать это. А до тех пор и ничего больше не скажу, отправляюсь в гостиницу и буду ждать там.

И они вавшем с этим новым боаванчиком ушли, а король как расхохочется и начал издаваться:

— Ах, он сломал себе руку! До чего похоже на правду, верно? И до чего кстати для обманщика, вот он не знает азбуки глухонемых. Багаж у них пропал! О-очень хорошо! И очень даже ловко — при таких обстоятельствах!

И король опять засмеялся, и все остальные тоже, кроме троих, четверых, ну, может, пятерых. Один из них был тот самый доктор, а другой — быстройдавший джентльмен со старомодным саквояжем из кофров материки; он только что сошел с парохода; они типично разговаривали с доктором, время от времени поглядывая на короля и кивая друг другу; это был адвокат Луви Бедл, который ездил по делам в Луисвиана; а третий

был задремавший, широкоплечий дестина, который пододвинулся и внимательно выслушивал все, что говорил король, а теперь слушал, что говорит король.

А когда король замолчал, этот широкоплечий и говорил:

Послушайте-ка, если вы Гарви Уинакс, когда вы приехали сюда, в город?

Послушайте похорон, друг, — говорит король. А в какое время дня?

Вечером, за час или за два до заката.

На чем вы приехали?

И приехал на «Сьюзен Поул» из Цинциннати.

Ну, а как же это вы оказались утром возле мыса Мени не было утром возле мыса.

Правильно!

Нечтолько человек подбежали к нему и стали упрашивать, чтобы он был повелитель со старым человеком, приговоренником.

Какой он, к черту, проповедник! Он мошенник и лжец! Он был на мысу тогда утром. Я живу там, слышите? Ну вот, я там был, и он тоже там был. Я его видел. Он приехал в лодке с Тимом Коаллинсом и еще с одним-то мальчишкой.

И доктор вдруг и говорит:

А вы узнали бы этого мальчишка, Хайнс, если бы еще раз его увидели?

Думно, что узнал бы, но не совсем уверен. Да вот он стоит, я его сразу узнал. — И он показал на меня.

Доктор говорит:

Ну, друзья, я не знаю, мошенники новые приезжали или нет, но если эти двое не мошенники, тогда я знаю, вот и все! По-моему, надо за ними пристраивать, чтобы они не бежали, пока мы в этом деле не разберемся. Идите, Хайнс, и вы все идите. Отведем этих приговоренников в гостиницу и устроим очную ставку с теми, кто будет видно, в чем дело.

Два толпы это было настоящее удовольствие, хотя

и король, может, и остался не совсем доволен.

Вот было уже к закату. Доктор вел меня за руку и

шел со мной довольно ласков, хотя ни на минуту не выпускал мою руку.

и стаа писать. После этого адвокат повернулся к новому старичку и говорит:

— Прошу вас и вашего брата написать одну строчку и подписать своею фамилию.

Старичок что-то такое написал, только никто не мог разобрать его почерк. Адвокат, видно, очень удивился и говорит:

— Ничего не понимаю!

Достал из кармана пачку старых писем, разгладил, встал сначала письма, потом записку этого старичка, а потом опять письма и говорит:

— Вот письма от Гарви Уилкса, а вот обе записки и всякому видно, что письма написаны другим почерком (король с герцогом поняли, что адвокат их подделал, и видя у них был растерянный и дурацкий), а вот почерк этого джентльмена, и всякий без труда разберет, что и он тоже не писал этих писем,— в сущности, такие каракули даже и почерком называть нельзя. А вот это письмо от Тут новый старичок сказал:

— Позвольте мне объяснить, пожалуйста. Мой почерк никто не может разобрать, кроме моего брата, и он всегда переписывает мои письма. Вы видели его почерк, а не мой.

— Не-да!— говорит адвокат.— Вот так задание! У меня есть письма и от Уилксов; будьте любезны, попросите его черкнуть строчку-другую, мы тогда могли бы сравнить почерк.

— Левой рукой он писать не может,— говорит старичок.— Если бы он владел правой рукой, вы бы увидели, что он писал и свои и мои письма. Загляните, пожалуйста, на те и на другие— они писаны одной рукой. Адвокат посмотрел и говорит:

— Я думаю, что это правда; а если нет, то сходство больше, чем мне до сих пор казалось. Я-то думаю, что мы уже на верном пути, а мы вместо того опять собираемся. Но, во всяком случае, одно уже доказано: эти двое не Уилксы.— И он кивнул головой на король с герцогом.

И что же вы думаете? Этот старый осел и тут не дождался счастья! Так-таки и не пожедал! Сказал, что такая проверка не годится. Что его брат Уилкс первый шутник на свете и даже не собирался писать по-настоящему; он-то понял, что Уилксы хотят подшутить, и

тот черкнул пером по бумаге. Вряд-вряд и до того-то разберется, что и сам себе начал верить, но тут презренный старичок прервал его и говорит:

Мне пришла в голову одна мысль. Нет ли тут что-нибудь, кто помог бы обречь моего брата... то есть родственного Питера Уилкса?

Да,— сказал один,— это мы с Эббом Тернером ищем.

Мы оба тут.

Тогда старик обращается к королю и говорит:

Не скажете ли мне этот джентльмен, какая у Питера была татуировка на груди?

Ну, тут королю надо было живей что-нибудь прикинуть, а то ему такую яму выкопал, что в нее всякий попал бы! Ну откуда же он мог знать, какая у Питера была татуировка? Он даже побасенка, да и как тут не побасенка! А в комнате стало тихо-тихо, все так и стояло перед и во все глаза смотрит на короля. А и думаю, ну, теперь он запросит пощадить, что толку у него! И что же вы думаете— попросил? Повернуть да-же трудно— нет, и не подумал. Он, должно быть, решил держаться, пока не возьмет всех измором; а как все устанут и начнут мало-помалу расходиться, тут-то он и терпением и удерут. Так или иначе, он продолжал стоять молча, а потом заулыбался и говорит:

— Гм! Вопрос, конечно, трудный! Да, сэр, я могу вам сказать, что у него было на груди. Маленькая, тонкая синяя стрелка, вот что; а если не приглядеться, вы скажете, то ее и не заметишь. Ну, что вы теперь скажете, а?

Нет, я никак не видывал такой беспримерной восторженности, как у этого старого хрыча!

Новый старичок живо повернулся к Эббу Тернеру и приник к нему, глаза у него засветились, как будто на этот раз он понимал короля, и он спросил:

— Ну вот, вы слышали, что он сказал? Была такая стрелка на груди у Питера Уилкса?

Они оба отвечают:

Мы такого знака не видели.

— Отлично!— говорит старый джентльмен.— А вы-таки вы у него на груди некое маленькое П. и Б.— И он после перестал стаять,— а потом У. и тире между ними, вот так: П.—Б.—У.—И он начертал все это на кучке бумаги.— Скажите, вы такой знак видели?



Оба опять ответили в один голос:

— Нет, мы этого не видели. Мы не заметили никаких знаков.

Ну, тут уж остальные не выдержали и стали кричать:

— Да они все мошенники, все это одна шайка! Вреку их! Утопить их! Прокатить на шесте!

Все тут загарадело разом, и такой поднялся шум! Но адвокат вскочил на стол и говорит:

— Джентльмены! Джентльмены! Дайте мне сказать слово, одно только слово, пожалуйста! Есть еще выход — пойдемте выроем тело и посмотрим.

Это всем понравилось.

Все закричали «ура» и хотели было тронуться и идти адвокат и доктор остановили их:

— Подождите, погодите! Держите-ка этих четверых и мальчишку — их тоже захватим с собой.

— Так и сделаем! — закричали все. — А если не найдем никаких знаков, то линчуем всю шайку! Ну и перекутаюсь же я, сказать по правде! А ударов не было никакой возможности, сами понимаете. Они схватили нас всех и повели за собой прямо на камен-

...и оно было мило за повороты от города, вниз по реке и весь город тоже за нами увязался, потому что шум был подняли порядочный, а времени было еще немного — всего девять часов вечера.

Когда мы проходили мимо нашего дома, я пожалел, что у меня Мэри Джейн из города, потому что теперь только мне только подать ей знак — она выбежала бы и спасла меня и уличила бы наших мошенников.

Мы всей толпой бежали по берегу реки и орали, как бешеные коты; небо вдруг потемнело, начала мигать и погасли огни моания, и анстры зашумели от ветра, а мороз вдруг лучше подирая по коже.

Толпой страшной беды со мной еще никогда не бывало, и я вроде как одурел, — все вышло не так, как я думал, а совсем по-другому: вместо того чтобы любоваться на эту эту потеху со стороны и ударить когда вразумлю, вместо Мэри Джейн, которая поддержала бы меня, слесаря и освободила бы в решительную минуту, теперь одна татуировка могла спасти меня от смерти. А каких знаков не найдут...

Мне даже и думать не хотелось, что тогда будет; и я и чем другим я тоже почему-то думать не мог. Стали все темней и темней; самое подходящее было время уличить, да только этот здоровенный дестинация держала меня за руку, а от такого Голлафа попросту раздвинулся; мне, чтобы не отстать, приходилось бежать бегом. Добравшись до места, толпа ворвалась на каменное и затопила его, как наводнение. А когда дошли до могилы, то оказалось, что лопат у них во сто раз больше, чем требуется, а вот фонаря никто и не подумал захватить. И все-таки они принялись копать в вырытых моаниях, а за фоном послали в банжай-ский дом, в полуфинале от каабиша.

Они копали и копали с остервенением, а тем временем стало страшно темно, пошла дождь, и ветер бушевал все сильнее и сильнее, а моания сверкала все чаще и чаще, и грохотал гром; но они даже внимания не обращали на это — так все увлекались делом. Когда вспыхнула моания, видно было решительно все: каждое лицо в этой большой толпе, каждая допала земля, которая была кверху из могилы; а в следующую секунду все погасло, и опять ничего не было видно.

Наконец они вытащили гроб и стали отвинчивать крышку; и тут опять начали так толкаться и напирать, чтобы протиснуться вперед и взглянуть на гроб, — не немислимое дело! А в темноте, да еще в такой давней просто страшно становилось. Хайнс ужасно бодро встала и дергал меня за руку, он, должно быть, совсем позабыл, что я существую на свете; он громко сопел, выдвигая, задорно разгорячился.

Вдруг молния задела все ярко-белым светом, и это то крикнул:

— Эй-богу, вот он, мешок с золотом, у него на груди!

Хайнс завопил вместе со всеми, выпустил мою руку и сильно рванулся вперед, чтобы взглянуть на золотое, а уж как я от него удра и выбрался на дорогу этого я и сам не знаю.

На дороге не было ни души, и я пустился бежать во все лопатки; кругом было пусто, если не считать густого мрака, ежминутных всплесков молнии, шума дождя, свиста ветра и раскатов грома; можете быть уверены, что я летаю своим голову!

Добежал до города, вижу — на улицах никого нет из-за грозы, так что я не стал оглябать переулками, а прямо летаю вволю по главной улице; а как стада подбегать к нашему дому, гляжу в ту сторону, гавз не сураско. Ни одного огонька, дом весь темный; я даже рстроился — до того мне стало грустно, сам даже не знаю почему. Но в конце концов в ту самую минуту, когда я бежал мимо, — раз! — и вспыхнула огонь в окне Мари Джейн, и сердце у меня как заобьется, чуть-чуть не выскочило; и в ту же секунду и дом, и все прочее осталось позади меня в темноте, и я знала, что уж больше никогда ничего этого не увижу. Она была лучше всех, и характера у нее было куда больше, чем у других девушек.

Как только я очутился за городом и на таком расстоянии от него, что можно было подумать и о переправе на островок, я стал искать, нельзя ли где позаниматься лодку, и как только молния показала мне одну дочку не на замке, я прыгнул в нее и оттолкнулся от берега. Это оказалась челнок, кое-как привязанный веревкой. Островок был очень недалеко, на самой середине

реки, но и не стал терять времени; а когда я наконец прыгнул в плот, то так выбился из сил, что, будь хоть тысяча возможностей, лег бы и отдышался. Но так уж тут лежал! Я перепрыгнул на плот и говорю: — Скорей, Джим, отвяжывай плот! Сава тебе спасибо, что от них избавил!

Джим выбежал из шалаша и, оставив руки, полетел ко мне обниматься — так он обрадовался; зато и моя душа ушла в пятки, как только я его увидел при свете молнии; я попитился и свалился с плота в реку, потому что совсем забыл, что Джим изображал в одном изе и король Мира, и бодрого араба, и утопленника, и что не помер со страху. Но Джим выловил меня из воды и уж совсем собрался обнимать и благословлять меня, но я ему сказал:

— Не сейчас, Джим; оставь это на завтра, оставь на завтра! Скорей отвяжывай плот и отпихивайся от берега!

Через две секунды мы уже скользили вниз по реке. Да это хорошо было очутиться опять на свободе, плыть по середине широкой реки — так, чтоб никто нас не достал! Я даже попрыгал и подпрыгнул немножко на плотике; и похлопал пяткой о пятку — никак не мог разогнаться; и только стукнула третий раз, как слышу вдруг знакомый мне звук; застал дыхание, прислушался и плачу: так и есть; вспыхнула над водой молния, слышу — вот они плывут! Набегают на весла так, что вода трещит! Это были король с герцогом.

И повалился прямо на плот и едва-едва удержался, чтобы не заплакать.

ГЛАВА XXX

Как только они ступили на плот, король бросился ко мне, ухватил за шиворот и говорит:

— Хотел ударить от нас, щенок ты атакый? Команда наша тебе надела, что ли?

И говорю:

— Нет, ваше величество, мы не хотели... Пустите, ваше величество!

— Миней тогда говори, что это тебе взбрело в башку, а не то душу из тебя вытрясу!

— Честное слово, я вам все расскажу, как было, все величество. Этот, что меня держал, был очень то мной ласков, все говорил, что у него вот такой же сын, что мальчик попал в такую передыжку; а когда все не терпел голову, увидел золотого, и бросился к гробу, он выпустил мою руку и шепчет: «Бети скорее, не то у тебя повесит!» И я побежал. Мне показало, что останешься мало толку: сделать я ничего не могу, а зачем же дожидаться, чтоб меня повесили, когда можно ударить! И я и не останавливаясь, все бежал, пока не увидел чужаков; а когда добрался до плота, велел Джиму скорее отчаливать, не то они меня догонят и повесят; а еще сказал ему, что вас и герцога, наверно, уже нет в живых, и мне вас было очень жаль, и Джиму тоже, и я очень обрадовался, когда вас увидел. Вот спросите Джима, правду я говорю или нет.

Джим сказал, что так все и было. А король велел ему замолчать и говорит:

— Ну да, как же, ври больше! — И опять встряхнул меня за шиворот и пообещал утопить в реке.

Но герцог сказал:

— Пустите мальчишку, старый дурак! А вы-то сами о нем, когда вырвались на свободу? Я что-то не припомню.

Тогда король выпустил меня и начал ругать и горла и всех его жителей. Но герцог сказал:

— Вы бы лучше себя как следует отругали — ведь вас-то и надо ругать больше всех. Вы с самого начала ничего толком не сделали, вот разве что не расстрелялись и выступили довольно кстати с этой вашей синей стрелкой. Это вышло ловко, прямо-таки здорово! Но перли бы, пока не пришла бы багач англичан, а там — в тюрьму, это уж наверняка! А из-за нашей стрелки они потащились на кладбище, а там золотого они задо нам усаду поважней: ведь если бы эти оготраты дураки не потеряли голову и не бросились все к гробу, глядеть на золотого, пришлось бы нам сегодня спать в гапстухах особой прочности, с ручательством, — много прочнее, чем нам с вами требуется.

Они молчали с минутой, дадумались. Потом герцог и говорит довольно весело:

— Им! А ведь мы думали, что негры его украли. И так и свежился весь.

Да, — говорит герцог с расстановкой и напевно, — мы думали!

Еще через полминуты герцог говорит так нараспев:

По крайней мере, я

А герцог ему точно так же:

Напротив, это я думал.

Король обозлился и говорит:

Послушайте, ваша светлость, вы на что это намекаете?

Герцог ему отвечает, на этот раз много живей:

— Ну, коли на то пошло, позвольте и вас спросить: на что вы намекали?

Совсем заврался! — говорит король очень язвительно. — А впрочем, я ведь не знаю, — может быть, вы это во сне, сами не понимая, что делаете?

Герцог сразу весь ошетинился и говорит:

— Да брось ты чепуху молоты! За дурака, что ли, ты меня считаешь? Что же по-твоему, я не знаю, кто спрятал деньги в гроб?

— Да, сударь! Я-то знаю, что вы это знаете, потому что вы же сами и спрятали!

— Это ложь! — И герцог набросился на короля.

Гол кричит: Руки прочь! Пустите мое горло! Беру свои слова обратно.

Герцог говорит:

— Ах, да, только создайтесь сначала, что это вы спитали деньги, хотели потом улизнуть от меня, верните, откопайте деньги и забрать все себе.

— Подождите минутку, герцог! Ответьте мне на один вопрос честно и благородно: если это не вы спрятали туда деньги — так и скажите. Я вам поверю и все свои деньги по вашему обратно.



— Ах ты старый жулик! Ничего я не прятал! Сам знаешь, что не я. Вот тебе!

— Ну хорошо, я вам верю. Ответьте мне еще на один вопрос, только не беситесь: а не было ли у вас такой мысли — подцепить денежки и спрятать их?

Герцог сначала долго не отвечал, потом торжественно сказал: — Ну так что ж, если б даже и была? Ведь я же этого все-таки не сделал? А у вас не только мысль была — вы взяли да и подцепили!

— Помереть мне на этом самом месте, герцог, только я их не брал, — и это сущая правда! Не скажу, что я не собирался их взять: что было, то было, но только вы... то есть... я хочу сказать: другие... меня они речали.

— Это ложь! Вы сами их украли и должны сознаться, что украли, а не то...

Король начал задыхаться, а потом через силу прохрипел:

— Довольно... созанос!

Я был очень рад это слышать: мне сразу стало много легче. А герцог выпустил его из рук и говорит:

— Если только вы опять задумаете отпираться, я вас в реке утопаю. Вам и следует сидеть и хныкать, а маадеңу — самое для вас подходящее после такого поведенья. Прямо страус какой-то — так и норонит все заготоваты! Первый раз такого вижу, а я еще верил ему, как отцу родному! И не стыдно вам? Стоит и слышать, как всё это дело вставляли на несчастных негров, — и кто бы словечко сказал, заступился бы за них! Мне теперь на себя смешно: надо же быть дураком, чтобы поверить такой глупости! Черт вас возьми, теперь-то я понимаю, для чего вам так срочно понадобилось пополнить дефицит! Вы хотели прикарманить и те денежки, что и вырочили за «Жирафа», да и мало ли еще за что, и наоборот все разом!

Король сказал робким голосом, все еще продолжая всхлипывать:

— Да что вы, герцог! Это вовсе не я сказал. Это вы сами сказали, что надо пополнить дефицит.

— Молча! Я больше слышать ничего не хочу! — говорит герцог. — Теперь видите, чего вы этим добились? Они все свои деньги получили обратно да сверх того все наши забрали, кроме доллара или двух. Ступ

440



пошептать, и чтоб я больше про это не слышал, а не то буду такой дефицит показу — будете помнить!

Король попался в шапаш и приложился к бутылочке с вином: рад! а там и герцог тоже взялся за бутылочку и через какие-нибудь полчаса они опять были закаланы друзьями, и чем больше пили, тем любовней становился друг с другом, а напоследок мирно захлебывались. Оба они здорово напознались, но только заметили, что король хоть и напознались, а все-таки ни разу не забылся и не сказал, что это не он украд денг. А по мне, тем лучше: от этого у меня на душе только легче и веселей. Само собой, после того как он закричал, мы с Джимом наговорились всласть, и я ему все рассказал.

ГЛАВА XXXI

Много дней подряд мы боялись останавливаться в городах, а все падали да падали вниз по реке. Теперь мы были на Юге, в теплом климате, и очень далеко от дома. Нам стали попадаться наветру деревня, обросшие испранным мхом, словно длинной седой бородой. Я в первый раз видел, как он растет, и лес от него казался мрачным и угрюмым. Наши жулики решили, что теперь им можно бодаться, и опять принялись околачивать народ в города.

Для начала они прочли лекцию насчет трезвости, вымучив такие гроши, что даже на выпивку не хватило. Тогда они решили открыть в другом городе питейный завод; а сами танцевали не лучше кентуру, — и как только они выкинули первое колено, вся публика набросилась на них и выпроводила вон из города. В другой раз они попробовали обучать народ ораторскому искусству, только недолго раздразнивали: слушатели не выдержали, разругали их на все корки и всели убожество в города. Пробовали они и проповеди, и вышнее высасывали, и гадали — всего понемножку, только им что-то здорово не везло. Так что в конце концов они прожались дочиста и по целым дням валялись в пауту — все думали да думали и друг с другом почти не разговаривали, такие были хмурые и злые.

А потом они вдруг встрепетались, стали сопереживать о чем-то в шаше, потихоньку от нас, все шепотом и за са по два, по три сряду. Мы с Джинном забеспокоились. Нам это очень не понравилось. Думам: наверно, делают какую-нибудь новую чертовщину, еще почище прежних. Мы долго ломали себе голову и так и эдак и в конце концов решили, что они хотят обокрасть чей-нибудь дом или лавку, а то, может, собираются десять франков вые деньги. Тут мы с Джинном здорово струхнули и вмиг ворвались так: что мы к этим их делам никакого интереса иметь не будем, а если только встретится хоть какая-нибудь возможность, то мы от них удерем, бросим их, и пускай они одни остаются.

Вот как-то ранним утром мы спрятали паут в укромном месте, двумя милами ниже одного захлавленного родственника по прозвищу Пайксвилл, и король отправился на берег, а нам велел сидеть смирно и носа не показывать, пока он не побывает в городе и не справится, дали сюда слухи насчет «Королевского Джирфа» или нет. («Небось дом ограбить собираешься! — думают. Потом вернешься сюда, а нас с Джинном поминной зван, — с тем и оставайся».) А если он к пауту не вернется, то это значит, что все в порядке, и тогда нам в герцоге тоже надо отправляться в город.

И мы остались на пауту. Герцог все время думал, раздразнившись и вообще был сильно не в духе. Нам же не доставалось, никак мы не могли ему угодить, — он при-

казался и каждому пустяку. Видим, что-то они затеяли, и мы не могли дать. Настал и полдень, а король все не появлялся, и мы, признаваясь, очень обрадовались, — думали: наверно, вот какой-то перемена, а может случиться, что в настоящий момент переменится. Мы с герцогом отправились в городок и стали там разыскивать короля и дождались, пока он вошел в заднюю комнату расписной, и мы его нашли: какие-то лодыри дразили его забавляя, он ругал их на чем свет стоит и грозился, а сам держался и ничего с ними поделать не мог. Герцог выругал его за это старым дураком, король же в пауту не остался, и как только они сговорились по-прежнему, и и улетел — припустился бежать к реке, да так, что только пятки засверкали. Вот он, думали, сейчас же, теперь не скоро они нас с Джинном опять увидят. Думали и к реке, весь запыхавшись, зато от радости под собой не чуя и кричу:

Джин, скорей отзывайся паут, теперь у нас с тобой все в порядке!

Но ничто мне не откликнулось, и в шаше никого не было. Джинн пропал! Я крикнул, и в другой раз крикнул, и третий, бегая по лесу туда и сюда, зову, ахуко — ничего ответа, пропал старик Джинн! Тогда я сел и заплакал — никак не мог удержаться от слез. Только и сидеть в доми не мог. Вышел на дорогу, иду и думаю: что же теперь делать? А навстречу мне какой-то мальчишка; кто и спросил, не видел ли он незнакомого негра, одетого так-то и так-то, а он и говорит:

Ничаа.

А где? — спрашиваю.

На плантации Сайласа Фелпса, отсюда будет миль в две. Это беглый негр, его уже поймали. А ты его не бери?

И не думаю! Я на него наварялся в лесу час или два назад, и он сказал, что, если я только крикну, он из леса дух вышибет, — велел мне сидеть смирно и с места не двигаться. Вот я и сидел там, боясь выйти.

Ну, — говорит мальчишка, — тебе боьше нечего делать, раз его поймали. Он убежал откуда-то издали с Юга.

Это хорошо, что его спалили.

Еще бы не хорошо! За него ведь полагается двести долларов награды. Все равно что на дороге найти.

— Ну да, я бы тоже мог научиться наград, если бы был постарше: ведь я первый его увидал. А кто же его поймал?

— Один старик, приезжий; только он продал его долом за сорок долларов, потому что ему надо уехать вверх по реке, а ждать он не может. Подумать только! Нет, я бы подождать — пускай бы и семь лет пришлось ждать.

— И я тоже, обязательно, — говорю я. — А может, его долом больше и не стоит, раз он продал так дешево! Может, дело-то не совсем чистое?

— Ну, как же не чистое — чище не бывает. И сам вида объявление. Там про него все написано, точно в точку сходится — лучше всякого портрета, а беда не из-под Нового Орлеана, с плантации. Нет, уж тут конар носу не подточит, все правдиво... Саушай, а ты мне не одолжишь табачку пожевать?

Табак у меня не было, и он пошел дальше. Я вернулся на плот, сел в шалаш и стал думать. Но так много и не придумаю. Думаю до тех пор, пока всю голову не разомину, и все-таки не нашел никакого способа избавиться от беда. Сколько мы плавали по реке, сколько давали для этих мошенников, и все зря! Так все и пропало задаром, из-за того что у них хватило духу устроить Джиму такую подлость: опять продать его в рабство на всю жизнь за какие-то паршивые сорок долларов, да еще чужим людям!

Я даже подумал, что для Джима было бы в тысячу раз лучше оставаться рабом у себя на родине, где у него есть семья, если уж ему на роду написано быть рабом. Уж не написать ли мне письмо Тому Сейеру? Пускай он скажет мисс Уотсон, где находится Джим. Но скоро я эту мысль оставил, и вот почему: а вдруг она рассердится и не простит ему такую неблагодарность и подлость, что он взял да и убежал от нее, и опять продаст его! А если и не продаст, все равно добра не ждет: все будет презирать такого неблагодарного негра, — это уж так не лагается, — и обязательно дадут Джиму почувствовать, какой он подлец и негодяй. А мое-то пожелание! Оно будет известно, что Гек Финн помог негру освободиться, и если я только увижу кого-нибудь из нашего города, то верно, со стыда готов буду салюг ему лиязть. Это уж всегда так бывает: сдается человек подлость, а отписыва-

и все не конет, — думает: пока этого никто не знает, так и оставаться нечего. Вот и со мной так вышло. Чем больше я думаю, тем сильнее меня грызет совесть, и чувствую, что себя прямо-таки дрянью, посадевшим негодяем и подлецом. И наконец меня осенило: ведь это, думаю, левое дело — рука провинения для того и закатилась мне такую пакость, чтобы я понял, что на небесах сдается за мои провинения, и там уже известно, что я украл негра у бедной старушки, которая ничего плохого мне не сделала. Все мне и показало, что есть такое всевидящее око, оно и погонит нечестивого поведения, а милом положит ему ноги. И как только я это понял, ноги у меня подкосились от страха. Ну, я все-таки постарался найти себе какое-нибудь оправдание; думаю: ничему хорошему меня не научат, значит, я уж не так виноват; но что-то твердил себе: «На то есть воскресная школа, почему же ты в ней не ходишь? Там бы тебя научили, что если кто помоет негра, то за это будет веки вечные гореть в аду». Меня просто в дрожь бросило. И я уже совсем было решил: давай попробую помолось, чтобы мне сделаться таким, как сейчас, а хорошим мальчиком, исправиться. И тогда на коленях. Только молитва не шла у меня с языка, и как же иначе? Нечего было и стараться скрыть от бога. И от себя самого тоже. Я-то знал, почему у меня никак не поворачивается молиться. Потому что я грешна душой, не по-честному поступал — вот почему. Исправился, будто хочу исправиться, а в самом главном даже не покался. Всаух говорил, будто я хочу поступать так надо, по совести, будто хочу пойти и написать письмо этого негра, где он находится, а в глубине души все же все вру, и бог это тоже знает. Нельзя врать, как, так молнился, — это я понял.

Гек и совсем запутался, хуже некуда, и не знал, что ему делать. Наконец придумал одну штуку; говорю себе: придумаю письмо это самое письмо, а после того посмотрю, что оно ли и молиться». И удивительное дело: в ту же минуту на душе у меня сделалось легко, легче перышка, и все как-то сразу стало ясно. Я взял бумагу, карандаш и написал:

«Мисс Уотсон, ваш беглый негр Джим находится здесь, в двух милях от Пайксвида, у мистера Фелпса; он ожидает Джима, если вы пришлете награду.

Гек Финн»

Мне стало так хорошо, и я почувствовал, что первый раз в жизни очистился от греха и что теперь снова могу жить. Но я все-таки подождал с молитвой, а сначала отложил письмо и долго сидел и думал: вот, думаю, вот это хорошо, что так случилось, а то ведь я чуть-чуть бы погубил свою душу и не отправился в ад. Потом стал думать дабыше. Став вспоминать про наше путешествие по реке и все время так и видел перед собой Джима, как он встал: то днем, то ночью, то при луне, то в грозу, как он с ним плывем на плоту, и разговариваем, и поем, и смеялся. Но только я почему-то не мог припомнить ничего такого, чтобы настроиться против Джима, а как раз наоборот. То вижу, он стоит вместо меня на вахте, после того как отстоял свою, и не будит меня, чтобы я вышел во время тумана или когда я опять повстречался с ним на болоте, там, где была кровавая вражда; и как он всегда называл меня «голубчиком» и «сыночком», и баюкала меня и дала для меня все, что мог, и какой он всегда был добрый; а под конец мне вспоминалось, как я спасал его, рассказывал всем, что у нас на плоту оспа, и как он был за это мне благодарен и говорил, что лучше меня у него нет друга на свете и что теперь я один у него остался друг.

И тут я нечаянно оглянувшись и увидел свое письмо. Оно лежало совсем близко. Я взял его и подержал в руке. Меня даже в дрожь бросило, потому что тут надо было раз навсегда решиться, выбрать что-нибудь одно, это я понимал. Я подумал с минутку, даже как будто двести перестав, и говорю себе: «Ну что ж делать, придется гореть в аду». Взял и разорвал письмо.

Страшно было об этом думать, страшно было повторить такие слова, но я их все-таки сказал. А уж что сказано, то сказано — больше я и не думал о том, чтобы мне исправиться. Просто выкинул все это из головы, так и сказал себе, что буду опять грешить по-старому, — не равно, такая уж моя судьба, раз меня ничему хорошему не учили. И для начала не пожалую трудом — опять во краду Джима из рабства; а если придумаю еще что-нибудь хуже этого, то и хуже сделаю; раз мне все равно придется пасть, то пускай уж недаром.

Тогда я стал думать, как взвиться за это дело, и погрел в уме много всяких способов; и наконец остановился

на планом, самым подходящим. И торжественно заметил себе, положив на него ладонь ладонью острого, выходя ниже по реке, и, как только совсем стемнело, выведя его на тайник, переправился к плоту и спрятал его там, а сам поспал. Я проспал всю ночь, проснулся еще до рассвета, поспал еще до рассвета, поспал и надел все новое, кушачи и матиэне, а оставшую одежду и еще кое-какие вещи спрятал в узелок, сел в челнок и переправился на берег. Я пришел, была плантация Фелла, спрятал узелок в лесу, вода и челнок воды, набросал в него камней и затопил на четверть миль ниже лесопилки, стоявшей над маленькой речкой, — чтобы мне легко было найти челнок, когда он опять понадобится.

После этого я выбрался на дорогу и, проходя мимо лесопилки, увидел на ней вывеску: «Лесопилка Фелла», и когда подошел к усадьбе — она была на двести или триста шагов дальше, — то, сколько ни глядел, все-таки ничего не увидел, хотя была уже белая ночь. Но я не отчаялся пока ни с кем разговаривать — мне надо было только посмотреть, где у них что находится. По моему плану, мне надо было прийти туда из городка, а не с реки. Так что я только поглядел и двинулся дальше, прямо в город. И что же вы думаете? Первый человек, на которого я там наткнулся, был герцог. Он наклонял афишу «Королевский Мирф», только три представления, — из них и прошлый раз. Ну и нахальство же было у этих лангони! Я наткнулся на него неожиданно и не успел даже сказать. Он как будто удивился и говорит:

— Эге! Откуда это ты? — Потом как будто даже обиделся и спрашивает: — А плот где? Хорошо ли ты его спрятал?



— Вот и я вас то же самое хотел спросить, наша свистелась.

Тут он что-то перестал радоваться и говорит: — Это с какой же стати ты меня вздумал спрашивать?

— Ну,— говорю,— когда я вчера увидал корабль этой расписной, то подумал: не скоро мы его затопим обратно на плот, когда-то он еще протрезвится; вот я и пошел шататься по городу — надо же было куда-нибудь девать время! А тут один человек пообщал мне деньги за то, чтобы я помог ему переправиться на лодке за реку и привезти оттуда барана; вот я и пошел с ним, а когда мы стали тащить барана в лодку, этот человек дал мне держать веревку, а сам стал подталкивать лодку; но только баран оказался мне не по силам: он меня вырвался и удара, а мы побежали за ним. Собрав мы с собой не взвеш, вот и пришлось гоняться за бараном по берегу, пока он не выбился из сил. Мы гонялись за ним до темноты, потом перевезли его в город, а после того я пошел к плоту. Прихожу — а плота нету. Ну, говорю себе,— должно быть, у них вышла какая-нибудь неприятность и они ударили и негра моего с собой уехали! А этот негр у меня один-единственный, а я на чужой стороне, и никакого имущества у меня больше нет, и заработать на хлеб я тоже не могу. Сел и заплакал. А пошел я в лесу. Но куда же все-таки девался плот? И Дини где? Бедный Дини!

— Я почему знаю... то есть насчет плота. Этот старый дурак тут кое-что продал и получил сорок долларов, а когда мы отыскали его в расписной, у него уже появились все деньги, кроме тех, что он истратил на покупку. А когда я поздно ночью приволок его домой и поставил на месте не оказалось, мы с ним так и подумали: «Этот чертенок, должно быть, украл наш плот и бросил на уплыл вниз по реке».

— Как же это я бросил бы своего негра? Ведь он у меня один-единственный, одна моя собственность.

— Мы про это совсем забыли. Привыкли думать, что это наш негр, вот в чем дело... ну да, считали его своим, да и то сказать: мало, что ли, мы с ним возились? А когда мы увидели, что плот пропал и у нас ничего больше нет, мы решили: не попробовывать ли еще разок «Минифа»? Ничего другого не остается. Вот я и старался, что

еще эта по рту маковой росники не было. Где у тебя деньги, ценник? Дай их сюда!

Дини у меня было порядочно, так что я дал ему деньги, только попросил истратить их на еду и мне это немножко, потому что я со вчерашнего дня ничего не ел. На это герцог ни слова не ответил, а потом спросил ко мне и говорит:

Как по-твоему, негр на нас не донесет? А то мы с ним по шкуру спустим!

Как же он может донести? Ведь он убежал!

Да нет! Этот старый болван его продал и со мной не пошел, так деньги зря и пропал.

Продав? — говорю я и начинаю плакать. — Как же так, ведь это мой негр, и деньги тоже мои... Где он? Нашего моего негра!

Негра тебе никто не отдаст, и дело с концом, так ты перестань хныкать. Послушай-ка, ты уж не думай и идти на нас? Ей-богу, я тебе ни на грош не верю. Если попробуй только!

Он замолчал, а у самого глаза задрожали, никогда в таких случаях хныкать я не перестал, а сам говорю:

Ни на кого я доносить не собираюсь, да и некогда этим заниматься: мне надо идти искать своего

плота было, что ему это очень не понравилось: стоило замолчать, и афиши трепыхаются у него в руке; по-этому поворачивалась и говорил:

Вот что я тебе скажу. Нам надо здесь пробыть три дня. Если ты обещаешь сам молчать и негру не доносить на нас довести, я тебя научу, где его искать. И обещаю, а он говорит:

У одного фермера, а зовут его Сайлас Фе... — и он замолчал.

Понимаете, он сначала хотел сказать правду, а когда начал и стал соображать да думать, то и передумал. Конечно, так оно и было. Мне он все-таки не верил, вот так и хотелось убирать меня отсюда на целых три дня, и им не мешал. Помогала немножко и говорит:

Маленькая, который его купил, зовут Абрам Фостер. Абрам Дж. Фостер, а живет он по дороге в Лафайет, это будет выла сорок в сторону.

Хорошо,— говорю,— в три дня туда дойду. Сейчас же иду и отправляюсь.

— Нет, не днем, а ступай сейчас же, да не теряй времени и не бойтай зря по дороге! Держи язык за зубами и шатай побыстрей, тогда тебе от нас никаких неприятностей не будет, понимаешь?

Вот этого приказа я и добивался, только это мне и нужно было. Мне надо было развязать себе руки, чтобы приняться за дело.

— Ну, так ступай, — сказал он, — и можешь говорить мистеру Фостеру все, что тебе вздумается. Может, он тебе и поверит, что Джим твой негр, — бывают такие нахалы, что не требуют документов; по крайней мере, я это рассказываю про фальшивое объявление и про награды ему объясни, для чего это понадобилось, — может, тебе поверит. Теперь проваляйся и говори ему что хочешь, да по дороге смотри держи язык за зубами, иначе места не доберешься!

Я и пошел, направляясь от реки в сторону, и ни разу не оглянувшись; я и так чувствовал, что он за мной следит. Все равно я знал, что ему это скоро надоест. Я пришел по этому направлению целую милю, ни разу не останавливаясь; потом сделала круг по лесу и вернулась к усадьбе Фелкса. Я решила приступить к делу сразу, без всякой заминки, потому что надо было, чтобы Джим не прорвался, пока эти молодцы не успеют подавиться. А то еще наживешь хаюлот с этой братней. Я на них навалился досыта и больше не ждал иметь с ними никакого дела.

ГЛАВА XXXII

Когда я добрался до усадьбы, кругом было тихо, как в воскресенье, жарко и солнечно; все ушли работать в поле; а в воздухе стояла едкая сапшиная гуденка жуков и мух, от которого делается до того тошнливо, будто в кругом повыверло; да если еще повеет ветерок и зашуршит листвою, то и вовсе душа уходит в пятки; там и там кажется, будто это шепчутся привидения, души тех, которые давным-давно померли, и всегда чудится, будто это они про тебя говорят. И вообще от этого всегда хочется самому помереть, думаешь: хоть бы все поскорее кончилось!

Хаюковая плантация Фелкса была из тех маленьких, захудалых плантаций, которые все на одно лицо.

Двор овра и дв., огороженный жердами; а для того чтобы перебраться через забор и чтоб женщинам было легче подняться на лошадей, к нему подставлены асбестовой обрубкой бревен, точно боючки разной высоты; кое-где во дворе растут тощие травки, но больше голых и вытоптанных мест, похожих на старую шкуру с вытертым ворсом; на бревнах большой дом на две половины, из отесанных бревен, стены замазаны глиной или известкой, а сверху белены, — только видно, что очень давно; кухня из неопаленных бревен соединена с домом длинным и широким коридором; позади кухни — бревенчатая котельня; по правой стороне котельни вытянулся в ряд три небольших негритяцких хижин; одна маленькая хибарка была обрубком по одну сторону двора, у самого забора, а по другую сторону — разные службы; рядом с хибаркой была большая котельня для варки мыла; возле котельни двери скамейка с ведром воды и тыквенной кашей; тут же рядом спит на солнышке собака; давай еще собаки; в углу двора три тенистых дерева; куры, индюшата и крыжовник у забора; за забором огорода и арбузная бахча; а дальше плантация хаюпка, а за ней — лес.

Я обошел кругом и перелез по обрубкам во двор с правой стороны, возле кучи золь. Пройдя несколько шагов, я услышал жалобное гуденье приаки, оно то делалось громче, то совсем замтирало; и тут мне уж без всякого труда захотелось умереть, потому что это самый тошнотливый звук, какой только есть на свете.

Я пошел прямо так, наугад, не стал ничего придумывать, а повожился на бога — авось с его помощью скажу что-нибудь, когда понадобится; я сколько раз замечал, что бог мне всегда помогает сказать то, что надо, если я сам не мешаю.

Только я дошел до середины двора, вижу — сначала одна собака встает мне навстречу, потом другая, а я, конечно, остановился и гляжу на них, не трогаюсь с места. Но и подумав же они давай!

Но прошло и четверть минуты, как я сделалась чем-то вроде ступицы в колесе, если можно так выразиться, а собаки окружили меня, как спицы, штук пятнадцать со всех сторон, а я сидела в центре, как в колыбели, выткнув морду, а они и другие подбежали; гляжу — перескакивают через

— Это не из-за меня, там мы совсем нечаянно не держались. У нас взорвалась головка цинниды.

— Господи помилуй! Кто-нибудь пострадал?

— Нет, мам. Убило негра.

— Ну, это вам повезло; а то бывает, что и ранит кого-нибудь. В позапрошлом году, на рождество, твой дядя Сайлас ехал из Нового Орлеана на «Алали Рук», а на рождество был старый, головка цинниды взорвалась, и человека изуродовало. Кажется, он потом умер. Выпущен один. Твой дядя Сайлас знал одну семью в Батон-Руж, так они знакомы с родными этого старика. Да, теперь припоминаю: он действительно умер. Началась гангрена, и ногу отняли. Только это не помогло. Да, верно, это была гангрена — она самая. Он весь посинел и умер в надежде на воскресение и жизнь будущего века. Говорят, на него смотреть было страшно... А твой дядя на следующий день ездил в город встречать тебя. И сегодня опять поехал, еще и часу не прошло; с минуты на минуту должен вернуться. Ты бы должен был встретить его по дороге... Нет, не встретишь? Такой пожилкой, с...

— Нет, я никого не видал, тетя Салли. Пароход пришел рано, как раз на рассвете; я и оставила вещи на пристани, а сам пошел поглядеть город и даьше немножко прогулялся, чтобы убить время и прийти к вам не очень рано, так что я не по дороге шел.

— А кому же ты сдаа вещи?

— Никому.

— Что ты, деточка, ведь их украдут!

— Нет, я их хорошо спрятаю, оттуда не украдут, говорю я.

— Как же это ты позавтракала так рано на пароходе? Дело тонкое, как бы, думаю, тут не влопаться, а сам говорю:

— Капитан увидел меня на палубе и сказал, что мне надо поспать, до того как я сойду на берег; повел меня в салон и усадил за свой стол — ешь не хочу.

Мне стало до того не по себе, что я даже слушать не мог как следует. Я все время держала в уме ребячьи думанья, как бы это ответить их в сторонку и выведавать их ловчей, кто же я такой. Но не было никакой возможности: миссис Фелпс все тараторила без умолку. Вдруг у меня даже мурашки по спине забегали, потому что она сказала:

Ну что же это я

была боляно, а ты мне иди и сонечка не скажи про сестру и про все печальное. Теперь понимаю, а ты рассказывай. Расскажи про всех, как они понимают, что подельники и что несли мне страдать, ну и вообще да, что только припомню.

Ну, вижу, попался да еще как попался! До сих пор бог как-то помогает мне, это верно, зато теперь я прочее не касаю на медь. Выбери и пробоовать нечего, вывернувшись, прямо

вот выходи на игры. Думаю: покажи, тут опять приехали рисковать — выложит всю правду. Я было распрот, но она вдруг схватила меня, пихнула за спину и крикати и говорит:

Вот он едет! Настин голову понижее, вот так — теперь хорошо. Сиди и не шикни, что ты тут. Я над ним плачу... Дети, и вы тоже молчите.

Видно, попал и в перепадет. Но беспокоиться все равно не стоило: делаться было нечего, только сидеть спокойно доминативнее, пока гром грянет.

И только медальком увидел старика, когда он вошел в комнату, а потом из-за кровати его стало не видно. Миссис Фелпс бросилась к нему и спрашивает:

Приехал он?

Нет, — отвечает муж.

Господи помилуй! — говорит она. — Что же там могло с ним случиться?

Не могу себе представить, — говорит старик. — По правде сказать, я и сам очень беспокоюсь.

Ты беспокоишься! — говорит она. — А я так про это с ума схожу! Он, должно быть, приехал, а ты его пропустила по дороге. Так оно и есть, я уж это предчувствую.



— Да что ты, Салли, я не мог его прозвонить, знаешь.

— О боже, боже, что теперь сестра скажет! Он, наверно, приехал! А ты его, наверно, прозвоняла. Ой...

— Не расстраивай меня, я и так уже расстроена. Знаю, что и думать. Просто голова пошла кругом, прозвониться откровенно. Даже перевернулась. И надеюсь, что, что он приехал, потому что прозвонить его я никак не мог. Салли, это ужасно, просто ужасно: что-нибудь, наверно, случилось с парохом!

— Ой, Сайлас! Выходи-ка сюда, на дорогу; наверно, кто-то едет?

Он бросился к окну, а миссис Фелпс только тогда и нужно было. Она живо нагнулась к спинке кровати, подтолкнула меня, и я вылез: когда старик отвернулся от окна, она уже успела выпрыгнуться и стояла, вся свалась и унываясь, очень довольная; а я смирно стояла рядом с ней, весь в поту. Старик воззрился на меня и торчит:

— Это кто же такой?

— А по-твоему, кто это?

— Понятия не имею. Кто это?

— Том Соьер — вот кто!

Ей-богу, я чуть не провалилась сквозь землю! Но он, бедно разбираться было некогда; старик схватил меня за руки и давай пожимать, а его жена в это время так и прыгает вокруг нас, и плачет, и смеется; потом оба они засыпали меня вопросами про Сиду, и про Мари, и вообще про всех родных.

И хоть они очень радовались, но все-таки по сравнению с моей радостью это были сущие пустяки; и тогда заново родилась — до того была рада узнать, кто и такой! Они ко мне целых два часа приставали, я весь вечер себе отбояла, рассказывая, так что он едва ворочался; я рассказала я им про свою семью — то есть про семью Соьеров — столько, что хватило бы и на целый десяток таких семей. А еще я объяснила им, как это вышло, что я нас взорвалась циннабар в устье Уайт-Ривер, и как мы тогда его чинили. Все это сошло гладко и совершенно откровенно, потому что они в этом деле не особенно разобрались и понимали только одно: что на починку ушло три дня. Если бы я сказала, что взорвалась головка боната, то и это сошло бы.

Говорила и чувствовала себя довольно прилично, с одной стороны, зато с другой — довольно невежливо. Быть Тобиасом и обидно оказалось легко и приятно, и так оно и шло, и приятно, пока я не засадила пыльные парохом, который шел с верховьев реки. Тут я и подумал: а ведь Том Соьер едет на этом самом парохоме? А вдруг и сейчас пойдет в комнату да и назовет меня по имени, тогда чем и успею ему подмигнуть?

ГЛАВА XXXIII

И я отправилась в город на тележке; а как проехала по старой дороге, вижу — навстречу мне кто-то едет; глядя на него, я вижу, Том Соьер! Я, конечно, остановилась и сказала, пока он подъедет поближе. Говорю: «Стой!» И он остановился, а Том рот разинул, а закрыть не успел, потом глотнул два раза два-три, будто в горле у него перелома, и говорит:

И тебе ничего плохого не делаю. Сам знаешь. Так что же ты ливиса с того света? Что тебе от меня надо?

И говорю:

И не с того света, я и не поминая вонсе. Он ушлаша мой голод и немножко пришеа в себя, но я еще не совсем успокоилась и говорю:

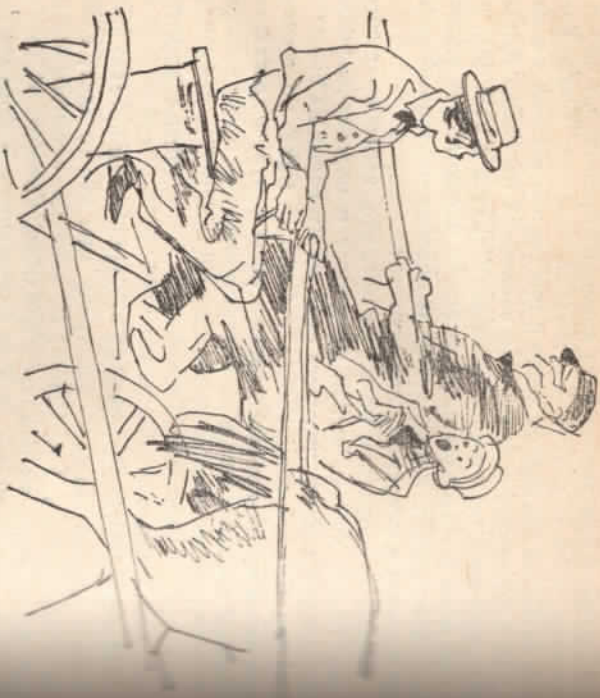
Ты меня не тронь, ведь я же тебя не трогала. А ты жила не с того света, честное индейское?

Честное индейское, — говорю, — нет.

Ну что ж... я, конечно... если так, то и говорить нечего. Только я все-таки ничего тут не понимаю, ровно ничего! Как же так, да разве тебя не убивал?

Никто и не думал убивать, я сам все это устроил. Я был злод, потрогал меня, коли не веришь.

Он потрогал меня и успокоился и до того был рад, что от радости не знал, что и делать. Ему так же захотелось узнать про все, с начала до конца, потому что это было настоящее приключение, да еще зага-



дочное; вот это и задело его за живое. Но я сказала, что пока нам не до этого, велел его кучеру подожждать неминуемо: мы в моей тележке отъехали подальше, и я рассказала Тому, в какую попал историю, и спросила, как он думает, что нам теперь делать? Он сказал, чтоб я оставила его на минутку в покое, не приставала бы к нему. Думая он, думал, а потом вдруг и говорит:

— Так, все в порядке, теперь придумаю. Возьми иди сундук к себе в тележку и скажи, что это твой; поворачивай обратно да тащишь помедленнее, чтобы не помять домой раньше, чем подластится; а я поверну в горах и опять проделав всю дорогу сначала, чтобы приехать не рез полчаса после тебя; а ты, смотри, сперва не покажи никакой виду, будто ты меня знаешь.

Я говорю: — Ладно, только погоди минутку. Есть еще одно дело, и этого никто, кроме меня, не знает: я тут хочу вырвать одного негра из рабства, а зовут его Джим — это Джим старой мисс Уотсон.

Том говорит:

Как, да ведь Джим...

Ты он замочил и призадумался. Я ему говорю:

Знаю, что ты хочешь сказать. Ты скажешь, что не можешь, прямо-таки подлость. Ну так что ж, я поддам и его и украду, а ты помалкивай, не выдавай меня. Скажи, что ли?

Завел у Тома загорелась, и он сказал:

Я сам помогу тебе его украсть!

Ну, меня так и подкосило на месте! Такую поразительную шутку я в первый раз в жизни слышала; и довелось мне сказать: Том Соьер много потерял в моих глазах — и его стала меньше уважать после этого. Только не так не верилось: Том Соьер — и вдруг крадет негра!

Взвешивать-то, — говорю, — шутить ты, что ли? Или не думало шутить.

Ну ладно, — говорю, — шутить или нет, а если услышишь какой-нибудь разговор про беглого негра, так скажи, помни, что ты про него знать не знаешь, и я тогда про него знать не знаю.

Потом мы взяли сундук, перетаскали его ко мне на палатку, и Том поехал в одну сторону, а я в другую. Удивительно, я совсем позабыла, что надо плестись вперед — и от радости и от всяких мыслей, — и вернувшись домой уж очень скоро для такого дилетантского пути. Став выходя на крыльцо и сказал:

Ну, это удивительно! Кто бы мог подумать, что моя победа на это способна! Надо было бы заметить сразу: не встопычила ни на волос — ну ни капешки! Удивительно! Да теперь я ее и за сто долларов не отдам, честное слово, а ведь хотел продать за пятнадцать — дура, она дороже не стоит.

Повише он ничего не сказал. Самой невинной душой был старичок, и такой добрый, добрей не бывает. Оно и естественно: ведь он был не просто фермер, а еще и проповедник; у него была маленькая бревенчатая церковь на задворках плантации (он ее выстроил на свой счет), и церковь и школа вместе, а проповедовал он да-же, ничего за это не брал; да сказать по правде — и не за это было. На Юге много таких фермеров-проповедников, и все они проповедают даром.

Через полчаса, или около того, подкатывает к забору Том и тележка; тети Салли увидела его из окна, потому

что забор был всего шагах в пятидесяти, и говорит:

— Смотрите, еще кто-то приехал! Кто бы это мог быть? По-моему, чужой кто-то... Джинны (это один из ребятишек), сбегай скажи Анез, чтобы поставила передо мной тарелку на стол.

Все саомы голову бросились к дверям: и то сказать, ведь не каждый год приезжает кто-нибудь чужой, а если уж он приедет, так переполох надевает боаши, поджигая анхорада. Том по обрубкам перебрался через забор и пошел к дому: тележка покатила по дороге в ратно в город, а мы все столпились в дверях. Том был в новом костюме, саушатели оказались налицо — боаши ему ничего не требовалось, для него это было лучше всех приников. В таких случаях он любил задавать вопрос — на это он был мастер. Не таковский был мальчик, чтобы топтаться посреди двора, как овца, — нет, он шел вперед важно и спокойно, как баран. Подойдя к нам, он крышка от коровки с бабочками и он бонился, как бы он не разлетелся, и сказал:

— Мистер Арчибалд, Николс, если не ошибинка! — Нет, мой мальчик, — отвечает ему старик, — я же жаменино, возница обманул вас: до усадьбы Николс еще мила три. Выходите же, входите!

Том обернулся, поглядел через плечо и говорит:

— Саншом поздно; его уже не видать. — Да, он уже уехал, сын мой, а вы входите и пойдите с нами; потом мы запрежем лошадей и отправим вас к Николсам.

— Мне совестно так затруднять вас, как же это можно! Я пойду пешком, для меня три мили ничего не значат.

— Да мы-то вам не позволим, — какое же это будет южное гостеприимство! Выходите, и все тут.

— Да, пожалуйте, — говорит тетя Саали, — для нас в этом нет никакого затруднения, ровно никакого! Оставайтесь непременно. Дорога давящая, и пыль такая, нет, пешком мы вас не пустим! А кроме того, я уже не леда поставить еще тарелку на стол, как только увидела, что вы едете; вы уж нас не огорчайте. Выходите же и будьте как дома.

Том поблагодарил их в самых изысканных выражениях, наконец дал себя уговорить и вошел; уже полая в



он сказал, что он приезжий из Хиксвилла, штат Миссисипи, а вот его Уильям Томсон, — и он еще раз поклонился.

Он же боагда да боагда, что только в голову забредло и про Хиксвилла, и про всех его жителей; а я уже слышал немного беспокоиться; думаю: каким же образом это поможет мне выйти из положения? И вдруг, изобретательная разговаривать, он пристал да как поцеловал тетю Саали прямо в губы! А потом опять усеялся в свое место и разговаривает по-прежнему; она вскопала с вресла, вытерла губы рукой и говорит:

Ах ты дерзкий щенок!

Он как будто обиделся и говорит:

Вы меня удивляете, сударыни!

И его удивляю, скажите пожалуйста! Да за кого вы меня принимаете? Вот возьму сейчас да и... Нет, это было бы оробею и говорит:

Он с чего, так просто. Я не хотел вас обидеть. И я думаю — может, вам это понравится.

— Нет, это прямо идлот какой-то! — Она схватила тетю, и похоже было, что не удержится и вот-вот упадет. Тома по голове. — С чего же вы вообразили, что мне это понравится?

И сам не знаю. Мне... мне говорил, что вам понравится.

Ах, вам говорил! А если кто и говорил, так знайте, такой же полоумный. Я ничего подобного в жизни не слышала! Кто же это сказал?

— Да все. Все они так и говорили.

Тети Сайди едва-едва сдерживались: глаза у нее так и сверкали, и пальцы шевелились: того и гляди, выскочат в Тома.

— Кто это «все»? Живей говори, как их зовут, а не то одним иллотом меньше будет!

Он вскопича, такой с виду расстроенный, мнет в рукав шапку и говорит:

— Простите, я этого не ожидал... Мне так и говорили... Все говорили... сказали: поцелуй ее, она будет рада. Все так и говорили, ну все решительно! Простите, я больше не буду... честное слово, не буду!

— Ах, вы больше не будете, вот как? А то, может, попробуете?

— Сударыня, даю вам честное слово: никогда больше вас целовать не буду, пока сами не попросите.

— Пока сама не попросит! Нет, я никогда ничего подобного не слышал! Да хоть бы вы до мафусиановых лет дожили, не бывать этому никогда, очень нужные мне такие олухи!

— Знаете, — говорит Том, — это меня очень удивляет. Ничего не понимаю. Мне говорили, что вам это не нравится, да я и сам так думал. Но... — Тут он замолчал и обвел всех взглядом, словно надеясь встретить ком-нибудь дружеское сочувствие, остановившись на старике и спрашивает: — Валь вы, сэр, тоже думали, что мне меня с радостью поцелует?

— Да нет, почему же... нет, я этого не думал.

Том опять так же поискал глазами, нашел меня и говорит:

— Том, а ты разве не думаешь, что тети Сайди обманывают меня и скажут: «Сид Соьер...»

— Боже мой! — Она не дала Тому договорить и бросилась к нему: — Бессовестный ты щенок, ну можешь ли так морочить голову!.. — И хотела уже обнять его, но он отстранил ее и говорит:

— Нет, нет, сначала попросите меня.

Она не стала терять времени и тут же попросила, обняла его и целовала, целовала без конца, а потом подтолкнула к дяде, и он принял в свои объятия то, что осталось. А после того как они ссадали мадильеру на редышку, тети Сайди сказала:

Ах ты господи, вот уж действительно сюрприз! Мы ведь совсем не ждали. Ждали одного Тома. Сестра моя и не писала мне, что кто-нибудь еще придет.

Это потому, что никто из нас и не собирался идти, кроме Тома, — сказала она, — только я попросила permission, и в самую последнюю минуту она и меня попустила; а мы с Томом, когда ехали на пароходе, и первый, а я отстану немножко и приеду немного позже — прикинусь, будто я чужой. Но это мы зря заставили тети Сайди! Чужих здесь плохо принимают, тети Сайди.

Да, Сид, — таких озорников! Надо бы наказать их по заслугам; даже и не припомню, чтобы я когда-нибудь так сердилась. Ну да все равно, что бы вы ни выдумали, я согласна терпеть всякие ваши фокусы, лишь бы вы были тут. Подумайте, разыграли целое представление! Садитесь по правде, я прямо остобенела, когда вы меня чмокнули.

Мы обедали на широком помосте между кухней и долом того, что стояло на столе, хватало бы на целый десяток семей, и все подавалось горячее, не то что какое-нибудь там жесткое вчерашнее мясо, которое всю ночь прокисло в сыром погребе, а наутро отдает мертвецки-мелко и есть его вношу разве какому-нибудь старому аю-лю.

Сид Сайлас довольно долго читал над всей этой толпой молитву, да она того и стоила, но аппетита он ни у кого не отбил, а это бывает, когда очень канителился.

После обеда было много всяких разговоров, и нам с Томом приходилось все время быть настороже, и все без толку, потому что ни про какого беглого негра они ни разу не упомянули, а мы боялись даже и наметить. Но впрочем, за ужином, один из мальшей спросил:

Папа, можно мне пойти с Томом и с Сидом на прогулку?

Нет, — говорит старик, — я думаю, никакого предостережения не будет; да и все равно — вам туда нельзя. Вот беглый негр рассказывал нам с Бартоном, что предостережение просто возмутительное, и Бартон хотел предупредить всех; теперь этих наглых проходивцев, должно быть, уже выптали из города.

Так вот оно как! Но я все-таки не виноват. Мы с Томом должны были спать в одной комнате и на одной кровати; с дороги мы устали и потому, пожевав перед спокойной ночью, ушли спать сейчас же после ужина; там вылезли в окно, спустились по громоотводу и поехали в город. Мне не верилось, чтобы кто-нибудь предупредил короля с герцогом; и если я опоздало и не успел намеркнуть им, что готовиться, так они, наверно, понадеялись на меня.

По дороге Том рассказал мне, как все думал, что я убит, и как мой родственник опять пропал и до сих пор не вернулся, и какой поднялся переполох, когда Джини сообщил; а я рассказал Тому про наших жуликов, и про «Жирафа», и про наше путешествие на пауту, спомог устел; а когда мы вошли в город и дошли до серада, — а было не рано, уже около половины двенадцатого, глядя, навстречу балет толпа с факелами, все бежит кутся, вопит и орет, колотит в сквородки и дудит в рожки; мы отскочили в сторону, чтобы пропустить их; слышу, они тащат короля с герцогом верхом на шее, то есть это только я узнал короля с герцогом, хотя они были все в смоле и в перьях и даже на людей не похожи просто два атакных громадных комка. Мне неприятно было на это глядеть и даже стало жалко несчастных жуликов; я подумал: никогда больше их зам поминать не буду. Прямо смотреть страшно было. Люди бегали очень жестоки друг к другу.

Видим, мы опоздали, — ничем уже помочь нечего. Стали расспрашивать кое-кого из оставшихся, и они рассказали, что все в городе пошло на предвещание: будто знают ничего не знают, и сидели поминали пока бедняга король не начал прыгать по сцене; тут кто-то подавал знак, публики повскакала с мест и свистела их.

Мы попались домой, и на душе у меня было вовсе не так легко, как раньше; напротив, я очень присмирел, как будто был виноват в чем-то, хотя ничего плохого не сделал. Но это всегда так бывает: не важно, виноват или нет — совесть с этим не считаться и все равно себя доминает. Будь у меня собака, такая назойливая, как то есть, я бы ее отравил. Места она занимает больше, чем все прочие внутренности, а толку от нее никакого. И Том Сойер то же говорит.

Мы перестали разговаривать и принялись думать.

Никто Том и говорит:

Слушай, Гек, какие же мы дураки, что не догадались раньше! Ведь я знаю, где Джини сидит.

Да что ты? Где?

В том самом сарайчике, рядом с кучей золы. Со мной сам. Когда мы обедали, ты разве не видел, как Джини переносил туда миски с едой.

Видел.

А ты как думаешь, для кого это?

Для собаки.

И я тоже так думаю. А это вовсе не для собаки. Почему?

Потому что там была арбуз.

Верно, был, я заметил. Как же это я не сообщал, что собачки арбуза не едят? Это уж совсем никак не годится! Вот как бывает: и глядишь, да ничего не видишь.

Так вот: нетер отпер висельный замок, когда вошел Джини, и опять его запер, когда вышел. А когда мы встали из-за стола, он принес дыре ключ — тот самый ключ, наверно. Арбуз — это, значит, человек; ключ — значит, кто-то там заперт; а вряд ли двое сидят под арбузом на такой маленькой плантации, где народ такой добрый и хороший. Это Джини и сидит. Ах, да, я очень рад, что мы до этого сами додумались, как полагается поинтересам: за всякий другой способ и гроша ломаного не дам. Теперь ты пошевели мозгами, придумай план, как вырвать Джини, и я тоже придумаю свой план, а там мы выберем, который больше понравится.

Ну и голова была у Тома Сойера, хоть бы и взрослому! Но мне, лучше иметь такую голову, чем быть герцогом, или капитаном пароходов, или клоуном в цирке, или ун не знаю кем. Я придумал кой-что так только, ради описки советни: я наперед знал, кто придумает наилучший план. Немного погодя Том сказал:

Готово у тебя?

Да, — говорю.

Ну да, да, выкладывай.

Вот какой мой план, — говорю. — Джини там сидит, и я что другой — узнать нетрудно. А завтра ночью мы

достанем мой челнок и переправим плот с острова. А там, в первую же темную ночь, вытаским каню у створа ка из кармана, когда он ляжет спать, и упавшим вине по реке вместе с Джимом: днем будем прятаться, а ночью — плыть, как мы с Джимом раньше доезжали. Говорится такой план?

— Говорится ли? Почему ж не говорится, очень даже говорится! Но только уж очень просто, ничего в нем особенного нет. Что это за план, если с ним никакой работы не требуется? Грудной мадленец — и тот справится. Не будет ни шума, ни разговоров, все равно что после жизни на мыловаренном заводе.

Я с ним не спорил, потому что ничего другого и не ждал, зато наперед знала, что к своему плану он так придирается не станет.

И верно, не стал. Он рассказал мне, в чем состояло его план, и я сразу поняла, что он раз в пятинацать лучше моего: Джима-то мы все равно освободим, зато никто не будет куда больше, да еще, может, нас и пристрелят, а его-то плану. Мне очень понравилась. «Давай, — говорю, — так и будем действовать». Какой у него был план сейчас говорить не стоит: я наперед знала, что будут все всякие перемены. Я знала, что Том еще двадцать раз будет менять его и так и этак, когда приступим к делу и вставать при каждом удобном случае всякие новые штуки. Так оно и вышло.

Одно было верно — Том Сойер не шутил. План не делал и собирается освободить негра из рабства. Но этого я никак не мог понять. Как же так? Мальчик из хорошей семьи, воспитанный, как будто дорожит своей репутацией, и родные у него тоже вряд ли захотят слышать: мальчик с головой, не тупица; учился все-таки, не безграмотный какой-нибудь, и добрый, не назло же он это делает, — и вот нате-ка — забота и про горадость, и про самолюбие, лезет в это дело, унижается, срамит себя и родных на всю Америку! Никак я этого не мог взять в толк. Просто стыдно. И я знала, что надо вникнуть и сказать все ему напрямик, а то какой же он друг! Пускай сейчас же все это бросит, пока еще не поздно. Я так и хотела ему сказать, начал было, а он оборвал меня и говорит:

— Ты что же — думаешь, я не знаю, чего кони? Когда это со мной бывало?

Никогда.

Равно и не говорила, что помогу тебе украсть этого негра?

Говорила.

Ну и ладно.

Взвешивая и он ничего не говорил, и я ничего не говорила. Да и смысла никакого не было разговаривать: уж он что решил, так поставит на своем. Я только не могла понять, какая ему охота соваться в это дело, но не могла с ним спорить, даже и не поминала про это больше. Когда идет на рожон, так что ж я тут могу поделать! Когда мы вернулись, во всем доме было темно и тихо, и мы прошли в конец двора — обследовать хибарку с кучей зомы. Мы обошли весь двор кругом, что-то и дали не больше, чем обыкновенно дают деревенские собаки, засыпав ночью прохожего. Добравшись до забора, мы осмотрели ее спереди и с боков — и с того края, которого я еще не видела, на северной стороне, на-встречу одному крепкой доской.

И сказала:

Вот и хорошо! Дыра довольно большая, Джим и я пролезем, надо только оторвать доску.

Том говорит:

Ну, это так же просто, как дважды два четыре, и не так легко, как не учить уроков. По-моему, мы могли бы придумать способ хоть немножко поспокойней, Гек!

Ну ладно, — говорю. — А если выпилить кусок доски, как я сделал в тот раз, когда меня убили?

Это еще на что-нибудь похоже, — говорит он, — и так и так. И возни много, и вообще хорошо, можно все-таки можно придумать еще что-нибудь, что-то похитрее, похитрее. Спешить нам некуда, так давай посмотрим.

Между сарайчиком и забором, с задней стороны, стояла пристройка, в вышину доходившая до крыши и сделанная из досок. Она была такой же длинной, как и сарайчик, только уже — шириной футов в шесть. Дверь была в задней стороне и запиралась на всякий замок. Том пошел и котла для варки мыла, поискал там и принес железную шпату, которой поднимает крышку котла; он

взяв ее и выломал один пробой у двери. Цепь упала, и отворилась дверь, вошши, зажали спичку и видим, что это только пристройка к сарайчику, а сообщения между ними нет; и пола в сарае тоже нет, и вообще ничего в нем нет, кроме ржавых, никому не нужных мотыг и лопат да сломанного паута. Спичка погасла, и мы ушли, войкнув пробой на старое место, и с виду дверь была опять как смекает заперта. Том обрадовался и говорит:

— Ну, теперь все хорошо! Мы для него устроили подкол. Это у нас займет целую неделю.

После этого мы вернулись домой; я вошел в дом в черного хода — они там дверей не запирали, надо было только потянуть за кожаный ремешок; но для Тома Сойера это было неподходяще: таинственности мало, ему непременно надо было влезать по громоотводу. Раз уж он долетал до половины и каждый раз срывался и напоследок чуть не разбил себе голову. Он уж думал, что придется это дело бросить, а потом отдохнул, решил попробовать еще раз наудачу — и все-таки влез.

Утром мы поднялись чуть свет и пошли к негритинским хижинам, чтобы приучить к себе собак и познаться поближе с тем негром, который кормил Джима. — Если это действительно Джиму носили еду, негр как раз позавтракал и собирался в поле, а Джимов негр накардывал в миску хлеба, мяса и всякой еды, и в то время, как остальные уходили, из большого дома еще прислали каюч.

У этого негра было добродушное, гауповатое лицо, в волосах он перевязывал нитками в пучки, для того чтобы отвалить ведам. Он рассказывал, что ведами умные донимают его по ночам; ему мерещатся всякие чудеса, слышатся всякие слова и звуки, и никогда в жизни с ним еще не бывало, чтобы надолго привязалась какая нечисть.

Он разговаривал про свои несчастья и до того унывал, что совсем позабыл про дело. Том и спрашивал: — А ты кому несешь еду? Собак кормить собираешься?

Негр заулыбался, так что улыбка расплывалась у него по всему лицу, вроде как бывает, когда запустишь нирпичом в дужку, и говорит:

— Да, мистер Сид, собаку. И занятная же собачка! Не хотите ли поглядеть?

Хочу.
И поинтересу Тома и шепчу ему:
— Что ж ты, так и пойдешь к нему анем? Ведь по нему не полагается.

Тогда не полагалось, а теперь полагается.

Мы пошли, — проваляться бы ему! — только мне это еще не понравилось. Входим туда и почти ничего не видим — такая темнота; зато Джим и выправду там сидит, он-то нас разглядывает и обрадовался:

— Да ведь это Гек! Господи помилуй, никак и мис-тер Том здесь?

И наперед знал, что так будет, только этого и ждал. Вот теперь быть, я понятия не имел, а если б и знал, ничего не мог бы поделать, потому что этот самый негр мешался тут и говорит:

— Боже ты мой, да никак он вас знает?

Теперь мы притихли и все хорошо видели. Том приставил на негра приставно и как будто с удивлением спрашивает:

— Кто нас знает?

— Да вот этот самый беглый негр.

Не думаю, чтобы знал; а с чего это тебе пришло в голову?

С чего пришло? Да ведь он сию минуту крикнул, и вы нас знаете.

Том говорит, как будто с недоумением:

— Ну, это что-то очень странно... Кто кричал? Кто начал? Что же он кричал? — Потом повертывается к мне и преспокойно спрашивает: — Ты слышал что-нибудь?

Разумеется, на это можно было ответить только од-ним и тем же словом:

— Нет, я ничего ровно не слышал, никто ничего не говорил.

Тогда Том обращается к Джиму, глядит на него так, будто первый раз в жизни его видит, и спрашивает:

— Ты что-нибудь говорил?

— Нет, сэр, — отвечает Джим, — я ничего не говорил, сэр.

— Ни одного слова?

— Да, сэр, ни одного.

— А ты нас раньше видел?

— Нет, сэр, сколько припомню, не видал. Том повертывается к негру, — а тот даже оторочив глаза вытаращил, — и говорит строгим голосом:

— Что это с тобой творится такое? С чего тебе вздумалось, будто он кричал?

— Ох, сэр, это всё проклятые ведьмы, мне хоть помереть в ту же пору! Это всё они, сэр, они меня и гроб уложат, всегда напугают до смерти! Не говорите мне этого никому, сэр, а то старый мистер Сайлас будет ругаться; он говорит, что никаких ведьм нету. Жалко, ведь богу, что его тут не было, — любопытно, что бы он сейчас сказал! Небось на этот раз не отвергнулся бы! Да что уж, вот так и всегда бывает: кто поведется пить, тому не протрезвиться; сами ничего не увидят и только разоборать не могут, а ты увидишь да скажешь им, так они еще и не верят.

Том дал ему десять центов и пообещал, что мы никому не скажем; всаа ему купить еще ниток, чтобы не ревизывать себе волосы, а потом поглядя на Джима и говорит:

— Интересно, повесит дядя Сайлас этого негра или нет! Если бы я поймал такого небагодного негра, который посмеял убегать, так уж я бы его не отпустил, я бы его повесил!

А пока негр подходит к двери, разглядывая монету и пробовая на зуб, не фальшивая ли, Том шепчет Джиму:

— И видал не подавай, что ты нас знаешь. А если ночью уснешь, что копают, так это мы с Гексом! не хотим тебя освободить.

Джим только-только успел схватить нас за руки и пожать их, а тут и негр вернулся. Мы сказали, что и еще придем, если он нас возьмет с собой; а негр сказал, что еще не придет, особенно в темные вечера, — ведь было бы в темноте к нему привизываться, так это даже и лучше, чтобы побольше было народу.

ГЛАВА XXXV

До завтрака оставалось, должно быть, не меньше часа, и мы пошли в лес. Том сказал, что копать надо при свете, а от фонаря свет уж очень яркий, как бы с ним

не опачкелось! Лучше набрать побольше гнилушек, которые светятся, положить их где-нибудь в темном месте, и тогда будут светиться понемножку.

Мы притаились целую охапку сухих гнилушек, спрятав их в бурьяне, а сами сели отдохнуть. Том недовольно прорычал:

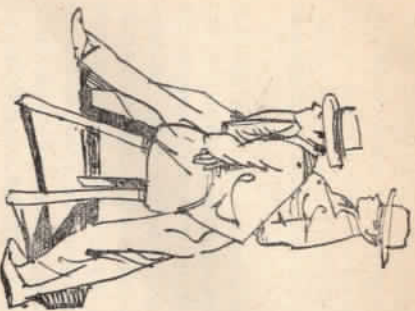
— А ей-богу, все это до того легко и просто, что даже простителю делается? Потому и трудно придумать как-нибудь план поинтересней. Даже сторожа нет, некому доложить аурманом, — а ведь сторож обязательно должен быть! Даже собаки нет, чтобы дать ей сонного лаять. Даже у Джима длинной в десять футов, только на одной ноге, и надеется на ножку кровати; всего и дела, что прикрепить эту ножку да снять цепь. А дядя Сайлас всякий раз прит: отдай каню какому-то безмогловому негру, и пусть он да этим негром не следит. Джим и раньше мог бы вылезти в окошко, только с десятифутовой цепью было бы не уйдешь. Просто досадно, Гек, ведь глупее ничего быть не может! Самому приходится выдумывать какие трудности. Что ж, ничего не поделаешь! Придется вынуждаться изворачиваться с тем, что есть под рукой. Но всякое случае, один плюс тут есть: для нас было бы очень выручать его из разных затруднений и опасностей, когда никто этих опасностей для нас не приоткрывает, и мы сами должны все придумывать из головы, вот это новее не наша обязанность. Взять хотя бы фоню. Если говорить прямо, приходится делать вид, будто мы с фондем опасно. Да тут хоть целую процессию с фонарями устраивай, никто и не почеснется, я думаю. Кстати, вот что мне пришло в голову: первым делом надо размясать что-нибудь такое, из чего можно сделать шар.

— А для чего нам шар?

— Как, для чего нам шар? Ведь нужно же отпугнуть шаром крошати, чтобы снять с нее цепь!

— Да ведь ты сам сказал, что цепь и так снимается, надо только приподнять ножку.

— Вот это на тебя похоже, Гек Финн! Непременно придумаешь самый что ни на есть детский способ. Что же ты неужели и книг никаких не читаешь? Ни о бароне Ринке, ни о Казанове, ни о Бенвенуто Челлини? А что Наваррский? Да мало ли еще знаменитостей! Или ж это слыхано, чтобы замоченных освобождали



Заклещешь веревочную лестницу на зубчатую стену, то скользянешь в ров, сломаешь себе ногу, потому что лестница коротка — целых девятидцати футов не хватает, а там уж тебя ждут лошади, и верные сауты хлывают тебя, кадут поперег ссда и везут в твой родной Ави геадок, или в Наварру, или еще куда-нибудь. Вот это я понимаю, Гек! Хорошо, если бы около этой хибары был ров! Если будет время, так в ночь побегу мы все выкопашем.

Я говорю:

— А на что нам ров, когда мы Джима выкрадем через поддон?

А он даже и не слушает. Забыл и про меня, и про все на свете, схватился рукой за подбородок и думает потом вздохнул, покачал головой, опять вздохнул и по ворит:

— Нет, это ни к чему, никакой надобности нет.

— Это ты про что? — спрашиваю.

— Да отплавивать Джиму ногу.

— Господи помилуй! — говорю. — Ну конечно, какая же в этом надобность? А для чего все-таки тебе надо мадось отплавивать ему ногу?

— Многие авторитеты так делают. Они не могут снять цепь — отрубали себе руку и тогда бежали. А не ту было бы еще лучше. Но придется обойтись без этого. Особой необходимости у нас нет, а кроме того

472

Адам — негр, и не поймет, для чего это нужно; ему даже не растолкуешь, что в Европе так принято... Нет, придется это бросить! Ну, а веревочную лестницу — это можно! мы разорвем свои простыни и в два счета сделаем Джиму веревочную лестницу. А пересалать ее можно будет в пирог. — уж это всегда так делают. И поухватывают пироги, да приходятся есть.

— Что ты это паешь, Том Соьер? — говорю я. — Не нужно Джиму никаких веревочных лестниц.

— Нет, нужно. Ты лучше скажи, что сам паешь неизвестно что, и ведь ничего в этом деле не смыслишь! Веревочная лестница ему нужна, у всех она бывает.

— А что он с ней будет делать?

— Что делать будет? Спрячет ее в тюфяк — не знает, что ли? Все так делают, значит, и ему надо. Гек, кажется, ничего не хочешь делать по правилам — каждый раз что-нибудь новенькое да придумаешь. Если даже эта лестница ему не пригодится, ведь она же останется у него в тюфяке после побегу? Ведь это уайка? Ты думаешь, уайки не понадобятся? Еще как! А ты хочешь, чтобы совсем уайки не остались? Вот это было бы прекрасное дело, нечего сказать! Я такого никогда в жизни не слышал.

— Ну, — говорю, — если уж так полагается по правилам, чтоб у него была лестница, — ладно, пускай будет, и после не хочу идти против правил. Одно только, Том Соьер: если мы порвем простыни, чтобы сделать Джиму лестницу, у нас будут неприятности с тетей Ссда, это уж как пить дать. А я так думаю: лестница на ореховой коре ничего не стоит, добро на нее изводить не нужно, а в пирог ее можно запечь не хуже, чем пирожиную, и в тюфяк спрятать тоже. А Джим не очень в этих делах разбирается, ему все равно, какую ни...

— Ну и чушь ты несешь, Гек Финн! Если б я не слышал ничего, так полагивал бы! Где это слыхано, чтобы государственный преступник бежал по лестнице из ореховой коры? Да это курам на смех!

— Ну ладно, Том, делай как знаешь; только все-таки, если хочешь послушать моего совета, лучше позаимствуй простыню с веревки.

Он сказал, что это можно. Тут у него ливнась еще одна мысль, и он сказал:

— Позаимствуй, кстати, и рубашку.

— А для чего нам рубашка, Том?

— Для Джима — вести дневник.

— Какой еще дневник? Джим и писать-то не умеет!

— Ну, положим, что не умеет, но ведь он сможет ставить какие-нибудь значки, если мы сделаем ему перо из оловянной ложки или из старого обруча с бочонком. Да что ты, Том! Можно выдернуть перо у гуся и лучше, и гораздо скорей.

— У уэзников гуся по камере не берут, чтобы можно было передь дергать, эх ты, голова! Они всегда делают перья из чего-нибудь самого твердого и неподходящего, вроде обломка медного подсвечника, да и мало ли что повернется под руку! И на это у них уходит много времени — недели, а то и месяцы, потому что перо они оттачивают об стенку. Гусиным пером они и писать ни за что не станут, хоть бы оно и оказалось под рукой. Это не принято.

— Ну ладно, а из чего же мы ему сделаем чернила?

— Многие делают из ржавчины со слезами; только это кто попросит и женщины, а знаменитости пишут своей кровью. И Джим тоже может; а когда ему понадобится известить весь мир, что он заключен, послать в мое простое таинственное сообщение, так он может нацарапать его вилок на жестяной тарелке и выбросить в окно. Железная Маска всегда так делала, и это тоже очень хороший способ.

— У Джима нет жестяных тарелок. Его кормят на миски.

— Это ничего, мы ему достанем.

— Все равно никто не разберет.

— Это вовсе не важно, Гек Финн. Его дело — написать и выбросить тарелку за окно. А читать ее тебе не зачем. Все равно половину разобьешь, а что они там пишут на тарелках или еще на чем.

— Тогда какой же смысла тарелки портить?

— Вот еще! Ведь это же не его тарелки!

— Все равно, чьи-нибудь, ведь верно?

— Ну так что ж? Уэзнику-то какое дело, чьи они? Он не договорил — мы услышали рожок, который звел к завтраку, и пошли домой.

На это утро мне удалось позаимствовать с веревки простыню и белую рубашку; я разыскал еще старый мешок и положила их туда, а потом мы взяли гнилушки и поехали туда сунул. Я называю это «заимствовать», потому что мой родитель всегда так говорил, но Том сказал, что это не ладно, а кража. Он сказал, что мы помогаем тенью, а ему все равно, как добыть вещь, лишь бы добыть и никто его за это не осудит. Вовсе не преступление, если уэзник украдет вещь, которая нужна ему для жизни, это его право; и для уэзника мы имеем полное право красть в этом доме все, что нам только понадобится для его освобождения из тюрьмы. Он сказал, что если бы мы были не уэзники, тогда, конечно, другое дело, и разве только уж самый последний неподдай, аришь какой-нибудь станет красть, если не сидит в тюрьме. Так что мы решили красть все, что только под руку подвернется. А как-то на днях, уже после этого, он завел целый разговор из-за пустяков — из-за того, что и стащила арбуз с огорода у негров и съел его. Он меня заставил идти и отдать неграм десять центов, не объясняя за что. Сказал, что красть можно только то, что понадобится. «Что же, — говорю, — значит, арбуз мне понадобится». А он говорит, что арбуз мне понадобится вовсе не для того, чтобы бежать из тюрьмы, — вот в чем разница. Говорит: «Вот если бы ты спрятал в нем нож для передачи Джиму, чтобы он мог убить тюремщика, тогда арбуз дело — все было бы в порядке». Ну, я не стала с ним спорить, хотя не вижу, какой мне интерес стараться для уэзника, если надо сидеть да раздумывать над всякими тонкостями каждый раз, как подвернется случай стащить арбуз.

Так вот, я уже говорил, что в это утро мы положили, пока все разойдутся по своим делам и во дворе никого не будет видно, и только после этого Том отнес мешок в пристройку, а я стояла во дворе — сторожила. Он скоро вышел оттуда, и мы с ним пошли и сели на бревна — поговорить. Он сказал:

— Теперь все готово, кроме инструмента; ну а это можно достать.

— Кроме инструмента?

— Ну да.

— Это для чего же инструмент?

— Как для чего? Чтобы копать. Ведь не зубами же мы землю выгрызать будем?

— А эти старые мотыги и лопаты, что в пристройке, не годятся разве? — спрашиваю.

Он оборачивается ко мне, глядит с таким сожале-нием, что просто пакать хочется, и говорит:

— Гек Финн, где это ты слышал, чтоб у уэингов были мотыги и лопаты и всякие новейшие приспособав-ния, для того чтобы вести подконт? Я тебя спрашиваю, если ты хоть что-нибудь сообщаешь: как же он про-свадится? Уж тогда чего проще — дать ему ключ, и де-ло с концом. Мотыги, лопаты! Еще чего! Да их и коро-лям не дают.

— Ну ладно, — говорю, — если нам мотыги и лопаты не подойдут, тогда что же нам нужно?

— Ножи, как у масников.

— Это чтобы вести подконт под хибарку?

— Ну да!

— Да ну тебя, Том Соьер, это просто гауно.

— Все равно, гауно или не гауно, а так полагается — самый правильный способ. И никакого другого способа нет; сколько я ни читал в книжках про это, мне не при-ходилось слышать, чтобы делали по-другому. Всегда ко-пают ножом, да не землю, замест себе, — всегда у них там твердая скала. И сколько времени на это уходит, не-деша за неделей... а они все копают, копают! Да вот, на-пример, один уэинк в замке д'Иф, в Марсельской гава-ни, рылся-рылся и вышел на волю таким способом. И как ты думаешь, сколько времени он копал?

— Я почем знаю!

— Нет, ты отгадай!

— Ну, не знаю. Месяца полтора?

— Тридцать семь лет! И вышел из-под земли в Ки-тае. Вот как бывает! Жалко, что у нас тут тюрма сто-ит не на скале!

— У Джима в Китае никого и знакомых нет.

— А при чем тут знакомые? У того уэинка тоже не-было знакомых. Всегда ты соображаешься с толку. Дернись бы ближе к делу!

— Ну ладно, мне все равно, где бы он ни вышел, лишь бы выйти на волю; и Джиму тоже, я думаю, все равно. Только вот что: не такой Джим молодой, чтобы его ножом откапывать. Он помрет до тех пор.

Нет, не помрет. Неужели ты думаешь, что нам понадобится тридцать семь лет? Ведь копать-то мы бу-дем легкую землю!

А сколько понадобится, Том?

— Ну, нам ведь нельзя копать столько, сколько по-требует, а то как бы дяде Сайласу не написали оттуда, из под Нового Орлеана. Как бы он не узнал, что Джим здесь не отсюда. Тогда он тоже что-нибудь напишет, — пишет, обывание про Джима, я почем знаю... Значит, он не может riskовать — возиться с подконт столько, сколько полагается. По правилам надо бы, я думаю, ко-пать два года; но нам этого никак нельзя. Известно, что раньше будет, а потому я советую сделать так: ко-пать по-настоящему, как можно скорее, а потом взять из и пообразить, будто мы копали тридцать семь лет. Тогда можно будет в два счета его выкрасть и увезти, так только поднимется тревога. Да, я думаю, что это будет самое лучшее.

— Ну, тут еще есть какой-то смысл, — говорю. — Во-первых, нам ничего не стоит, и хаопот с этим никаки; и ни надо, так я могу вообразить, что мы поатораста лет копали. Это мне нетрудно, стоит только привыкнуть. Так и сейчас сбегану достану где-нибудь два ножа.

— Достань три, — говорит он, — из одного мы сде-лаем пилу.

— Том, если такое предложение не против права и не против религии, — говорю я, — так вон там, под на-шим подвалом континдин, есть ржавая пилла.

Он посмотрел на меня вроде как бы с досадой и с отчаянием и сказал:

— Тебе почему путному не научишь, Гек, нечего и спрашивать! Беги доставай ножи — три штуки! И и побежал.

ГЛАВА XXXVI

В ту ночь, как только все уснуло, мы спустились во двор по громоотводу, затворились в сарайчике, выслы-зали на пол кучу гнилушек и принялись за работу. Мы расчистили себе место, футов в пять или шесть, вдоль южного бревна. Том сказал, что это будет как раз за прохлатью Джима, под нее мы и подадем подконт, а ко-гда кончим работу, никто даже не узнает, что там есть

дыра, потому, что одело у Джима висит чуть не до самой земли, и только если его приподнимешь и задвинешь под кровать, тогда будет видно. Мы копали и копали ножами чуть не до полуночи, устан, как собачьи, и руки себе натерли до водыррей, а толку было мало. Наконец я говорю:

— Знаешь, Том Соьер, это не на тридцать семь лет работа, а, пожалуй, и на все тридцать восемь.

Он ничего не ответил, только вздохнул, а после того скоро бросил копать. Вижу, задумался и думал до полночи долог; потом говорит:

— Не стоит и стараться, Гек; ничего не выйдет. Если бы мы были уинни, ну тогда еще так, потому что времени у них сколько угодно, торопиться некуда; да и копать пришлось бы пять минут в день, пока сменится часовых, так что водыррей на руках не было бы; тогда мы и копали бы себе год за годом, и все было бы правильно — так, как полагаются. А теперь нам дружка не надо. Если мы еще одну ночь так прокопашем, придется на неделю бросать работу, пока водырри не придут, раньше, пожалуй, мы и ножа в руки взять не сможем.

— Так что же нам делать, Том?

— Я тебе скажу что. Может, это и неправильно, и нехорошо, и против нравственности, и нас за это осудят, если узнают, но только другого способа все равно нет: будем копать мотыгами, а воображим, будто это наши

— Вот это дело! — говорю. — Ну, Том Соьер, голова у тебя и раньше здорово работала, а теперь еще лучше. Мотыги — это вещь, а что нехорошо и против нравственности, так мне на это ровным счетом наплевать. Когда мне вздумается украсть негра, или арбуз, или учебник из воскресной школы, я разбираться не стану, а там по правилам полагаются делать, лишь бы было сделано. Что мне нужно — так это негр, или арбуз, или учебник; если мотыгой ловчее, так я мотыгой и откопачу этого негра, или там арбуз, или учебник; а твои авторитеты пускай думают, что хотят, я за них и дохой крысы не дам.

— Ну что ж, — говорит, — в таком деле можно и пообразить что-нибудь, и мотыгу пустить в ход; а если бы не это, я и сам был бы против, не позволила бы себе нарушать правила: что полагается, то полагается, а что

нет — то нет; и если кто знает, как надо, тому нельзя действовать без разбору, как пошло. Это тебе можно отказать Джима мотыгой, просто так, ничего не воображая, потому что ты рошно ничего не знаешь; а мне нельзя, потому что я знаю, как полагается. Дай сюда нож!



— Дай сюда нож!

И сначала не знал, что делать, потом сообразил. Пошел и купил старья, разыскал кирку и поднес ему, а он кинул и давай копать и ни слова мне не говорят.

Он и всегда был такой привередник. Все у него по правилам. Я взял тогда лопату, и мы с ним давай орудовать то киркой, то лопатой, так что только комья летели. Копали мы, должно быть, полчаса — больша дыра, очень устан, и то получалась порядочная дыра. И подишься к себе наверх, подошла к окну и вижу: Том старается воню — хочет влезть по громостову, только ничего у него не получается с водыррями на руках. В конце концов он сказал:

— Ничего не выхлещу, никак не могу влезть. Как подумаю, что мне делать? Может, придумаешь что-нибудь?

— Да, — говорю, — только это, пожалуй, против правил. Ступай по лестнице, а вообрази, будто это громостов.

Так он и сделал.

На другой день Том стащил в большом доме оловянную ложку и медный подсвечник, чтобы насажать Джиму перьев, и еще шесть свальных свечей; а я все тапачился вокруг негрятинских хижин, поджидая удобного случая, и стащил три жестяные тарелки. Том сказал, что этого мало, а я ответил, что все равно никто этих тарелок не увидит, потому что, когда Джим выбросит их и они, они упадут в бурьян около собачьей конуры, мы

их тогда подберем,— и пускай он опять на них пишет Том успокоился и сказаа:

— Теперь надо подумать, как переправить нещи Джиму.

— Протащим их в дыру,— говорю,— когда кончим копать.

Он только посмотрел на меня с презрением и вырзился в таком роде, что будто бы отродясь не слыша про такое напостоство, а потом опять стаа думать. И в конце концов сказаа, что наметил два-три способа, тоавно останавливаться на каком-нибуаь из них пока нет надобности. Сказаа, что сначала надо поговорить с Джимом.

В этот вечер мы спустились по промостоу в начале оаинадцатого, захватили с собой одну свечку, постояа под окошком у Джима и услышали, что он храпит; тогда мы бросили свечку в окно, но он не проснулся. Мы начали копать киркой и лопатой, и часа через два с лопатиной вся работа была кончена. Мы вылезли под вать к Джиму, а там и в хибарку, пошарили ощупью, нашли свечку, зажгли ее и сначала постояа около Джима, погладили, какой он,— оказааось, что крепкий и дюроый с виду,— а потом стаа будить его потихоньку. Он так нам обрадована, что чуть не заплакаа, називаа нас «голаубчиками» и всякими ласковыми именами, потом захотел, чтобы мы сейчас же принесли откуда-нибуаь аубаа, сняли цепь у него с ноги и убежали бы вместе с ним, не теряя ни минуты. Но Том доказаа ему, что это будет не по правилам, сел к нему на кровать и расказаа, какие у нас планы и как мы все это перемены и один ми, если поднимется тревога; и что боаться ему нечего — мы его освободим обязааельно.

Тогда Джим согласиася и сказаа: пускай все том и будет. И мы еще доаго с ним сидели; сначала тоаковали про старые времена, а после Том стаа его про все расспрашивать, и когда узнаа, что дядя Сайлас прихотел чуть ли не каждый день и моаится вместе с ним, а тоаи Сайлас забегает узанат, хорошо ли ему тут и сыт ли он,— добрей и быть неабуа! — то сказаа:

— Ну, теперь я знаю, как это устроить. Мы тогда кое-что будем посмаать с ними.

Я ему говорю:

— Вот это ты напрасно, про такое напостоство я отроду не слыхаа!

Но он даже не обратива внимания на мои слова и продолжала рассказывать даавше. Он и всегда был таакой, если что задумает. Он сказаа Джиму, что мы должны ему пирог с лепешницей и другие крупные вещи, а Ната — того негра, который носит ему еду, а ему надо только гуадеть в оба, ничему не удивляться и тоавно стараться, чтобы Нат не видел, как он их достанет. А щии поавьче мы будем класть дяде в карманы, и Джиму надо только будет их оттуда незаметно выаинить, будем также привизывать к тесемкам теткинотого фартука или класть ей в карман, когда повернется спави. Сказаа ему также, какие это будут вещи и для чего они. А еще Том научил его, как вести дневник на рубааше, и несему, чему следует. Все ему расказаа. Джим выслушав не мог понять, зачем все это надо, но решил, что нам лучше знать, раз мы беаьме; в общем, он остаася доволен и сказаа, что так все и сделаа, как Том веаеа.

У Джима было много табаку и трубок из маисовых выаитков, так что мы очень неплохо провели время; потом вылезли обратно в дыру и пошли спать, тоавко руаи у нас были все ободранные. Том очень радована, гоавила, что еще никогда у него не было такой веселой иаиры и такой богатой пиши для ума; и если бы только он узнаа, как это сделаа, он бы всю жизнь в нее играа, а потом записал бы нашим аетам освобоаить Джима, поаому что Джим, конечно, со временем припыкает и ему все больше и больше будет ааать нравиться. Он сказаа, что это аело можно растинуть ает на восемьдесят и поаавить ренора. И тогда все, кто в нем участвоваа, проаавится, и мы тоже прославиася.

Утром мы пошли к поаеннице и изрубили подсветини топором на мелкие части, и Том положиа их вместе с дошкой к себе в карман. Потом мы пошли к неаитинным хижинам, и, пока я разговорами отвояаа негра глааву, Том засунуа кусок подсветника в маисовую лепешку, которая лежала в миске для Джима, а после того мы приподняли Ната к Джиму, чтобы посмотреть, что поуаинит. И поуаиниась замечательно: Джим откусил кусок лепешки и чуть не ободомаа все зубь — ауще и быть не могло. Том Сойер сам так сказаа. Джим и виду не поааа, сказаа, что это, должно быть, камешек или еще что-нибуаь попалось в хлебе — это бывает, знаете ли,— тоавко после этого он никогда ничего не кусаа так пря-

мо, а сначала всегда возьмет и потыкает вилкой места в трех-четыре.

И вот стоим мы в темноте, как вдруг из-под Липиной кровати выскакивают две собаки, а там еще и еще, пока не набралось штук одиннадцать, так что прямо-таки негде было повернуться. Ей-богу, мы забыли запереть дверь в пристройке! А негр Нат как заорет: «Ведьмы!» — повалился на пол среди собак и стонет, точно поминать собрался. Том распахнул дверь настежь и выкинул на двор кусок мяса из Джимовой миски, собаки бросились за мясом, а Том в одну секунду выбежал, тут же вернулся и захлопнул дверь, — и я понял, что дверь в сарайчик он тоже успел прикрыть, — а потом стал обрабатывать негра — все уговаривая его, утешая и расспрашивая, уж не померещилось ли ему что-нибудь. Негр встал, поморгал глазами и говорит:

— Мистер Сид, вы небось скажете, что я дурак! Только помереть мне на этом самом месте, если и споним глазами не видел цульи мняон собак, или чертей, или я уж не знаю кого! Ей-богу, видел! Мистер Сид, я их чувствовал, — да, сэр! — они по мне ходили, по испугу теу. Ну, попалась только мне в руки какая-нибудь негодма, пускай хоть бы один-единственный разок, — уж и она ей показала! А лучше оставили бы они меня в покое, больше я ничего не прошу.

Том сказал:

— Ладно, я тебе скажу, что я думаю. Почему они сюда прибегают всякий раз, когда этот беглый негр валяется? Потому что есть хотят — вот почему. Ты им испеки закодированный пирог — вот что тебе надо сделать.

— Господи, мистер Сид, да как же я испеку такой пирог? Я и не знаю, как его печь. Даже и не слышала отродясь про такие пироги.

— Ну что ж, тогда придется мне самому печь, — Неужто испечете, голаубчик? Испеките, да я вам за это что угодно — в ножки поклонюсь, вот как!

— Ладно уж, испеку, раз это для тебя: ты ведь к нам хорошо относишься, беглого негра нам показывал. Только уж смотри будь осторожней. Когда мы придем, ты повернись к нам спиной, и боже тебя упаси ради, что мы будем класть в миску! И когда Джим будет вынимать пирог, тоже не гляди — мало ли что мож-

ет случиться, я потом знаю! А главное, не трогай ничего закодированного.

— Не трогать? Да господь с вами, мистер Сид! Я и пирогом ни до чего не дотронусь, хоть озоли меня!

ГЛАВА XXXVII

Это дело мы уладили, потом пошли на задний двор, в мусорную кучу, где валялись старые сапоги, тряпки, битые бутылки, дырявые кастрюльки и прочий хлам, пошарив в нем и разыскали старый жестяной таз, заперев на замочек дырки, чтобы испечь в нем пирог, спущенный в погреб и насыпав полный таз муки, а отступив шагов пятьдесят, мы пошли на кухню, где стоял котел, и Том сказал, что они пригодились узнику — выпаривать ими на стене темницы свое имя и свои замечания; один гвоздь мы положили в карман фартука этой Сайли, который висел на стуле, а другой заткнули за пояс на шпиль для Сайласа, что лежала на конторке от детей мы слышали, что папа с мамой собираются в город утром пойти к беглому негру. Потом мы сели за стол, и Том опустил оловянную ложку в дырки карман. Говорю тебе Сайли еще не было — пришлось ее дожидаться. А когда она сошла к завтраку, то была вся красная и сердитая и едва дождалась молитвы; одной рукой она разминала кофе, а другой все время стучала наперстком по голове того на ребит, который подергивался под руку, а потом и говорит:

— Я некая-некая, несь дом перевернула и просто ума не приложу, куда могла деваться твоя другая рубашка!

Сердце у меня упало и запуталось в кишках, и кусок мискиной лепешки стал поперек гора; я зашаривая, кинул у меня выскокила, полетел через стол и угодил в разд одному из ребятшек, так что он завертелся, как шарик на крышке, и заорал во все гора; а Том даже нехотел поспешить от страха. И с четверть минуты или около того наше положение было незавидное, и я бы свою долю продал за полцены, если бы нашелся покупатель. Но после этого мы скоро успокоились — это только от неожиданности нас как будто вышибло из косяка. Дядя Сайлас сказал:

— Удивительное дело, я и сам ничего не понимаю Отлично помню, что я ее знал, потому что...

— Потому что на тебе надела одна рубашка, а не две. Тебя послушай только! Вот я так действительно знаю, что ты ее знала, лучше тебя знаю, потому что вчера она сушилась на веревке — я своими глазами ее видела. А теперь рубашка пропала, вот тебе и все! Будешь теперь носить красивую французскую фуфайку, пока и не выберу время сшить тебе новую. За два года это уже третью рубашку тебе приходится шить. Горят они на тебе, что ли? Просто не понимаю, что ты с ними делаешь, только и знай — шей тебе рубашки! В твои годы пора бы научиться беречь вещи!

— Знаю, Салли, я уж стараюсь беречь, как товарно можно. Но тут не я один виноват — ты же знаешь, что я их только и вижу, пока они на мне, а ведь не мог же я сам с себя потерять рубашку!

— Ну, это уж не твоя вина, Сайлас: было бы можно, так ты бы ее потерял, я думаю. Ведь не только эта рубашка пропала. И ложка тоже пропала, да и это еще не все. Было десять ложек, а теперь стало всего девять. Ну, рубашку, я думаю, теленок съел, но ложку-то он не мог проглотить, это уж верно.

— А еще что пропало, Салли?

— Подожгины свечей пропало — вот что пропало! Может, крысы их съели? Я думаю, что это они; удлинительно, как они весь дом еще не изгрызли! Ты все собираешься заделать дыры и никак не можешь собраться! Будь они похитрей, так спали бы у тебя на голове, а ты бы ничего не почувдал. Но ведь не крысы же стащили ложку, уж это-то я знаю!

— Ну, Салли, виноват, сознаюсь, — это моя оплошность. Завтра же обязательно заделаю все дыры!

— Куда так спешить, и в будущем году еще успеешь. Матильда Эндржеллиа Арамита Фелпс!

Трах! — наперсток стукнул, и девочка выгнала руку из сахарницы и смиренно уседалась на месте. Вдруг пробегает негрятинка и говорит:

— Миссис Салли, у нас простыня пропала!

— Простыня пропала! Ах ты господин!

— Я сегодня же заткну все дыры, — говорит Адам Сайлас, а сам, видно, расстроился.

Замолчи ты, покажишь Крысы, что ли, стянули простыню! Как же это она пропала, Адам?

— Ей-богу, не знаю, миссис Салли. Вчера висела на веревке, а теперь пропала: нет и след.

— Ну, должно быть, свесилась, начинается. Ничего подобного не выдвигай, сколько живу на свете! Рубашка, простыня, ложка и замочники свечей...

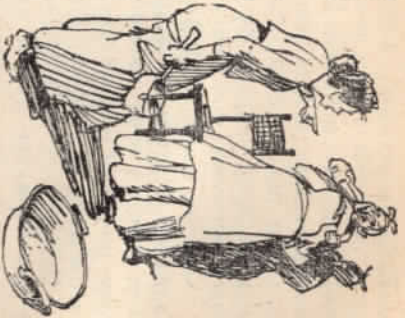
Миссис, — вбегает молодая мулатка, — медный подносик куда-то девался!

— Убирайся вон отсюда, дрянь этакая! А то как заведу и тебя кофейником!..

Тети Салли просто вся кипела. Визгу — надо уйти при первой возможности; улизну, думаю, потихоньку и буду сидеть в ассу, пока гроза не пройдет. А тетя Салли разоседалась, просто удержу нет, зато все остальные притихли и присмирели; и вдруг дядя Сайлас вымывает из кармана эту самую ложку, и вид у него довольно грустный. Тети Салли всплеснула руками и закричала, разинув рот, — а мне захотелось убрать ее куда-нибудь подальше, — но нечаянно, потому что она сейчас же сказала:

— Ну, так и я думаю! Значит, она все время была у тебя в кармане; надо подлатать, и все остальное тоже так. Как она туда попала?

— Право, не знаю, Салли, — говорит дядя, вроде как бы оправдываясь, — а не то я бы тебе сказал. Перед завтраком я сидел и читал «Дейния апостолов», главу тринадцатую, и, должно быть, нечаянно положил в карман ложку вместо Евангелия... наверно, так, потому что Евангелия у меня в кармане нет. Сейчас пойду посмотрю, если Евангелие там лежит, значит, я положила его не в карман, а на стол и взяла ложку, а после того... — Ради бога, замолчи! Дайте мне покой! Убирайтесь отсюда все, все до единого, и не подходите ко мне, пока я не успокоюсь!



нок помог, и крысы, и путаница в счете; ну а с нощным свечником тоже как-нибудь дело обойдется, это не важно.

Зато с пирогом была возня: мы с ним просто дамычались. Мы его месили в лесу и пекли там же; в конце концов все сделали, и довольно прилично, но не в один день; мы извели три полных таза муки, пока его постряпали, обожгли себе все руки, и глаза разбегались; нам, понимаете ли, нужна была одна только порка, а она никак не держалась, все проваливалась. Но в конце концов мы все-таки придумали, как надо сделать: положить в пирог дестиницу да так и запечь вместе. Вот на другую ночь мы уселись вместе с Джинном, порвали всю простыню на узенькие полоски и свили из вместе, и еще до рассвета полуналили у нас замечательная веревка, хоть человека на ней вешай. Мы прообрали, будто делали ее девять месяцев.

А перед обедом мы отнесли ее в лес, но только в пирог она не влезла. Если б понадобилось, этой веревки хватило бы на сорок пирогов, раз мы ее сделали из целой простыни; осталось бы и на суп, и на кобальт, и на что угодно. Целый обед можно было приготовить. Но нам это было ни к чему. Нам было нужно ровно столько, сколько могло влезть в пирог, а остальное мы выбросили. В умывальном тазу мы никаких пирогов не пекли — боялись, что замазка отвалится; зато у дяди Сайласа оказалась замечательная медная тигель с длинной деревянной ручкой, он ею очень дорожил, потому что какой-то там благородный предок привнес ее из Англии вместе с Вильгельмом Завоевателем на «Мейфауэре» или еще на каком-то из первых кораблей и спрятал на чердаке вместе со всякими старыми и другими ценными вещами; и не то чтобы они дорожили стояли — они вовсе ничего не стояли, а просто были ему дороги как память; так вот мы ее стащили потихоньку и отнесли в лес; но только сначала пироги в ней тоже не удавались — мы не умели их печь, а зато в последний раз здорово полуудались. Мы взяли тигель, обмазали ее внутри тестом, поставили на угли, запылили туда веревку, опять обмазали сверху тестом, накрыли крышкой и засыпали горячими углями, а сами стояли шагах в пяти и держали ее за длинную

ручку, так что было и не жарко и удобно, и через четверть часа испекся пирог, да такой, что одно загадывать. Только тому, кто стал бы есть этот пирог, надо было бы сначала запастись пачек сто зубочисток, да и минут бы у него заболело от этой веревочной дестиницы — небось скрючило бы в три погребка! Не скоро испекся бы еда, я-то уж знаю!

Мат не стал смотреть, как мы казали заколдованный пирог Джиму в миску, а в самый низ, под провинцию, мы сунули три жестяные тарелки, и Джим все это положил в полный порядок; а как только остался один, разложил пирог и спрятал веревочную дестиницу к себе в тофик, а потом напирала какие-то каракули на тарелке и выбросил ее в окно.

ГЛАВА XXXVIII

Делать эти самые перья было сущее мученье, да и пилу тоже; а Джим боялся, что всего трудней будет в пилансью, с той самой, которую узник должен выдирать на стене. И все-таки надо было, — Том сказал, что без этого нельзя; не было еще ни одного случая, чтобы государственный преступник не оставил на стене надписи и своего герба.

— Возьми хоть дяди Джейн Грей, — сказал он, — или Гилфорда Дидди, или хоть старика Нортумберленда! А что же делать, Гек, если возни с этим много? Как же иначе быть? Ведь без этого не обойдешься! Все равно Джиму придется делать и надписи и герб. Все делают.

Джим говорит:

— Что вы, мистер Том! У меня никакого герба нету, ничего у меня нет, кроме вот этой старой рубахи, а на ней мне надо вести дневник, сами знаете.

— Ты ничего не понимаешь, Джим; герб — это совсем другое.

— А все-таки, — говорю я, — Джим верно сказал, что герба у него нету, потому что откуда же у него герб?

— Мне это тоже известно, — говорит Том, — только герб у него непременно будет, еще до побед, — если бедать, так уж бежать по всем правилам, честь по чести.

И пока мы с Джимом точили перья на киринче — Джим медное, а я из оловянной ложки. — Том приду-мывал ему герб. Наконец он сказал, что ему вспомни-лось очень много хороших гербов, так что он даже не знает, который взять; а впрочем, есть один подходящий, на нем он и остановится.

— На рыцарском щите у нас будет золотой полумесяц внизу справа — крест — это значит опасность, и на нем лежащая собака — это значит опасность, а под лапой у нее цепь, украшенная зубьями, — это рабство; зеленый шеврон с зарубками в верхней части, три волгнутые линии в лазурном поле, а в середине ни-та — герб и кругом лазурини; сверху — беглый негр, чернью, с узелком через плечо, на черной полосе с де-вой стороны, а внизу две червленые подставки подде-рживают щит — это мы с тобой; девиз «Magnum fretta, minore alt». Это я из книжки взял — значит: «Тыше едешь — давай будешь».

— Здорово! — говорю. — А все остальное-то что значить?

— Нам с этим возиться некогда, — говорит Том, — нам надо кончать поскорее, да и удрать отсюда.

— Ну хоть что-нибудь скажи! Что значит «по-вязка»?

— Повязка — это... в общем, незачем тебе знать, что это такое. Я ему покажу, как это делается, когда надо будет.

— Как тебе не стыдно, — говорю, — мог бы все-таки сказать человеку! А что такое «черная полоса с левой стороны»?

— Я почему знаю! Только Джиму без нее никак нельзя. У всех ведьмоя она есть.

Вот он и всегда так. Если не захочет почему-нибудь объясниться, так ни за что не станет. Хотя неслучайно и не-му приставай, все равно толку не будет.

Уладив дело с гербом, он принялся за оставшуюся ра-боту — стал придумывать надпись пожалобнее; сказал, что Джиму без нее никак нельзя, у всех она бывает. Он придумал много разных надписей, написал на бу-мажке и прочел нам все по порядку:

«1. Здесь разорвалось сердце уединика».

2. Здесь бедный псалник, покинутый всем светом и друзьями, влалча свое печальное существование».

3. Здесь разбилось одинокое сердце и усталый дух ищется на покой после тридцати семи лет одиночного замочения».

4. Здесь, без семьи и друзей, после тридцати семи лет горестного заточения погиб благородный незнако-мый, побочный сын Людовика Четырнадцатого».

Голое Тома дрозда, когда он читал нам эти надпи-си, он чуть не плакал. После этого он никак не мог ре-шить, которую надпись выбрать для Джима, — уж очень все они были хороши; и в конце концов решил, чтобы Джим выдвинул на стене все эти надписи. Джим ска-зал, что тогда ему целый год придется возиться — вы-паривать столько всякой чепухи гвоздем на бревно, да он еще и буквы-то писать не умеет; но Том ответил, что он сам ему наметит буквы начерно, и тогда ему ни-что не надо будет делать — только обвести их, и все. Потом он помогал немного и сказал:

— Нет, как подумаешь, все-таки бревна не годятся: в торцах не бывает бревенчатых стен. Нам надо вы-добывать надпись на камне. Ну что ж, достанем камень».

Джим сказал, что камень будет еще хуже бревна и улетит такая пропасть времени, пока все это выдо-бывать, что этак он и не освободится никогда. Том ска-зал, что я ему буду помогать, и подошел посмотреть, все у нас поднимается дело с первыми. Ужасно скучная и противная была работа, такая с ней возни! И руки у меня никак не заживали после водырей, и дело у нас что-то пахло дингалою, так что Том сказал:

— Я знаю, как это уладить. Нам все равно нужен камень для герба и для скорбных надписей, вот мы и уберем двух зайцев одним камнем. У лесопилки нава-стен здоровый жернов, мы его стачим, выдолбим на нем все, что надо, а заодно будем оттачивать на нем перья и пила тоже».

Мысль была неплохая, да и жернов тоже был ни-что себе, и мы решили, что как-нибудь справимся. Еще не было полудня, и мы отправились на лесопилку, а Джима усадили работать. Мы стачили этот жернов и покатали его домой; ну и работа же с ним была — просто аскал! Как мы ни старались, а он все валался нибок, и нас чуть-чуть не придавило. Том сказал, что что-нибудь одного непременно придавит жерновом,

— А пока я буду пробовать, змея меня укусит, тогда уж поздно будет. Мистер Том, я на все согласен, если надо, что хотите сделать; но только если вы с Томом притащите премучную змею, чтобы я ее приручил и отсюда уберу, верно нам говорить!

— Ну ладно, пускай, раз ты такой упрямый. Мы тебе доставим змею, а ты навязки им пуговиц на хвосты, будто бы это гремучки,—сойдет и так, я думаю.

— Ну, это еще туда-сюда, мистер Том, хотя, свозить вам по правде, не больно-то они мне нужны. Вот уж не думаю, что такое это хапоптанное дело — быть узником.

— А как же, и всегда так бывает, если все делается по правилам. Крысы тут у тебя есть?

— Нет, сэр, ни одной не видаю.

— Ну, мы тебе раздобудем крыс.

— Зачем мистер Том? Мне крыс не надо! Хвосты крыс ничего на свете нет: никакого от них покою, так и бегают по всему телу и за ноги кусают, когда спать хочешь, и мало ли еще что! Нет, сэр, уж лучше поустите мне змей, коли нельзя без этого, а крысы мне ни каких не надо — на что они мне, ну их совсем!

— Нет, Джим, без крыс тебе нельзя, у всех они бывают. И, пожалуйста, не упирайся. Узнику без крыс никак невозможно, даже и примеров таких нет. Они на воспитывают, приучают, учат разным фокусам, и крысы к ним привыкают, лезут, как мухи. А тебе надо им их приманивать музыкой. Ты умешь играть на чемнибудь?

— У меня ничего такого нет, разве вот гребенка в бумажной да еще губная гармошка; им, я думаю, интересно будет слушать.

— Отчего же неинтересно! Им все равно, на чем ни играют, была бы только музыка. Для крыс сойдет и губная гармошка. Все животные любят музыку, а в тюрьме так просто жить без нее не могут. Особенно не ли что-нибудь грустное; а на губной гармошке только такое и получается. Им это всегда бывает любопытно, они высовываются посмотреть, что такое с тобой делается... Ну, теперь у тебя все в порядке, очень хорошо все устроилось. По вечерам, перед сном, ты сидишь на кровати и играй, и по утрам тоже. Играй «Нанси ро-

ландер миз» — это крысам скорей всего должно понравиться. Поиграешь минуты две — сам увидишь, как за крысы, змеи, пауки и другие твари соскучатся и вылезут. Так и начнут по тебе лазить все вместе, ку-привалятся... Вот увидишь — им сделается очень весело!

— Да, им-то еще бы не весело, мистер Том, а вот весело мне будет? Не вижу я в этом ничего хорошего. Ну, если надо, что ж, ничего не поделаешь. Уж буду прилаживать, только бы нам с вами не поссориться. Том постоял еще, подумал, не забыл ли он чего-нибудь, а потом и говорит:

— Да, еще одно чуть не забыл. Можешь ты здесь вырастить цветов, как по-твоему?

— Не знаю, может, я и вырастила бы, мистер Том, но только уж очень темно тут, да и цветов мне ни к чему — хаопот с ним не оберешься.

— Нет, ты все-таки попробуй. Другие узники выращивали.

— Какой-нибудь репей, этаким длинный, вроде роз, пожалуйста, вырастет, мистер Том, только стоит ли этим возиться, радость невелика.

— Ты про это не думай. Мы тебе доставим совсем особенный, ты его посади вон в том углу и выращивай. Да если его не репей, а «пиччола»¹, — так подается, так он растет в тюрьме. А поливать будешь своими слезами.

— Да у меня из колодца много воды, мистер Том.

— Вода из колодца тебе ни к чему, тебе надо поливать цветочек своими слезами. Уж это всегда так делается.

— Мистер Том, вот увидите, у меня от воды он так будет расти хорошо — другому и со слезами за мной не придется!

— Не в том дело. Обязательно надо поливать слезами.

— Он у меня завянет, мистер Том, ей-богу, завянет: ведь я и не плачу почти что никогда.

Даже Том не знал, что на это сказать. Он все-таки подумал и ответил, что придется Джиму как-нибудь поплакаться — дулом, что ли, потереть глаза. Он пообедал, что утром потихоньку сбегает к негрятинским

¹ Пиччола — стебелек, цветочек (итал.).

хитникам и бросит луковницу ему в кофейник. Джим не это сказал, что уж лучше он себе табак в кофей не сыплет, и вообще очень ворчал, ко всему припрямил и ничего не ждал делать: ни возиться с репейником, ни играть для крыс на гармошке, ни заманивать и притравливать змей, пауков и прочих тварей; это кроме всякой другой работы: изготовления перьев, напильей, аяков и всего остального. Он говорил, что быть у него — каторжная работа, хуже всего, что ему до сих пор приходилось делать, да еще и отвечать за все надо. Том даже рассердился на него в конце концов и сказал, что такой замечательной возможности просланивать еще ни у одного узника никогда не было, а он ничем этого не ценит, все только пропадает даром — не в коня корм. Тут Джим раскаялся, сказал, что он больше никогда спорить не будет, и после этого мы с Томом ушли спать.

ГЛАВА XXXIX

Утром мы сходили в город и купили проволоку, крысоловку, принесен ее домой, откупорили самую большую крысину нору, и через какой-нибудь час у нас набралось штук пятнадцать крыс, да еще каких-то мышек здоровеньких! Мы взяли и поставили крысоловку в надежное место, под кровать к тете Салли. Но покуда мы ходили за пауками, маленьким Томас Франклин Бенджамен Джефферсон Александер Фелпе наша там и открыл дверь — посмотреть, вылезут ли крысы, и они, конечно, вылезли; а тут вошла тети Салли, и когда мы вернулись, она стояла на кровати и выжидала во весь годос, а крысы старались, как могли, чтобы ей не было скучно. Она схватила ореховый прут и отстегала нас обоим так, что пыль летела, а потом мы часа два ловили еще пятнадцать штук, — провалялись бы этому мальчишке, везде лезет! — да и крысы-то попадались так себе, неважные, потому что самые что ни на есть отборные были в первом улове. Я отродясь не видел таких здоровенных крыс, какие нам попались в первый раз.

Мы наловили самых отборных пауков, лягушек, жуков, гусениц и прочей жинности; хотели было захватить

и такой острое гнездо, а потом раздумали: осы были в гнезде. Мы не сразу бросили это дело, а сидели, дожидаясь, сколько могли вытерпеть: думаем, может, мы на них живем, а вышло так, что они нас выжили. Мы наловили нашатыря, натерли им укусы, и почти что все прошло, только садиться мы все-таки не могли. Потом мы пошли за змеями и наловили десятка два ужей и медяниц, посадили их в мешок и положили в нашей комнате, а к тому времени пора было ужинать; да мы и перебрались в тот день как следует, на совесть, а уж провалялись — и не говорите! А когда мы вернулись, на одной змее в мешке не было: мы его, должно быть, накрошили, и они ухитрились как-то вылезти и все пролезли. Только это было не важно, потому что все они остались тут, в комнатах, — и мы так и думаем, что опять на переводем. Но еще долго после этого змей в доме было сколько угодно! То и дело они валялись с потолка на нас еще откуда-нибудь и обыкновенно норовили попрыгать к тебе в тарелку или за шиворот, и всегда не вовремя. Они были такие красивые, полосатые и ничего плохого не делали, но тети Салли в этом не разбирались: она терпеть не могла змей какой бы ни было породы и совсем не могла к ним привыкнуть, сколько мы бы ни приучали. Каждый раз, как змея на нее сваливалась, тети Салли бросала работу, чем бы ни была занята, и убегала вон из комнаты. Я такой женщины еще не видал. А пошла она так, что в Мерибоне кавшино было. Никак нельзя было ее заставить догнаться до змеи даже шипцами. А если она находила змею у себя в постели, то высккивала оттуда и принимала такой крик, будто в доме пожар. Она так растерялась, что он сказал, лучше бы господь не оставался в доме, и после того прошла целая неделя, а тети Салли все никак не могла успокоиться. Какое там! Синт, бывало, задумавшись о чем-нибудь, и только дотронешься перышком ей до шеи, она так и вскакивает. Глядеть смешно! Том сказал, что все женщины такие. Он сказал, что так уж они устроены, и почему — кто их знает.

Нас стегали прутком каждый раз, как тети Салли попадались на глаза какая-нибудь из наших змей, и она



ков, и пауки тоже его недолюбливали, так что ему приходилось от них солено. И он говорил, что ему даже спать негде из-за всех этих крыс и змей, да еще и жернов тут же в кровати; а если бы даже и было место, все равно не уснешь — такое тут творится; и все время так, потому что все эти твари спят по очереди: когда змеи спят, тогда крысы на палуе; а крысы уснут, так змеи на вахте; и вечно они у него под боком, мешают лечь как следует, а другие скажут по нему, что в цирке; а если он встанет поискать себе другого места, так пауки за него примнутся. Он сказал, что если когда-нибудь выйдет на свободу, так ни за что больше не сядет в тюрьму, даже за большое жалованье.

Так вот, неслыш через три все у нас отлучно наладилось и шло как по маслу. Рубашку мы давно ему доставили, тоже в пиросе; и каждый раз, как Джима мы сади крыса, он вставал и писал строчку-другую и дининке, пока чернила еще свежие; перья тоже были готовы, написти и все прочее было высечено на жернове; ножку кровати мы распахали надрое, а опилки свели, и от этого живноты у нас разболевались до невозможности. Так и думали, что помрем, однако не померли. Из чего хуже этих опилок я еще не пробовал, и Том тоже говорит. Я уже сказал, что вся работа у нас была в конце концов сделана, но только мы совсем замучились, особенно Джим. Дядя Сайлас писал два раза на плантацию под Новый Орлеан, чтобы они приехали и забрали своего беглого негра, но ответа не получили.

инному что такой плантации вовсе не было; тогда он решил дать объявление про Джима в газетах, в Новом Орлеане и в Сент-Луисе; а когда он помнил про Сент-Луис, у меня даже мурашки забегали по спине: вижу — премия терять нечего. Том сказал, что теперь по-писат анонимные письма.

— А это что такое? — спрашиваю.

— Это предостережение людям, если им что-нибудь грозит. Иногда делают так, иногда по-другому. В общем, всегда кто-нибудь следит за преступником и дает знать коменданту крепости. Когда Людовик Шестнадцатый собирался дать тигру из Тюльери, одна служанка по писала. Очень хороший способ, ну и анонимные письма тоже ничего. Мы будем действовать и так и так. А то еще бывает — мать узника меняется с ним местами: она остается, а он бежит в ее платье. И так тоже можно.

— Послушай-ка, Том, зачем это нам предупреждать нас? Пусть сами догадываются, это уж их дело.

— Да, я знаю, только надеяться на них нельзя. С самого начала так пошло — все нам самим приходилось делать. Они такие доверчивые и недогадливые, ничто не замечают. Если мы их не предупредим, нам никто и мешать не станет, и после всех наших трудов и хлопот этот побег пройдет без сучка, без задоринки, и ничего у нас не получится, ничего не будет интересного.

— Вот это мне как раз подошло бы, Том, это мне нравится.

— Да ну тебе! — говорит, а сам надулся.

Тогда я сказал:

— Ну даю, я жаловаться не собираюсь. Что тебе понадобится, то и мне подойдет. А как же нам быть со служанкой?

— Ты и будешь служанка. Прокрадьешься среди ночи и стнешь платье у этой мулатки.

— Что ты, Том! Да ведь утром переполох поднимется, у нас, наверно, только одно это платье и есть.

— Я знаю; но тебе оно всего на четверть часа и понадобится, чтобы отнести анонимное письмо и подслушать его под дверью.

— Ну даю, я отнесу; только не все ли равно — в би и в своей одежде отнес.

— Да ведь ты тогда не будешь похож на саужанину, верно?

— Ну и не буду: да ведь никто меня все равно не увидит.

— Это к делу не относится. Нам надо только выполнить свой долг, а увидит кто или не увидит, об этом беспокоиться нечего. Что у тебя, совсем никаких принципов нет?

— Ну да, я ничего не говорю: пускай и буду саужанка. А кто у нас Джинмова мать?

— Я буду его мать. Стащу платье у тети Саам.

— Ну что ж, только тебе придется остаться в саужанке, когда мы с Джинмой убежим.

— Еще чего! Я набью платье Джинма соломой и уложу на кровати, будто бы это его передетая мать, а Джинма наденет платье с меня, и мы все вместе «проедем» в изгнание». Когда бежит какой-нибудь улан из бааторовых, то говорится, что он «просадован и изгнан». Всегда так говорится, когда, например, роль убежит. И королевский сын то же самое, — все равно законный сын или противозаконный, это значения не имеет.

Том написал анонимное письмо, а я в ту же ночь стинула у мулатки платье, переоделась в него и подосунула письмо под парадную дверь; все сделал, как Том писал. Письмо было такое:

«Берегитесь. Вам грозит беда. Будьте настороже»

Неизвестный друг»

На следующую ночь мы нацепили на парадную дверь картинку, которую Том нарисовал кровью: череп и две скрещенные кости; а на другую ночь еще одну — с проломом — на кухонную дверь. Я еще не видывала, чтобы люди так путались. Все наши до того перепугались, что боялись даже выходить из дома и за дверями и под кроватями стерегли привидения и носились в воздухе. Если кто-нибудь хлопал дверью, тети Саам вздрагивала и охала; если, бывало, дотронешься до нее как-нибудь незаметно, она тоже охает, куда бы она ни обернулась.

500

и Ангон, ей все казалось, что кто-нибудь стоит за дверью, и она то и дело оглаживалась и охала; и не успев, выйдя, повернуться на три четверти, как опять оглаживалась и охала; она боялась и в постель ложиться, и сидеть ей тоже было страшно. Так что письмо действительно было лучше, даже и быть не может. Из этого видно, говорят, что мы поступали правильно.

А теперь, говорит, пора нанести главный удар! И на следующее же утро, едва начало светать, мы написали еще письмо, только не знали, как с ним быть, потому что за нашим нашим говором, что поставят у обеих дверей по стражу на всю ночь. Том спустился по громозвонку по парадной: увидел, что нет на черном ходу спит, засунув письмо ему за шпирот и вернулся. В письме говорилось:

«Не выдавайте меня, я ваш друг. Цааа шайка саужан отчаянных злодеев с индейской территории собираются ночью украсть вашего беглого негра; они идут пугают, чтобы вы сидели дома и не мешали им. И тоже из шайки, только я уверовал в бога и хочу прожить разбой и стать честным человеком — вот почему я вам выдаю их адский замысел. Они подкрадутся под парадный ключ от того сарая, где сидит беглый негр. Если им будет грозить опасность, я должен протрубить в рожок, но вместо этого я буду бить овиной, когда они забегут в сарай, а трубить не стану. Пока они будут снимать с него цепи, вы подкрадитесь и закроете за ними замок, тогда вы их можете спокойно убить. Давайте так, как я вам говорю, и больше ничего, а не то, что-нибудь заподозрят и поднимут целый тарарам. Иначе наград я не желаю, с меня довольно и того, что я поступил по-честному».

Неизвестный друг»

ГЛАВА XL

После завтрака мы, в самом отличном настроении, взяли мой чепок и поехали за реку ловить рыбу и с собой захватили; очень хорошо провели время.

осмотрел паут, наши, что он в полном порядке, и до мой вернулась поздно, к самому ужину; смотрим все ходят такие перепуганные, встревоженные, что во всем ничего не сообщают; нам велели, как только мы поужинаем, в ту же минуту идти спать, а почему не сказали, и про новое письмо — ни слова; да мы и не нуждались, потому что и так все знали не хуже нас; го; а как только мы поднялись на лестницу и тетя Саади повернулась к нам спиной, мы сейчас же юркнули в погреб, к шкафу, нагруднички провинились на целый обед, перенесли все это к себе в комнату и аспид, а одно до половины двенадцатого опять встали; том надо платье, которое стачили у тети Саади, и хотел бы нести провинцию, но вдруг говорит:

— А где же масло?
— Я положила кусок на мансовую лепешку, — и вору.

Значит, там и оставил — масла здесь нет.

— Может обойтись и без масла, — говорит Том. — Сейчас ты в погреб да принеси его. А потом спустись по громозводу и приходи скорей. Я набью содомой Джимово платье — будто это его передо мной, а как только ты вернешься, я пробую овдой, и мы уберем все вместе.

И он ушел, а я спустился в погреб. Кусок масла примерно с большой кулак, лежал там, где я его отыскал; я захватила его вместе с лепешкой, задула свечу и стала осторожно подниматься по лестнице. Благодаря тому добралась доверху, гаджу — идет тетя Саади со свечой в руке; я скорей сунула масло в шапку, а шапку надела бучила на голову; тут она меня увидела и спрашивает:

— Ты была в погребе?

— Да, тетя.

— Что ты там делала?

— Ничего.

— Как ничего?

— Да так, ничего.

— Что это тебе вздумалось таскаться туда ночью?

— Не знаю, тетя.

— Не знаешь? Ты мне так не отвечай, Том, мне нужно знать, что ты там делал!

502

— Ничего я там не делала, тетя Саади, вот, ей-богу, ничего не делала!

Ну, хулаю, теперь она меня отпустила; да в обыкновенное время и отпустила бы, только уж очень много нас в доме творилось странного, так что она стала бояться всего мало-мальски подозрительного, даже пустяков, и потому очень решительно сказала:

— Ступай сюда минутой в гостиную и сиди там, пока я не приду. Ты что-то, кажется, суешь нос куда не следует! Смотри, я тебе выведу на чистую воду, не беспокоил!

Она ушла, а я отворил дверь в гостиную и вошел. Ой, а там полно народу! Пятнадцать фермеров — и все до одного с дубьями.

Мне даже хорошо сделалось; я плюхнулся на стул и сижу. Они тоже расселись по всей комнате; кое-кто разговаривал потихоньку, и все сидели как на иголках, всем было не по себе, хотя они старались этого не показывать; только я-то видел, потому что они то снимают шапки, то наденут, то почешут в затылке, и пересаживаются все время с места на место, и перебирают пуговицы. Мне тоже было не по себе, только шапку я все-таки не снял.

Мне захотелось, чтобы тетя Саади поскорей пришла и расселась со мной — отключила бы меня, что ли, так ей вздумается, — и тогда и побегу к Тому и скажу ему, что мы перестарались: такое осеннее гнзздо растрепыхан, что мое почтение! И дурака валать больше нечего, надо поскорей удирать вместе с Джимом, пока эти молодчики до нас не добрались.

Наконец тетя пришла и давай меня расспрашивать; только я ни на один вопрос не мог ответить как следует, совсем ничего не сообщала, потому что фермеры ужасно волновались: одни хотели сейчас же идти на бандитов, говорили, что до полуночи осталось всего несколько минут, а другие уговаривали подождать, пока бандит не заблест овдой; да еще тут тетя Саади пристала со своими расспросами, а я весь дрожу и едва стою на ногах от страха; а в комнате делалось все жарче и жарче, и масло у меня под шапкой начало таять и потекло по шее и по вискам; и когда один фермер сказал, что «надо сейчас же идти в хибарку, засесть там и выпить их, как только они явятся», — я чуть не свалилась.

503



ся; а тут масло потекло у меня по лбу. Тетя Саван не увидела, победела вся, точно простыня, и говорит:

— Господи помилуй! Что такое с ребенком! Наверное, восстановление мозгов, вон они уже и текут из ноздр! Все подошли поглядеть, а она сорвала с меня шапку, а масло и вывалилось вместе с хлебом; тут она схватила меня, обняла и говорит:

— Ну и напугал же ты меня! Еще сава богу, что не хуже, я и этому рада; последнее время нам что-то не везет,— того и жди, что опять беда случится. А как увидела у тебя эту штуку, ну, думаю, не живишь ты у нас: оно по цвету точь-в-точь такое, как должны быть мозги, если... Ах ты господи, ну что же ты мне не сказал, зачем ты ходил в погреб, я бы и не беспокоилась! А теперь ступай спать, и чтобы я тебя до утра не видел!

Я в одну секунду взлетел наверх, в другую — опустился по громоотводу и, спотыкаясь в темноте, пошел

и в сарайчику. Я даже говорить не мог — до того разболтался, но все-таки одним духом выпала Тому, что надо убираться поживей, ни минуты терять нельзя — в доме полно людей и все с дужками!

Гадая у него так и засверкали, и он сказал:

— Да что ты! Быть не может! Вот это здорово! Ну, Гек, если бы пришлось опять начинать все сначала, я бы человек двести собрал, не меньше. Эх, если бы можно было отложить немножко!

— Скорей,— говорю,— скорей! Где Джим?

— Да вот же он, рядом; протисни руку — и дотронешься до него. Он уже передет, и все готово. Теперь давайте выберемся отсюда и заблеем.

Но тут мы услышали топот — фермеры подошли к двери, потом начали громыхать замком, а один и пошел:

— Я же вам говорил, что рано выходить; их еще нет — сами видите, дверь на замке. Вот что: я запру нас тут, а вы сидите в темноте, подстерегите их и перестреляйте всех, когда лягутся; а остальные пускай тут лежат: рассыпятся кругом и слушайте, не идут ли они.

Несколько человек вошли в хибарку, но только в темноте они нас не увидели и чуть не наступили на нас, когда мы полезли под кровать. Мы благополучно выбрались и подполз, быстро, но без шума: Джим первый, за ним я, а Том за мной — это он так распорядился. Теперь мы были в пристройке и слышали, как они топалют по дворе, совсем рядом. Мы тихо-тихо подкрались к двери, но Том остановил нас и стал глядеть в щелку, только ничего не мог разглядеть — очень было темно; Том выждал шепотом, что будет прислушиваться, и как только ноги затихнут, он нас толкнет локтем: тогда пускай Джим выберется первым, а он выйдет последним. Он приложил ухо к щели и стал слушать — слышал, слышал, а кругом все время шаги, но в конце концов он нас толкнул, мы выскочили из сарая, нагнувшись пониже и, зажав дыхание, совсем бесшумно стали красться к забору, один за другим, вереницей, как индейцы; добрались до забора благополучно, и мы с Джимом перебежали, а Том зацепился штаниной за щепку в верхней перекладине и слышит — подходит! Он рванулся — щепка отломилась и затрещала, и когда Том спрыгнул и побежал за нами, кто-то крикнул:

— Кто там? Отвечай, а то стрелять буду!

Но мы ничего не ответили, а принюхались бегом и давай улетывать ввысь. Они бросались за нами! Потом — трах! трах! трах! — и пудл просистели у нас над головой. Слышим — кричат:

— Вот они! К реке побежали! За ними, ребята, спустите собак!

Слышим — гонятся за нами ввысь. Нам-то слышно было, потому что все они в сапогах и орут, а мы были босиком и не орали. Мы побежали к лесопику, а когда только они стали нагонять, мы свернули в кусты и пропустили их мимо себя, а потом опять побежали за ними. Сначала всех собак заперли, чтобы они не спугнули бандитов, а теперь кто-то их выпустил; слышим — они тоже бегут за нами, а лают так, будто их целый миллион. Только собаки-то были свои; мы остановились, подождали их, а когда они увидели, что это мы и ничего тут интересного для них нет, они повиляли хвостами и побегали дальше, туда, где был шум и топот; а мы опять пустнались за ними следом, да так и бежали почти до самой лесопишки, а там свернули и пробрались через мушкетерскую к тому месту, где был привязан мой челнок, прыгнули в него и давай изо всех сил гребти к середине реки, только старались не шуметь. Потом мы повернули не спеша к тому островку, где был спрятан мой палатник и дошло еще слышно было, как собаки лают друг на друга и мечутся взад и вперед по берегу; но как только мы отплыли подальше, шум сделался тише, а там и совсем замер. А когда мы влезли на палат, я сказал:

— Ну, Джим, теперь ты опять свободный челнок и больше уж никогда рабом не будешь!

— Да еще как хорошо все вышло-то, Гек! И пришло маню было хорошо, а сделано еще того лучше, никому другому не придумать, чтобы так было хорошо и так заковыристо!

Мы все радовались не зная как, а больше всех радовался Том Соуер, потому что у него в ноге засела пудла.

Когда мы с Джимом про это услышали, то сразу не остались веселиться. Тому было очень больно, и кривизна сильно текла; мы уложили его в шалаше, разорвали рубашку герцога и хотели перевязать ему ногу, но он сказал:

— Дайте-ка сюда тряпки, это я и сам сумею. Не задерживайтесь, дурака валите некогда! Раз побег удались окончательно, то отвязывайте палат и беритесь за весла! Ребята, мы устроили побег замечательно, просто шикарно. Хотелось бы мне, чтобы Людовик Шестнадцатый подал нам в руки, тогда в его биографии не было бы ничего: «Потомок Людовика Святого отправляется на небеса!» Нет, сэр, мы бы его переправляли через границу, вот что мы сделали бы, да еще как ловко! Беритесь за весла, беритесь за весла!

Но мы с Джимом посоветовались и стали думать. Подумали с минуту, а потом я сказал:

— Говори ты, Джим.

Он сказал:

— Ну вот, по-моему, выходит так. Если бы это был мистер Том и мы его освободили, а кто-нибудь из нас подстрелили, разве он сказал бы: «Вашите спасайте меня, напоите на всяких там докторов для раненого!» — разве это похоже на мистера Тома? Разве он так скажет? Да никогда в жизни! Ну, а Джим разве скажет так? Нет, сэр, я и с места не сдвинулся, пока доктора тут не будет, хоть сорок лет просижусь!

Я всегда знал, что душа у него хорошая, и так и ждал, что он это самое скажет; теперь все было в порядке, и я объявил Тому, что иду за доктором. Он подивился из-за этого страшный шум, а мы с Джимом стояли на своем и никак не уступали. Он хотел было сам ползти отвязывать палат, да мы его не пустили. Тогда он начал ругаться с нами, только это нисколько не помогло.

А когда он увидел, что я отвязываю челнок, то сказал:

— Ну ладно, уж если тебе так хочется ехать, я тебе скажу, что надо делать, когда придишь в город. Запри дверь, свяжи доктора по рукам и по ногам, надень ему на глаза повязку, и пусть покажется молчать, как мольба, а потом сунь ему в руку кошелек, полный золота, и иди его не прямо, а в темноте, по задворкам; привеси его сюда в челнок — опить-таки не прямо, а путаясь поодальше среди островков; да не забудь обыскать его и обобрать медок, а отдайшь после, когда переправимся обратно в город, а то он наставит медок крестов, чтобы мы не было найти наш палат. Всегда так делается.

Я сказал, что все испорчено, как он велит, и усаживаясь в челнок, а Джиму велел спрятаться в лесу, как только увидит доктора, и сидеть до тех пор, пока доктор не уедет.

ГЛАВА XLII

Доктор, когда я его разбудил, оказался старичком, таким приятным и добрым в виду. Я рассказал ему, что мы с братом вчера охотились на Испанском острове, нашли там паут и остались на нем ночевать, а около полуночи брат, должно быть, толкнул во сне ружье, оно выстрелило, и пуля попала ему в ногу; так вот мы просили доктора поехать туда и перевязать рану, только ничего никому не говорите, потому что мы хотим вернуться домой нынче вечером, а наши родные еще ничего не знают.

— А кто ваши родные? — спрашивает он.

— Фелсы, они живут за городом.

— Ах, вот как! — говорит он; потом помолчал немного и спрашивает: — Так как же это, вы говорите, его ранило?

— Ему что-то приснилось, — говорю, — и ружье выстрелило.

— Странный сон, — говорит доктор.

Он зажег фонарь, собрав, что нужно, в сумку, и мы отправились. Только когда доктор увидел мой челнок, он ему не понравился: для одного, говорит, еще туда-сюда, а двоим не выдержит.

Я ему говорю:

— Да вы не бойтесь, сэр, он нас и троих отчаянно выдержит.

— Как это — троих?

— Так: меня и Сиду, а еще... а еще ружья, вот и что хотел сказать.

— Ах, так, — говорит он.

Он все-таки поставил ногу на борт, попробовал челнок, а потом покачал головой и сказал, что старается найти что-нибудь поосновательнее. Только все другие лодки были на цепи и на замке, и он взял мой челнок, а мне велел подождать, пока он не вернется, или поискать другую лодку, а то, если я хочу, пойти домой и приготовить родных к такому сюрпризу. Я сказал, что

нет, не хочу, потом объяснил ему, как найти паут, и он уехал.

И тут мне пришла в голову одна мысль. А что, думаю, может ли он выследить Тома так сразу — как говорится, не успеет овца хвостом махнуть? Вдруг ему на это понадобится дня три-четыре? Как мне тогда быть? Сидеть тут, дожидаться, пока он всем разболтает? Нет, сэр! Я знаю, что сделаю. Подожду его, а если он вернется и скажет, что ему еще раз нужно туда съездить, я вместе с ним отправлюсь. — Все равно, хотя бы плыва, а там мы его возьмем да и свяжем, оставим на пауту и поплывем по реке; а когда Тому он будет больше не нужен, дадим ему, сколько это стоит, или все, что у нас есть, и высадим на берег.

Я забрался на бревна — хотел выспаться; а когда проснулся, солнце стояло высоко у меня над головой. Я вскочил и скорей к доктору, но у него дома мне сказали, что он уехал к больному еще ночью и до сих пор не возвращался. Ну, думаю, значит, дела Тома плохи, надо скорей переправляться на остров. Иду от докторской в живот дяде Сайласу!

— Том, это ты? Где же ты был все это время, маленький мальчишка? — говорит он.

— Нигде я не был, — говорю, — просто мы ловили беглого негра вместе с Сидом.

— А куда же вы все-таки пропали? — говорит он. — Твоя тетка очень беспокоилась.

— Зря она беспокоилась, — говорю, — ничего с нами не случилось. Мы побежали за людьми и за собаками, только они нас обогнали, и мы их потеряли из виду, а потом нам показало, будто они уже за рекой; мы взяли челнок и переправились на ту сторону, но только никого там не нашли и поехали против течения; сначала все держались около берега, а потом устали и захотели спастись; тогда мы привязали челнок и легли и только час назад проснулись и переправились сюда. Сид пошел на пауту — узнать, нет ли чего нового, а я вот только размышляю, что-нибудь нам поесть, и потом мы вернемся домой. Мы вместе с дядей Сайласом зашли на пауту «за Сидом», но, как я и предполагал, его там не оказалось; старик получил какое-то письмо; потом мы подождали еще немножко, но Сид так и не пришел; тогда старик

сказал: «Поедем-ка домой, Сид вернется пешком или на лошке, когда ему надоест шататься, а мы поддем на лошади!» Мне он так и не позволил остаться и пождать Сиду: говорит, это ни к чему, надо скорей домой, пускай тети Саади увидят, что с нами ничего не случилось.

Когда мы вернулись домой, тети Саади до того обрадовались мне — и смеялась, и плакала, и обвиняла меня, и даже принималась колотить, только совсем не больно; обещала и Сиду тоже задать, когда он вернется.

А в доме было полным-полно гостей: все фермеры с женами у нас обедали, и такой трескотни я еще ни когда не слышала. Хуже всех была старуха Гочкис, вани у нее мола без умолку.

— Ну, — говорит, — сестра Фелпс, видела я этот рай и думаю, что ваш негр полоумный. Говорю сестре Демре: «А что я говорила, — сестра Демре? Ведь он полоумный, — так и сказала, этими самыми словами: ни все меня слышали, — он полоумный, говорю, по всему видно. Взять хоть этот самый жернов, — и не говорит мне лучше! Чтобы человек в здравом уме да стал парить всякую чушь на жернове? С чего бы это? — говорю. Здесь такой-то разорвал свое сердце, а здесь такой-то утонул, а тридцать семь лет и прочее, побочный сын какого-то Людовика... забыла, как его фамилия. Ну просто чушь! Совсем рехнулся, говорю». Так с самого начала и сказала, и потом говорила, и сейчас говорю, и всегда буду говорить: этот негр совсем полоумный, чистый Навуходносор, говорю...

— А лестница-то из тряпок, сестра Гочкис! — перебила старуха Демре. — Ну для чего она ему понадобилась, скажите на милость?

— Вот это самое я и говорила сию минуту сестре Оттербек, она вам может подтвердить. «А веревочная-то лестница?» — говорит. А я говорю: «Вот именно, на что она ему», говорю. А сестра Оттербек и говорит...

— А как же все-таки этот жернов туда попал? И кто прокопал эту самую дыру? И кто...

— Вот это самое я и говорю, брат Пенрод! Я только что сказала... передайте-ка мне банде с палкой... только что я сказала сестре Данап, вот только сию минуту! «Как же это они ухитрились втащить туда жернов?» — говорю. «И ведь без всякой помощи, заметьте, ничуть»

не помогали! Вот именно!..» — «Да что вы, говорю, как можно, чтобы без помощи, говорю, кто-нибудь да помог, говорю, да еще и не один помог, говорю; этому негру человек двадцать помогали, говорю; доведись до меня, я бы всех негров тут перепорола, до единого, а уж разумеется бы, кто это сделал, говорю; да мало того...»

— Вы говорите — человек двадцать! Да тут и сорок не уравнились бы. Вы только посмотрите: и пины понадеялись из ножей, и всякая штука, а ведь столько со всем этим возни! Ведь такой пилой ножку у кровати отпилили — и то десатерым надо целую неделю возиться. А негра-то на кровати видели! Из соломы сделан. А вы-таки вы...

— И не говорите, брат Хайтаур! Я вот только что сказала это самое брату Фелпсу. Он говорит: «Ну, что вы думаете, сестра Гочкис?» — «Насчет чего это?» — говорю. «Насчет этой самой ножки: как это так ее перепилили?» — говорит. «Что думаю? Не сама же она отпилилась, говорю, кто-нибудь ее да отпилил, говорю. Вот мое мнение, а там думайте, что хотите, говорю, а только мое мнение вот такое, а если кто думает по-другому, и пускай его думает, говорю, вот и все». Говорю сестре Данап: «Вот как, говорю...»

— Да этих самых негров тут, должно быть, полон дом собрался, и не меньше месяца им надо было по ночам работать, чтобы со всем этим справиться, сестра Фелпс. Взять хоть эту рубашку — вся спалошь покрыта тайными африканскими письменами, и все до последнего пачка написано кровью! Должно быть, целая шайка колдунов не пожалела, чтобы мне все это разобрали и прочли; а тех негров, которые писали, я бы отстергал как есаует...

— Вы говорите — ему помогали, брат Марпаз? Еще бы ему не помогали! Пожали бы у нас в доме это время, сами увидели бы. А сколько всего они у нас потаскали! И ведь замечайте себе — мы сторожили все время. Эту самую рубашку стаяли прямо с веревки! А тут простыню, из которой у них сделана веревочная лестница, они уж и не помню сколько раз таскали! А муку, а свечи, а подсвечники, а ложки, а старую скороду — все же мне теперь все упомянуть? А мое новое ситцевое

пальте! И ведь мы с Сайласом и Том с Сидом день и ночь за ними следили, я вам уже говорил, да так ничего и не выяснили. И вдруг в самую последнюю минуту — нате вам! — проскоканули у нас под носом и проехали нас, да и не нас одних, а еще и целую шайку бандитов с индейской территории, и преспокойно ударили с этим самым негром, — а ведь за ними по пятам гнались шестнадцать человек и двадцать две собаки! Разве черти какие-нибудь могли бы так ловко управиться, да и тогда да. По-моему, это и были черти; ведь вы знаете наших собак — очень хорошие собаки, лучше ни у кого нет, — так они даже и на след напасть не могли ни единого раза! Вот и объясните мне кто-нибудь, в чем тут дело, если можете!

— Да, это, знаете ли...

— Боже ты мой, вот уж никогда...

— Поминай господи, не хотел бы я быть...

— Домашние воры, а еще и...

— Я бы в таком доме побоялась жить, упаси меня бог!

— Побоялась бы жить! Я и сама боялась — и спать ложиться и вставать боялась, не смея ни сестр, ни дач, сестра Риджуэй! Как они только не украли... Можете себе представить, как меня трясло от страха вчера, когда стало подходить к полуночи! Вот вам бог свидетель, я уже начала бояться, как бы они детей не украли. Вот до чего дошла, последний раскудок потеряла! Сейчас, днем, все это кажется довольно глупо, а тогда думаю: как это мои бедные Том с Сидом спят там наверху один в комнате? И, господь свидетель, до того расстроена, что потихоньку пробралась наверх и заперла их на ключ! Взяла да и заперла. И всякий был на моем месте запер. Потому что, вы знаете, когда пот так бонься — чем дачше, тем хуже, час от часу становиться не легче, в голове все путается, — вот и дачше бог знает какие глупости! Думашь: а если бы я была мальчиком да оставалась бы там одна в комнате, а дверь не заперта...

Она замолчала и как будто задумалась, а потом медленно повернулась в мою сторону и взглянула на меня, тут я встал и вышел прогуляться. Говорю себе: «И, пожалуй, лучше сумею объяснить, почему сегодня утром нас не оказалось в комнате, если отойду в это

помню и подумаю, как тут быть». Так и и сделал. Но даче уйти я не посмел, а то, думаю, еще пошлет кого-нибудь за мной. Потом, положе, когда гости разошлись, я к ней пришла и говорю, что нас с Сидом разбудили стрельба и шум; нам захотелось поглядеть, что делается, а дверь была заперта, вот мы и спустились по потоповоду, оба ушиблись немножко и боьше никого этого делать не будем. Ну, а дачше я ей рассказал все то, что рассказывал даче Сайласу; а она сказала, что прощает нас, да, может, особенно и прощать нечего — другого от мальчишек ждать не приходится, все они парнички порядочные, насколько ей известно; и раз ничего плохого из этого не вышло, то надо не беспокоиться и не сердиться на то, что было и прошло, а благодарить бога за то, что мы живы и здоровы и нигуда не пропадем. Она подговала меня, погладила по голове, а потом заплакала, будто испугалась:

— Господи помилуй, ночь на дворе, а Сиды все еще нет! Куда он мог пропасть?

Визу, случай подходящий, я вскочил и говорю:

— Я сбегаю в город, разыщу его.

— Нет уж, пожауйста, — говорит. — Оставайся, где ты ешь. Довольно и того, что один пропал. Если он к унину не вернется, поедет твой дядя.

Ну, к унину он, конечно, не вернулся, и дядя уехал в город сейчас же после ужина.

Часам к десяти дядя вернулся, немножко встревоженный — он даже и следов Тома не отыскал. Тетя Сайлан — та очень встревожилась, а дядя сказал, что она еще рано горевать: «Мальчишки — они и есть мальчишки; вот увидишь, и этот утром явится живой и здоровый». Пришлось ей на этом успокоиться. Но она сказала, что не будет ложиться, подождет его все-таки и ему гасить не будет, чтобы ему было видно.

А потом, когда я лег в постель, она тоже пошла со мной и захватила свою свечку, укрывала меня и ухаживала за мной, как родная мать; мне даже советство стало, и в глаза ей смотреть не мог; а она села ко мне на кровать и долго со мной разговаривала: все твердила, какой хороший мальчик наш Сид, и никак не могла про него наговориться и то и дело спрашивала меня, как я думаю: не заблудился ли он, не ранен ли, а может, у-

нуа, может быть, лежит в эту самую минуту где-нибудь раненый или убитый, а она даже не знает, где он... И тут у нее слезы закатили, а ей все повторю, что ничего с Сидом не случилось и к утру он, наверно, вернется домой; а она меня то погладит по руке, а то поделает, вселит повторить это еще раз и еще, потому что ей от этого легче, уж очень она беспокоится. А когда она уходила, то посмотрела мне в глаза так пристально, да-сково и говорит:

— Дверь я не стану запирасть, Том. Конечно, есть и окно и громозвод, только ты ведь послушайся — не уйдешь? Ради меня!

Уж как мне хотелось ударить, посмотреть, что делается с Томом, я так и собирался сделать, но после этого я не мог уйти, даже за подцарства.

Тети Салли все не шла у меня из головы, и Том тоже, так что я спал очень плохо. Два раза я спускался ночью по громозводу, обходил дом кругом и видел, что она все сидит у окна, смотрит на дорогу и плачет, а возле нее свечка; мне очень хотелось что-нибудь для нее сделать, только ничего нельзя было; дай, думаю, хоть поклянусь, что никогда больше не буду ее огорчать. А в третий раз я проснулся уже на рассвете, спустился вниз; гляжу — а тетя Салли все сидит там, и свечка у нее догорает, а она уронила свою седую голову на руку — и спит.

ГЛАВА XLII

Перед завтраком старик опить ездил в город, но там и не размыкал Тома; и оба они сидели за столом задумавшись и молчали, вид у них был грустный, они ничего не ели, и кофе остывал у них в чашках. И вдруг старик говорит:

— Отдад я тебе письмо или нет?

— Какое письмо?

— Да то, что я получила вчера на почте?

— Нет, ты мне никакого письма не дава.

— Забыла, должно быть.

И начала рыться в карманах, потом вспомнила, куда он его положил, пошла и принесла — и отдала ей. А она и говорит:

— Да ведь это из Сент-Питерсберга от сестры!



Я решила, что мне будет полезно опять прогуляться, но не мог двинуться с места. И вдруг... не успела она распечатать письмо, как бросила его и выбежала вон из комнаты — что-то увидела. И я тоже увидела: Тома Соёра на носилках, и старичка доктора, и Джима все в том же ситцевом платье, со связанными за спиной руками, и еще много народу. Я скорей заснула письмо под первую вещь, какая попала на глаза, и тоже побежала. Тети Салли бросилась к Тому, заплакала и горит:

— Он умер, умер, я знаю, что умер!

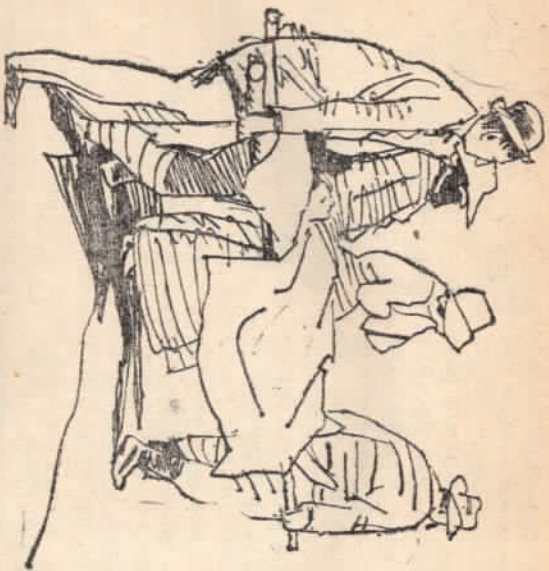
А Том повернула немножко голову и что-то бормочет: сразу видать — не в своем уме; а она всплеснула руками и говорит:

— Он жив, сава бог! Пока довольно и этого.

Поглодела его на ходу и побежала в дом — готовить ему постель, на каждом шагу раздавая всякие приказания и несправ, и всем другим, да так быстро, что едва язык успевал поворачиваться.

Я пошла за туалетом — поглядеть, что будут делать с Джимом, а старичок доктор и дядя Сайлас пошли за Томом и комитеты. Все эти фермеры ужасно обозлились, и некоторые даже хотели повесить Джима, в пример всем зашпигам несправ, чтобы им было непозвально богать, как Джим убежал, устраивать такой переполох и день и ночь держать в страхе целую семью. А другие говорили: не надо его вешать, совсем это ни к чему — негр не наш, того и глуди, ливится его хозяин и заставит, пожадуй, да него заплатить. Это немножко охладило остальных: ведь как раз тем людям, которым больше всех хочется повесить негра, если он попался, обыкновенно меньше всех хочется платить, когда потеха кончится.

Они долго ругали Джима и раза два-три утосилили его хорошей затрепичкой, а Джим все молчал и даже никуда не подавал, что он меня знает; а они отвели его в



тот же сарай, переодели в старую одежду и опять приковали на цепь, только уже не к кровати, а к колышу, которое вынесли в нижнее бревно в стене, а по рукам тоже сковали, и на обе ноги тоже надели цепи, и велели посадить его на хаёб и на воду, пока не придет его хозяин, а если не придет, то до тех пор, пока его не продадут с аукциона, и завалили землей наш подкоп, и вехали двум фермерам с ружьями стеречь сарай по ночам, а днем привязывать около двери будыдота; потом, когда они уже окончили со всеми делами, стали ругать Джима просто так, от нечего делать; а тут подошла старичок доктор, посауша и говорит:

— Не обращайтесь с ним строже, чем следует, потому что он неплохой негр. Когда я приехал туда, где лежал этот мальчик, я не мог вынуть пулю без посторонней помощи, а оставить его и поехать за кем-нибудь тоже было нельзя — он чувствовала себя очень плохо; и ему становилось все хуже и хуже, а потом он стал бродить и не подпускал меня к себе, грозил, что убьет меня, если я поставлю меюм крест на плоту, — словом, не всякий вздор, а я ничего не мог с ним поделать; тут и сказаа, что без чьей-нибудь помощи мне не обойтись, и

и ту же минуту откуда-то выезжает этот самый негр, говорит, что он мне поможет, — и сделал все, что надо, очень ловко. Я, конечно, так и подумал, что это беглый негр и есть, а ведь мне пришлось там пробыть весь тот день до конца и всю ночь. Вот положение, скажу я вам! У меня в городе осталось два пациента с простудой, и, конечно, надо бы их навестить, но я не отважился; я думаю, этот негр убежит, тогда меня все за это будут; а на реке ни одной лодки не видно, и позвать некого. Так и пришлось торчать на острове до сегодняшнего утра; и я никогда не видел, чтобы негр так хорошо уживался с людьми; а ведь он рисковал из-за этого свободой, да и устаа очень тоже, — я по всему видел, что за последнее время ему пришлось делать много тяжелой работы. Мне это очень в нем понравилось. Я вам скажу, джентльмены: за такого негра не жалко заплатить и тысячу долларов, и обращаться с ним надо ласково. У меня под руками было все, что нужно, и мальчику там было не хуже, чем дома; может, даже лучше, потому что там было тихо. Но мне-то пришлось из-за них просидеть там до рассвета — ведь оба они были у меня на руках; потом, смотрю, едут какие-то в лодке, и, на их счастье, негр в это время крепко уснул, сидя на тыфанике, и голову опустил на колени; я им тихонько сделал до чем он успел сообразить, в чем дело. А мальчик тоже спал, хотя очень беспокойно; тогда мы обвязали все-да трипками, прицепили плот к челноку и потихоньку двинулись к городу, а негр не сопротивлялся и даже слова не сказаа; он с самого начала вел себя тихо. Он неплохой негр, джентльмены.

Кто-то заметил:

— Да, надо сказать, ничего плохого я тут не вижу, доктор.

Тогда и другие тоже сматчинсь, а я была очень благодарен доктору за то, что он оказаа Джиму такую услугу; я очень обрадовалась, что и доктор о нем думает по-моему; я, как только с Джимом познакомилась, сразу увидела, что сердце у него доброе и что человек он хороший. Все согласившись, что он вел себя очень хорошо и ласково, чтобы на это обратили внимание и чем-нибудь вознаградил. И все до одного тут же обещали — видно, что от души, — не ругать его больше.

Потом они вышли из сарайчика и заперли его на замок. Я думал, они скажут, что надо бы снять с него хотя одну цепь, потому что эти цепи были уж очень тяжелые, или что надо бы ему давать не один хлеб и воду, а еще мясо и овощи, но никому это и в голову не пришло, а я решил, что мне лучше в это дело не соваться, а рассказать тете Салли то, что говорил доктор, как только я миную пороги и мели, то есть объясню ей, почему я забыл сказать, что Сид был ранен, когда мы с ним в чанюке гнались за беглым негром.

Времени у меня было еще много. Тетя Салли день и ночь не выходила из комнаты больного, а когда я видел дядю Сайласа, я всякий раз удирал от него.

На другое утро я услышал, что Тому гораздо лучше и что тетя Салли пошла прилесть. Я проскользнула к больному в комнату.— Думаю: если он не спит, нам с ним вместе надо бы придумать, как соврать половчее, чтобы сошло для родных. Но он спал, и спал очень спокойно, и лицо у него было бледное, а не такое огненное, как когда его принесли. Я села и стала дожидаться, пока он проснется. Через каких-нибудь полчаса в комнату неслашно входит тетя Салли, и я опять попала! Она сделала знак, чтобы я сидела тихо, села рядом со мной и начала шепотом говорить, что все мы теперь должны радоваться, потому что симптомы у него первый сорт, и он давно уже спит вот так, и все становится спокойнее и здоровей с виду, и десять шансов против одного за то, что он проснется в своем уме.

Мы сидели и стерегли его, и скоро он пошевелился, открыл глаза, как обыкновенно, поглядела и говорит:

— Э, да ведь я дома! Как же это так? А паут где?

— Паут в порядке,— говорю я.

— А Джим?

— Тоже,— говорю я, но не так твердо.

Он ничего не заметил и говорит:

— Отлично! Великолепно! Теперь все кончилось, и бояться нам нечего! Ты сказала тете?

Я хотела ответить «да», а тут она сама говорит:

— Про что это, Сид?

— Да про то, как мы все это устроили.

— Что «все»?

— Да все; ведь только одно и было: как мы с Томом освободили беглого негра.

— Боже милостивый! Освободили бег... О чем это ты, милый? Господи, опят он заговаривается!

— Нет, не заговариваюсь, я знаю, о чем говорю. Мы его освободили, мы с Томом. Решили так сделать и сделали. Да еще как превосходно!

Он пустился рассказывать, а она его не останавливала, все сидела и слушала и глядела на него круглыми глазами, и я уж видел, что мне в это дело соваться нечего.

— Ну как же, тетя, чего нам это стоило! Работали целыми неделями, час за часом, каждую ночь, пока вы не спали. Нам пришлось красть и свечи, и простыню, и рубашку, и ваше платье, и ложки, и жестяные тарелки, и ножи, и сковородку, и жернов, и муку— да всего и не перечислить! Вы себе представить не можете, чего нам стоило сделать пау, и перья, и налси, и все остальное, и как это было весело! А потом надо было еще рисовать гроб и кости, писать анонимные письма от разбойников, вылезать и влезать по громоотводу, вести подкоп, делать веревочную лестницу и запекать ее в пироте, пересылать в вашем кармане ложки для работы...

— Господи помилуй!

— ...наускать в сарайчик змей, крыс, пауков, чтобы Джим не скучал один; а потом вы так долго продаержали Тома с маслом в шапке, что едва все дело нам не испортили: мы не успели уйти, и фермеры нас застали еще в сарайчике; мы скорее вылезли и побегали, а они нас услышали и пустились в погоню; тут меня и подстрелили, а потом мы свернули с дороги, дали им пробежать мимо себя; а когда вы спустились собак, то им бежать за нами было неинтересно, они бросились туда, где шум, а мы сиди в чанюке и благопоучно переправлялись на паут, и Джим теперь свободный человек, и мы все это сами сделали— вот здорово, тетечка!

— Ну, я ничего подобного не слышала, сколько ни жину на свете! Так это вы, озорники этакие, столько недель нам хлопот, что у всех голова пошла кругом, и напугали всех чуть не до смерти? Хотите мне взять сейчас да и выколотить из вас всю дурь, вот сию минуточку! Подумать только, а я-то не сплю, сижу ночь за ночью, как... Ну, негодник эдакий, вот только выздоровеешь, я уж за тебя примушь, повывью из вас обоих всякую чертовщину!

Но Том весь сиял от гордости и никак не мог удержаться — все борта и борта, а она то и дело перебивала его и все время сердилась и выходила из себя, и оба они вместе орали, как кошки на крыше; а потом она и говорит:

— Ну, хорошо, можешь радоваться, сколько тебе угодно, но смотри, если ты еще раз сунешься не в свое дело...

— В какое дело? — говорит Том, а сам больше не удерживается: видно, что удивился.

— Как — в какое? Да с этим беглым негром, конечно. А ты что думаешь?

Том посмотрел на меня очень сурово и говорит:

— Том, ведь ты мне только что сказал, что Джим в безопасности. Разве он не убежал?

— Кто? — говорит тетя Салли. — Беглый негр? Никуда он не убежал. Его опять поймали, живого и невредимого, и он опять сидит в сарае и будет сидеть на хлебе и на воде и в цепях; а если хозяин за ним не явится, то его продадут.

Том сразу сел на кровать, — глава у него загорелась, а ноздри задвигались, как жабры, — и кричит:

— Они не имеют никакого права запереть его! Бегги! Не терять ни минуты! Выпусти его, он вовсе не раб, а такой же свободный, как и все люди на земле!

— Что этот ребенок выдумывает!

— Ничего я не выдумываю, тут каждое слово правда, тетя Салли! А если никто не пойдет, я сам туда пойду! Я всю жизнь Джима знаю, и Том его знает тоже. Старая мисс Уотсон умерла два месяца назад. Ей стало стыдно, что она хотела продать Джима в низовья реки, она это сама говорила; вот она и освободила Джима в своем завещании.

— Так для чего же тебе понадобилось его освобождать, если он уже свободный?

— Вот это вопрос, — это как раз похоже на женский! А как же приключенный-то? Да я бы и в крови по колено не побоялся... Ой, господа, тетя Полли!

И провалился мне на этом месте, если она не стоит тут, в дверях, довольная и кроткая, как ангел.

Тетя Салли бросилась к ней, заплакала и принялась ее обнимать, да так, что чуть не оторвала ей голову! а я сразу понял, что самое подходящее для меня место —

под кроватью: похоже было, что над нами собирается гроза. Я выгнул, смотрю — тетя Полли высвободилась и стоит, смотрит на Тома поверх очков — да так, будто с землей сровнять его хочет. А потом и говорит:

— Да, Том, лучше отворачивись в сторонку. Я бы на твоём месте тоже отвернулась.

— Боже ты мой! — говорит тетя Салли. — Неужели он так изменился? Ведь это же не Том, это Сид! Он... он... да где же Том? Он только что был тут, сию минуту.

— Ты хочешь сказать, где Гек Финн, — вот что ты хочешь сказать! Я столько лет растила этого озорника Тома, мне ли его не узнать! Вот было бы хорошо! Гек Финн, вылезай из-под кровати сию минуту!

Я и вылез, только совсем оробев.

Тети Салли до того растерялась, что уж давай еще нудит: разве вот один только дядя Сайлас растерялся еще больше, когда приехал из города и все это ему рассказывали. Он сдвинулся, можно сказать, вроде пьяного и весь оставший день ничего не соображал и такую сказку проповедь в тот день, что даже первый мудрец на свете и тот ничего в ней не разобрал бы, так что после этого все к нему стали относиться с почтением. А тетя Полли рассказала им, кто я такой и откуда взялся, и мне пришлось говорить, что я не знаю, как выйти из положения, когда миссис Фелпс приняла меня за Тома Сойера... (Тут она перебила меня и говорит: «Нет, ты зови меня по-старому: тетя Салли, я теперь к этому привыкла и менять ни к чему!») Когда тетя Салли приняла меня за Тома Сойера, и мне пришлось это терпеть, другого выхода не было, а я знал, что Том не обидится — напротив, будет рад, потому что получается таинственно, у него из этого выйдет целое приключение, и он будет доволен. Так оно и оказалось. Он выдал себя за Сиду и устроил так, что для меня все сошло гладко.

А тетя Полли сказала, что Том говорит правду: старая мисс Уотсон действительно освободила Джима по завещанию; значит, верно — Том Сойер столько хлопотал и возился для того, чтобы освободить свободного негра! А я-то никак не мог понять, вплоть до этой самой минуты и до этого разговора, как это он при таком воспитании и вдруг помогает мне освободить негра!

Тетя Полли говорила, что как только тетя Салли написала ей, что Том с Сидом доехали благополучно, она по-

думала: «Ну, так и есть! Надо было этого ожидать, раз я отпустила его одного и присмотреть за ним некому».

— Вот теперь и тапчись в такую дадь сама, на парохде, за тысячу сто миад, уэнавай, что там еще этот дриной маьчишка натворил на этот раз,— ведь от тебя я никакого ответа добиться не могла.

— Да ведь и я от тебя никаких писем не получала! — говорит тетя Салаи.

— Быть не может! Я тебе два раза писала, спрашивала, почему ты пишешь, что Сид здесь,— что это значит?

— Ну, а я ни одного письма не получила.

Тетя Полаи не спеша поворачивается и строго говорит:

— Том?

— Ну что? — отвечает он, надувшись.

— Не «что», озорник ты этакий, а подавай сюда письма!

— Какие письма?

— Такие, те самые! Ну, вижу, придется за тебя взяться...

— Они в сундуке. И никто их не трогад, так и лежат с тех пор, как я их получила на почте. Я так и знала, что они надеждют бедь; думал, вам все равно спешить некуда...

— Выдарть бы тебя как следует! А ведь я еще одно письмо написала, что выезжаю; он, должно быть, и это письмо...

— Нет, оно только вчера пришло; я его еще не читала, но оно цело, лежит у меня.

Я хотела поспорить на два доллара, что не лежит, а потом подумала, что, может, лучше не спорить. И так ничего и не сказаа.

ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

В первый же раз, как я застаа Тома одного, я спросила его, дад чего он затеала всю эту историю с побегом, что он намерен был делат, если бы побег ему удааси и он ухитриася бы освободить негра, который был давным-давно свободен. А Том на это сказаа, что если бы нам удадось благополучно увезти Джима, то мы проехали бы вниз по реке на плоту до самого устья — при-

наючений ради,— он с самого начала так задумал, а поелее того Том сказаа бы Джиму, что он свободен, и мы поехали бы его домой на парохде, западали бы ему за третью времени, послади бы вперед письмо, чтобы все негры собрались его встречать, и в город бы его проводали с флаками и с музыкой, а после этого он стал бы героем, и мы тоже. А по-моему, и без этого все кончидь неодохо.

Мы в одну минуту освободили Джима от цепей, а тогда тетя Салаи с дядей Сайласом и тетя Полаи уэнаади, как хорошо он помогал доктору ухаживать за Томом, они стали с ним ужасно носиться: устроили его как можно лучше, ест ему давали все, что он захочет, старались, чтобы он не скучал и ровно ничего не дсала. Мы позвали Джима в комнату больного для серьезного разговора; и Том подарил ему сорок долларов за то, что он был уэником и все терпел и так хорошо себя вел; а Джим обрадовася и не мог больше молчать:

— Ну вот, Гек, что я тебе говорил? Что я тебе говорил на Джексоновом острове? Говорил, что грудь у меня волосатая и к чему такая примета; а еще говорил, что я уже был один раз богатый и опять разбогатею; вот оно и вышло по-моему! Ну вот! И не говори лучше в другой раз,— примета, она и есть примета, попомни мое слово! А я все равно знаа, что опять разбогатею, это уж как пить дать!

А после этого Том опять принялся за свое и пошел и пошел: дадите, говорят, как-нибудь ночью убежим все втроем, перерядимся и отправимся на поиски приключений к индейцам, на индейскую территорию, недалеко на две, на три; а я ему говорю, ладно, это дело подхольщее, только денег у меня нет на индейский костюм, а из дому вряд ли я получу, потому что отец, должно быть, уже вернуася, забраа все мои деньги у судьи Тэчера и пропиа их.

— Нет, не пропиа,— говорит Том,— они все целы, шесть тысяч, и даже больше; а твой отец так и не возвращася с тех пор. Во всяком случае, когда я уэажка, его еще не было.

А Джим и говорит, да так торжественно:

— Он больше никогда не вернется, Гек!

Я говорю:

— Почему не вернется, Джим?

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОТЕРА



Стр. 42. *Доре* Гюстав (1833—1883) — французский художник-иллюстратор; большую известность приобрели иллюстрации *Доре* к классическим памятникам мировой литературы: к «Грантоса и Паллародою» Ф. Рабле, к «Божественной Комедии» Данте, к «Дон-Кихоту» М. Сервантеса, к Библии, «Потопному раю» Дж. Мильтона и др.

Стр. 48. *Первых двух апостолов завели...* — *Давид и Голиаф!* — Согласно библейскому сказанию, *Давид* был пастух, убивший сирача *Голиафа*. *Первыми апостолами* Евангелие называет *Петра* и *Андрея*.

Стр. 145. «О, дайте мне свободу!» — Слова из речи американского политического деятеля эпохи войны за Независимость *Патрика Генри* (1736—1799).

«На пылающей палубе мальчик стоял...» — Первая строка стихотворения «*Касьянышка*» английской поэтессы *Фелиции Хеминс* (1793—1835).

«*Ассурине шиле*» — первые слова стихотворения *Байрона* «*Поражение Сенахериба*» из «Еврейских мелодий» (перевод *А. К. Толстого*).

Стр. 147. «...молния твоя сверкала... как бы пренебрегая тем, что знаменитый *Франклин* изобрел ее свирепость!» — Выдающийся американский ученый, писатель, политический деятель и дипломат *Бенджамин Франклин* (1706—1790) был создателем громоотвода.

Стр. 148. *Джонель Уэбстер* (1782—1852) — государственный и политический деятель США, известный оратор.

Стр. 149. *Четвертое июля* — праздник в Соединенных Штатах Америки: годовщина Декларации независимости (1776).

Стр. 161. *Вроде этого старого зорбуна Ричарда*. — Имеется в виду английский король *Ричард III* (1452—1485).

Стр. 172. *Сахем*. — Так некоторые индейские племена Северной Америки называли своих главных вождей.

Стр. 221 «...с хваленой правдой *Гортия Вашингтона* насчет тора *Вашингтона*, первого президента США. *Мальчик* отдался на обаятельную правдивость: когда отец подарил ему топорик, он подарил вышнее дерево, но тут же признался в этом отцу, хотя был уверен, что его ждет строгое наказание.

Н. Вулверд

— Почему бы там ни было, не все ли равно, Гек, а только он больше не вернется.

Но я к нему пристаю, и в конце концов он признался: — Помнишь тот дом, что падал вниз по реке? Там еще лежал человек, прикрытый одеялом, а я открыла и посмотрела, а тебя не пустила к нему? Ну вот, свои деньги ты получишь, когда понадобится, потому что это и была твой отец...

Том давно поправился и носит свою пулю на цепочке вместо брелока и то и дело лезет поглядеть, который час; а больше писать не о чем, и я этому очень рад, потому что если бы я раньше знал, какая это канитель — писать книжку, то ни чем бы не взялся, и больше уж я писать никогда ничего не буду. Я, должно быть, уаеру на индейскую территорию раньше Тома с Джинном, потому что тети *Салли* собираются меня усыновить и воспитывать, а мне этого не стеснеть. Я уж пробовала.

Конеч. С совершенным почтением

Гек Финн.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЫБЕРРИ ФИННА

Стр. 257 ...*Адам — сплошная тапина*. — Согласно Библани, бог создал первого человека из глинны (древнееврейское слово «адам» значит «земля», «адам» — «человек»).

Стр. 275. *Аболционист* — борец за отмену рабства негров. ...*Продать меня в Орлеан*. — Имеется в виду американский город Новый Орлеан (штат Луизиана), в устье реки Миссисипи; в первой половине XIX в. — крупный порт рабовладельческого Юга, один из центров торговли рабами.

Стр. 305. *Битень* — двойная мставацкая или деревянная тумба на баке судна, на которую крепят якорную цепь либо бусирный трос.

Стр. 312. *Кцир* — город в США (штат Иллинойс), на реке Миссисипи.

Стр. 355. ...*без вести пропавшего дофина Людовика Семидеятого*. — Сын казнённого в 1793 г. во время Французской буржуазной революции короля Людовика XVI, наследный принц Шарль (Людовик XVII; 1785—1795) не царствовал; он был арестован якобинцами и умер от боленки в тюрьме. После реставрации Бурбонов (1815) были предприняты попытки разыскать его труп в общей могиле, где он был похоронен. Отсюда легенда о «без вести пропавшем дофине».

Стр. 361. *Гаррик Малый*. — Дэвид Гаррик (1717—1779) — выдающийся английский актёр, один из основоположников реаллизма в европейском театре. Играя в тридцати пяти пресах Шекспира.

Стр. 368. *Капет* — официальное имя французского короля Людовика XVI после его низложения; во время революции, как и прочих дворян, ему было предложено отказаться от титулов и называться по фамилии.

Стр. 369. *Быть или не быть? Вот в чём заповедь!* — Искажённый стих из «Гамлета». Далее следует бессмысленный набор стихов, взятых из различных произведений Шекспира.

Стр. 370. *Эдмунд Кин Старший*. — Эдмунд Кин (1787—1833) — величайший английский актёр романтической школы, создавший свои лучшие роли в трагедиях Шекспира.

Стр. 386. ...*тех, про кого я читал в истории*. — Так путаются исторические факты: американская война за независимость началась при английском короле Георге III; последний король Англии, носивший имя Генрих, правил в XVI в.; герцог Веллингтон — реакционный политический деятель и полководец, сражавшийся при Ватерлоо против Наполеона (1815), никакого отношения к королю Генриху иметь не мог; в бочке с вином (малайзийский) был утоплен в 1478 г. брат английского короля Эдуарда IV, герцог Кааренс; по преданию, обвинённый в заговоре против короля, он сам выбрал себе такую казнь.

Стр. 404. *Вильгельм Четвёртый*. — Король Вильгельм IV умер в 1837 г.

Стр. 462. *Да хоть бы вы до мафусаиловых лет дожили*. — По Библии, Мафусаил — долгожительнейший из людей, прожил девятьсот шестьдесят девять лет.

Стр. 472. *Ни о бароне Транке, ни о Казанове, ни о Бенвенуто Челлини*. — Барон Транк Фредерик (1726—1794) — немецкий дипломат; пережил множество приключений, несколько раз подвергался аресту и совершил дерзкие победы, описанные в его автобиографии. Казанова Джованни Джакомо (1725—1798) — итальянский авантюрист, автор «Мемуаров». В «Истории моего времени» рассказано о своём столкновении с якобинцами и победе над якобинской тюрьмой. Бенвенуто Челлини (1500—1571) — крупнейший флорентийский скульптор и золотых дел мастер эпохи Возрождения; прожил жизнь, по образу приключений, обвинялся в разврате и отравлении, несколько лет был монахом. Автор увлекательных «Мемуаров».

Стр. 476. *Замок д'Иф*. — Замок-крепость д'Иф был выстроен в начале XVI в. французским королём Франциском I на острове в Средиземном море, в трёх километрах от порта Марсель. Назван до конца XVIII в. служил тюрьмой, где томились деятели государственные преступники.

Стр. 488. *Вильгельм Завоеватель* — норманнский герцог, который в 1066 г. высадился на остров Британия и завоевал его; в колонизации Америки он, естественно, никакого отношения не имел. «Майфлауэр» (Майский цветок) — судно, которое в 1620 г. привезло к берегам Америки сто поселенцев, основавших первую колонию «Новая Англия».

СОДЕРЖАНИЕ

Марк Твен — писатель-реалист, мастер юмора и сатиры. <i>М. Мендельсон</i>	3
Приключения Тома Сойера	17
Приключения Гекльберри Финна	229
Примечания <i>Н. Бугаев</i> и <i>С. Брахама</i>	525

Т26

Твен М.

Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. Пер. с англ./Вступ. ст. М. Мендельсона. — М.: Правда, 1987. — 528 с., ил.

В сборник выдающегося американского писателя Марка Твена (1835—1910) вошли наиболее известные произведения: «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна», где автор знакомит читателей с жизнью Америки и со своими юными героями.

4703000000—1514 1514—87 84.7 США
Т 080(02)—87

Марк ТВЕН

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА

Редактор Г. Ф. Фролова

Оформление художника Н. Н. Каминского

Художественный редактор Р. А. Ключков

Технический редактор Т. С. Трошина

ИБ 1514

Полписано к печати с готовых матриц 2.12.86.
Формат 84×108/16. Бумага типографская № 2.
Литература «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 27,72. Усл. кр.-отт. 27,93. УЧ.-изд. л. 28,01.
Тираж 500 000 экз. (2-й завод: 100 001—200 000 экз.).
Заказ № 1618. Цена 2 р. 50 к.

Набрано и свернуто в ордене Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда», 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правда», 24.

Отпечатано в типографии издательства «Восточно-Сибирская правда», 661009, Иркутск, ул. Советская, 109.